МИХ.
ЗОЩЕНКО

2

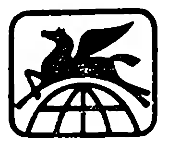






Мих. Зощенко

2



Мих. Зощенко

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ



ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1986

Мих. Зощенко

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 2

Сентиментальные повести

*

Мишель Синягин

*

Рассказы и фельетоны

*



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

ББК 84.Р7
З 88

Составление, подготовка текста, примечания
Ю В ТОМАШЕВСКОГО

Оформление художника
Н И. ВАСИЛЬЕВА

Зощенко М.
З 88 Собрание сочинений: В 3-х т. Т. 2. Сентиментальные повести; Рассказы и фельетоны 1930-х — 1940-х гг. и др./Сост., подгот. текста и примеч. Томашевского Ю. В.— Л.: Худож. лит., 1986.— 480 с.

Во второй том входят написанные в 1920-е годы «Сентиментальные повести» и повесть «Мишель Синягин», а также рассказы и фельетоны 1930-х — 1940-х годов.

З $\frac{4702010200\text{-}079}{028(01)\text{-}86}$ без объявл. ББК 84.Р7



Сентиментальные повести

*

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга, эти сентиментальные повести написаны в самый разгар нэпа и революции.

И читатель, конечно, вправе потребовать от автора настоящего революционного содержания, крупных тем, планетарных заданий и героического пафоса — одним словом, полной и высокой идеологии.

Не желая вводить небогатого покупателя в излишние траты, автор спешит уведомить с глубокой душевной болью, что в этой сентиментальной книге не много будет героического.

Эта книга специально написана о маленьком человеке, об обывателе, во всей его неприглядной красе.

Пущай не ругают автора за выбор такой мелкой темы — такой уж, видимо, мелкий характер у автора. Тут уж ничего не поделаешь. Кому что по силам, кому что дано.

Один писатель широкими мазками набрасывает на огромные полотна всякие эпизоды, другой описывает революцию, третий военные ритурнели, четвертый занят любовными шашнями и проблемами. Автор же, в силу особых сердечных свойств и юмористических наклонностей, описывает человека — как он живет, чего делает и куда, для примеру, стремится.

Автор признает, что в наши бурные годы прямо даже совестно, прямо даже неловко выступать с такими ничтожными идеями, с такими будничными разговорами об отдельном незначительном человеке.

Но критики не должны на этот счет расстраиваться и портить свою драгоценную кровь. Автор и не лезет со своей книгой в ряд остроумных произведений эпохи.

Быть может, поэтому автор и назвал свою книгу сентиментальной.

На общем фоне громадных масштабов и идей эти

повести о мелких, слабых людях и обывателях, эта книга о жалкой уходящей жизни действительно, надо полагать, зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, какой-то сентиментальной оскорбительной требухой.

Однако ничего не поделаешь. Придется записать так, как с этим обстояло в первые годы революции. Тем более, мы смеем думать, что эти люди, эта вышеуказанная прослойка пока что весьма сильно распространена на свете. В силу чего мы и предлагаем вашему высокому вниманию подобную малогероическую книгу.

А что в этом сочинении бодрости, может быть, кому-нибудь покажется маловато, то это неверно. Бодрость тут есть. Не через край, конечно, но есть. Последние же страницы книги прямо брызжут полным весельем и сердечной радостью.

Март 1927

И. В. Коленкоров

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Ввиду многочисленных запросов, сообщаем, что вышеуказанная подпись И. В. Коленкоров — есть подпись подлинного автора сентиментальных повестей.

Вот краткая биографическая справка о нем.

И. В. Коленкоров — родной брат Ек. Вас. Коленкоровой, тепло и любовно выведенной в повести «Люди» наряду с другими героинями. Он родился в 1882 году в городе Торжке (Тверской губ.), в мелкобуржуазной семье дамского портного. Получил домашнее образование. В молодые годы был пастухом. Потом играл в театре. И наконец мечта его жизни воплотилась в действительность — он стал писать стихи и рассказы.

В настоящее время И. В. Коленкоров, принадлежащий к правому крылу попутчиков, перестраивается и, вероятно, в скором времени займет одно из видных мест среди писателей натуральной школы.

Сентиментальные же повести написаны им под руководством писателя М. М. Зощенко, ведущего литературный кружок, в котором около пяти лет находился наш славный автор.

И в настоящее время, выпуская эту книгу, Иван Васильевич приносит т. Зощенко свою благодарность и желает ему дальнейшей удачи в многотрудной педагогической деятельности.

Май 1928

К. Ч.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

В силу постоянных запросов сообщаем, что роль писателя М. Зощенко в этом труде свелась главным образом к исправлению орфографических ошибок и выравнению идеологии. Основная же работа принадлежит вышеуказанному автору, И. В. Коленкорову. Так что по-настоящему на обложке книги надо было бы поставить фамилию Коленкорова. Однако И. В. Коленкоров, не желая прослыть состоятельным человеком, отказался от этой чести в пользу М. Зощенко. Гонорар же Иван Васильевич получил полностью.

Сообщая об этом, пользуемся случаем сказать, что некоторые сентиментальные нотки, нытье и кое-какое идеологическое шатание в ту и другую сторону следует отнести не к руководителю литкружка, а отчасти к автору, И. В. Коленкорову, отчасти же к тем литературным персонажам, которые выведены в этих повестях.

Тут перед вашими глазами пройдет целая галерея уходящих типов.

И новому, современному читателю необходимо их знать, чтоб увидеть уходящую жизнь во всех ее проявлениях.

Июль 1928

С. Л.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

В силу прошлых недоразумений писатель уведомляет критику, что лицо, от которого ведутся эти повести, есть, так сказать, воображаемое лицо. Это есть тот средний интеллигентский тип, которому случилось жить на переломе двух эпох.

Неврастения, идеологическое шатание, крупные противоречия и меланхолия — вот чем пришлось наделить нам своего «выдвиженца» И. В. Коленкорова. Сам же автор — писатель М. М. Зощенко, сын и брат таких нездоровых людей,— давно перешагнул все это. И в настоящее время он никаких противоречий не имеет. У него на душе полная ясность и розы распускаются. А если в другой раз эти розы вянут и нету настоящего сердечного спокойствия, то совершенно по другим причинам, о которых автор расскажет как-нибудь после.

В данном же случае это есть литературный прием.

И автор умоляет почтеннейшую критику вспомнить об этом замысловатом обстоятельстве, прежде чем замахнуться на беззащитного писателя.

Апрель 1929
Ленинград

Мих. Зощенко

КОЗА

1

Без пяти четыре Забежкин сморкался до того громко, что нос у него гудел, как труба иерихонская, а бухгалтер Иван Нажмудинович от испуга вздрагивал, ронял ручку на пол и говорил:

— Ох, Забежкин, Забежкин, нынче сокращение штатов идет, как бы тебе, Забежкин, тово, под сокращение не попасть... Ну куда ты торопишься?

Забежкин прятал платок в карман и тряпочкой начинал обтирать стол и чернильницу.

Двенадцать лет сидел Забежкин за этим столом. Двенадцать лет! Подумать даже страшно, какой это срок не маленький. Ведь если за двенадцать лет пыль, скажем, ни разу со стола не стереть, так, наверное, и чернильницы не видно будет?

В четыре ровно Забежкин двигал нарочно стулом, громко говорил: «Четыре», четыре костяшки отбрасывал на счетах и шел домой. А шел Забежкин всегда по Невскому, хоть там и крюк ему был. И не потому он шел по Невскому, что на какую-нибудь встречу рассчитывал, а так — любопытства ради: все-таки людей разнообразие, и магазины черт знает какие, да и прочесть смешно, что в каком ресторане люди кушают.

А что до встреч, то бывает, конечно, всякое... Ведь вот, скажем, дойдет Забежкин сейчас до Садовой, а на Садовой, вот там, где черная личность сапоги гуталином чистит,— дама вдруг... Черное платье, вуалька, глаза... И подбежит эта дама к Забежкину... «Ох, скажет, молодой человек, спасите меня, если можете... Ко мне пристают, оскорбляют меня вульгарными словами и даже гнусные предложения делают...» И возьмет Забежкин даму эту под руку, так, касаясь едва, и вместе с тем с необыкновенным рыцарством, и пройдут они мимо оскорбителей презрительно

и гордо... А она, оказывается, дочь директора какого-нибудь там треста.

Или еще того проще — старичок. Старичок в высшей степени интеллигентный идет. И падает вдруг. Вообще головокружение. Забежкин к нему... «Ах, ах, где вы живете?» Извозчик... Под ручку... А старичок, комар ему в нос,— американский подданный... «Вот, скажет, вам, Забежкин, триллион рублей...»

Конечно, все это так, вздор, романтизм, бессмысленное мечтание. Да и какой это человек может подойти к Забежкину? Какой это человек может иметь что-либо вообще с Забежкиным? Тоже ведь и наружность многое значит. А у Забежкина и шея тонкая, и все-таки прически никакой нет, и нос загогулиной. Ну, еще нос и шея куда ни шло — природа, а вот прически, верно, никакой нету. Надо будет отрастить в срочном порядке. А то прямо никакого виду.

И будь у Забежкина общественное положение значительное, то и делу был бы оборот иной. Будь Забежкин квартальным надзирателем, что ли, или хотя бы агрономом, то и помириться можно бы с наружностью. Но общественное положение у Забежкина не ахти было какое. Впрочем, даже скверное. Да вот, если сделать смешное сравнение, при этом смеясь невинно, если бухгалтера Ивана Нажмудиновича приравнять щуке, а рассыльного Мишку — из союза молодежи — сравнить с ершом, то Забежкин, даром что коллежский регистратор бывший, а будет никак не больше уклейки или даже колюшки крошечной.

Так вот, при таких-то грустных обстоятельствах мог ли Забежкин на какой-нибудь романтизм надеяться?

2

Но однажды приключилось событие.

Однажды Забежкин захворал. То есть не то чтобы слишком захворал, а так, виски заломило это ужасно как.

Забежкин и линейку к вискам тискал, и слюнями лоб мазал — не помогает. Пробовал Забежкин в канцелярские дела углубиться.

Какие это штаны? Почему две пары? Не есть ли это превышение власти? Почему бухгалтеру Ивану Нажмудиновичу сверх комплекта шинелька отпущена, и куда это он, собачий нос, позадевал шинельку эту? Не загнал ли, подлая личность, на сторону казенное имущество?

Виски заломило еще пуще.

И вот попросил Забежкин у Ивана Нажмудиновича домой пораньше уйти.

— Иди, Забежкин,— сказал Иван Нажмудинович, и таким печальным тоном, что и сам чуть не прослезился.— Иди, Забежкин, но помни — нынче сокращение штатов...

Взял Забежкин фуражку и вышел.

И вышел Забежкин по привычке на Невский, а на Невском, на углу Садовой, помутилось у него в глазах, покачнулся он, поскреб воздух руками и от слабости необыкновенной к дверям магазина прислонился. А из магазина в это время вышел человек (так, обыкновенного вида человек, в шляпе и в пальто коротеньком) и, задев Забежкина локтем, приподнял шляпу и сказал:

— Извиняюсь.

— Господи! — сказал Забежкин.— Да что вы? Да пожалуйста...

Но прохожий был далеко.

«Что это? — подумал Забежкин.— Чудной какой прохожий. Извиняюсь, говорит... Да разве я сказал что-нибудь против? Да разве он пихнул меня? Это же моль, мошкара, мошка крылами задела... И кто ж это? Писатель, может быть, или какой-нибудь всемирный ученый... Извиняюсь, говорит. Ах ты штука какая! И ведь лица даже не рассмотрел у него...»

— Ах! — громко сказал Забежкин и вдруг быстро пошел за прохожим.

И шел Забежкин долго за ним — весь Невский и по набережной. А на Троицком мосту вдруг потерял его из виду. Две дамы шли — шляпки с перьями — заслонили, и как в Неву сгинул необыкновенный прохожий.

А Забежкин все шел вперед, махал руками, сиял носом, просил извинения у встречных и после неизвестно кому подмигивал.

«Ого,— вдруг подумал Забежкин,— куда же это такое я зашел? Каменноостровский... Карповка... Сверну»,— подумал Забежкин. И свернул по Карповке.

И вот — трава. Петух. Коза пасется. Лавчонки у ворот. Деревня, совсем деревня!

«Присяду»,— подумал Забежкин и присел у ворот на лавочке.

И стал свертывать папиросу. А когда свертывал папиросу, увидел на калитке объявление:

«Сдается комната для одинокого. Женскому полу не тревожиться».

Три раза кряду читал Забежкин объявление это и хотел в четвертый раз читать, но сердце вдруг забилось слишком, и Забежкин снова сел на лавку.

«Что ж это,— подумал Зэбежкин,— странное какое объявление? И ведь не зря же сказано: одинокому. Ведь это что же? Ведь это, значит, намек. Это, дескать, в мужчине нуждаются... Это мужчина требуется, хозяин. Господи, твоя воля, так ведь это же хозяин требуется!»

Забежкин в волнении прошелся по улице и вдруг заглянул в калитку. И отошел.

— Коза! — сказал Забежкин.— Ей-богу, правда, коза стоит... Дай бог, чтоб коза ее была, хозяйкина... Коза! Ведь так, при таком намеке, тут и жениться можно. И женюсь. Ей-богу, женюсь. Ежели, скажем, есть коза,— женюсь. Баста. Десять лет ждал — и вот... Судьба... Ведь ежели рассуждать строго, ежели комната внаймы сдается — значит, квартира есть. А квартира — хозяйство, значит, полная чаша... Поддержка... Фикус на окне. Занавески из тюля. Занавесочки тюлевые. Покой... Ведь это же ботвинья по праздникам!.. А жена, скажем, дама солидная, порядок обожает, порядком интересуется. И сама в сатиновом капоте павлином по комнате ходит. И все так великолепно, все так благородно, и все только и спрашивает: «Не хочешь ли, Петечка, покушать?» Ах ты штука какая! Хозяйство ведь. Корова, возможно, или коза дойная. Пускай коза лучше — жрет меньше.

Забежкин открыл калитку.

— Коза! — сказал он задыхаясь.— У забора коза. Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно. Ежели коза, то смешно даже... Пускай Иван Нажмудинович завтра скажет: «Вот, дескать, слишком мне тебя жаль, Забежкин, но уволен ты по сокращению штатов...» Хе-хе, ей-богу, смешно... Удивится, сукин сын, поразится до чего, ежели после слов таких в ножки не упаду, просить не буду... Пожалуйста. Коза есть. Коза, черт меня раздери совсем! Ах ты вредная штука! Ах ты смех какой!.. А женскому-то полу плюха какая, женский-то пол до чего дожил — не тревожиться. Не лезь, дескать, комар тебе в нос, здесь его величество мужчина требуется...

Тут Забежкин еще раз прочел объявление и, выпятив грудь горой, с необыкновенной радостью вошел во двор.

3

У помойной ямы стояла коза. Была она безрогая, и вымя у ней висело до земли.

«Жаль,— с грустью подумал Забежкин,— старая коза, дай бог ей здоровья».

Во дворе мальчишки в чижика играли. А у крыльца девка какая-то столовые ножи чистила. И до того она с остервенением чистила, что Забежкин, забыв про козу, остановился в изумлении.

Девка яростно плевала на ножи, изрыгала слюну прямотаки, втыкала ножи в землю и, втыкая, сама качалась на корточках и хрипела даже.

«Вот дура-то»,— подумал Забежкин.

Девка изнемогала.

— Эй, тетушка,— сказал Забежкин громко,— где же это тут комната внаймы сдается?

Но вдруг открылось окно над Забежкиным, и чья-то бабья голова с флюсом, в платке вязаном, выглянула во двор.

— Товарищ,— спросила голова,— вам не ученого ли агронома Пампушкина нужно будет?

— Нет,— ответил Забежкин, снимая фуражку,— не имею чести... Я насчет, как бы сказать, комнаты, которая внаймы.

— А если ученого агронома Пампушкина,— продолжала голова,— так вы не ждите зря, он нынче принять никак не может, он ученый труд пишет про что-то.

Голова обернулась назад и через минуту снова выглянула.

— «Несколько слов в защиту огородных вредителей»...

— Чего-с? — спросил Забежкин.

— А это кто спрашивает? — сказал агроном, сам подходя к окну.— Здравствуйте, товарищ!.. Это, видите ли, статья: «Несколько слов в защиту огородных вредителей»... Да вы поднимитесь наверх.

— Нет,— сказал Забежкин, пугаясь,— я комнату, которая внаймы...

— Комнату? — спросил агроном с явной грустью.— Ну, так вы после комнаты... Да вы не стесняйтесь... Третий номер, ученый агроном Пампушкин... Каждая собака знает...

Забежкин кивнул головой и подошел к девке.

— Тетушка,— спросил Забежкин,— это чья же, например, коза будет?

— Коза-то? — спросила девка.— Коза эта из четвертого номера.

— Из четвертого? — охнул Забежкин.— Да это не там ли, извиняюсь, комната сдается?

— Там,— сказала девка.— Только сдана комната.

— Как же так? — испугался Забежкин.— Не может того быть. Да ты что, опупела, что ли? Как же так — сдана комната, ежели я и время потратил, проезд, хлопоты...

— А не знаю,— ответила девка,— может, и не сдана.

— Ну, то-то — не знаю, дура такая. Не знаешь, так лучше и не говори. Не извращай событий. Ты вот про кур лучше скажи — чьи куры ходят?

— Куры-то? Куры Домны Павловны.

— Это какая же Домна Павловна? Не комнату ли она сдает?

— Сдана комната! — с сердцем сказала девка, в подол собирая ножи.

— Врешь. Ей-богу, врешь. Объявление есть. Ежели бы объявления не было, тогда иное дело — я бы не сопротивлялся. А тут — объявление. Колом не вышибешь... Заладила сорока Якова: «Сдана, сдана...» Дура такая. Ты лучше скажи: индейский петух, наверное, уже не ее?

— Ее.

— Ай-я-яй! — удивился Забежкин.— Так ведь она же богатая дама?

Девка ничего не ответила, икнула в ладонь и ушла.

Забежкин подошел к козе и пальцем потрогал ей морду.

«Вот,— подумал Забежкин,— ежели сейчас лизнет в руку — счастье: моя коза».

Коза понюхала руку и шершавым тонким языком лизнула Забежкина.

— Ну, ну, дура! — сказал, задыхаясь, Забежкин.— Корку хочешь? Эх, была давеча в кармане корка, да не найду что-то... Вспомнил: съел я ее, Машка. Съел, извиняюсь... Ну, ну, после дам...

Забежкин в необыкновенном волнении нашел четвертую квартиру и постучал в зеленую рваную клеенку.

— Вам чего? — спросил кто-то, открывая дверь.

— Комната...

— Сдана комната! — сказал кто-то басом, пытаясь закрыть дверь. Забежкин крепко ее держал руками.

— Позвольте,— сказал Забежкин пугаясь,— как же так? Позвольте же войти, уважаемый товарищ... Как же так? Я время потратил... Проезд... Объявление ведь...

— Объявление? Иван Кириллыч! Ты что ж это объявление-то не снял?

Тут Забежкин поднял глаза и увидел, что разговаривает он с дамой и что дама — размеров огромных. И нос у ней никак не меньше забежкинского носа, а корпус такой обильный, что из него смело можно двух Забежкиных выкроить, да еще кой-что останется.

— Сударыня, уважаемая мадам,— сказал Забежкин, снимая фуражку и для чего-то приседая,— мне бы хоть чуланчик какой-нибудь отвратительный, конурку, конурёнушку...

— А вы из каких будете? — спросила изрядным басом Домна Павловна.

— Служащий...

— Ну что ж,— сказала Домна Павловна, вздыхая,— пущай тогда. Есть у меня еще одна комнатушка. Не обижайтесь только — подле кухни...

Тут Домна Павловна по неизвестной причине еще раз грустно вздохнула и повела Забежкина в комнаты.

— Вот,— сказала она,— смотрите. Скажу прямо: дрянь комната. И окно дрянь. И вид никакой, а в стену. А вот с хорошей комнатой опоздали, батюшка. Сдана хорошая комната. Военному телеграфисту сдана.

— Прекрасная комната! — воскликнул Забежкин.— Мне очень нравятся такие комнаты подле кухни... Разрешите — я и перееду завтра...

— Ну что ж,— сказала Домна Павловна.— Пущай тогда. Переезжайте.

Забежкин низенько поклонился и вышел. Он подошел к воротам, еще раз с грустью прочел объявление, сложил его и спрятал в карман.

«Да-с,— подумал Забежкин,— с трудом, с трудом счастье дается... Вот иные в Америку и в Индию очень просто ездят и комнаты снимают, а тут... Да еще телеграфист... Какой это телеграфист? А ежели, скажем, этот телеграфист да помешает? С трудом, с трудом счастье дается!»

4

Забежкин переехал. Это было утром. Забежкин вкатил тележку во двор, и тотчас все окна в доме открылись, и бабья голова с флюсом, высунувшись из окна на этот раз по пояс, сказала: «Ага!» И ученый агроном

Пампушкин, оставив ученую статью «Несколько слов в защиту вредителей», подошел к окну.

И сама Домна Павловна милостиво сошла вниз.

Забежкин развязывал свое добро.

— Подушки! — сказали зрители.

И точно: две подушки, одна розовая с рыжим пятном, другая синенькая в полоску, были отнесены наверх.

— Сапоги! — вскричали все в один голос.

Перед глазами изумленных зрителей предстали четыре пары сапог. Сапоги были новенькие, и сияли они носками, и с каждой пары бантиком свешивались шнурки. И бабья голова с флюсом сказала с уважением: «Ого!» И Домна Павловна милостиво потерла полные свои руки. И сам ученый агроном прищурил свои ученые глаза и велел мальчишкам отойти от тележки, чтобы видней было.

— Книги...— конфузясь, сказал Забежкин, вытаскивая три запыленные книжки.

— Книги?

И ученый агроном счел необходимым спуститься вниз.

— Очень приятно познакомиться с интеллигентным человеком,— сказал агроном, с любопытством рассматривая сапоги.— Это что же,— продолжал он,— это не по ученому ли пайку вы изволили получить сапоги эти?

— Нету,— сказал Забежкин, сияя,— это в некотором роде частное приобретение и, так сказать, движимость. Иные, знаете ли, деньги предпочитают в брильянтах держать... а, извиняюсь, что такое брильянты? Только что блеск да бессмысленная игра огней...

— М-м,— сказал агроном с явным сожалением,—то-то я и смотрю — что такое? — будто бы и не такие давали по ученому. Цвет, что ли, не такой?

— Цвет! — сказал Забежкин в восторге.— Это цвет, наверное, не такой. Такой цвет — раз, два и обчелся...

— Катюшечка! — крикнул агроном голове с флюсом.— Вынеси-ка, голубчик, сапоги, что давеча по ученому пайку получали.

Сожительница агронома вынесла необыкновенных размеров рыжие сапоги. Вместе с сожительницей во двор вышли все жильцы дома. Вышла даже какая-то очень древнего вида старушка, думая, что раздают сапоги бесплатно. Вышел и телеграфист, ковыряя в зубах спичкой.

— Вот! — закричал агроном, обильно брызгая в Забежкина слюной.— Вот, милостивый государь, обратите ваше внимание!

Агроном пальцем стучал в подметку, пробовал ее зуба-

ми, подбрасывал сапоги вверх, бросал их наземь — они падали, как поленья.

— Необыкновенные сапоги! — орал агроном на Забежкина таким голосом, точно Забежкин вел агронома расстреливать, а тот упирался.— Умоляю вас, взгляните! Нате! Бросайте их на землю, бросайте — я отвечаю!

Забежкин сказал:

— Да. Очень необыкновенные сапоги. Но ежели их на камни бросать, то они могут не выдержать...

— Не выдержат? Эти-то сапоги не выдержат? Да чувствуете ли вы, милостивый государь, какие говорите явные пустяки? Знаете ли, что вы меня даже оскорбляете этим. Не выдержат! — горько усмехнулся агроном, наседая на Забежкина.

— На камни, безусловно, выдержат,— с апломбом сказал вдруг телеграфист, вылезая вперед,— а что касается... Под тележку если, например, и тележку накатить враз — нипочем не выдержат.

— Катите! — захрюкал агроном, бросая сапоги.— Катите, на мою голову!

Забежкин налег на тележку и двинул ее. Сапоги помялись и у носка лопнули.

— Лопнули! — закричал телеграфист, бросая фуражку наземь и топча ее от восторга.

— Извиняюсь,— сказал агроном Забежкину,— это нечестно и нетактично, милостивый государь! Порядочные люди прямо наезжают, а вы боком... Это подло даже, боком наезжать. Нетактично и по-хамски с вашей стороны!

— Пускай он отвечает,— сказала сожительница агроному.— Он тележку катил, он и отвечает. Это каждый человек начнет на сапоги тележку катить — сапог не напасешься.

— Да, да,— сказал агроном Забежкину,— извольте теперь отвечать полностью.

— Хорошо,— ответил печально Забежкин, интересуясь телеграфистом,— возьмите мою пару.

Телеграфист, выплюнув изо рта спичку и склонившись над сапогами, хохотал тоненько с привизгиваньем, будто его щекотали под мышками.

«Красавец! — с грустью думал Забежкин.— И шея хороша, и нос нормальный, и веселиться может...»

Так переехал Забежкин.

5

На другой день все стало ясно: телеграфист Забежкину мешал.

Не Забежкину несла Домна Павловна козье молоко, не Забежкину пеклось и варилось на кухне, и не для Забежкина Домна Павловна надела чудный сиреневый капот. Все это пеклось, варилось и делалось для военного телеграфиста, Ивана Кирилловича.

Телеграфист лежал на койке, тренькал на гитаре и пел нахальным басом. В песнях ничего смешного не было, но Домна Павловна смеялась.

«Смеется,— думал Забежкин, слушая,— и, наверное, сидит в ногах телеграфистовых. Смеется... Значит, ей, дуре, весело, а весело, значит, ощущает что-нибудь. Так ведь и опоздать можно».

Целый день Забежкин провел в тоске. Наутро пошел в канцелярию. Работать не мог. И какая, к чертовой матери, работа, ежели, скажем, такое беспокойство. Мало того, что о телеграфисте беспокойство, так и хозяйство все-таки. Тоже вот домой нужно прийти. Там на двор. Кур проверить. Узнать — мальчишки не гоняли ли, а если, скажем, гонял кто — вздрючить того. Козе тоже корку отнести нужно... Хозяйство...

«А хоть и хозяйство,— мучился Забежкин,— да чужое хозяйство. И надежда малюсенькая. Малюсенькая, оттого что телеграфист мешает».

Придя домой, Забежкин прежде всего зашел в сарай.

— Вот, Машка,— сказал Забежкин козе,— кушай, дура. Ну, что смотришь? Грустно? Грустно, Машка. Телеграфист мешает... Убрать его, Машка, требуется. Ежели не убрать — любовь корни пустит.

Коза съела хлеб и обнюхивала теперь Забежкину руку.

— А как убрать его, Машка? Он, Машка, спортсмен, крепкий человек, не поддастся на пустяки. Он, сукин сын, давеча в трусиках бегал. Закаленный. А я, Машка, человек ослабший, на меня революция подействовала... И как убрать, ежели он и сам заметно хозяйством интересуется. Чего это он, скажи, пожалуйста, заходил в сарай давеча?

Коза тупо смотрела на Забежкина.

— Ну, пойду, Машка, пойду, может, и выйдет что. Тут с телеграфиста начать надо. Телеграфист — главная запятая. Не будь его, я бы, Машка, вчера еще с Домной Павловной кофей бы пил... Ну, пойду...

И Забежкин пошел домой. Он долго ходил по своей

узкой комнате, бубнил под нос невнятное, размахивая руками, потом вынул из комода сапоги и, грустно покачивая головой, завернул одну пару в бумагу. И пошел к телеграфисту.

В комнату Забежкин вошел не сразу. Он постоял у двери Ивана Кирилловича, послушал. Телеграфист кряхтел, ворочался по комнате, двигал стулом.

«Сапоги чистит»,— подумал Забежкин и постучал.

Точно: телеграфист чистил сапоги. Он дышал на них, внимательно обводил суконкой и ставил на стул то одну, то другую ногу.

— Пардон,— сказал телеграфист,— я ухожу, извиняюсь, скоро.

— А ничего,— сказал Забежкин,— я на секундочку... Я, как сосед ваш по комнате и, так сказать, под одним уважаемым крылом Домны Павловны, почел долгом представиться: сосед и бывший коллежский регистратор Петр Забежкин.

— Ага,— сказал телеграфист,— ладно. Пожалуйста.

— И, как сосед,— продолжал Забежкин,— считаю своим долгом, по кавказскому обычаю, подарок преподнесть — сапожки.

— Сапоги? За что же, помилуйте, сапоги? — спросил телеграфист, любуясь сапогами.— Мне даже, напротив того, неловко, уважаемый сосед... Я не могу так, знаете ли.

— Ей-богу, возьмите...

— Разве что по кавказскому обычаю,— сказал телеграфист, примеряя сапоги.— А вы что же, позвольте узнать, уважаемый сосед, извиняюсь, на Кавказ путешествовали?.. Горы, наверное? Эльбрус, черт его знает какой? Нравы... Туда, уважаемый сосед, и депеши на другой день только доходят... Чересчур отдаленная страна...

— Нет,— сказал Забежкин,— это не я. Это Иван Нажмудинович на Кавказ ездил. Он даже в Нахичевани был...

Еще Забежкин хотел рассказать про кавказские нравы, но вдруг сказал:

— Батюшка, уважаемый сосед, молодой человек! Вот я сейчас на колени опущусь...

И Забежкин встал на колени. Телеграфист испугался и закрыл рот.

— Батюшка, уважаемый товарищ, бейте меня, уничтожайте! До боли бейте.

Телеграфист, думая, что Забежкин начнет его сейчас бить, размахнулся и ударил Забежкина.

— Ну, так! — сказал Забежкин, падая и вставая снова.—Так, спасибо! Осчастливили. Слезы у меня текут... Дрожу и решенья жду — съезжайте с квартиры, голубчик, уважаемый товарищ.

— Как же так? — спросил телеграфист, закрывая рот.— Странные ваши шутки.

— Шутки! Драгоценное слово — шутки! Батюшка сосед, Иван Кириллович, вам с Домной Павловной баловство и шутки, а мне — настоящая жизнь. Вот весь перед вами заголился... Съезжайте с квартиры, в четверг же съезжайте... Остатний раз прошу. Плохо будет.

— Чего? — спросил телеграфист.— Плохо? Мне до самой смерти плохо не будет... А если приспичило вам... да нет, странные шутки... Не могу-с.

— Батюшка, я еще чем-нибудь попрошу...

— Не могу-с... Да и за что же мне с квартиры съезжать... Мне нравится эта квартира. Да вы, впрочем, хорошенько попросите... Расход ведь в переездах, и вообще вы попросите. Я люблю, когда меня просят.

Забежкин бросился в свою комнату и через минуту вернулся.

— Вот! — сказал он, задыхаясь.— Вот еще сапожки и шнурки вот запасные.

Телеграфист примерил сапоги и сказал:

— Жмут. Ну, ладно. Дайте срок — съеду. Только странные ваши шутки...

Забежкин ушел в свою комнату и тихонько сел у окна.

6

Забежкин на службу не пошел.

С куском хлеба он пробрался в сарай и сел перед козой на корячки.

— Готово, Машка. Шабаш. Убрал вчера телеграфиста. Кобенился и сопротивлялся, ну да ничего — свалил. Сапоги ему, Машка, отдал... Теперь что же, Машка? Теперь Домна Павловна осталась. Тут, главное, на чувства рассчитывать нужно. На эстетику, Машка. Розу сейчас пойду куплю. Вот, скажу, вам роза — нюхайте... Завтра куплю, а нынче запарился я, Машка... Ну, ну, нету больше. Хватит.

Забежкин прошел в свою комнату и лег на кровать. Розу он купить не успел. Домна Павловна пришла к нему раньше.

Она сказала:

— Ты что ж это сапогами-то даришься? Ты к чему это сапоги телеграфисту отдал?

— Подарил я, Домна Павловна. Хороший он очень человек. Чего ж, думаю, ему не подарить? Подарил, Домна Павловна.

— Это Иван Кириллыч-то хороший человек? — спросила Домна Павловна.— Неделю, подлец, не живет и до свиданья. С квартиры съезжает... Это он-то хороший человек? Отвечай, если спрашиваю?!

— А я, Домна Павловна, думал...

— Чего ты думал? Чего ты, раззява, думал?

— Я думал, Домна Павловна, он и вам нравится. Вы завсегда с ним хохочете...

— Это он-то мне нравится? — Домна Павловна всплеснула руками.— Да он цельные дни бильярды гоняет, а после с девчонками... Чего я в нем не видала? Да он и внимания-то своего на меня не обратит... Ну и врать же ты... Да он, прохвост ты человек, при наружности своей любую тонконогую возьмет, а не меня. Ну и дурак же ты.

— Домна Павловна,— сказал Забежкин,— про тонконогую это до чего верно вы сказали — слов нет. Это такой человек, Домна Павловна... Он заврался давеча: люблю, говорит, тонконогих, а на полненькую и внимания не обращу. Ведь это он, Домна Павловна, про вас намекал.

— Ну? — спросила Домна Павловна.

— Ей-богу, Домна Павловна... Он тонкую возьмет, ейбогу, правда — уколоться об локоть можно, а он и рад, гадина. А вот я, Домна Павловна, я на крупную фигуру всегда обращу свое внимание. Я, Домна Павловна, такими, как вы, увлекаюсь.

— Ври еще!

— Нет, Домна Павловна, мне нельзя врать. Вы для меня — это очень превосходная дама... И для многих тоже... Ко мне, помните, Домна Павловна, человек заходил — тоже заинтересовался. Это, спрашивает, кто же такая гранд-дам интереснейшая?

— Ну? — спросила Домна Павловна.— Так и сказал?

— Так и сказал, дай бог ему здоровья. Это, говорит, не актриса ли Люком?

Домна Павловна села рядом с Забежкиным.

— Да это какой же, не помню чего-то? Это не тот ли — рыжеватый будто и угри на носу?

— Тот, Домна Павловна. Тот самый, и угри на носу, дай бог ему здоровья!

— А я думала, он к Ивану Кириллычу прошел. Так ты бы его к столу пригласил. Сказал бы: вот, мол, Домна Павловна кофею просит выкушать... Ну, а что он еще такое говорил? Про глаза ничего не говорил?

— Нет,— сказал Забежкин, задыхаясь,— нет, Домна Павловна, про глаза это я говорил. Я говорил: люблю такие превосходные глаза, млею даже, как посмотрю... Вообще, многоуважаемые глаза...

— Ну, ну, уж и любишь? — удивилась Домна Павловна.— Поел, может, чего лишнего — вот и любишь.

— Поел! — вскричал Забежкин.— Это я-то поел, Домна Павловна! Нет, Домна Павловна, раньше это точно я превосходно кушал, рвало даже, а нынче я, Домна Павловна, на хлебце больше.

— Глупенький,— сказала Домна Павловна,— ты бы ко мне пришел. Вот, сказал бы...

— А я вас, Домна Павловна, совершенно люблю! — вскричал Забежкин.— Скажите: упади, Забежкин, из окна — упаду, Домна Павловна! Как стелечка на камни лягу и имя еще прославлять буду!

— Ну, ну,— сказала Домна Павловна конфузясь.

И ушла вдруг из комнаты. И только Забежкин хотел к козе пройти, как Домна Павловна снова вернулась.

— Побожись,— сказала она строго,— побожись, что верно сказал про чувства...

— Вот вам крест и икона святая...

— Ну ладно. Не божись зря. Кольца купить нужно... Чтоб венчанье и певчие.

— И певчие! — закричал Забежкин.— И певчие, Домна Павловна. И все так великолепно, все так благородно... Дозвольте же в ручку поцеловать, Домна Павловна! Вот-с... А я-то, Домна Павловна, думал — чего это мне не по себе все? На службе невтерпеж даже, домой рвусь... А это чувство...

Домна Павловна стояла торжественно посреди комнаты.

Вокруг нее ходил Забежкин и говорил:

— Да-с, Домна Павловна, чувство... Давеча я, Домна Павловна, опоздал на службу,— размечтался на разные разности, а когда пришел, Иван Нажмудинович ужасно так строго на меня посмотрел. Я сел и работать не могу. Сижу и на книжке де и пе рисую. А Иван Нажмудинович галочки сосчитал (у нас, Домна Павловна, всегда, кто опоздал, галочку насупротив фамилии пишут), так Иван Нажмудинович и говорит: «Шесть галочек насупротив фамилии

Забежкин... Это не поперли бы его по сокращению штатов...»

— А пущай! — сказала Домна Павловна.— И так хватит.

Венчанье Домна Павловна назначила через неделю.

7

В тот день, когда телеграфист собрал в узлы свои вещи и сказал: «Не поминайте лихом, Домна Павловна, завтра я съеду»,— в тот день все погибло.

Ночью Забежкин сидел на кровати перед Домной Павловной и говорил:

— Мне, Домна Павловна, счастье с трудом дается. Иные очень просто и в Америку ездят, и комнаты внаймы берут, а я, Домна Павловна... Да вот, не пойди я тогда за прохожим, ничего бы и не было. И вас бы, Домна Павловна, не видеть мне, как ушей своих... А тут прохожий. Объявление. Девицам не тревожиться. Хе-хе, плюха-то какая девицам, Домна Павловна!

— Ну, спи, спи! — строго сказала Домна Павловна.— Поговорил и спи.

— Нет,— сказал Забежкин, поднимаясь,— не могу я спать, у меня, Домна Павловна, грудь рвет. Порыв... Вот я, Домна Павловна, мысль думаю... Вот коза, скажем, Домна Павловна, такого счастья не может чувствовать...

— А?

— Коза, я говорю, Домна Павловна, не может ощущать такого счастья. Что ж коза? Коза — дура. Коза и есть коза. Ей бы, дуре, только траву жрать. У ней и запросов никаких нету. Ну, пусти ее на Невский — срамота выйдет, недоразумение... А человек, Домна Павловна, все-таки запросы имеет. Вот, скажем, меня взять. Давеча иду по Невскому — тыква в окне. Зайду, думаю, узнаю, какая цена той тыкве. И зашел. И все-таки человеком себя чувствуешь. А что ж коза, Домна Павловна? Вот хоть бы и Машку нашу взять — дура, дура и есть. Человек и ударить козу может, и бить даже может и перед законом ответственности не несет — чист, как стеклышко.

Домна Павловна села.

— Какая коза,— сказала она,—иная коза при случае и забодать может человека.

— А человек, Домна Павловна, козу палкой, палкой по башке по козлиной.

— Ну и коза, коза может молока не дать, как телеграфисту давеча.

— Как телеграфисту? — испугался Забежкин.— Да чего ж он ходит туда? Да как же это коза может молока не дать, ежели она дойная?

— А так и не даст!

— Ну, уж это пустяки, Домна Павловна,— сказал Забежкин, расхаживая по комнате.— Это уж... Что ж это? Это бунт выходит.

Домна Павловна тоже встала.

— Что ж это? — сказал Забежкин.— Да ведь это же, Домна Павловна, вы про революцию говорите... А вдруг да когда-нибудь, Домна Павловна, животные революцию объявят? Козы, например, или коровы, которые дойные. А? Ведь может же такое быть когда-нибудь? Начнешь их доить, а они бодаются, копытами по животам бьют. И Машка наша может копытами... А ведь Машка наша, Домна Павловна, забодать, например, Ивана Нажмудиныча может?

— И очень просто,— сказала Домна Павловна.

— А ежели, Домна Павловна, не Иван Нажмудиныча забодает Машка, а комиссара, товарища Нюшкина? Товарищ Нюшкин из мотора выходит, Арсений дверку перед ним — пожалуйте, дескать, товарищ Нюшкин, а коза Машка, спрятавшись, за дверкой стоит. Товарищ Нюшкин — шаг, и она подойдет да и тырк его в живот, по глупости.

— Очень просто,— сказала Домна Павловна.

— Ну, тут народ стекается. Конторщики. А товарищ Нюшкин очень даже рассердится. «Чья, скажет, это коза меня забодала?» А Иван Нажмудиныч уж тут, задом вертит. «Это коза, скажет, Забежкина. У него, скажет, кроме того, насупротив фамилии шесть галочек».— «А, Забежкина,— скажет товарищ комиссар,— ну так уволен он по сокращению штатов». И баста.

— Да что ты все про козу-то врешь? — спросила Домна Павловна.— Откуда это твоя коза?

— Как откуда? — сказал Забежкин.— Коза, конечно, Домна Павловна, не моя, коза ваша, но ежели брак, хоть бы даже гражданский, и как муж, в некотором роде...

— Да ты про какую козу брендишь-то? — рассердилась Домна Павловна.— Ты что, у телеграфиста купил ее?

— Как у телеграфиста? — испугался Забежкин.— Ваша коза, Домна Павловна.

— Нету, не моя коза... Коза телеграфистова. Да ты, прохвост этакий, идол собачий, не на козу ли нацелился?

— Как же,— бормотал Забежкин,— ваша коза. Ей-богу, ваша коза, Домна Павловна.

— Да ты что, опупел? Да ты на козу рассчитывал? Я сию минуту тебя наскрозь вижу. Все твои кишки вижу...

В необыкновенном гневе встала с кровати Домна Павловна и, покрыв одеялом обильные свои плечи, вышла из комнаты. А Забежкин прилег на кровать да так и пролежал до утра не двигаясь.

8

Утром пришел к Забежкину телеграфист.

— Вот,— сказал телеграфист, не здороваясь,— Домна Павловна приказала, чтобы в двадцать четыре часа, иначе — судом и следствием.

— А я,— закричала из кухни Домна Павловна,— а я, так и передай ему, Иван Кириллыч, скотине этому, я и видеть его не желаю.

— А Домна Павловна,— сказал телеграфист,— и видеть вас не желает.

Домна Павловна кричала из кухни:

— Да посмотри, Иван Кириллыч, не прожег ли он матрац, сукин сын. Курил давеча. Был у меня один такой субчик — прожег. И перевернул, подлец,— не замечу, думает. Я у них, у подлецов, все кишки наскрозь вижу. Сволочь!..

— Извиняюсь,— сказал телеграфист Забежкину,— пересядьте на стул.

Забежкин печально пересел с кровати на стул.

— Куда же я перееду? — сказал Забежкин.— Мне и переехать-то некуда...

— Он, Домна Павловна, говорит, что ему и переехать некуда,— сказал телеграфист, осматривая матрац.

— А пущай куда хочет, хоть кошке под хвост! Я в его жизнь не касаюсь.

Телеграфист Иван Кириллыч осмотрел матрац, заглянул, без всякой на то нужды, под кровать и, подмигнув Забежкину глазом, ушел.

Вечером Забежкин нагрузил тележку и выехал неизвестно куда.

А когда выезжал из ворот, то встретил агронома Пампушкина.

Агроном спросил:

— Куда? Куда это вы, молодой человек?

Забежкин тихо улыбнулся и сказал:

— Так, знаете ли... прогуляться...

Ученый агроном долго смотрел ему вслед. На тележке поверх добра на синей подушке стояла одна пара сапог.

9

Так погиб Забежкин.

Когда против его фамилии значилось восемь галок, бухгалтер Иван Нажмудинович сказал:

— Шабаш. Уволен ты, Забежкин, по сокращению штатов.

Забежкин записался на биржу безработных, но работы не искал. А как жил — неизвестно.

Однажды Домна Павловна встретила его на Дерябкинском рынке. На толчке. Забежкин продавал пальто.

Был Забежкин в рваных сапогах и в бабьей кацавейке. Был он небрит, и бороденка у него росла почему-то рыжая. Узнать его было трудно!

Домна Павловна подошла к нему, потрогала пальто и спросила:

— Чего за пальто хочешь?

И вдруг узнала — это Забежкин.

Забежкин потупился и сказал:

— Возьмите так, Домна Павловна.

— Нет,— ответила Домна Павловна хмурясь,— мне не для себя нужно. Мне Иван Кириллычу нужно. У Ивана Кириллыча пальто зимнего нету... Так я не хочу, а вот что: денег я тебе, это верно, не дам, а вот приходи — будешь обедать по праздникам.

Пальто накинула на плечи и ушла.

В воскресенье Забежкин пришел. Обедать ему дали на кухне. Забежкин конфузился, подбирал грязные ноги под стул, качал головой и ел молча.

— Ну как, брат Забежкин? — спросил телеграфист.

— Ничего-с, Иван Кириллыч, терплю,— сказал Забежкин.

— Ну, терпи, терпи. Русскому человеку невозможно, чтобы не терпеть. Терпи, брат Забежкин.

Забежкин съел обед и хлеб спрятал в карман.

— А я-то думал,— сказал телеграфист, смеясь и подмигивая,— я-то, Домна Павловна, думал — чего это он, сукин сын, икру передо мной мечет? А он вот куда сети закинул — коза.

Когда Забежкин уходил, Домна Павловна спросила тихо:

— Ну, а сознайся, соврал ведь ты насчет глаз вообще?

— Соврал, Домна Павловна, соврал,— сказал Забежкин, вздыхая.

— Н-ну, иди, иди,— нахмурилась Домна Павловна,— не путайся тут!

Забежкин ушел.

И каждый праздник приходил Забежкин обедать. Телеграфист Иван Кириллыч хохотал, подмигивал, хлопал Забежкина по животу и спрашивал:

— И как же это, брат Забежкин, ошибся ты?

— Ошибся, Иван Кириллыч...

Домна Павловна строго говорила:

— Оставь, Иван Кириллыч! Пущай ест. Пальто тоже денег стоит.

После обеда Забежкин шел к козе. Он давал ей корку и говорил:

— Нынче был суп с луком и турнепс на второе...

Коза тупо смотрела Забежкину в глаза и жевала хлеб. А после облизывала Забежкину руку.

Однажды, когда Забежкин съел обед и корку спрятал в карман, телеграфист сказал:

— Положь корку назад. Так! Пожрал — и до свиданья. К козе нечего шляться!

— Пущай,— сказала Домна Павловна.

— Нет, Домна Павловна, моя коза! — ответил телеграфист.— Не позволю... Может, он мне козу испортит по злобе. Чего это он там с ней колдует?

Больше Забежкин обедать не приходил.

АПОЛЛОН И ТАМАРА

1

Жил в одном городе на Большой Проломной улице свободный художник — тапер Аполлон Семенович, по фамилии Перепенчук.

Фамилия эта — Перепенчук — встречается в России не часто, так что читатели могут даже подумать, что речь сейчас идет о Федоре Перепенчуке, о фельдшере из городского приемного покоя, тем более что оба они жили в одно время и на одной и той же улице и по характеру не то чтобы были схожи, но в некотором скептическом отношении к жизни и в образе своих мыслей ихние характеры как-то перекликались.

Но только фельдшер Федор Перепенчук помер значительно пораньше, да и, вернее, не сам помер, не своей то есть смертью, а он удавился. И случилось это незадолго до IV конгресса.

Об этом газеты своевременно трубили: покончил, дескать, с собой при исполнении служебного долга фельдшер из городского приемного покоя Федор Перепенчук, причина — разочарование в жизни...

Этакую, правда, нелепость могут досужие репортеришки написать. Разочарование в жизни... Федор Перепенчук и разочарование в жизни... Ах, какие это пустяки. Какая несусветная околесица!

Это правда: поверхностно размышляя, точно, жил, жил человек, задумывался о бессмысленном человеческом существовании и руки на себя наложил. Точно, на первый взгляд — разочарование. Но тот, кто поближе знал Федора Перепенчука, не сказал бы таких пустяков.

Это к Аполлону Перепенчуку, таперу и музыканту, могло бы подойти это слово — разочарование. Жил потому что человек бездумно, наслаждался прелестью своего бытия, а после, от причин исключительно материальных и физических и от всяких катастроф и коллизий, ослаб

и к жизни, так сказать, потерял вкус. Но не будем забегать вперед, о нем, об Аполлоне Перепенчуке, и будет наше повествование.

А вот Федор Перепенчук... Вся сила его личности была в том, что не от бедности, не от катастроф и коллизий он пришел к своим мыслям, нет, мысли его родились путем зрелого, логического размышления значительного человека. О нем не только что рассказ написать, о нем целые тома сочинений написать можно было бы. Но только не каждый писатель взялся бы исполнить труд этот. Не каждый бы мог быть биографом и, так сказать, жизнеописателем дел и мыслей этого выдающегося человека. Тут потребовался бы сочинитель величайшего ума и огромной эрудиции, а также и знание мельчайших вещей и вещичек — и о происхождении человека, и о зарождении вселенной, и всякие философские воззрения, теория относительности и другие там разные теории, и где какая звезда расположена, и даже хронология исторических событий,— все это потребовалось бы для изучения личности Федора Перепенчука.

И в этом отношении Аполлону Перепенчуку ни в какой мере с ним не сравняться.

Аполлон Перепенчук был прямо-таки перед ним пустяковый человек, дрянцо даже... Не в обиду будет сказано его родственникам. А впрочем, родственников по прямой линии у него и не осталось, разве что тетка его по отцу, Аделаида Перепенчук. Ну, да и та в изящной словесности, пожалуй что, ничего не понимает. Пущай обижается.

Приятелей у него тоже не осталось. Да у таких людей, как Федор и Аполлон Перепенчуки, и не могло быть приятелей. У Федора никогда не было, а Аполлон растерял их, как впал в нищету.

И какой это мог быть приятель у Федора Перепенчука, ежели людей он не любил, презирал, вернее — образ своей жизни вел замкнутый, строгий даже, и с людьми если и разговаривал, то для того, чтобы механически высказать накопившиеся воззрения, а не затем, чтобы услышать возгласы одобрения и критику.

Да и кто, какой человек величайшего ума смог бы ответить на его гордые мысли:

«Для чего существует человек? Есть ли в жизни у него назначение, и если нет, то не является ли жизнь, вообще говоря, отчасти бессмысленной?»

Конечно, какой-нибудь приват-доцент или профессор на государственном золотом обеспечении сказал бы с неприятной легкостью, что человек существует для дальней-

шей культуры и для счастья вселенной. Но все это туманно и неясно и простому человеку даже омерзительно. И тогда и всплывают разные удивительные вещи: для чего, скажем, существует жук или кукушка, которые явно никому никакой пользы не приносят, а тем более для дальнейшей культуры, и в какой мере жизнь человека важнее жизни кукушки, птицы, которая могла бы и не жить и мир от этого бы не изменился.

Но тут нужно гениальное перо и огромные знания, чтобы хоть отчасти отразить величественные замыслы Федора Перепенчука.

И, может, и не следовало бы тревожить тень замечательного человека, если б в свое время отчасти не дошел бы до этих мыслей ученик по духу и дальний его родственник Аполлон Семенович Перепенчук, тапер, музыкант и свободный художник, проживавший на Большой Проломной улице.

Он проживал на этой улице за несколько лет до войны и революции.

2

Слово это — тапер — ничуть для человека не унизительно. Правда, некоторые люди, и в том числе сам Аполлон Семенович Перепенчук, до некоторой степени стеснялись произносить это слово на людях, а в особенности в дамском обществе, превратно полагая, что дамы от этого конфузятся. И если Аполлон Семенович и называл себя тапером, то непременно с прибавлением — артист, свободный художник или еще как-нибудь по-иному.

Но это несправедливо.

Тапер — это значит музыкант, пианист, но пианист, стесненный в материальных обстоятельствах и вынужденный оттого искусством своим забавлять веселящихся людей.

Профессия эта не столь ценна, как, скажем, театр или живопись, однако и это есть подлинное искусство.

Конечно, существует в этой профессии множество слепых старичков и глухонемых старушек, которые снижают искусство это до обыкновенного ремесла, бессмысленно ударяя по клавишам пальцами, наигрывая разные там польки, полечки и мажоры.

Но под этот разряд ни в какой мере нельзя было отнести Аполлона Семеновича Перепенчука. Истинное призвание,

темперамент артиста, лиризм и вдохновение его — все шло вразрез с обычным пониманием ремесла тапера.

Был при этом Аполлон Семенович Перепенчук в достаточной мере красив и даже изыскан. От лица его веяло вдохновением и необыкновенным благородством. И всегда гордо закушенная нижняя губа и надменный профиль артиста делали фигуру его похожей на изваяние.

Даже кадык, простой, обыкновенный кадык, или, как он еще иначе называется, адамово яблоко, то, что у других людей было омерзительно и вызывало насмешки, у него, у Аполлона Перепенчука, при постоянно гордо закинутой голове выглядело благородно и даже напоминало что-то греческое.

А ниспадающие волосы! А бархатная блуза! А темно-зеленый, до пояса, галстук! Собственно говоря, необыкновеннейшей красотой наделен был человек.

А те моменты, когда он появлялся на балу своей стремительной походкой и статуей замирал в дверях, как бы окидывая все общество надменным взглядом... Да, неотразимейший был человек. Не одна женщина лила по нем обильные слезы. А как сердито сторонились его мужчины! Как прятали от него жен под предлогом, что неловко, дескать, жене государственного, скажем, чиновника трепаться с каким-то таперишкой.

А то незабываемое событие, когда старший делопроизводитель казенной палаты получил анонимное письмо с объяснением, что жена его состоит в нежных отношениях и в предосудительной связи с Аполлоном Перепенчуком!.. Та уморительная сцена, когда делопроизводитель этот два часа караулил на улице Аполлона Семеновича, чтобы помять ему бока, и по ошибке, введенный в заблуждение длинными волосами, избил секретаря городской управы...

Ах, смешные были дела! И что всего смешнее, что все скандалы, записочки и дамские слезы не имели под собой никакой почвы. Имея счастливую внешность ловеласа, романтика и разорителя чужих семей, Аполлон Семенович Перепенчук был, напротив того, необыкновенно робкий и тихий человек.

Он даже чуждался женщин, сторонился их, считая, что настоящий, истинный артист не должен связывать ничем своей жизни...

Правда, женщины писали ему записки и письма, где назначали ему тайные свидания и называли его ласкательными и уменьшительными именами, но он был непоколебим.

Записочки и письма он бережно хранил в шкатулке, в свободное время разбирая их, нумеруя и связывая по пачкам. Но жил уединенно и даже замкнуто. И всем знакомым своим при случае любил сказать: «Искусство — это выше всего».

А в искусстве он был не последним. Конечно, существуют такие виртуозы, которые на одних лишь черных клавишах могут исполнить разные мотивы, до этого Аполлону Перепенчуку было далеко, однако он имел-таки собственную композицию — вальс «Нахлынувшие на меня мечты»...

Вальс этот он весьма успешно исполнял, при огромном стечении публики, в стенах Купеческого собрания.

Это было в тот год, о котором пойдет речь, год наибольшей его славы и известности. К этому счастливому времени относится и другое его сочинение, неоконченная «Фантази реаль», написанная в мажорных тонах, что не исключало в ней очаровательной лирики. Эта «Фантази реаль» посвящалась некоей Тамаре Омельченко, той самой девице, что сыграла такую решающую и роковую роль в жизни Аполлона Семеновича Перепенчука.

3

Но тут автор должен объясниться с читателями.

Автор уверяет дорогих читателей, что он ни в какой мере не будет извращать событий. Напротив, он будет их восстанавливать именно так, как они и проистекали, сохраняя при этом самые мельчайшие подробности, как например: внешность героев, образ их мыслей или даже сентиментальные мотивы, которые так не по душе самому автору.

Автор заверяет дорогих читателей, что с необыкновенным прискорбием и даже с болезненным напряжением он вспоминает кое-какие сентиментальные сцены, о которых он должен рассказать, те сцены, когда, например, героиня плачет над портретом, или когда та же героиня зашивает порванную гимнастерку Аполлону Перепенчуку, или когда, наконец, тетушка Аделаида Перепенчук объявляет о распродаже гардероба Аполлона Семеновича.

Эти описания пойдут, так сказать, вразрез со вкусом автора, но все это будет сделано ради истины. Ради истины

автор сохраняет даже подлинные имена героев. Пусть читатель не думает, что автор из эстетических соображений назвал своих героев столь редкими, исключительными именами — Тамара и Аполлон. Нет, именно так они и прозывались. И это, впрочем, ничуть не удивительно. Автору доподлинно известно, что все девицы в семнадцать и в восемнадцать лет на Большой Проломной улице прозывались именно Тамарами или Иринами.

А произошло такое исключительное событие по причинам достаточно уважительным. Семнадцать лет назад стоял здесь полк каких-то гусар. И такой это был замечательный полк, такие красавцы все были эти гусары и так они воздействовали на горожан с эстетической стороны, что все младенцы женского пола, родившиеся в то время, названы были, с легкой руки супруги начальника губернии, Тамарами или Иринами.

Так вот, в тот счастливый, полный головокружительного успеха год Аполлон Семенович Перепенчук встретил впервые и нежно полюбил девицу Тамару Омельченко.

Было ей тогда неполных восемнадцать лет. Была она не то чтобы красавица, а была она лучше красавицы — такая у ней была во всем благородная закругленность форм, такая плывущая поступь и такое очарование нежной юности. Все мужчины, проходящие мимо, будь то на улице или даже в обществе, называли ее булочкой, пончиком или пампушечкой. И при этом глядели на нее с большим вниманием и удовольствием.

В тот год она тоже полюбила Аполлона Семеновича Перепенчука.

Они встретились на балу в стенах клуба Купеческого собрания. Это было в начале европейской всемирной войны. Ее поразил вид его, необыкновенно благородный, с гордо закушенной нижней губой. Он был восхищен ее нетронутой свежестью.

В тот вечер он был в особенном ударе. Он бил по роялю со всей силой своего вдохновения так, что дежурный старшина пришел попросить его играть потише, оправдываясь тем, что действительные члены клуба обижаются.

В этот момент Аполлон Перепенчук понял, какой он, в сущности, незначительный еще и мизерный человек. Он, в силу своей профессии прикрепленный к музыкальному инструменту, не сможет даже подойти к любимой девушке. И, раздумывая так, он выражал звуками всю свою тоску и отчаяние несвободного человека.

Она кружилась в вальсах и мазурках со многими

представительными мужчинами, но глаза ее все время останавливались на вдохновенном лице Аполлона Перепенчука.

И в конце вечера, преодолевая девичий стыд, она сама подошла к нему, попросив сыграть что-нибудь из его любимых мотивов. Он сыграл вальс «Нахлынувшие на меня мечты».

Этот вальс решил дело. Она, охваченная трепетом первого чувства, взяла его руку и прижала к своим губам.

Злобная молва о новом марьяже Аполлона Перепенчука тотчас охватила все здание Купеческого клуба. Никто не старался скрыть своего любопытства. Мимо них фланировали люди, подсмеиваясь и хихикая. Даже те, кто одевался уже внизу, сбросили свои шубы и снова поднялись наверх, чтобы самим воочию убедиться в правильности пикантных слухов.

Так началась эта любовь.

Аполлон Перепенчук и Тамара стали встречаться по праздникам на углу Проломной и Кирпичного и, гуляя до вечера, говорили о своей любви и о том замечательном, незабываемом вечере, когда они встретились впервые, вспоминая при этом каждую мелочь, прикрашивая все и восторгаясь друг другом.

Это длилось до осени.

А в тот день, когда Аполлон Семенович Перепенчук, одетый в жакет, с букетом олеандров и с коробкой постного сахара пришел просить руки Тамары, она, с рассудочностью зрелой женщины, знающей себе цену, отказала ему, невзирая на просьбы своей матери и домочадцев.

— Мамаша,— сказала она,— да, я люблю Аполлона со всей страстью девичьего чувства, но замуж за него сейчас я не пойду. Когда он будет знаменитым музыкантом, когда слава будет у его ног, я сама приду к нему. И я верю, что это будет скоро. Я верю, что он будет известным, знаменитым человеком, умеющим обеспечить свою жену.

Во время ее реплики Аполлон Перепенчук стоял тут же, впервые низко опустив свою голову.

Весь вечер он плакал у ее ног и с невыразимой страстью и тоской целовал ее колени. Но она была настойчива. Она не хотела рисковать, она боялась бедности и необеспеченной жизни, той жизни, которую влачат почти все люди.

Аполлон Перепенчук бросился к себе. Он жил несколько дней в каком-то тумане, в остервенении каком-то, стараясь придумать способ стать знаменитым, прославленным музыкантом. Но то, что раньше казалось ему легким

и простым, теперь представлялось необыкновенной трудностью, даже невозможным.

В его уме мелькали разные планы: уехать в другой город, бросить музыку, бросить искусство и искать счастья и славы в другой профессии, на другом поприще, стать, например, отважным авиатором, делающим мертвые петли над родным городом, над кровлей любимой девушки, или, наконец, стать изобретателем, путешественником, хирургом... Но это были все только планы. Аполлон Перепенчук тут же разрушал их, смеясь над своей фантазией.

Он послал в Петербург сочинение свое — вальс «Нахлынувшие на меня мечты», но неизвестно, что сталось с рукописью: затерялась ли она на почте, или какой-нибудь человек присвоил ее себе, впоследствии выдавая ее за свою композицию,— неизвестно. В свет она так и не вышла.

Нынче даже мотив ее позабыт. Разве что тетушка Аделаида Перепенчук сохранила его в своей памяти. Ах, она так любила напевать этот вальс!

К этому времени относится и другое сочинение Аполлона Перепенчука — неоконченная «Фантази реаль», неоконченная не в силу творческой беспомощности. Она была не кончена, ибо новый удар сразил нашего бедного героя.

Аполлон Семенович был призван в ряды армии как ратник второго разряда, могущий нести службу в тылу действующих войск.

То, что в фантазиях своих он думал: уехать, искать счастья на стороне,— теперь исполнилось.

В декабре шестнадцатого года Аполлон Перепенчук пришел проститься с любимой девушкой.

Даже самые циничные люди, самые зачерствелые сердца плакали, глядя на их нежное расставание.

Прощаясь, Аполлон Перепенчук торжественно сказал, что он или совсем не вернется, или вернется прославленным, знаменитым человеком. Он сказал, что ни война, ни что другое не остановит его стремления к этому.

И девушка, благодарно смеясь, сквозь слезы сказала, что она вполне ему верит и что она непременно будет его женой, когда он вернется таким, как она это хочет, ради их взаимного счастья.

4

И вот прошло несколько лет. Четыре с лишком года прошло с тех пор, как Аполлон Семенович Перепенчук уехал в действующую армию.

Огромные изменения произошли за это время. Социальные идеи в значительной мере покачнули и ниспровергли прежний быт. Много прекрасных людей отошло к праотцам в вечность. Так, например, скончался от сыпняка Кузьма Львович Горюшкин, бывший попечитель учебного округа, добродушнейший и культурный человек. Помер Семен Семенович Петухов, отличнейший тоже человек и не дурак выпить. Смерть фельдшера Федора Перепенчука относится к тому же времени.

Жизнь в городе чрезвычайно изменилась. Наступившая революция стала создавать новый быт. Но жить было нелегко. И люди боролись за право свое прожить.

И никто за это время не вспомнил Аполлона Семеновича Перепенчука. Разве что Тамара Омельченко да еще тетушка его, Аделаида Перепенчук. Конечно, может быть, и еще какая-нибудь девица подумала о нем, но подумала как о романтическом герое, а не как о тапере и музыканте. Как о тапере о нем никто не вспоминал и не пожалел. В городе таперов не было, да они были и не нужны. С условиями нового быта многие профессии стали ненужными, среди них профессия тапера была вымирающей.

На всех вечерах подвизался теперь маэстро Соломон Беленький с двумя первыми скрипками, контрабасом и виолончелью. На всех вечерах, благотворительных балах, на свадьбах и на крестинах работал с успехом, несомненно головокружительным, этот неизвестно откуда появившийся человек. Его все полюбили. И верно: никто так, как он, не смог бы вертеть скрипку в руках, переворачивая ее и в паузе ударяя по деке смычком. Мало того — он играл попурри из любимейших мотивов, мог исполнять разнообразнейшие танцы и заатлантические танцы, как-то: «тремутар» или «медведь». При этом не сходящая с его лица улыбка и даже некоторое добродушное подмигиванье танцующим окончательно сделали его любимцем веселящейся публики. Он был, так сказать, артист современности. И он вытеснил из памяти горожан и в прах растоптал Аполлона Семеновича Перепенчука.

А в тот год, когда Аполлона Перепенчука стала забывать Тамара, и даже тетушка Аделаида Перепенчук, считая племянника своего без вести погибшим, вывесила на воротах записку, объявляющую гражданам о распродаже гардероба Аполлона Перепенчука, как-то: двух пар мало ношенных брюк, бархатной тужурки с темно-зеленым галстуком, пикейного жилета и еще кое-каких вещей,— в тот год он вернулся в родной город.

Он ехал в теплушке с солдатами и, подложив под голову мешок, лежал на нарах всю дорогу. Он казался больным. Он страшно переменился. Солдатская шинель, рваная, прожженная на спине, армейские ботинки, штаны широкие, цвета защитной материи, хриплый голос — делали его неузнаваемым. Казалось, что это был другой человек.

Даже губа, его гордо закушенная губа, была вытянута в ленточку от постоянного общения с кларнетом.

Никто никогда не узнал, какая катастрофа разразилась над ним. И была ли катастрофа? Вернее всего, что ее не было, а была жизнь, простая и обыкновенная, от которой только два человека из тысячи становятся на ноги, остальные живут, чтобы прожить.

Никогда никому он не рассказывал, как жил эти пять лет и что делал, чтобы вернуться в славе и с почестями.

Единственная вещь — кларнет, который он привез,— дала повод людям заподозрить его в том, что славы он искал по-прежнему в искусстве. По-видимому, он был музыкантом в каком-нибудь полковом оркестре. Но ничего не известно доподлинно. Он писем никому не писал, не желая, вероятно, сообщать о незначительных фактах своей жизни.

В общем, неизвестно.

Известно только, что вернулся он не только не знаменитым — вернулся он больным, голодным даже, иным человеком — с морщинами на лбу, с удлиненным носом, с побелевшими глазами и низко опущенной головой.

Он как вор вернулся в дом своей тетушки, как вор бежал по улицам от вокзала, стараясь, чтоб никто его не увидел. Но его если и видели, то не узнавали. Ничего не оставалось в нем старого. Был это другой Аполлон Перепенчук.

Самое возвращение его было ужасно. Новый удар, едва перешагнул он порог, обрушился на его голову. Вещи, его прекрасные вещи: бархатная тужурка, штаны, жилет — погибли безвозвратно. Тетушка, Аделаида Перепенчук, все распродала, вплоть до безопасной бритвы.

С некоторым даже равнодушием и брезгливостью выслушал Аполлон Семенович тетушкины рыдания и, не упрекнув ее, только переспросив еще раз о бархатной тужурке, бросился к Тамаре.

Он бежал к ней, задыхаясь и ни о чем не думая, по Большой Проломной. Все псы выбегали ему навстречу и лаяли, пытаясь схватить его за ободранные штаны.

Наконец еще усилие — ее дом, Тамарин дом... И Аполлон Перепенчук стучит кулаком в дверь.

Она, Тамара, встретила его испуганно, стараясь тотчас,

сию минуту, понять, что с ним случилось. И, глядя на его рваную блузу, на изможденное лицо, поняла.

Он смотрел пристально, пронзительно в ее глаза, пытаясь проникнуть в ее думы, понять. Но ничего не понял.

Так они долго стояли друг перед другом, не проронив слова. Потом он стал перед ней на колени и, не зная, о чем сказать, тихо заплакал. Она тоже плакала над ним, по-детски всхлипывая и часто сморкаясь.

Наконец она села в кресло, а Аполлон, опустившись перед ней, бессмысленно лепетал какие-то пустяки. Тамара смотрела на него, но ничего не понимала и ничего не видела, она видела лишь загрязненное его лицо, свалявшиеся волосы и рваную гимнастерку. Ее сердечко, сердечко благоразумной женщины, сжималось. Она принесла нитки и ножницы и, попросив его, не сосчитав за труд, вдеть нитку в иглу, принялась зашивать ему гимнастерку, время от времени укоризненно покачивая головой.

Но тут автор должен сказать, что он не мальчик продолжать описание этой сентиментальной сцены. И, хотя осталось немного, автор переходит к психологии героя, нарочно опустив две-три сентиментальных и интимных подробности, как например: она расчесывает своим гребнем свалявшиеся его волосы, она обтирает его изможденное лицо полотенцем и прыскает на него «Персидской сиренью»... Автор заявляет, что ему нет дела до этих подробностей, его интересует психология.

Так вот, благодаря этому нежному вниманию со стороны Тамары, Аполлон Перепенчук подумал, что все идет по-прежнему, что по-прежнему она его любит, и с криком восторга он бросился к ней, пытаясь заключить ее в свои объятия.

Но она сказала, нахмурившись:

— Любезный Аполлон Семенович, я, кажется, когда-то наговорила вам много лишнего... Надеюсь, вы не приняли мой невинный девичий лепет за чистую монету.

Он не поднимался с колен, с трудом понимая ее слова. Она встала, прошла по комнате и с сердцем промолвила:

— Может быть, я и виновата перед вами, но вашей женой я не буду.

Аполлон Перепенчук вернулся домой и дома вдруг понял, что ничто теперь не в состоянии вернуть ему прежней жизни и что прежняя жизнь смешна и наивна. И смешно и наивно было его желание стать великим музыкантом и знаменитым, прославленным человеком. И еще понял: всю свою жизнь он жил не так, как нужно, не то

делал и не то говорил... Но как было нужно, он и теперь не знал.

И, ложась спать, он усмехнулся с горечью, как некогда усмехался фельдшер Федор Перепенчук, стараясь наконец понять, проникнуть в сущность явлений.

5

В короткое время Аполлон Семенович Перепенчук страшно обеднел. Больше того — это была бедность, даже нищета, человека, потерявшего всякие надежды на улучшение. Правда, он и приехал без ничего, однако первое время он не хотел и не смел признаться в своей ужасающей бедности.

Теперь он с недоброй усмешкой говорил об этом тетушке своей Аделаиде Перепенчук:

— Я, тетушка, беден, как церковный нищий.

Тетушка, чувствуя свою вину перед ним, старалась его успокоить, утешить, ободрить, говоря, что еще не все окончательно потеряно, что его жизнь еще вся впереди, что вместо проданного темно-зеленого галстука она сделает ему очаровательный лиловый из корсажа вечернего своего туалета и что, наконец, бархатную тужурку за недорого взялся бы сделать знакомый ей дамский портной Рипкин.

Но Аполлон Перепенчук только усмехался.

Он не сделал ни одного шага, ни одной попытки как-нибудь изменить, поставить на прежний лад свою городскую жизнь. Это, впрочем, произошло с тех пор, как он узнал, что в городе на всех вечерах подвизается теперь маэстро Соломон Беленький. До этого какие-то неясные мечты, ускользающие планы теснились в его возбужденном мозгу.

Маэстро Соломон Беленький и исчезновение бархатной куртки сделали Аполлона Перепенчука безвольным созерцателем.

Он целыми днями лежал теперь в постели, выходя на улицу для того, чтобы найти оброненный окурок папиросы или попросить у прохожего на одну завертку щепоточку махорки. Тетушка Аделаида его кормила.

Иногда он вставал с постели, вынимал из матерчатого футляра завязанный им кларнет и играл на нем. Но в его музыке нельзя было проследить ни мотива, ни даже отдельных музыкальных нот — это был какой-то ужасающий, бесовский рев животного.

И всякий раз, когда он начинал играть, тетушка Аделаида Перепенчук менялась в лице, вынимала из шкафика различные банки и баночки со всякими препаратами и нюхательными солями и ложилась в постель, глухо стоная.

Аполлон Семенович бросал кларнет и снова искал успокоения в кровати.

Он лежал и проницательно думал, и мысли приходили к нему те же, что некогда тревожили Федора Перепенчука. Иные мысли по силе и глубине ничуть не уступали мыслям его значительного однофамильца. Он думал о человеческом существовании, о том, что человек так же нелепо и ненужно существует, как жук или кукушка, и о том, что человечество, весь мир, должно изменить свою жизнь для того, чтоб найти покой и счастье, и для того, чтоб не подвергаться таким страданиям, как произошло с ним. Ему однажды показалось, что наконец-то он узнал и понял, как надо жить человеку. Какая-то мысль коснулась его мозга и снова исчезла, неоформленная.

Это началось с малого. Аполлон Перепенчук как-то спросил тетушку Аделаиду:

— Как вы полагаете, тетушка, есть ли у человека душа?

— Есть,— сказала тетушка,— непременно есть.

— Ну, а вот обезьяна, скажем... Обезьяна человекоподобна... Она ничуть не хуже человека. Есть ли, тетушка, у обезьяны душа, как вы полагаете?

— Я думаю,— сказала тетушка,— что у обезьяны тоже есть, раз она похожа на человека.

Аполлон Перепенчук вдруг взволновался. Какая-то смелая мысль поразила его.

— Позвольте, тетушка,— сказал он.— Ежели есть душа у обезьяны, то и у собаки, несомненно, есть. Собака ничем не хуже обезьяны. А ежели у собаки есть душа, то и у кошки есть, и у крысы, и у мухи, и у червяка даже...

— Перестань,— сказала тетушка.— Не богохульствуй.

— Я не богохульствую,— сказал Аполлон Семенович.— Я, тетушка, ничуть даже не богохульствую. Я только факты констатирую... Значит, у червяка тоже есть душа... А что вы теперь скажете? Возьму-ка я, тетушка, и разрежу червяка надвое, напополам... И каждая половина, представьте себе, тетушка, живет в отдельности. Так? Это что же? Это, по-вашему, тетушка, душа раздвоилась? Это что же за такая душа?

— Отстань,— сказала тетушка и испуганно посмотрела на Аполлона Семеновича.

— Позвольте,— закричал Перепенчук.— Нету, значит, никакой души. И у человека нету. Человек — это кости и мясо... Он и помирает, как последняя тварь, и рождается, как тварь... Только что живет по-выдуманному. А ему нужно по-другому жить...

Но как нужно было жить, Аполлон Семенович не мог объяснить своей тетушке — он не знал. Тем не менее мыслями своими Аполлон Семенович был потрясен. Ему казалось, что он начал понимать что-то. Но потом в голове его снова все мешалось и путалось. И он признавался себе, что он не знает, как, в сущности, надо было бы жить, чтоб не испытывать того, что он сейчас чувствует. А он чувствует, что его игра проиграна и что жизнь спокойно продолжается без него.

Он несколько дней кряду ходил по комнате в страшном волнении. А в тот день, когда волнение достигло наивысшего напряжения, тетушка Аделаида принесла письмо на имя Аполлона Семеновича Перепенчука. Это письмо было от Тамары.

Она с жеманностью кокетливой женщины писала в грустном, лирическом тоне о том, что нынче она выходит замуж за некоего иностранного коммерсанта Глобу и что, делая этот шаг, она не хочет оставить о себе дурных воспоминаний в памяти Аполлона Перепенчука. Она, дескать, просит его всепокорнейше извинить за все то, что она с ним сделала, она прощенья просит, ибо знает, какой смертельный удар ему нанесла.

Тихо смеялся Аполлон Перепенчук, читая это письмо. Однако ее непоколебимая уверенность в том, что он, Аполлон Перепенчук, погибает из-за нее, ошеломила его. И, думая об этом, он вдруг отчетливо понял, что ему ничего не нужно, даже не нужна та, из-за которой он погибает. И еще ясно, окончательно понял, что он погибает, в сущности, не из-за нее, а погибает оттого, что он не так жил, как нужно. И тут снова все в голове его мешалось и путалось.

И он хотел тотчас пойти к ней и сказать, что не она виновата, а он сам виноват, что он сам совершил ошибку в своей жизни.

Но не пошел, потому что он не знал, в чем заключалась его ошибка.

6

Аполлон Семенович Перепенчук пошел к Тамаре спустя неделю. Это произошло неожиданно. Однажды вечером он тихо оделся и, сказав тетушке Аделаиде,

что у него болит голова и что он хочет поэтому пройтись по городу, вышел.

Он долго и бесцельно бродил по улицам, не думая о том, что пойдет к Тамаре. Необыкновенные думы о бессмысленном существовании не давали ему покоя. Он, сняв фуражку, бродил по улицам, останавливаясь у темных деревянных домов, заглядывая в освещенные окна, стараясь наконец понять, проникнуть, узнать, как живут люди и в чем их существование. В освещенных окнах он видел за столом мужчин в подтяжках, женщин за самоваром, детей... Иные мужчины играли в карты, иные сидели, не двигаясь, бессмысленно смотря на огонь, женщины мыли чашки или шили и почти все — ели, широко и беззвучно открывая рты. И, за двумя рядами стекол, Аполлону Перепенчуку казалось, что он слышит их чавканье.

От дома к дому переходил Аполлон Семенович и вдруг очутился у дома Тамары.

Аполлон Перепенчук прильнул к окну ее комнаты. Тамара лежала на диване и казалась спящей. Вдруг Аполлон Семенович, неожиданно для самого себя, постучал по стеклу пальцами.

Тамара вздрогнула, вскочила, прислушиваясь. Потом подошла к окну, стараясь в темноте узнать, кто стучал. Но не узнала и крикнула: «Кто?»

Аполлон Семенович молчал.

Она выбежала на улицу и, узнав его, повела в комнаты. Она стала сердито говорить, что не для чего ему приходить к ней, что все наконец кончено, что неужели ему недостаточно ее письменных извинений...

Аполлон Перепенчук смотрел на ее красивое лицо и думал, что незачем ей говорить о том, что не она виновата, а он виноват, что он не так жил, как нужно,— она не поймет и не захочет понять, оттого что в этом у ней была какая-то радость и, может быть, гордость.

И он хотел уж уходить, но вдруг что-то остановило его. Он долго стоял посреди комнаты, напряженно думая, странное успокоение пришло к нему. И он, оглядев комнату Тамары, бессмысленно улыбаясь, вышел.

Он вышел на улицу, прошел два квартала, надел фуражку. Остановился.

— Что такое?

В тот момент, когда он стоял в ее комнате, какая-то счастливая мысль мелькнула в его уме. Он забыл ее... Какая-то мысль, исход какой-то, от которого на мгновение стало ясно и спокойно.

Аполлон Перепенчук стал вспоминать каждую мелочь, каждое слово. Не уехать ли? Нет... Не поступить ли в письмоводители? Нет... Он забыл.

Тогда он бросился опять к ее дому. Да, конечно, он должен сейчас, сию минуту, проникнуть в ее дом, в комнату ее и там, придя на старое место, вспомнить эту проклятую мысль.

Он подошел к двери. Хотел постучать. Но вдруг заметил — дверь открыта. За ним не заперли. Он тихо прошел по коридору, никем не замеченный, и остановился на пороге Тамариной комнаты.

Тамара плакала, ничком уткнувшись в подушки. В руке она держала его фотографию, его — Аполлона Перепенчука.

Пусть на этом месте читатель плачет, сколько ему угодно,— автору все равно, ему ни холодно, ни жарко. Автор бесстрастно переходит к дальнейшим событиям.

Аполлон Перепенчук посмотрел на Тамару, на карточку в ее руке, на окно, на цветок, на вазочку с пучком сухой травы и вдруг вспомнил.

— Да!

Тамара вскрикнула, увидав его. Он бросился прочь, стуча сапогами. За ним бежал кто-то из кухни.

Аполлон Семенович выбежал на улицу. Пошел быстро по Проломной. Потом побежал. Провалился в рыхлый снег. Упал. Встал. Опять побежал.

— Вспомнил!

Он бежал долго, задыхаясь. Уронил фуражку и, не стараясь ее найти, бросился дальше. В городе было тихо. Ночь. Перепенчук бежал.

И вот уже окраина города. Слобода. Заборы. Семафор. Будки. Канава. Полотно.

Аполлон Перепенчук упал. Пополз. И, уткнувшись в рельсы, лег.

— Вот эта мысль.

Он лежал в рыхлом снегу. Сердце его переставало биться. Ему казалось, что он умирает.

Кто-то с фонарем прошел два раза мимо него и, снова вернувшись, пихнул его ногой в бок.

— Ты чего? — сказал мужик с фонарем.— Чего лег?

Перепенчук молчал.

— Чего лег? — с испугом повторил мужик. Фонарь в его руке дрожал.

Аполлон Семенович поднял голову. Сел.

— Люди добрые... Люди добрые...— сказал он.

— Какие люди? — тихо сказал мужик.— Да ты чего задумал-то? Пойдем-кось в будку. Я здешний... Стрелочник...

Мужик взял его под руку и повел в сторожку.

— Люди добрые... Люди добрые...— бормотал Перепенчук.

Вошли в сторожку. Душно. Стол. Лампа. Самовар. За столом сидел мужик в расстегнутой поддевке. Баба щипцами крошила сахар.

Перепенчук сел на лавку. Зубы его стучали.

— Ты чего лег-то? — спросил опять стрелочник, подмигивая мужику в поддевке.— Не смерти ли захотел? Или рельсину, может, открутить хотел? А?

— А чего он? — спросил мужик в поддевке.— Лег, что ли, на рельсы?

— Лег,— сказал стрелочник.— Я иду с фонарем, а он 〈...〉 лежит, как маленький, уткнувшись харей в самую то есть рельсину.

— Гм,— сказал мужик в поддевке,— сволочь какая.

— Подожди,— сказала баба,— не ори на него. Видишь, трясется человек. Не из радости трясется. На-кось чайку, попей.

Аполлон Перепенчук, стуча по стакану зубами, выпил.

— Люди добрые...

— Обожди,— сказал стрелочник, снова подмигивая и для чего-то толкая под бок мужика в поддевке.— Дай-кось я его спрошу по порядку.

Аполлон Семенович сидел неподвижно.

— Отвечай по порядку, как на анкете,— строго сказал стрелочник.— Фамилия?

— Перепенчук,— сказал Аполлон Семенович.

— Так,— сказал мужик.— Не слыхал.

— Лет от роду?

— Тридцать два.

— Зрелый возраст,— сказал мужик, чему-то радуясь.— А мне пятьдесят первый, значит... Возраст всетаки... Безработный?

— Безработный...

Стрелочник усмехнулся и снова подмигнул.

— Эта худа,— сказал он.— Ну, а ремесло какое понимаешь? Знаешь ли какое ремесло?

— Нет...

— Эта худа,— сказал стрелочник, покачав головой.— Как же это, брат, без рукомесла-то жить? Это, я тебе скажу, немыслимо худа. Человеку нужно непременно понимать

рукомесло. Скажем, я — сторож, стрелочник. А теперь, скажем, поперли меня, сокращенье там или что иное... Я от этого, братишка, не пропаду. Я сапоги знаю работать. Буду я работать сапоги, рука сломалась — мне и горюшка никакого. Буду-ка я зубами веревки вить. Вот она какое дело. Как же это можно без рукомесла. Нипочем не можно... Как же существуешь-то?

— Из дворян,— усмехнулся мужик в поддевке.— Кровь у них никакая... Жить не могут. В рельсы ткаются.

Аполлон Перепенчук встал и хотел уйти из будки.

Сторож не пустил, сказал:

— Сядь. Я тебя сейчас великолепно устрою.

Он подмигнул мужику в поддевке и сказал:

— Вася, ты бы его присобачил по своему делу. Дело у тебя тихое, каждый понимать может. Что ж безработному человеку гибнуть?

— Пущай,— сказал мужик, застегивая поддевку,— это можно: приходи-ка ты, гражданин, на Благовещенское кладбище. Спроси заведующего. Меня то есть.

— Да пущай он с тобой пойдет, Вася,— сказала баба.— Мало ли что случится.

— А пущай! — сказал мужик, вставая и надевая шапку.— Идем, что ли. Прощайте.

Мужик вышел из будки вместе с Аполлоном Перепенчуком.

7

Аполлон Семенович Перепенчук вышел в третий и последний период своей жизни — он вступил в должность нештатного могильщика. Почти год Аполлон Семенович проработал на Благовещенском кладбище. Он снова чрезвычайно переменился.

Он ходил теперь в желтых обмотках, в полупальто, с медной бляхой на груди — № 3. От спокойного, бездумного лица его веяло тихим блаженством. Все морщины, пятна, угри и веснушки исчезли с его лица. Нос принял прежнюю форму. И только глаза порою пристально и не мигая останавливались на одном предмете, на одной точке этого предмета, ничего больше не видя и не замечая.

В такие минуты Аполлон думал, вернее — вспоминал свою жизнь, свой пройденный путь, и тогда спокойное лицо его мрачнело. Но воспоминанья эти шли помимо его воли — он не хотел думать и гнал от себя все мысли. Он сознавал,

что ему не понять, как надо было жить и какую ошибку он совершил в своей жизни. Да и была ли эта ошибка? Может быть, никакой ошибки и не было, а была жизнь, простая, суровая и обыкновенная, которая только двум или трем человекам из тысячи позволяет улыбаться и радоваться.

Однако все огорчения были теперь позади. И счастливое спокойствие не покидало больше Аполлона Семеновича. Теперь он всякое утро аккуратно приходил на работу с лопатой в руках и, копая землю, выравнивая стенки могил, проникался восторгом от тишины и прелести новой своей жизни.

В летние дни он, проработав часа два подряд, а то и больше, ложился в траву или на теплую еще, только что вырытую землю и лежал не двигаясь, смотря то на перистые облака, то на полет какой-нибудь пташки, то просто прислушивался к шуму благовещенских сосен. И, вспоминая свое прошлое, Аполлон Перепенчук думал, что никогда за всю свою жизнь он не испытывал такого умиротворения, что никогда он не лежал в траве и не знал и не думал, что только что вырытая земля — тепла, а запах ее слаще французской пудры и гостиной. Он улыбнулся тихой, полной улыбкой, радуясь, что он живет и хочет жить.

Но однажды Аполлон Семенович Перепенчук встретил Тамару под руку с каким-то довольно важного вида иностранцем. Они шли по тропинке Ксении Блаженной и о чем-то беспечно болтали.

Аполлон Перепенчук крался за ними, прячась, как зверь, за могилами и крестами. Парочка долго гуляла по кладбищу, затем, найдя полуразрушенную скамейку, они сели, сжав друг другу руки.

Аполлон Перепенчук бросился прочь.

Но это было только раз. Дальше жизнь опять пошла спокойная и тихая. Дни шли за днями, и ничто не омрачало их тишины. Аполлон Семенович работал, ел, лежал в траве, спал... Иногда он ходил по кладбищу, читал трогательные и аляповатые надписи, присаживался на ту или другую забытую могилу и сидел не двигаясь и ни о чем не думая.

Девятнадцатого сентября по новому стилю Аполлон Семенович Перепенчук помер от разрыва сердца, работая над одной из могил.

А семнадцатого сентября, то есть за два дня до его смерти, от родов скончалась Тамара Глоба, урожденная Омельченко.

Аполлон Семенович Перепенчук об этом так и не узнал.

МУДРОСТЬ

1

Одиннадцать лет подряд незадолго до революции жил мой родственник Иван Алексеевич Зощенко уединенно и замкнуто. Он никуда не ходил, он совершенно перестал бывать в обществе и даже категорически порвал все прежние короткие отношения со своими приятелями.

И, живя на одной из улиц Петербургской стороны, он казался каким-то чудаком-отшельником, случайно и на время поселившимся среди людей. Он все меньше и меньше стал разговаривать с людьми, а если и говорил, то брезгливая болезненная гримаса раздражения не сходила с его лица. Казалось, что человеку было невыносимо трудно всякое общение с людьми. И это была правда.

Кое-кто из прежних его приятелей говорил, будто Иван Алексеевич страдает хроническим катаром кишечника и нервными коликами и будто бы болезнь эта наложила на него неизгладимый, скучный след. Другие приятели, знавшие Ивана Алексеевича еще короче и настроенные слегка романтически, уверяли, что, напротив, он здоров как бык, но в жизни его произошла не то какая-то тайна, не то какая-то любовная интрига, которая скомкала и изменила ровное течение его жизни.

Впрочем, неизвестно, кто был прав. Может быть, были правы обе стороны, тем более что врач, пользовавший одно время Ивана Алексеевича, с улыбкой отговаривался незнанием, но категорически болезни не отрицал и при этом отделывался двусмысленными шуточками. А что касается до любовной стороны, то любовная сторона жизни Ивана Алексеевича не только была известна в области шуток, но и вполне достоверна.

В молодые годы был Иван Алексеевич красивый, полный брюнет с определенно ярким южным темпераментом. При этом некоторая независимость в средствах позволяла Ивану Алексеевичу в достаточной мере пользоваться прелестью и утехами жизни.

И в разгульной своей жизни он сошелся по пьяной лавочке с одной пустенькой драматической актрисой, но связь эта, длившаяся с полгода, была несчастлива. Повздорив из-за своей дамы с одним лицеистом, который при многочисленных свидетелях обозвал ее шкурой, Иван Алексеевич ударил его по морде в фойе академического театра, при этом сбил с носа пенсне и разбил ухо. Результатом была дуэль, которая и состоялась на пулях вблизи Комендантского аэродрома. Раненный слегка в мякоть левой ноги, Иван Алексеевич уехал из Петербурга на несколько лет. Потом вернулся. Год или два жил чрезвычайно разгульно, предаваясь по временам нестерпимому пьянству и разврату. И наконец стих. И, поселившись на Петербургской стороне, с дальней своей родственницей, старушкой Капитолиной Георгиевной Шнель, перестал показываться.

Но зачем он это сделал, почему, кому было нужно его уединение — никто не знал. Знали только, что жил человек и вдруг все в жизни показалось ему жалким и ненужным. Все лучшие человеческие качества, как, например, благородство, гордость, тщеславие, показались смешной забавой и бирюльками. А вся прелесть прежнего существования — любовь, нежность, вино — стала смешной и даже оскорбительной.

Но было ли это на почве физиологической, так сказать от пресыщения, или же было это в связи с душевными отклонениями — никто не знал и не мог знать, ибо с каждым годом разрыв его с людьми увеличивался.

Его квартира, уставленная различной мебелью, увешанная люстрами и всевозможными дорогими безделушками, вскоре затянулась паутиной и пылью. И цветы, некогда поставленные на окнах, завяли. И огромные мозеровские часы остановили свое движение. Даже полуопущенная штора в столовой так и оставалась полуопущенной в течение нескольких лет.

Какое-то веяние смерти сообщалось всем вещам. На всех предметах, даже самых пустяковых и незначительных, лежали тление и смерть, и только хозяин квартиры по временам подавал признаки жизни. Он вставал со своего ложа, ходил из угла в угол, сося папироску, или, согнувшись и покачивая левой ногой, сидел перед толстенной книгой, или, наконец, открыв форточку и не боясь простудиться и схватить воспаление легких, смотрел на звездное небо, держа перед собой карту небесного свода.

И так тянулось почти одиннадцать лет.

2

Но однажды, без всякой видимой причины, в жизни Ивана Алексеевича произошли чрезвычайные перемены.

Однажды, проснувшись поутру, он почувствовал в себе какой-то прилив необыкновенной свежести и здоровья. Он с удивлением и с недоверчивостью отнесся к этому и, наскоро одевшись и зашнуровав ботинки, вышел на улицу, сохраняя по старой привычке прежнее брезгливое выражение лица.

И странное дело: все на улице показалось ему приветливым и умилительным. Недоумевая, Иван Алексеевич вернулся домой. Доброе состояние не покидало его и дома.

Привыкнув думать и анализировать свои поступки и движения, Иван Алексеевич, еще не изменяя на лице гримасы, принялся решать, что, в сущности, произошло. Но не знал.

Тогда, цинически смеясь, он пытался уверить себя в каком-то физическом перерождении, тем более что условия к тому были благоприятны — в течение одиннадцати лет, после разгула и пьянства, он вел спокойную, размеренную жизнь.

Но это было не совсем так. Вернее, это было именно так, но, наряду с этим, было нечто иное.

Тогда, обдумывая и поражаясь, Иван Алексеевич вдруг понял, что совершенно помимо его воли вместе с бодростью к нему вернулась та прелесть существования, которую он потерял одиннадцать лет назад.

Раньше он с горечью стал бы обдумывать, как, в сущности, унизительна для человека такая анатомическая зависимость, но теперь ему было все равно. Он чувствовал в себе радость; ему были приятны и серое тусклое небо, и дым из трубы, и кошка на крыше, и мухи, назойливо присаживающиеся то на его лоб, то на нос. Он не сгонял их даже и, в добром состоянии духа, весело подсмеивался и хлопал себя по коленям. Все, что раздражало его, — исчезло.

В несколько дней Иван Алексеевич совершенно переродился.

Он просыпался теперь с улыбкой, шутил сам с собой и, надевая костюм или зашнуровывая ботинки, пел вполголоса, стыдясь и радуясь своему оживлению.

А однажды, позвав к себе в комнату дальнюю родственницу, старушку Капитолину Георгиевну Шнель, он принялся ей говорить о том, как, в сущности, хороша и пре-

красна жизнь и как он был нестерпимо глуп, что ханжески потратил одиннадцать лет неизвестно на что.

И, говоря ей об этом, он жестикулировал руками, подходил к зеркалу и, причесывая свои давно не тронутые волосы, смеялся.

— Ах,— говорил он,— как я был глуп! Как глуп! Ну кому радость оттого, что я небрит и волосы мои до плеч? Кому это нужно, чтоб я презирал людей, и весь мир, и все существование? Да никому не нужно. Но я теперь знаю, как жить. Я сумею теперь жить. Мудрость не в том, чтобы людей презирать, а в том, чтобы делать такие же пустяки, как и они: ходить к парикмахеру, суетиться, целовать женщин, пить, покупать сахар. Вот мудрость!

Дальняя родственница, ничего не поняв на старости лет, сморкаясь в платок, ушла из комнаты, не зная, плакать ей или радоваться.

Но Иван Алексеевич не оставил ее в неведении. Он снова и за руку привел ее в комнату и стал умолять ее, чтобы она, несмотря на дальнее родство, честно и открыто сказала бы ему, как он выглядит, не очень ли он осунулся и похудел, не очень ли стал безобразен и может ли снова, как равный, войти в общество. При этом, страшно конфузясь, он широко открывал рот, показывая указательным пальцем на недостающий зуб.

Слегка развеселившаяся старушка утешала его чем могла, говоря, что вид вполне еще бодрый и свежий, а что отсутствие зуба вовсе даже и совершенно незаметно, если не открывать рта.

Тогда Иван Алексеевич принялся хохотать, потирая свои руки и вспоминая, как и он был молодцом и задирой в свое время, как лихо он дрался на дуэли и сколько имел любовниц.

Старушка, не желая нарушать его бодрого настроения, принялась также рассказывать приключения о любви из собственной жизни, но, вспомнив начало, она никак не могла восстановить конца и, спутавшись окончательно, обиженно замолчала, стараясь больше ничем не раздражать Ивана Алексеевича.

Но Иван Алексеевич не оставил ее в покое. Он стал вместе с ней вспоминать о своих знакомых, оставшихся в живых. Ему хотелось немедленно, в ближайшее же время позвать их всех к себе, устроить маленькую веселую пирушку, перецеловать всех и сказать, что он их, как и раньше, что он по-прежнему всех любит и хочет жить, потому что он знает теперь, что такое жизнь и как нужно жить.

И, взяв дальнюю родственницу за руки, Иван Алексеевич категорически сказал ей, что он в ближайшие же дни устроит эту пирушку — праздник своего обновления.

С трудом понимая, что он ей говорит, старушка хитро трясла головой, говоря, что, несмотря на дальнюю кровь и родство, он все же весь пошел в нее.

Иван Алексеевич тихо и благодарно смеялся.

3

В тот же день вечером Иван Алексеевич принялся составлять список своих знакомых, смеясь и добродушно издеваясь над ними.

Наконец список был составлен. Было записано пятнадцать человек, о которых Иван Алексеевич знал, что они живы и по-прежнему благополучно здравствуют в городе.

Тогда Иван Алексеевич, имея перед собой список, стал писать в витиеватых, смешливых тонах пригласительные записки, которые, на другой же день, он лично повез развозить по своим приятелям.

Приятели встречали его крайне удивленно и холодно, а некоторые даже враждебно, не приглашая его в комнаты и держа дверь на цепочке. Приятели предполагали, что он, обнищав, явился к ним за денежным пособием или вспоможением, кто чем может, но, узнав истинную причину, делали круглые глаза и дьявольски хохотали, а иные весело подмигивали, теребили его за плечи и обещали непременно быть.

Иван Алексеевич сам хохотал, стараясь при этом не слишком открывать рот, дабы пока никто не заметил в нем отсутствие зуба. Но друзья не замечали. Они рассказывали всякие веселые сплетни и новости, веселились над тем или иным лицом, а Иван Алексеевич поддакивал, кивал головой и всячески иронизировал над собой, желая этим показать, что он по-прежнему молодец и веселый парень.

И в самом деле: ему казалось, что он искренно весел и радостен и что одиннадцать лет — это какой-то нелепый и ненужный сон, о котором просто-напросто не нужно думать.

От приятелей Иван Алексеевич пошел домой совершенно радушный и помолодевший. Он несколько раз по дороге заходил к парикмахеру, требуя устроить ему то одну, то другую прическу, категорически приказывая одеколона и туалетных вод не жалеть.

И, вернувшись домой, он тотчас же, слегка покушав, облачился в старый костюм, снял паутину и пыль со всех углов, вытер полусырой тряпкой все карнизы, а также и двери и этажерки и повесил в спальной зеленоватый фонарь.

Несмотря на это, работы предстояло еще много. Нужно было перебрать все книги, убрать с окна сухие цветы и придать всей квартире жилой и уютный вид.

Чуть не падая от усталости, Иван Алексеевич бросался в кресло, потом снова вскакивал, хватаясь то за то, то за другое, время от времени восклицая:

— Ах, как я был глуп! Как глуп!

И, перетаскивая с места на место то или иное кресло и поправляя без нужды скатерть на столе или перебирая книги, Иван Алексеевич тихонько смеялся и потирал руки, говоря:

— Такова жизнь!

Потом снова бросался в кресло и снова звал старушку, теребил ее и почти торжественно рассказывал, как он заживет в дальнейшем, умудренный жизненным опытом.

Дальняя родственница тоже не отставала от него. Она помогала ему перетаскивать мебель, она доставала посуду и в сотый раз спрашивала:

— Когда же? — подразумевая под этим — вечер.

И Иван Алексеевич, гордый и утомленный, отвечал:

— Завтра! Завтра, многоуважаемая Капитолина Георгиевна.

4

И вот пришло завтра — торжественный день вечеринки, праздник обновления.

Еще с утра, тщательно побрившись, Иван Алексеевич мотался из угла в угол, наводя последний, ослепительный лоск на каждый предмет.

И к полдню все было готово.

Дальняя родственница Ивана Алексеевича, старушка Шнель, достала для себя из сундука слежавшееся от времени, но еще вполне пристойное темное шанженевое платье со старинными рюшками и многочисленными фестонами и надела его. Острый запах нафталина и давно не тронутой материи наполнил всю квартиру. Старушка, поминутно чихая и дергая головой, переходила из комнаты в комнату, наполняя нестерпимым зловонием небольшую квартиру.

У старушки мелькала мысль, что неплохо было бы снять

это торжественное платье, но она не хотела огорчить Ивана Алексеевича, которому к тому же было не до запаха. В самом деле: ни минуты не оставаясь спокойным, Иван Алексеевич бегал из прихожей в столовую, из столовой в кухню и обратно. Он даже самолично и несколько раз спускался на улицу, ходил по магазинам и покупал все новые и новые вещи, прося отпустить самого лучшего качества, намекая, что у него предстоит торжественная вечеринка. А еще недавно, заходя в тот же магазин и покупая что-либо, он скупо бросал несколько слов и, взяв покупки, молча уходил, высоко подняв воротник. Теперь же, напротив, он медлил в магазине, разговаривая и смеясь с любым, невзрачным на вид, продавцом. Ему хотелось, чтобы каждый, даже посторонний, гражданин знал бы о его торжестве.

Весь день проходил в неимоверной суете и оживлении.

А к вечеру, когда сумерки наполнили комнату, Иван Алексеевич зажег свет и принялся убирать стол. Раздвинув его на двенадцать персон и постелив белоснежную скатерть, он стал украшать и раздраконивать его, вспоминая, как это делалось раньше.

И вскоре чисто вымытые тарелки, ножи, рюмки и всевозможные изысканные блюда давили своей тяжестью стол. Тут была и икра всех сортов, и малосольная семга, и сижки копченые, и английские паштеты из дичи, и прочая снедь. И среди всего этого, гордо оттеснив закуску, стояли бутылки разных вин.

Когда все это было готово, Иван Алексеевич, утомленный и вспотевший, присел к столу, придвинув для этой цели стул.

Руки Ивана Алексеевича дрожали, и грудь вздымалась высоко и порывисто. Он хотел слегка отдохнуть за полчаса до гостей, но ему не сиделось. Ему казалось, что не все еще сделано. Ребяческая улыбка не сходила с его лица. Тогда, смеясь и кривляясь, он достал из ящика письменного стола цветную тонкую бумагу, из которой некогда делались цветы, взял ножницы и стал вырезывать ровные полосы, делая из них нечто вроде цветов. Потом, свернув их вместе пушистым букетом, он стал прилаживать к хвосту жареной тетерки. Получилось действительно крайне эффектно, и стол от этого только выиграл.

Тогда, взяв еще лист розовой бумаги, Иван Алексеевич хотел то же самое проделать и с окороком ветчины и уже стал вырезать, как вдруг, неосторожным движением руки, обронил ножницы на пол. Нагнувшись моментально за

ними и коснувшись уже пальцами холодной стали, он почувствовал, как какая-то тяжелая, густая волна крови прилила ему к лицу. Тряхнув слегка головой, он хотел выпрямиться, но захрипел и ничком свалился на пол, зацепив ногой за стул, далеко и гулко отодвинув его.

Странная, ровная синева прошла откуда-то снизу и спокойно покрыла его лицо.

5

Вбежавшая на шум дальняя родственница, старушка Шнель, констатировала смерть, последовавшую от удара.

Потрясенная, с дрожащими руками, старушка метнулась к столу, потом к умершему и, не зная, что ей предпринять, замерла в одной позе.

И вот — ярко освещенная комната, стол, уставленный всевозможными яствами, и у стола, лицом в пол, у самых ножниц, Иван Алексеевич. На это невозможно было долго смотреть, и, нечеловеческим усилием воли взяв умершего за плечи, старушка поволокла его в соседнюю комнату. Цепляя ногами за стулья и странно раскидывая руками и стуча головой об пол, Иван Алексеевич с трудом поддавался усилиям старухи.

И наконец, втащив его в спальню и прикрыв простыней, старушка, накинув на плечи черную косынку, вышла в столовую. И в столовой снова замерла в неподвижной позе, дожидаясь гостей.

И вот, ровно в восемь, раздался звонок. Старуха не двигалась. И тогда, открыв незапертую дверь, в комнату вошли, подталкивая друг друга, два приятеля, страшно хохоча и гремя сапогами. И, увидев странную старуху, поклонились ей и, морщась от нестерпимого запаха нафталина, спросили, где же хозяин и как он здравствует.

На что старуха, как-то конфузясь и почти не открывая рта, отвечала:

— Он умер.

— Как? — вскричали они в один голос.

Тогда старуха пальцем показала им на запертую дверь в соседнюю комнату. И они поняли.

Они, тихо поохав и потолкавшись у стола, ушли на цыпочках, съев по куску семги.

Старуха оставалась почти неподвижной.

Вслед за ними от восьми до девяти приходили все

приглашенные. Они входили в столовую, радостно потирая руки, но, узнав о смерти, тихонько ахали, поднимая удивленно плечи, и уходили, стараясь негромко стучать ногами. При этом, проходя мимо стола, дамы брали по одной груше или по яблоку, а мужчины кушали по куску семги или выпивали по рюмке малаги.

И только один из старых приятелей и ближайший друг Ивана Алексеевича, странно заморгав глазами, спросил:

— Позвольте, как же так? Я нарочно не пошел в театр, чтобы не обидеть своего друга, и — вот... К чему же тогда звать? Позвольте, как же так?

Он ковырнул вилкой в тарелку с семгой, но, поднеся ко рту кусок, отложил его обратно и, не прощаясь со старухой, вышел, бормоча что-то под нос.

И когда ушел пятнадцатый гость, старуха вошла в соседнюю комнату и, достав из комода простыню, завесила ею зеркало. Потом, достав с полки евангелие, принялась вслух читать, покачиваясь всем корпусом, как от зубной боли.

И голос ее, негромкий и глухой, прерывался и дрожал.

ЛЮДИ

1

Странные вещи творятся в литературе! Нынче если автор напишет повесть о современных событиях, то такому автору со всех сторон уважение. И критики ему рукоплещут, и читатели ему сочувствуют.

Такому автору и слава, и популярность, и всякое уважение. И портреты такого автора печатают во всех еженедельных органах. И издатели расплачиваются с ним в золоте, не менее как по сто рублей за лист.

А на наш ничтожный взгляд, по сто рублей за лист — это уж явная и совершенная несправедливость!

В самом деле: для того чтобы написать повесть о современных событиях, необходима соответствующая география местности, то есть пребывание автора в крупных центрах или в столицах республик, в которых-то главным образом и проистекают исторические события.

Но не у каждого автора есть такая география, и не каждый автор имеет материальную возможность существовать с семьей в крупных городах и в столицах.

Вот тут-то и есть камень преткновения и причина несправедливости.

Один автор проживает в Москве и, так сказать, воочию видит весь круговорот событий с его героями и вождями, другой же автор, в силу семейных обстоятельств, влачит жалкое существование в каком-нибудь уездном городишке, где ничего такого особенно героического не происходило и не происходит.

Так вот, где же взять такому автору крупные мировые события, современные идеи и значительных героев?

Или прикажете ему врать? Или прикажете питаться вздорными слухами приезжающих из столицы товарищей?

Нет, нет и нет! Автор слишком любит и уважает художественную литературу, чтобы основывать ее на всевозможных бабьих глупостях и непроверенных слухах.

Конечно, какой-нибудь просвещенный критик, лепечущий на шести иностранных языках, укажет, может быть, что автор отнюдь не должен гнушаться мелкими героями и небольшими провинциальными сценками, которые происходят вокруг него. И что даже еще и лучше зарисовывать небольшие красочные этюды с маленькими провинциальными человечками.

Эх, уважаемый критик! Оставьте делать ваши нелепые замечания! Всё и без вас давно продумано, все, может, улицы исхожены, и несколько пар сапог истрепано. Все, может, фамилии, более или менее достойные внимания, вынесены на отдельную бумажку с разными примечаниями и нотабенами. И нет! Не только нету сколько-нибудь замечательного героя, но нету даже посредственного человека, о котором интересно и поучительно говорить. Все мелочь, мелюзга, мелкота, о которых в изящной литературе в современном героическом плане и говорить не приходится.

Но, конечно, автор все-таки предпочтет совершенно мелкий фон, совершенно мелкого и ничтожного героя с его пустяковыми страстями и переживаниями, нежели он пустится во все тяжкие и начнет заливать пулю насчет какого-нибудь совершенно несуществующего человека. Для этого у автора нет ни нахальства, ни особой фантазии.

Автор, кроме того, причисляет себя к той единственной честной школе натуралистов, за которыми все будущее русской изящной литературы. Но даже если бы автор и не причислял себя к этой школе, все равно говорить о незнакомом человеке затруднительно. То перехватишь через край и заврешься в психологическом анализе, то, наоборот, недоскажешь какой-нибудь мелочишки, и читатель станет в тупик, удивляясь легкомысленному суждению современных писателей.

Так вот, в силу вышесказанных причин, а также вследствие некоторых стеснительных материальных обстоятельств, автор приступает к написанию современной повести, предупреждая, однако, что герой повести — пустяковый и неважный, недостойный, может быть, внимания современной избалованной публики. Здесь речь идет, как, наверное, догадывается читатель, об Иване Ивановиче Белокопытове.

Автор ни за что не стал бы затрачивать на него свое симпатичное дарование, если б не потребность в современной повести. Потребность эта заставляет автора скрепя сердце взяться за перо и начать повесть о Белокопытове.

Это будет несколько грустная повесть о крушении

всевозможных философских систем, о гибели человека, о том, какая, в сущности, пустяковая вся человеческая культура, и о том, как нетрудно ее потерять. Это будет повесть о крушении идеалистической философии.

В этой плоскости Иван Иванович Белокопытов был даже любопытен и значителен. В остальном автор советует читателю не придавать большого значения и тем паче не переживать с героем его низменных, звериных чувств и животных инстинктов.

Итак, автор берется за перо и приступает к современной повести.

Действующих лиц в повести будет не так-то уж много: Иван Иванович Белокопытов, худощавый, тридцати семи лет, беспартийный. Его жена, Нина Осиповна Арбузова,— смугловатая, цыганского типа дамочка, из балетных. Егор Константинович Яркин, тридцати двух лет, беспартийный, заведующий первой городской хлебопекарней. И, наконец, уважаемый всеми начальник станции товарищ Петр Павлович Ситников.

Есть еще в повести несколько эпизодических лиц, как, например: Катерина Васильевна Коленкорова, тетка Пепелюха и станционный сторож и герой труда Еремеич — лица, о которых заранее говорить нету смысла, ввиду незначительности их роли.

Кроме человеческих персонажей, в повести выведена еще небольшая собачка, о которой говорить, конечно, не приходится.

2

Фамилия Белокопытовых — старая, дворянская и помещичья фамилия. В те годы, о которых идет речь, фамилия эта сходила на нет, и Белокопытовых было всего двое: отец Иван Петрович и отпрыск его Иван Иванович.

Отец, Иван Петрович, очень богатый и представительный мужчина, был несколько странный и чудаковатый господин. Слегка народник, но увлекающийся западными идеями, он то громил мужиков, называя их сволочами и человеческими отребьями, то замыкался в своей библиотеке и жадно читал таких авторов, как Жан Жак Руссо, Вольтер или Бодуэн де Куртенэ, восхищаясь их свободомыслием и независимостью взглядов.

И, несмотря на это, отец Иван Петрович Белокопытов нежно любил сельскую жизнь, спокойную и ровную, любил

парное молоко, которое поглощал в каком-то изумительном количестве, и увлекался верховой ездой. Он ежедневно выезжал верхом на прогулку, любуясь красотами природы или журчащим говором какого-нибудь лесного ручейка.

Умер отец Белокопытов еще молодым, в полном расцвете своих сил. Его задавила собственная лошадь.

В один из ясных летних дней, собравшись на обычную свою верховую прогулку, он стоял, совершенно одетый, у окна столовой комнаты, нетерпеливо дожидаясь, когда подадут ему лошадь. Молодцеватый и красивый, в серебряных шпорах, он стоял у окна, раздраженно помахивая стеком с золотым набалдашником. Тут же и сынишка, молодой Ваня Белокопытов, резвился вокруг своего отца, беспечно приплясывая и играя колесиками его шпор.

Впрочем, резвился молодой Белокопытов значительно раньше. В год смерти отца ему было за двадцать лет, и он был уже возмужалым юношей с первым пушком на верхней губе.

В тот год он, конечно, не мог резвиться. Он стоял возле отца и убеждал его отказаться от поездки.

— Не поезжайте, папаша,— говорил молодой Белокопытов, предчувствуя недоброе.

Но молодцеватый папаша, подкрутив усы и махнув рукой — дескать, пропадать так пропадать,— пошел вниз, чтобы дать вздрючку замешкавшемуся конюху.

Он вышел на двор, сердито вскочил на поданную ему лошадь и, в крайнем раздражении и гневе, дал шпоры.

Видимо, это и было его гибелью. Разъяренное животное понесло и верст за пять от имения сбросило Белокопытова, размозжив ему череп о камни.

Молодой Белокопытов стойко выдержал известие о гибели своего отца. Приказав сначала продать эту лошадь, он оттянул это решение и, лично войдя в конюшню, пристрелил животное, вложив револьвер в ухо. Затем он заперся в доме, горько оплакивая гибель своего отца. И только через несколько месяцев приступил снова к прежним своим занятиям. Он изучал испанский язык и под руководством опытного педагога делал переводы с испанских авторов. Но, кроме испанского языка, он занимался еще и латынью, роясь в старинных книгах и рукописях.

Другой бы на месте Ивана Ивановича, оставшись единственным наследником богатейшего состояния, плюнул бы на всю эту испанскую музыку, погнал бы учителей в три шеи, завил бы горе веревочкой, запил бы, закрутил,

заразвратничал, но, к сожалению, не таков был молодой Белокопытов. Он повел жизнь такую же, как и раньше.

Всегда богатый и обеспеченный, не знающий, что такое материальное стеснение, он равнодушно и презрительно относился к деньгам. А тут еще, начитавшись либеральных книг с пометками своего отца, он и вовсе стал пренебрежительно относиться к своему огромному состоянию.

Разные тетушки, узнав о смерти отца Белокопытова, понаехали в имение со всех концов света, рассчитывая, не перепадет ли и им кусочка. Они льстили Ивану Ивановичу, прикладывались к его ручке и восторгались его мудрыми распоряжениями.

Но однажды, собрав всех своих родственников в столовую, Иван Иванович заявил им, что он считает себя не вправе владеть полученным состоянием. Он считает, что наследство — вздор и ерунда и что каждый человек самостоятельно должен делать свою жизнь. И он, Иван Иванович Белокопытов, находясь в здравом уме и твердой памяти, отныне отказывается от всего имущества с тем, что он сам распределит его различным учреждениям и неимущим частным лицам.

Родственнички в один голос ахали и охали и, восторгаясь необыкновенным великодушием Ивана Ивановича, говорили, что, в сущности, они и есть эти самые неимущие частные лица и учреждения. И Иван Иванович, выделив им почти половину своего состояния, распрощался с ними и принялся ликвидировать свою недвижимость.

Он быстро и за бесценок распродал свои земли, разбазарил и частью роздал мужикам домашнюю утварь и скотину и, все еще с крупным состоянием, переселился в город, наняв у простых, незнакомых ему людей две небольшие комнатушки.

Кой-какие далекие родственники, проживавшие в ту пору в городе, сочли себя оскорбленными и прекратили с ним всякие отношения, находя подобное поведение вредным и опасным для дворянской жизни.

Но, поселившись в городе, Иван Иванович никак не изменил своей жизни и привычек. Он по-прежнему продолжал изучение испанского языка, в свободное время широко занимаясь благотворительностью.

Огромные толпы нищих осаждали квартиру Ивана Ивановича. Разные прощелыги, жулики и авантюристы в порядке живой очереди входили теперь к нему с просьбой о вспоможении.

Почти никому не отказывая и жертвуя, кроме того,

большие суммы различным учреждениям, Иван Иванович в короткое время разбазарил половину оставшегося у него имущества. Он сошелся, кроме того, с какой-то революционной группой людей, всячески их поддерживая и помогая. Был слушок даже, что он передал группе почти все оставшиеся свои деньги, но насколько это правда, автор не берется утверждать. Во всяком случае, Белокопытов был замешан в одно революционное дело.

Автор был тогда занят своими поэтическими и семейными делами и сквозь пальцы смотрел на общественные события, так что кое-какие подробности от него ускользнули. Автор издавал в тот год первую книжонку своих стихов под названием «Букет резеды». В настоящее время автор, конечно, не назвал бы свои поэтические опыты таким мизерным и сентиментальным заглавием. В настоящее время автор попытался бы эти стишки объединить какой-нибудь отвлеченной философской идеей и назвать книжку соответствующим заглавием, как, например, названа и объединена эта повесть огромным и значительным словом — «Люди». Но, к сожалению, автор тогда был молод и неопытен. Впрочем, книжка все-таки была неплохая. Отпечатанная на лучшей меловой бумаге в количестве трехсот экземпляров, она за четыре с небольшим года разошлась окончательно, до последнего экземпляра, подарив автору некоторую известность среди граждан.

Неплохая была книжонка.

А что касается до Ивана Ивановича, то он, действительно, несколько запутался в обстоятельствах. Какой-то курсистке, приговоренной к ссылке на поселение, он, в припадке великодушия, подарил ильковую шубу.

Эта шуба наделала хлопот Ивану Ивановичу. Он был взят под подозрение, и за ним был установлен негласный надзор. Его подозревали в сношениях с революционерами.

Иван Иванович, человек нервный и впечатлительный, ужасно взволновался тем, что за ним следят. Он буквально хватался за голову, говоря, что он не может жить больше в России, в этой стране полудиких варваров, где за человеком следят, как за зверем. И Иван Иванович давал себе слово, что он непременно в ближайшее время все распродаст и уедет за границу как политический эмигрант и что ноги его больше не будет в этом стоячем болоте.

И, приняв такое решение, он немедленно принялся ликвидировать свои дела, торопясь и беспокоясь, что его схватят, арестуют или не разрешат выезда. И, быстро за-

кончив свои дела и оставив себе незначительные деньги на житье, Иван Иванович Белокопытов в один из осенних, пасмурных дней выехал за границу, проклиная свою судьбу и себя за великодушие.

Этот отъезд состоялся в сентябре 1910 года.

3

Как жил и что делал Иван Иванович за границей, никому не известно.

Сам Иван Иванович об этом никогда не упоминал, автор же не рискует сочинять небылицы о тамошней иностранной жизни.

Конечно, какой-нибудь опытный сочинитель, дорвавшись до заграницы, непременно бы тут пустил пыль в глаза читателям, нарисовав им две или три европейские картинки с ночными барами, с шансонетками и с американскими миллиардерами.

Увы! Автор никогда не ездил по заграницам, и жизнь Европы для него темна и неясна.

Автор поэтому с некоторым сожалением и грустью и с некоторой даже виной перед читателями должен пропустить по крайней мере десять или одиннадцать лет заграничной жизни Ивана Ивановича Белокопытова, чтоб окончательно не завраться в мелких деталях незнакомой жизни.

Но пусть читатель успокоится. Ничего замечательного за эти десять лет в жизни нашего героя не было. Ну, жил человек за границей, ну, женился там на русской балетной танцовщице... Что же еще? Ну, поистратился, конечно, вконец. А в начале русской революции вернулся в Россию. Вот и все.

Конечно, все это можно было бы раздраконить в лучшем, в более заманчивом виде, но опять-таки, по причинам вышеуказанным, автор оставляет все как есть. Пускай другие писатели пользуются красотой своего слога,— автор человек не тщеславный — как написал, так и ладно. Лавры других знаменитых писателей автору не мешают жить. Так вот, уважаемый читатель, вот все, что случилось с Белокопытовым за десять лет.

Впрочем, не все.

За границей в первые годы Иван Иванович принялся писать книгу. Он уже приступил к этой книге, назвав ее «О революционных возможностях в России и на Кавказе».

Однако сначала мировая война, затем революция сделали эту книгу ненужным, вздорным хламом.

Но Иван Иванович не очень горевал об этом и на третий или четвертый год революции вернулся в Россию, в свой город.

Автор с этого момента и приступает к повести. Тут-то уж автор чувствует себя молодцом и именинником. Тут-то уж автор крепок и непоколебим. И не заврется. Это вам не Европа. Все здесь шло на глазах автора. Всякая мелочь, всякое происшествие автору доподлинно известно или рассказано и получено из первых и уважаемых рук.

Итак, автор начинает свою повесть во всех подробностях только со дня приезда Ивана Ивановича в наш многоуважаемый город.

Это была прелестная весна. Снег уже почти весь стаял. Птицы носились по воздуху, приветствуя своими криками долгожданную весну. Однако без калош еще нельзя было ходить — местами грязь достигала колена и выше.

В один из таких прелестных весенних дней вернулся в свои родные места Иван Иванович Белокопытов.

Это было днем.

Несколько пассажиров моталось по платформе из стороны в сторону, с нетерпением ожидая поезда. Тут же стоял и уважаемый всеми начальник станции товарищ Ситников.

А когда подошел поезд, из переднего мягкого вагона вышел худощавый человек в мягкой шляпе и в узконосых ботинках без калош.

Это и был Иван Иванович Белокопытов.

Одетый по-европейски, в отличном широком пальто, он небрежной походкой сошел на платформу, выкинув предварительно с площадки вагона два прекрасных желтоватой кожи чемодана с никелированными замками. Затем, обернувшись назад и подав руку смугловатой, цыганского типа дамочке, он помог ей сойти.

Они стояли теперь возле своих чемоданов. Она — с некоторым испугом озираясь по сторонам, он же, мягко улыбаясь и дыша полной грудью, глядел на отходящий поезд.

Поезд давно уже отошел — они стояли, не двигаясь. Куча ошалелых мальчишек, свистя и шлепая босыми ногами, набросилась на чемоданы, теребя их грязными лапами и предлагая тащить их хоть на край света.

Подошедший носильщик, старый герой труда Еремеич, отогнав мальчишек, укоризненно стал рассматривать захватанную руками светло-желтую кожу чемоданов. Затем,

взвалив их на плечи, Еремеич двинулся к выходу, предлагая этим следовать приезжим за ним и не стоять попустому.

Белокопытов пошел за ним, но у выхода, на крыльце позади станции, приказал Еремеичу остановиться. И, остановившись сам, он снял шляпу и приветствовал свой родной город, свое отечество и свое возвращение.

И, стоя на ступеньках вокзала, он с мягкой улыбкой глядел на вдаль уходящую улицу, на канавы с мосточками, на маленькие деревянные дома, на сероватый дымок из труб... Какая-то тихая радость, какой-то восторг приветствия был на его лице.

Он долго стоял с непокрытой головой. Мягкий весенний ветер трепал его немножко седеющие волосы. И, думая о своих скитаниях, о новой жизни, которая ему предстоит, Белокопытов стоял неподвижно, вдыхая всей грудью свежий воздух.

И ему хотелось вот сейчас, тотчас, куда-то идти, что-то делать, что-то создавать, какое-то важное и всем нужное. И он чувствовал в себе необыкновенный прилив юношеской свежести и крепости и какой-то восторг. И тогда ему хотелось низко поклониться родной земле, родному городу и всем людям.

Между тем его супруга, Нина Осиповна Арбузова, стоя позади него и язвительно глядя на его фигуру, нетерпеливо постукивала о камни концом зонтика. Тут же, несколько поодаль, стоял Еремеич, согнувшись под двумя чемоданами, не зная, поставить ли их на землю и тем самым загадить грязью их ослепительную поверхность или же держать их на спине и ждать, когда прикажут ему нести. Но Иван Иванович, обернувшись, любезно попросил не утруждать себя тяжестью и поставить ношу, хотя бы в самую грязь. Иван Иванович даже сам подошел к Еремеичу и, помогая ему поставить чемоданы на землю, спросил:

— Ну, как вообще? Как жизнь?

Несколько грубоватый и лишенный всякой фантазии, Еремеич, не привыкший к тому же к таким отвлеченным вопросам и переносивший на своей спине до пятнадцати тысяч чемоданов, корзин и узлов, отвечал простодушно и грубо:

— Живем, хлеб жуем...

Тогда Белокопытов принялся расспрашивать Еремеича о более реальных вещах и событиях, интересуясь, где то или иное лицо и какие изменения произошли в городе. Но Еремеич, проживший безвыездно пятьдесят шесть лет в

своем городе, казалось, впервые слышал от Белокопытова фамилии, имена и даже названия улиц.

Сморкаясь и обтирая рукавом вспотевшее лицо, Еремеич то принимался брать чемоданы, желая этим показать, что пора двигаться, то вновь ставил их на место, беспокоясь, что опоздает к следующему поезду.

Нина Осиповна нарушила их мирную беседу, язвительно спросив, намерен ли Иван Иванович тут остаться и тут жить на лоне природы или же у него есть еще кой-какие планы.

Говоря так, Нина Осиповна сердито стучала туфлей о ступеньки и скорбно сжимала губы.

Иван Иванович принялся что-то отвечать, но тут на шум вышел из помещения уважаемый всеми товарищ Петр Павлович Ситников. За ним следовал дежурный агент уголовного розыска. Но, увидя, что все обстоит благополучно и что общественная тишина и спокойствие ничем не нарушаются и ничего, в сущности, не случилось, кроме как семейных споров с постукиванием дамской туфли о ступеньки, Петр Павлович Ситников повернулся было назад, но Иван Иванович догнал его и, спросив, помнит ли он его, стал трясти ему руки, крепко пожимая и радуясь.

Не теряя своего достоинства, Ситников сказал, что он, действительно, что-то припоминает, что физиономия Белокопытова как будто ему знакома, но насколько это верно, доподлинно не знает и не помнит.

И, отговариваясь служебными делами и пожимая Белокопытову руку, удалился, рукой приветствуя незнакомую смуглую даму.

За ним ушел и дежурный агент, спросив Белокопытова о международной политике и о событиях в Германии. Агент молча выслушал речь Белокопытова и, кивнув головой, отошел, приказав Еремеичу возможно далее отнести от входа чемоданы для того, чтобы проходящие пассажиры не поломали бы себе ноги.

Еремеич с сердцем и окончательно взвалил на себя чемоданы и пошел вперед, спрашивая, куда нести.

— В самом деле,— спросила жена Белокопытова,— куда же ты намерен идти?

С некоторым недоумением и беспокойством Иван Иванович стал обдумывать, куда ему идти, но не знал и спросил Еремеича, нет ли тут поблизости, хотя бы временно, какой-нибудь комнаты.

Снова поставив чемоданы, Еремеич стал тоже обдумывать и припоминать и, решив наконец, что, кроме как

к Катерине Васильевне Коленкоровой, идти некуда, пошел вперед. Но Иван Иванович, обогнав его, сказал, что он помнит добрейшую женщину Катерину Васильевну, помнит и знает, где она живет, и что он сам пойдет вперед, указывая дорогу.

И он пошел вперед, размахивая руками и хлюпая своими изящными заграничными ботинками по грязи.

Позади шел совершенно запарившийся Еремеич. За ним шла Нина Осиповна Арбузова, высоко подобрав юбки и открыв свои тонковатые ноги в светлых серых чулках.

4

Белокопытовы поселились у Катерины Васильевны Коленкоровой.

Это была простодушная, доброватая бабенция, по странной причине интересующаяся чем угодно, кроме политических событий.

Эта Катерина Васильевна радушно приняла Белокопытовых в свой дом, говоря, что отведет им самую отличную комнату рядом с товарищем Яркиным, заведывающим первой государственной хлебопекарней.

И Катерина Васильевна несколько даже торжественно повела их в комнаты.

С каким-то трепетом, вдыхая в себя старый знакомый запах провинциального жилья, Иван Иванович вошел в сенцы, простые и деревянные, с многими дырками в стенах, с глиняным рукомойником в углу на веревке и кучей мусора на полу.

Иван Иванович восторженно прошел через сени, с любопытством рассматривая забытый им глиняный рукомойник, и пошел в комнаты. Ему все сразу понравилось тут — и скрип половиц, и тонкие переборки комнат, и маленькие грязноватые окна, и низенькие потолки. Ему понравилась и комната, хотя, в сущности, комната была неважная и, по мнению автора, даже отвратительная. Но почему-то и сама Нина Осиповна отозвалась о комнате благосклонно, добавив, что для временного жилья это вполне прилично.

Автор приписывает это исключительно усталости приезжих. Автору впоследствии не раз приходилось бывать в этой комнате — более безвкусной обстановки ему не приходилось видеть, хотя автор и сам живет в совершенно плохих условиях, в частном доме, у небогатых людей. Автор при всем своем уважении к приезжим совершенно

удивляется их вкусу. Ничего привлекательного в комнате не было. Желтые обои отставали и коробились. Простой кухонный стол, прикрытый клеенкой, несколько стульев, диван и кровать — составляли все небогатое имущество комнаты. Единственным, пожалуй, украшением были оленьи рога, высоко повешенные на стене. Но на одних рогах, к сожалению, далеко не уедешь.

Итак, Белокопытовы временно поселились у Катерины Васильевны Коленкоровой.

Они сразу же повели жизнь тихую и размеренную. Первые дни, никуда не выходя из дому из-за грязи и бездорожья, они сидели в своей комнате, прибирая ее, или восхищаясь оленьими рогами, или делясь своими впечатлениями.

Иван Иванович был весел и шутлив. Он то подбегал к окну, восторгаясь какой-нибудь телкой или глупой курицей, зашедшей поклевать уличную дрянь, то бросался в сени и, как ребенок смеясь, плескался под рукомойником, поливая свои руки то с одного носика, то с другого.

Нина Осиповна, щепетильная, кокетливая особа, не разделяла восторгов по поводу глиняного рукомойника. Она, с брезгливой улыбкой, говорила, что, во всяком случае, она предпочитает настоящий рукомойник, этакий, знаете ли, с ножкой или с педалью — нажмешь и льется. Впрочем, особой обиды насчет рукомойника Нина Осиповна не высказывала. Напротив, она не раз говорила:

— Если это временно, то я согласна и не сержусь. И за неимением гербовой пишут и на простой.

И, умывшись утром, розовая и свежая и помолодевшая лет на десять, Нина Осиповна с довольным видом спешила в комнаты и там, надев балетный костюм — этакие, знаете ли, трусики с газовой юбчонкой,— танцевала и упражнялась перед зеркалом, грациозно приседая то на одну, то на другую ногу, то на обе враз.

Иван Иванович ласково поглядывал на нее и на ее пустяковые затеи, находя, впрочем, что провинциальный воздух ей положительно благоприятен и что она уже несколько поправилась и пополнела и ноги у ней не такие уж чересчур тонковатые, как были в Берлине.

Утомившись от своих приседаний, Нина Осиповна присаживалась в какое-нибудь кресло, а Иван Иванович, ласково поглаживая ее руку, рассказывал о своей здешней жизни, о том, как одиннадцать лет тому назад он бежал, преследуемый царскими жандармами, и о том, как он провел первые свои годы изгнания. Нина Осиповна рас-

спрашивала мужа, живо интересуясь, сколько он имел денег и какие у него были земли. Ахая и ужасаясь, как это он так быстро и сразу растратил свое состояние, она сердито и резко выговаривала ему за глупую беспечность и чудачество:

— Ну как можно! Как можно так швыряться деньгами! — говорила она, сдерживая свое негодование.

Иван Иванович пожимал плечами и старался переменить разговор.

Иногда их беседы прерывала Катерина Васильевна. Она входила в комнату и, остановившись у дверей, покачиваясь из стороны в сторону, рассказывала Белокопытовым о всяких городских переменах и сплетнях.

Иван Иванович с жаром расспрашивал ее о своих дальних родственниках и немногочисленных знакомых и, узнав, что большинство из них умерло за эти годы, а иные, как политические эмигранты, уехали,— качал головой и беспокойно ходил вдоль комнаты, пока Нина Осиповна не брала его за руку и не усаживала на стул, говоря, что своим мельканием перед глазами он действует ей на нервы.

Так проходили первые дни без всяких волнений, тревог и происшествий. И только раз, под вечер, постучав в двери, вошел к ним их сосед, Егор Константинович Яркин, и, познакомившись, долго расспрашивал о заграничной жизни, спросив под конец, не продажный ли у них чемодан, стоявший в углу.

И, узнав, что чемодан не продается, а стоит так себе, Егор Константинович, несколько оскорбившись, ушел из комнаты, молча поклонившись присутствующим.

Нина Осиповна брезгливо смотрела ему вслед, на его широкую фигуру с бычачьей шеей, и печально думала, что вряд ли здесь, в этом провинциальном болоте, можно найти настоящего изысканного мужчину.

5

Итак, жизнь шла своим чередом.

Грязь уже несколько пообсохла, и по улицам взад и вперед стали сновать прохожие, спеша по своим делам или прогуливаясь, луща семечки, хохоча и заглядывая в чужие окна.

Иногда на улицу выходили домашние животные и, пощипывая траву или роя ногами землю, степенно проходили мимо дома, нагуливая весенний жирок.

Высокообразованный, знающий отлично испанский язык и отчасти латынь, Иван Иванович ничуть не беспокоился о своей судьбе, надеясь в ближайшие же дни найти себе соответствующую должность и тогда перебраться на новую, более приличную квартиру. И, говоря об этом со своей женой, Иван Иванович спокойным тоном объяснял ей, что хотя сейчас у него материальные дела несколько и стесненные, но что в ближайшее время это изменится к лучшему. Нина Осиповна настойчиво просила его возможно поскорей приняться за дело и определить свое положение, и Иван Иванович обещал ей, сказав, что завтра же он это сделает.

Однако первые его шаги не увенчались успехом. Немного обескураженный, он и на другой день пошел в какое-то учреждение, но вернулся грустный и слегка взволнованный. И, пожимая плечами, он оправдывался перед женой, объясняя ей, что это не так-то просто и не так-то сразу дается приличная должность человеку, знающему латинский и испанский языки.

Он каждое утро теперь выходил на поиски службы, но ему отказывали, то ссылаясь на отсутствие соответствующей должности, то на неимение у него служебного стажа.

Впрочем, принимали Ивана Ивановича всюду очень приветливо и внимательно, очень интересовались и расспрашивали о загранице и о возможности новых мировых потрясений, но, когда он переходил на дело, качали головами, разводили руками, говоря, что они ничего не могут поделать и что испанский язык — язык очень забавный и редкий, но, к сожалению, потребности в нем не ощущается.

Белокопытов уже перестал говорить о своем испанском языке. Он больше напирал теперь на латынь, зная о ее практическом применении, но и латынь Ивана Ивановича не вывозила. Его выслушивали, интересовались даже, прося для слуха изобразить по-латински стишок или фразу, но практического применения никакого не видели.

Иван Иванович перестал напирать на латынь. Он просил теперь письменной работы, но его расспрашивали, что он умеет и какой у него профессиональный стаж. И, узнав, что Иван Иванович ничего не умеет и нет у него никакого профессионального стажа, обижались, говоря, что им совершенно непонятно, к чему и на что его приспособить.

Кое-где, впрочем, Белокопытову предлагали понаведаться через месяц, не обещая пока ничего существенного.

Иван Иванович Белокопытов приходил теперь домой в мрачном и угнетенном состоянии. Наскоро съев жидковатый обед, он заваливался в брюках на постель и, отвернувшись лицом к стене, избегал разговоров и сцен со своей женой.

А она, в своих трусиках и в розовом газе, прыгала, что дура, около зеркала, топоча ногами и закидывая кверху тонковатые свои руки с острыми локтями.

Иногда она пыталась делать сцены, наговаривая кучу всевозможных неприличностей Ивану Ивановичу и возмущаясь тем, что он вывез ее из-за границы на такую бессодержательную жизнь, но Иван Иванович, чувствуя и зная свою вину, отмалчивался. И только однажды сказал, что он ничего не понимает, что он и сам введен в заблуждение насчет испанского языка и насчет всей своей жизни. Он рассчитывал устроиться на приличную должность, но этого не выходит, оттого что он, оказывается, ничего не умеет и ничего не может и что об этом он еще никогда не задумывался. Он, оказывается, получил глупое и бестолковое воспитание, рассчитанное на богатую, обеспеченную жизнь помещика и домовладельца. И вот теперь, когда у него ничего нету,— он пожинает плоды.

Нина Осиповна заплакала, говоря, что это так не может продолжаться, что должен быть какой-то конец, что, в конце концов, они задолжали кругом и даже добрейшей своей хозяйке Катерине Васильевне. Тогда, попросив ее не плакать, он предложил ей продать чемодан, хотя бы соседу Егору Константиновичу Яркину.

Она так и сделала. Она лично пошла с чемоданом в комнату Яркина и долго просидела там, вернувшись несколько оживленной с деньгами в руках.

В дальнейшем таких сцен не повторялось. Вернее, Иван Иванович, предчувствуя сцену, надевал шляпу и выходил на улицу. И всякий раз, когда выходил на улицу и проходил через сени, слышал, как его сосед Егор Константинович переговаривается через стенку с женой, предлагая ей кусок хлеба или бутерброд с сыром.

Иван Иванович выходил за ворота, на канаву, и стоял там, уныло поглядывая на длинную улицу. Иногда он присаживался на скамейку возле палисадничка и, обняв руками свои колени, сидел неподвижно, с беспокойством поглядывая на прохожих.

Мимо него проходили люди, спеша по своим делам. Какая-нибудь баба с корзинкой или с мешком с любопытством осматривала Ивана Ивановича и шла дальше, обо-

рачиваясь назад раз десять или пятнадцать. Какие-нибудь мальчонки пробегали мимо него и, высовывая языки или хлопнув сидящего по коленке, стремительно убегали прочь.

Иван Иванович на все это смотрел с печальной усмешкой, в сотый раз думая все об одном и том же — о своей жизни и о жизни других людей, стараясь найти какую-то разницу или какую-то ужасную причину его несчастья.

Иной раз мимо Белокопытова проходили рабочие текстильной фабрики с гармоникой, шутками и песнями. И тогда Белокопытов несколько оживлялся и долго смотрел на них, слушая их веселые громкие песни, крики и возгласы.

И в такие дни, в дни сидения на канаве, Ивану Ивановичу казалось, что он, пожалуй что, напрасно приехал сюда, в этот город, на эту улицу. Но куда нужно было приехать — он не знал. И, еще более обеспокоенный и согнувшийся, он уходил домой, волоча по земле свои ноги.

6

Иван Иванович совершенно упал духом. Его восторженное состояние после приезда сменилось молчаливой тоской и апатией.

Он чувствовал какой-то испуг перед неведомой ему, оказывается, жизнью. Ему казалось теперь, что жизнь — это какая-то смертельная борьба за право существовать на земле. И тогда, в смертельной тоске, чувствуя, что речь идет попросту о продлении его жизни, он выдумывал и выискивал свои способности, свои знания и способы их применения. И, перебирая все, что он знает, он приходил к грустному заключению, что он ничего не знает. Он знает испанский язык, он умеет играть на арфе, он немного знаком с электричеством и умеет, например, провести электрический звонок, но все это здесь, в этом городе, казалось ненужным и для горожан несколько смешным и забавным. Ему не смеялись в лицо, но он видел на лицах улыбки сожаления и хитрые, насмешливые взгляды, и тогда он, съежившись, уходил прочь, стараясь подольше не встречаться с людьми.

По заведенной привычке, он все еще ежедневно и аккуратно выходил на поиски работы. Не торопясь и стараясь идти как можно медленней, он, без всякого трепета, как раньше, почти механически, высказывал свои просьбы.

Ему предлагали зайти через месяц, иногда же просто и коротко отказывали.

Иной раз, приведенный в тупое отчаяние, Иван Иванович с сердцем упрекал людей, требуя немедленно работу и немедленную помощь, выставляя свои заслуги перед государством и рассказывая историю относительно ильковой шубы, подаренной им ссыльной курсистке.

Целыми днями он таскался теперь по городу и вечером, полуголодный, с гримасой на лице, бродил бесцельно из улицы в улицу, от дома к дому, стараясь оттянуть, отдалить свой приход домой.

Иной раз он проходил через весь город и, не заходя никуда и не останавливаясь, шел все прямо. И, минуя Слободку, выходил в открытое поле, пересекал Собачью рощицу и шел к лесу. Там побродив до сумерек, возвращался домой.

И он входил в свою комнату, закрывая глаза, зная, что налево, у зеркала, в углу сидит неподвижная Нина Осиповна и язвительно или в слезах осматривает его.

Он избегал разговоров, он избегал даже встреч, стараясь пробыть в доме недолго и только ночью.

Но однажды он сам заговорил с женой.

Он сказал, что все гибнет, что он отдает себя в руки судьбы, а она, Нина Осиповна, может, если найдет нужным, как угодно распоряжаться его имуществом. Он намекал в данном случае на оставшийся чемодан и на кой-какие вещи из его заграничных костюмов.

Услышав через тонкую перегородку об этом, в комнату вошел Егор Константинович Яркин и сказал, что он с удовольствием идет навстречу их желаниям, но только от чемодана отказывается категорически.

— Все чемоданы да чемоданы,— сказал Егор Константинович, хмурясь.— Нет ли чего другого продажного?

И, узнав, что есть, он стал рассматривать какие-то вещи и какие-то штаны, поднося их к самым глазам. И, рассматривая на свет, хаял, понижая их достоинство.

Нина Осиповна, оживленная и неизвестно чем взволнованная, шутила с Егор Константиновичем, то хлопая его легонько по руке, то усаживаясь грациозно на ручке кресла и покачивая тонковатой ногой.

Наконец Егор Константинович, оставив деньги и любезно попрощавшись, ушел, захватив с собой вещи.

Несколько дней после этого прошли спокойно и тихо. Но в конце недели Иван Иванович, выйдя из дома утром, вернулся в полдень совершенно потрясенный и сияющий.

Он нашел себе службу. Он все время искал себе какую-то глупую, интеллигентскую письменную работу, но ведь, оказывается, есть кое-что и другое!

В общем, он встретил на улице своего старинного приятеля, который, участливо расспросив и узнав о сумасшедшем положении Ивана Ивановича, схватился за голову, обдумывая, как бы немедленно и сразу помочь своему другу. Он, несколько конфузясь, сказал, что он может, хотя бы временно, устроить его в один из потребительских кооперативов. Но что это временно, что такому образованному человеку, как Иван Иванович, необходима соответствующая должность.

Иван Иванович с дикой радостью схватился за предложение, говоря, что он заранее согласен в кооператив, что ему положительно по душе эта работа и что он вовсе не захочет каких-то там проблематических перемен. И, условившись обо всем, Иван Иванович опрометью бросился домой. И дома, теребя за руки то Катерину Васильевну, то свою жену, захлебываясь, говорил о своем месте.

Он тотчас и немедленно развил им целую философскую систему о необходимости приспособляться, о простой и примитивной жизни и о том, что каждый человек, имеющий право жить, непременно обязан, как и всякое живое существо и как всякий зверь, менять свою шкуру, смотря по времени. Зачем ему какой-то дурацкий интеллигентский труд! Вот чудная профессия, которая даст ему новую радость жизни. Кому надо какой-то испанский язык, какие-то утонченные мозги и так далее.

И, говоря об этом запутанным, ломаным языком, недоговаривая слова и перескакивая с мысли на мысль, он пытался доказать свою теорию. Нина Осиповна слушала его, хлопая ушами, нервно покуривая папиросу за папиросой.

Автор догадывается, что Иван Иванович Белокопытов, слегка запарившись от волнения, говорил о той великой научной теории, о симпатической окраске, о так называемой мимикрии, когда ползущий по стеблю жучок имеет цвет этого стебля для того, чтоб птица не склевала бы его, приняв за хлебную крошку.

Автору все это было ясно и понятно. И автор ничуть не удивляется тому, что Нина Осиповна хлопала ушами, не понимая, о чем идет речь. Автор не слишком-то большого мнения о балетных танцовщицах.

7

Иван Иванович Белокопытов поступил в кооператив «Народное благо».

Иван Иванович вставал теперь чуть свет, надевал свой уже потрепанный костюм и, стараясь не разбудить своей жены, на цыпочках выходил из дому и бежал на службу. Он приходил туда почти всегда первым и стоял у дверей по часу и больше, дожидаясь, когда наконец придет заведывающий и откроет лавку. И, выходя из лавки последним, вместе с самим заведывающим, он, торопливо шагая и прыгая через канавы, шел домой, неся в руках какую-нибудь выданную снедь.

Дома, захлебываясь и перебивая самого себя, он говорил жене о том, что эта работа ему совершенно по душе, что лучшего он и не хочет в своей жизни, и что быть хотя бы и приказчиком — это не так-то позорно и унизительно, и что, наконец, эта работа очень приятная и не так уж трудная.

Нина Осиповна довольно симпатично относилась к этой перемене в жизни Ивана Ивановича, говоря, что если это временно, то это совсем не так плохо, как кажется на первый взгляд, и что в дальнейшем они, может быть, даже смогут открыть свой небольшой кооперативчик. И, развивая эту мысль, Нина Осиповна приходила в совершенный восторг, рисуя себе картину, как они будут торговать сами — он за прилавком, сильный, с засученными рукавами и с топором для рубки мяса, а она, грациозная и слегка напудренная, за кассой. Да, она непременно будет стоять за кассой и, весело улыбаясь покупателям, будет пересчитывать деньги, связывая их в аккуратные пачечки. Она любит пересчитывать деньги. Даже самые грязные деньги все же чище кухонного передника и посуды.

И, думая так, Нина Осиповна хлопала в ладоши, наскоро надевала розовое трико и газ и снова начинала свои дурацкие прыжки и экивоки. А Иван Иванович, утомленный дневной работой, заваливался спать, с нетерпением ожидая утра.

И, вернувшись к вечеру, Иван Иванович снова и опять делился с женой своими впечатлениями за день или, смеясь, рассказывал ей о том, как он вешал сегодня масло. И что легкий, едва уловимый нажим одного пальца на весы чрезвычайно меняет вес предмета, оставляя кое-что в пользу приказчика.

Нина Осиповна оживлялась в этих местах. Она удивля-

лась, почему Иван Иванович нажимает одним только пальцем, а не двумя, говоря, что двумя — это еще больше уменьшит вес масла. При этом страшно жалела, что нельзя вместо масла подсовывать покупателям какую-нибудь светловатую дрянь, вроде глины.

Тогда Иван Иванович поднимал свою жену на смех, упрашивая ее не очень-то вмешиваться в его дела, чтоб не переборщить через край и тем самым не потерять службу. Но Нина Осиповна сердито советовала ему не слишком-то церемониться и не очень-то миндальничать с обстоятельствами. Иван Иванович соглашался. Он с некоторым даже пафосом говорил, что цинизм — это вещь совершенно необходимая и в жизни нормальная, что без цинизма и жестокости ни один даже зверь не обходится и что, может быть, цинизм и жестокость и есть самые правильные вещи, которые дают право на жизнь. Иван Иванович говорил еще, что он был раньше глупым, сентиментальным щенком, но теперь он возмужал и знает, сколько стоит жизнь, и даже знает, что все, что он раньше считал своим идеалом: жалость, великодушие, нравственность,— все это не стоит ломаного гроша и выеденного куриного яйца. Все это жалкие побрякушки, достойные сентиментальной фальшивой эпохи.

Нина Осиповна не любила его таких отвлеченных философских идей. Она с досадой махала рукой, говоря, что вполне предпочитает не слова, а реальные, видимые факты и деньги.

Так шли дни.

Иван Иванович Белокопытов сделал уже несколько покупок и приобретений. Так, например, он купил несколько глубоких тарелок с синими ободками, две или три кастрюльки и, наконец, примус.

Это было целое торжество, когда Иван Иванович купил примус. Иван Иванович сам распаковал его и сам стал показывать Нине Осиповне, как с ним обращаться и как готовить на нем обед или подогревать мясо.

Иван Иванович стал хозяином и расчетливым человеком. Он чрезвычайно жалел, что за бесценок продал соседу свои заграничные костюмы. Но тут же утешал себя, говоря, что это дело наживное и что в ближайшее время он непременно купит себе хороший, но простой и немаркого цвета костюм.

Однако костюма Ивану Ивановичу купить не удалось.

Однажды, выйдя перед закрытием из лавки и сунув в портфель два фунта стеариновых свечей и кусок мыла, Иван Иванович пошел через двор к выходу.

В воротах его окликнул охранник, приказав ему остановиться и показать содержимое портфеля.

Весь как-то сразу осунувшись, Иван Иванович стоял молча и глядел на охранника, не двигаясь с места. А охранник, сказав, что получен строжайший приказ не выпускать со двора без обыска, повторил свое требование.

Иван Иванович стоял совершенно ошеломленный, с трудом понимая, что происходит. Он позволил открыть свой портфель, откуда, при радостных криках собравшихся, были извлечены злополучные свечи и мыло.

Белокопытова пригласили в охрану, отобрали свечи, сняли с него допрос и, составив убийственный для него протокол, отпустили его, смеясь над его забавным видом, над его фигурой с прижатым к груди пустым и расстегнутым портфелем.

Все произошло настолько быстро и неожиданно, что Иван Иванович, не представляя ясно своего положения, вышел пошатываясь на улицу. Он пошел сначала по направлению к дому, затем, не дойдя улицы Сен-Жюста, повернул налево и пошел как-то странно, не шевеля руками и не ворочая головой.

Он обошел несколько кварталов, посидел на какой-то лавчонке и поздно ночью вернулся домой.

Он вошел в дом, как слепой шаря перед собой руками, и, войдя в комнату, лег на постель и, отвернувшись к стене, принялся водить пальцами по узорам обоев.

Он ни слова не проронил своей жене. И та ничего не спрашивала, узнав заранее обо всем. Эту новость сообщил ей Егор Константинович, придя домой после службы.

И теперь, несмотря на присутствие Белокопытова, Егор Константинович, постучав слегка в стену, спросил Нину Осиповну, не нужно ли ей чего и не хочет ли она выкушать стакан чаю с бутербродом.

Нина Осиповна, не глядя на мужа, грудным, мелодичным голосом отвечала, что она сыта по горло и сейчас ложится спать. Егор Константинович еще что-то спросил предупредительно и вежливо, но она, раздеваясь и зевая, сказала, что спит.

И она действительно легла на диван и, закрыв лицо руками, лежала так неподвижно и странно. Иван Иванович приподнялся, чтобы потушить свет, но, взглянув на диван, сел и долго смотрел на жену. И ему показалось, что у нее отчаянное состояние, что она близка к гибели. И он хотел подойти к жене, стать на колени и что-то говорить бодрым и спокойным тоном. Но не смел.

8

Он лежал, вытянувшись вдоль кровати, стараясь не двигаться и ни о чем не думать. Но думал, и не о случившемся сегодня, а о своей жене, о печальной ее жизни и о том, что не все люди имеют право существовать.

С этими мыслями он стал засыпать. Какая-то страшная усталость сковала его ноги, и какая-то тяжесть легла на все его тело. И, закрыв глаза, он замер. Дыхание его стало ровное и спокойное.

Но вдруг осторожное шарканье ног и скрип двери заставили его вздрогнуть и проснуться.

Он проснулся, вздрогнув всем телом. Присел на кровать и беспокойно оглядел комнату. Небольшая керосиновая лампа еле горела, скудно отбрасывая длинные тени. Иван Иванович оглянулся на диван — жены не было.

Тогда, беспокоясь и волнуясь за нее, он вскочил на ноги и прошел по комнате, осторожно ступая на носки.

Потом подбежал к двери, открыл ее и в испуге, в предутренней дрожи стуча зубами, бросился в коридор. Он выбежал в кухню, заглянул в сени — все было тихо и спокойно. Только курица в сенях, вспугнутая Иваном Ивановичем, шарахнулась в сторону, страшно закричав.

Белокопытов вернулся в кухню. Сонная Катерина Васильевна сидела теперь на кровати, зевая и мелко крестя свой рот. Она вместе с тем прислушивалась к необычайному шуму. И, увидев перед собой Ивана Ивановича, спокойно улеглась, думая, что он идет за нуждой.

Но Иван Иванович, подойдя к хозяйке, стал теребить ее за руку, умоляя ответить, не проходила ли через кухню его жена.

Крестясь и разводя руками, Катерина Васильевна отговаривалась незнанием. Потом она стала надевать на себя юбку, говоря, что если Нина Осиповна и ушла, то небось вернется.

Но потом, одевшись и подойдя к запертой двери жильца Яркина, Катерина Васильевна сказала, что жена Ивана Ивановича дома. И если нету ее в комнате, то небось сидит у соседа.

И, поманив Белокопытова пальцем, повела его в коридор и, подойдя к дверям Яркина, припала к замочной скважине.

Иван Иванович тоже хотел подойти к двери, но в эту минуту пол под ним скрипнул, и в комнате соседа завози-

лись. И сам Егор Константинович, шлепая босыми ногами, подойдя к двери, спросил хрипло:

— Кто? Чего надо?

Иван Иванович хотел промолчать, но сказал:

— Это я... Не у вас ли Нина Осиповна Арбузова?

— У меня,— грубо сказал Яркин.— Чего надо?

И, не получив ответа, взялся за ручку двери.

В комнате послышался прерывистый шепот. Нина Осиповна настойчиво умоляла отдать ей какой-то револьвер, говоря, что все обойдется благополучно. Потом сама, подойдя ближе к двери и взявшись за ручку, спросила негромко:

— Ваня... ты?

Иван Иванович съежился и, пробормотав неясное, удалился в свою комнату. И там присел на кровать.

Автор предполагает, что особенного отчаяния у Ивана Ивановича не было. А если Иван Иванович и присел на кровать с видимым отчаянием, то, может, это только в первую минуту. Потом-то, раздумав, он, наверное, даже обрадовался. Автору кажется, что Иван Иванович и не мог не обрадоваться. Страшная обуза сошла с его плеч. Все-таки приходилось беспокоиться о жизни Нины Осиповны, всякие для нее удовольствия, театры и лучший кусок хлеба он должен был предоставлять ей. А теперь, когда жизнь Ивана Ивановича сильно ухудшилась, то и прокормить такую дамочку вопрос был немаловажный. Тем более что, напрыгавшись за день перед зеркалом, она и за двоих съедала.

Так вот, посидев на кровати и придя к заключению, что нет ничего ужасного, Иван Иванович снова лег и пролежал до утра не смыкая глаз. Он ни о чем не думал, но его голова гудела и наливалась свинцом.

И когда он встал,— это был несколько иной Иван Иванович. Впалые глаза, желтая сморщенная кожа и трепаные волосы чрезвычайно его изменили. И даже когда он вымылся холодной водой, эта перемена не исчезла.

Утром, одевшись и по привычке причесав волосы, Иван Иванович вышел из дому. Он медленным шагом дошел до кооператива, но вдруг, повернув круто в сторону и вздрогнув, зашагал прочь.

Он долго шел унылым механическим шагом и, выйдя за город, направился на свое любимое место к лесу, за Собачью рощицу.

Он прошел рощу, ступая на желтые осенние листья, и вышел на полянку.

Вся полянка была изрыта старыми, оставшимися от

войны окопчиками, землянками и блиндажами. Ржавая колючая проволока висела клочками на небольших кольях.

Иван Иванович любил это место. Он не раз бродил здесь по окопчикам, лежал у опушки леса и, глядя на все эти военные затеи, хитро улыбался своим мыслям. Но теперь он несколько равнодушно и как бы не замечая ничего прошел мимо и, дойдя до леса, присел на полузаваленную землянку, вырытую лет, может, семь назад.

Он долго сидел так, ни о чем не думая, потом пошел дальше, потом снова вернулся и лег на траву. И лежал долго, уткнувшись ничком, теребя руками траву. Потом снова встал и пошел в город.

Была ранняя осень. Желтые листья лежали на земле. И земля была теплая и сухая.

9

Иван Иванович стал жить один.

Возвращаясь после скитаний домой и с грустью оглядывая свое опустевшее жилье, Иван Иванович присаживался на кровать, обдумывая, какие вещи исчезли из комнаты вместе с Ниной Осиповной. Таких вещей оказалось порядочно: не было примуса, купленного в счастливые дни, не было скатерти на столе, даже было снято и унесено зеркало и небольшой коврик перед кроватью.

Иван Иванович не очень-то огорчался о потере этих вещей. «Черт с ними!» — думал добрый Иван Иванович, прислушиваясь, что говорили за стенкой.

Но за стенкой говорили постоянно шепотом, и слов нельзя было разобрать. Только время от времени были слышны басовые нотки Егора Константиновича. Это Егор Константинович, видимо, утешал Нину Осиповну, боявшуюся за свое новое благополучие и за те вещи, которые она взяла, не спросив мужа.

Но Ивану Ивановичу теперь было не до вещей. Он каждое утро направлялся за город, шел через рощицу и, миновав полянку, выходил к лесу.

Там, присаживаясь на свою землянку или бродя по лесу, он обдумывал свое новое положение. Он старался одной какой-то мыслью определить то, что случилось, что произошло и отчего произошло.

Ушла жена. И она не могла не уйти. Он — человек из прошлого мира. Он оказался неприспособленным к борьбе. А женщины идут за победителем. Ну что же, теперь все

это ясно, теперь уже ничто не спасет его от неминуемой гибели.

Гибель была предрешена — это он знал, но в силу какой-то воли он старался найти выход и хотя бы теоретически придумать возможность выхода, возможность продлить свое существование. Он не хотел смерти. Напротив, задумываясь об этом, он с досадой отгонял эту мысль, считая ее вздорной и ему не нужной. И старался в такие моменты думать о другом.

И, бродя по лесу, Иван Иванович думал, что отчего бы ему не остаться здесь жить. Ему уже рисовались картины, как он живет в полузаваленной землянке, среди грязи и нечистот, и как ползком, как животное, на четвереньках вылезает из своей норы и отыскивает пищу.

Но потом смеялся.

Он теперь не всякий вечер уходил домой. Он оставался иногда в лесу. И, полуголодный, поедая сырые грибы, корни и ягоды, засыпал под каким-нибудь деревом, положив под голову свои руки.

А во время дождя он вползал в землянку. И сидел в землянке, скорчившись и обняв худые свои ноги, слушая, как капли дождя колотят о деревья.

10

Была осень. Шли непрерывные дожди. Снова невозможно было выходить без калош. И снова грязь доходила до колен.

Нина Осиповна жила с Егором Константиновичем Яркиным беспечно и тихо. Ей пришлось отложить свои упражнения в танцах. Она была беременна, и Егор Константинович, узнав об этом, боясь за потомство, категорически запретил ей наряжаться в розовую дрянь, грозя в противном случае сжечь в печке эти тряпки. И Нина Осиповна, покапризничав и слегка поплакав, смирилась и сидела теперь подле окна, безучастно глядя на грязную улицу. Но иной раз она спрашивала у Яркина, не знает ли он чего об ее муже. Егор Константинович усмехался и махал рукой, прося, ради будущего ребенка, не думать о муже.

И Нина Осиповна умолкала, думая все же, отчего это все реже и реже она слышит шаги в соседней комнате.

И действительно, Иван Иванович все реже стал ходить домой, и когда ходил, то избегал встреч с людьми, а встре-

чая, очень конфузился и перебегал улицу, стараясь скрыть свой промокший, побуревший костюм.

Иван Иванович не входил даже теперь в свою комнату. И, приходя домой, останавливался в сенях и молча здоровался с Катериной Васильевной, всякий раз боясь, что она заорет, затопает ногами и погонит его прочь. Но Катерина Васильевна, не скрывая своего удивления и жалости и почему-то не зовя его хотя бы в кухню, выносила ему в сени хлеб, суп или все, что осталось от обеда. И, не сдерживая своих слез, плакала, смотря, как Иван Иванович худыми, серыми пальцами разрывал еду и проглатывал, чмокая и скрипя зубами.

И, съев все, что ему приносилось, и схватив с собой кусок хлеба, Иван Иванович трогал за рукав Катерину Васильевну и убегал снова.

Он снова возвращался в свою землянку. И снова садился в обычную свою позу, кашляя и сплевывая на свой костюм.

Но он не был сумасшедший, этот Иван Иванович Белокопытов. Автору доподлинно известна его встреча с одним из старых приятелей. Иван Иванович вполне разумно и несколько даже иронически говорил о своей жизни. И, потрясая лохмотьями своего заграничного костюма, громко смеялся, говоря, что все это вздор, что все слезает с человека, как осенью шкура животного.

И, попрощавшись с приятелем, крепко пожав ему руку, пошел к своей землянке.

Странно и непонятно жил теперь Иван Иванович. Стараясь ни о чем не думать, а жить так, как-нибудь, чтобы прожить, он все же, видимо, не мог не думать и все время носился со своими планами о жизни, приходя к заключению, что жить в землянке не так-то уж плохо, но что из всех животных он самое плохое животное, у которого хронический бронхит и насморк. И, думая так, Иван Иванович печально покачивал головой.

Ему теперь все чаще и чаще приходила мысль о неминуемой гибели, но он по-прежнему с раздражением отвергал мысль о самоубийстве. Ему казалось, что нет у него на это ни воли, ни охоты и что ни одно животное никогда еще не погибало от самого себя.

Была ли в этом слабая воля Ивана Ивановича или была какая-то неопределенная надежда — неизвестно. Во всяком случае, однажды и неожиданно Иван Иванович придумал план, по которому он должен погибнуть, не прибегая к насилию над собой.

Это было утром. Осеннее солнце еще было ниже деревьев, когда Иван Иванович, вздрогнув, проснулся в своей землянке. Страшная сырость, дрожь и озноб охватили все его тело. Он проснулся, открыл глаза и вдруг совершенно отчетливо подумал о своей гибели. Ему показалось, что сегодня он должен погибнуть. Как и отчего, он еще не знал. И стал думать. И вдруг решил, что должен погибнуть, как зверь, в какой-то отчаянной схватке.

В его воображении стали рисоваться картины этой схватки. Он борется с человеком, хотя бы с Егором Константиновичем, к которому ушла жена. Они грызутся зубами, валяются по земле, подминают под себя друг друга, рвут волосы...

Иван Иванович окончательно проснулся и, дрожа всем телом, сел на землю. И осторожно, мысль за мыслью, стал обдумывать, стараясь не пропустить ни одной мелочи.

Вот он приходит в комнату. Отворяет дверь. Яркин, непременно, сидит за столом направо. У окна будет сидеть Нина Осиповна, сложив на животе руки. Иван Иванович подойдет к Яркину и пихнет его двумя руками в плечо и грудь. Тот откинется назад, стукнется головой о стену, потом вскочит и, вынув револьвер, застрелит его — Ивана Ивановича Белокопытова.

И, придумав такой план, Иван Иванович вскочил на ноги, но, ударившись головой о потолок, сел и пополз из землянки.

И спокойным, ровным шагом пошел в город, обдумывая мелочи. Потом, желая закончить все скорей и разом, бросился опрометью бежать, вскидывая ногами и разбрасывая вокруг себя грязь, листья и брызги.

Он долго бежал. Почти до самого дома. И только увидев дом, замедлил шаг и пошел совсем тихо.

Какая-то белая собачонка равнодушно залаяла на него.

Нагнувшись и подняв с земли камень, Иван Иванович метко бросил в нее.

Собака с визгом отбежала за ворота и, высунув морду в калитку, отчаянно залаяла, скаля зубы.

Схватив кусок грязи, Иван Иванович бросил в собаку опять. Потом бросил еще раз. Потом подошел к воротам и принялся дразнить животное ногой, подпрыгивая и стараясь попасть по зубам.

Какое-то бешенство, испуг овладели собакой. Она в смертельном страхе скулила уже, поднимая верхнюю губу и стараясь ухватить человека за ногу. Но Иван Иванович

ловко и вовремя отдергивал ногу и бил собаку рукой и грязью.

Бабка Пепелюха, как ошпаренная кипятком, выскочила из дому, подбирая самые ужасные и яростные выражения для гнусных мальчишек, дразнивших ее пса. Но, увидев большого, лохматого человека, разинула рот, сказав сначала, что довольно стыдно сознательным гражданам дразнить собак. Но снова смолкла и, разинув рот, остановилась неподвижная, глядя на удивительную сцену.

Иван Иванович, стоя теперь на коленях, боролся с собакой, пытаясь руками разорвать ей пасть. Собака судорожно хрипела, раскидывая и царапая землю ногами.

Тетка Пепелюха, страшно и тонко закричав, бросилась к Ивану Ивановичу и, еле вырвав у него собаку, убежала в дом.

А Иван Иванович, обтерев искусанные свои руки, медленным и тяжелым шагом пошел дальше.

Автору несколько странно и чудно говорить об этом происшествии. Автор даже слегка огорчен поступком Ивана Ивановича. Конечно, автор ничуть не жалеет Пепелюхиной собаки, пес с ней, с собакой, автор только огорчается той неясностью и нелепостью поступка и положительно не знает — в тот момент зашел ли у Ивана Ивановича ум за разум, или ум за разум не заходил, а была просто игра, случайность, крайнее раздражение нервов. Впрочем, все это крайне неясно и психологически непонятно.

И такая неясность, уважаемые читатели, к знакомому лицу и к известному характеру! А хорош был бы автор, спутавшись с неизвестным героем! Заврался бы вконец! Тем более что очень уж разноречивые были на этот счет слухи.

Тетка Пепелюха, например, крестилась и божилась, что Иван Иванович был совершенно тронувшись, что у него висел язык и изо рта слюни текли. Катерина Васильевна, не менее набожная дамочка, тоже была близка к той же мысли. Однако станционный сторож и герой труда Еремеич утверждал обратное. Он говорил, что Иван Иванович Белокопытов здоров как бык и что больных и свихнувшихся обыкновенно сажают в специальные дома. Егор Константинович Яркин тоже был уверен в полном уме и твердой памяти Белокопытова. Что же касается уважаемого товарища Ситникова, то Ситников не брался что-либо утверждать, говоря, что он может, в случае крайней надобности, списаться с одним московским психиатром. Но это длинно и неверно. Пока товарищ Ситников напишет, да пока

московский психиатр раскачается с ответом, да небось ответит еще выпивший, и даром что московский психиатр, а такую галиматью понесет, что вставишь ее в печать, а после поди доказывай, что ты ни при чем тут. Лучше уж, оставив все это на совести самих читателей, автор перейдет к дальнейшему.

11

Иван Иванович отер свои руки о костюм и пошел к дому. Кровь медленно стекала с обкусанных собакой пальцев, но Иван Иванович, ничего не замечая и не чувствуя боли, подходил к дому.

Он остановился на мгновение у калитки и, оглянувшись назад, шмыгнул во двор. Потом вбежал по ступенькам и, приоткрыв двери, тихо вошел в сени.

Странный трепет прошел по его телу. Сердце стучало, и дыхание было прерывистым.

Он постоял в сенях и, никем не замеченный, вошел в коридор. И там, на скрипучих досках, подойдя к двери Яркина, остановился, прислушиваясь.

Было, как и всегда, тихо.

Иван Иванович вдруг толкнул от себя дверь и, открыв ее настежь, вошел за порог.

Все было, как и думал Иван Иванович. Направо, у стола, сидел Яркин. Налево, у окна, в кресле, сложив на животе руки, сидела Нина Осиповна. На столе стояли стаканы. Лежал хлеб. И на шипящем примусе кипел чайник.

Каким-то одним взглядом Иван Иванович впитал в себя все это, и, продолжая неподвижно стоять, взглянул на свою жену.

Она тихо ахнула, увидев его, и приподнялась в кресле. А Егор Константинович замахал на нее руками, упрашивая не беспокоиться ради ребенка. Потом, приподнявшись, чтобы пойти навстречу гостю, остановился и снова сел, рукой приглашая войти в комнату и прикрыть дверь, не остужая зря помещения.

И Иван Иванович вошел. Слегка потупив голову и приподняв плечи, он подошел к сидящему Егору Константиновичу и остановился в двух шагах от него. Смертельная бледность вдруг покрыла лицо Егор Константиновича. Он сидел на стуле, несколько откинувшись назад, и, шевеля губами, не двигался с места.

Иван Иванович несколько секунд стоял молча. Потом, быстро взглянув на Яркина, на то место, куда он должен был ударить, вдруг усмехнулся и, отойдя несколько в сторону, присел на стул.

Егор Константинович выпрямился на своем месте и глядел теперь на Белокопытова сердитым, злым взглядом. А Иван Иванович сидел, опустив руки плетью, и невидящим взором глядел в одну точку. И думал, что у него нету ни злобы, ни ненависти к этому человеку. Он не мог и не хотел к нему подойти и ударить. И сидел на стуле и чувствовал себя усталым и нездоровым. И ему ничего не хотелось. Ему хотелось выпить горячего чаю.

И, думая так, он взглянул на примус, на чайник на примусе, на хлеб, нарезанный ломтиками. Крышка на чайнике приподнималась, пар валил клубом, и вода с шипением обливала примус.

Егор Константинович встал и загасил огонь.

И тогда в комнате наступила совершенная тишина.

Нина Осиповна, увидев, что Иван Иванович пристальным взором смотрит на примус, снова приподнялась в своем кресле и жалобным тоном, скорбно сжав губы, стала уверять, что она вовсе не хотела зажилить этот несчастный примус, что она взяла его временно, зная, что Иван Иванович в нем не нуждается.

Но Егор Константинович, замахав на нее руками и прося не волноваться, ровным, спокойным голосом стал говорить, что он ни за что не возьмет даром этой штуки, что завтра же он заплатит Ивану Ивановичу полностью все деньги по рыночной стоимости.

— Я заплатил бы вам и сегодня,— сказал Егор Константинович,— но я должен разменять деньги. Завтра вы обязательно зайдите утром же.

— Хорошо,— коротко сказал Иван Иванович.— Я зайду.

И вдруг, забеспокоившись и заерзав на стуле, Иван Иванович обернулся к своей жене и сказал, что он просит его извинить, что он очень устал и потому сидит на стуле такой грязный.

Она закивала головой, волнуясь и скорбно сжимая губы. И, снова приподнявшись на стуле, сказала:

— Ты, Ваня, не сердись...

— Я не сержусь,— просто ответил Иван Иванович.

И встал. Шагнул к жене, потом поклонился и молча вышел из комнаты, тихо притворив за собой дверь.

Он вышел в коридор. Постоял с минуту. И пошел к выходу.

В кухне его ожидала Катерина Васильевна. Почему-то знаками и боясь проронить слово, она манила его, приглашая жестами присесть и покушать супу. И Иван Иванович, почему-то тоже не проронив слова, молча покачал головой и, улыбнувшись и погладив хозяйке руку, вышел.

С криком выбежала Катерина Васильевна за ним, но Иван Иванович, обернувшись и махнув рукой, прося этим не идти за ним, скрылся за воротами.

12

На другой день Иван Иванович за деньгами не зашел. Он исчез из города.

Егор Константинович Яркин лично, с деньгами в руках, обегал все улицы, все учреждения, отыскивая Ивана Ивановича. Егор Константинович говорил, что он совершенно тут ни при чем, что деньги за примус — вот они, деньги, что он вовсе не желает пользоваться чужим добром и что если он не найдет Иван Ивановича, то пожертвует эти деньги на детский дом.

Егор Константинович бегал даже на полянку, за Собачью рощицу, но Ивана Ивановича не нашел.

Как зверь, которому неловко после смерти оставить на виду свое тело, Иван Иванович бесследно исчез из города.

Товарищ Петр Павлович Ситников и сторож герой труда Еремеич в один голос утверждали, что видели, будто Иван Иванович Белокопытов вскочил на отходящий поезд. Но зачем он вскочил и куда он уехал — никому не известно. Никто и никогда о нем больше не слышал.

13

Была прелестная весна.

Снег уже стаял. И птицы снова приветствовали свой новый год.

В один из таких дней Нина Осиповна Арбузова разрешилась от бремени, подарив миру прекрасного мальчишку в восемь с половиной фунтов.

Егор Константинович был необыкновенно счастлив и доволен.

Деньги же за примус, двенадцать рублей золотом, он пожертвовал на детский дом.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

1

Пишешь, пишешь, а для чего пишешь — неизвестно.

Читатель небось усмехнется тут. А деньги, скажет. Деньги-то, скажет, курицын сын, получаешь? До чего, скажет, жиреют люди.

Эх, уважаемый читатель! А что такое деньги? Ну, получишь деньги, ну, дров купишь, ну, жене приобретешь какие-нибудь там боты. Только и всего. Нету в деньгах ни душевного успокоения, ни мировой идеи.

А впрочем, если и этот мелкий корыстный расчет откинуть, то автор и совсем расплевался бы со всей литературой. Бросил бы писать. И ручку с пером сломал бы к чертовой бабушке.

В самом деле.

Читатель пошел какой-то отчаянный. Накидывается он на любовные французские и американские романы, а русскую современную литературу и в руки не берет. Ему, видите ли, в книге охота увидеть этакий стремительный полет фантазии, этакий сюжет, черт его знает какой.

А где же все это взять?

Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действительность не такая?

А что до революции, то опять-таки тут запятая. Стремительность тут есть. И есть величественная, грандиозная фантазия. А попробуй ее написать. Скажут — неверно. Неправильно, скажут. Научного, скажут, подхода нет к вопросу. Идеология, скажут, не ахти какая.

А где взять этот подход? Где взять, я спрашиваю, этот научный подход и идеологию, если автор родился в мелкобуржуазной семье и если он до сих пор еще не может подавить в себе мещанских корыстных интересов к деньгам, к цветам, к занавескам и к мягким креслам?

Эх, уважаемый читатель! Беда как неинтересно быть русским писателем.

Иностранец, тот напишет — ему как с гуся вода. Он тебе и про Луну напишет, и стремительность фантазии пустит, и про диких зверей наплетет, и на Луну своего героя пошлет в ядре в каком-нибудь...

И ничего.

А попробуй у нас, сунься с этим в литературу. Попробуй, скажем, в ядре нашего техника Курицына, Бориса Петровича, послать на Луну. Засмеют. Оскорбятся. Эва, скажут, наплел, собака!.. Разве это, скажут, возможно!

Вот и пишешь с полным сознанием своей отсталости.

А что слава, то что ж слава? Если о славе думать, то опять-таки какая слава? Опять-таки неизвестно, как еще потомки взглянут на наши сочинения и какой фазой Земля повернется в геологическом смысле.

Вот автор недавно прочел у немецкого философа, будто вся-то наша жизнь и весь расцвет нашей культуры есть не что иное, как междуледниковый период.

Автор признается: трепет прошел по его телу после прочтения.

В самом деле. Представь себе, читатель... На минуту отойди от своих повседневных забот и представь такую картину: до нас существовала какая-то жизнь и какая-то высокая культура, и после она стерлась. А теперь опять расцвет, и опять совершенно все сотрется. Нас-то, может быть, это и не заденет, а все равно досадное чувство чего-то проходящего, невечного и случайного и постоянно меняющегося заставляет снова и снова подумать совершенно заново о собственной жизни.

Ты вот, скажем, рукопись написал, с одной орфографией вконец намучился, не говоря уж про стиль, а, скажем, через пятьсот лет мамонт какой-нибудь наступит ножищей на твою рукопись, ковырнет ее клыком, понюхает и отбросит, как несъедобную дрянь.

Вот и выходит, что ни в чем нет тебе утешения. Ни в деньгах, ни в славе, ни в почестях. И вдобавок жизнь какая-то смешная. Какая-то очень она небогатая.

Вот выйдешь, например, в поле, за город... Домишко какой-нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коровенка стоит этакая скучная до слез... Бок в навозе у ней... Хвостом треплет... Жует... Баба этакая в сером трикотажном платке сидит. Делает что-то руками. Петух ходит. Кругом бедно, грязно, некультурно...

Ох, до чего скучно это видеть!

И подходит, скажем, к бабе этакий русый, вроде ходячего растения, мужик. Подойдет он, посмотрит светлыми глазами, вроде стекляшек,— чего это баба делает? Икнет, почешет ногу об ногу, зевнет. «Эх, скажет, спать, что ли ча, пойти. Скушно чтой-то...» И пойдет спать.

А вы говорите: подайте стремительность фантазии.

Эх, господа, господа товарищи! Да откуда ее взять? Как ее приспособить к этой деревенской действительности? Скажите! Сделайте такую милость, такое великое одолжение. И рады бы, так сказать, раздуть кадило, да не с чего.

А если в город, опять-таки, пойти, где светят фонари светлым светом, где граждане в полном сознании своего человеческого величия ходят взад и вперед — опять-таки не всегда можно увидеть эту стремительность фантазии.

Ну, ходят.

А пойди, читатель, попробуй, потрудись, пойди за тем человеком — чаще всего ерунда выйдет.

Идет, оказывается, человек в долг призанять три рубля денег, или на любовное свидание он идет. Ну что это такое!

Придет, сядет напротив своей дамы, что-нибудь скажет ей про любовь, а может, и ничего не скажет, а просто положит руку свою на дамское колено и в глаза посмотрит.

Или придет человек посидеть у хозяина. Выкушает стаканчик чаю, посмотрится в самовар — мол, рожа какая кривая, усмехнется про себя, на скатерть варенье капнет и уйдет. Шапку напялит набок и уйдет.

А спроси его, сукинова сына, зачем он приходил, какая в этом мировая идея или польза для человечества — он и сам не знает.

Конечно, в данном случае в этой скучной картине городской жизни автор берет людей мелких, ничтожных, себе подобных и отнюдь не государственных деятелей или, скажем, работников просвещения, которые действительно ходят по городу по важным общественным делам и обстоятельствам.

Этих людей автор никак не имел в виду, когда говорил про дамские, например, колени или просто как рожей в самовар смотрятся. Вот эти действительно, может быть, чего-нибудь думают, страдают, заботятся. Хотят, может быть, чтоб другим поинтереснее жилось. И, может быть, мечтают, чтоб этой стремительности фантазии было побольше.

Автор, заранее забегая вперед, дает эту отповедь зарвавшимся критикам, которые явно из озорничества попытаются уличить автора в искажении провинциальной

действительности и в нежелании видеть положительных сторон.

Действительность мы не искажаем. Нам за это денег не платят, уважаемые товарищи.

А что видим то, чего бывает, то это абсолютный факт.

Автор вот знал одного такого городского человека. Жил он тихо, как и все почти живут. Пил и ел, и даме своей на колени руки клал, и в очи ей глядел, и вареньем на скатерть капал, и три рубля денег в долг без отдачи занимал.

Об этом человеке автор и напишет свою очень короткую повесть. А может быть, эта повесть будет и не о человеке, а о том глупом и ничтожном приключении, за которое человек, в порядке принудительного взыскания, пострадал на двадцать пять рублей. Это случилось весьма недавно — в августе 1923 года.

Фантазией разбавлять этот случай? Создавать занимательную марьяжную интрижку вокруг него? Нет! Пущай французы про это пишут, а мы потихоньку, а мы помаленьку, мы вровень с русской действительностью.

А веселого читателя, который ищет бойкий и стремительный полет фантазии и который ждет пикантных подробностей и происшествий, автор с легким сердцем отсылает к иностранным авторам.

2

Эта короткая повесть начинается с полного и подробного описания всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

По профессии своей Котофеев был музыкант. Он играл в симфоническом оркестре на музыкальном треугольнике.

Может быть, и существует особое специальное название этого инструмента — автор не знает, во всяком случае читателю, наверное, приходилось видеть в самой глубине оркестра, вправо, сутулого какого-нибудь человека с несколько отвисшей челюстью перед небольшим железным треугольником. Человек этот меланхолически позвякивает в свой нехитрый инструмент в нужных местах. Обычно дирижер подмигивает для этой цели правым глазом.

Странные и удивительные бывают профессии.

Такие бывают профессии, что ужас берет, как это человек до них доходит. Как это, скажем, человек додумался по канату ходить, или носом свистеть, или позвякивать в треугольник.

Но автор не смеется над своим героем. Нет. Борис Иванович Котофеев был отличного сердца человек, неглупый и со средним образованием.

Жил Борис Иванович не в самом городе, а жил он в предместье, так сказать на лоне природы.

Природа была не ахти какая замечательная, однако небольшие сады у каждого дома, трава, и канавы, и деревянные скамейки, усыпанные шелухой подсолнухов,— все это делало вид привлекательным и приятным.

Весной же было здесь совершенно очаровательно.

Борис Иванович жил на Заднем проспекте у Лукерьи Блохиной.

Представьте себе, читатель, небольшой деревянный, желтой окраски дом, низенький шаткий забор, широкие желтоватые кривые ворота. Двор. На дворе по правую руку небольшой сарай. Грабля с поломанными зубьями, стоящая здесь со времен Екатерины II. Колесо от телеги. Камень посреди двора. Крыльцо с оторванной нижней ступенькой.

А войдешь на крыльцо — дверь, обитая рогожей. Сенцы этакие, небольшие, полутемные, с зеленой бочкой в углу. На бочке досточка. На досточке ковшик.

Ватер с тонкой, в три доски, дверью. На двери деревянная вертушечка. Небольшая стекляшка заместо окна. Паутина на ней.

Ах, знакомая и сладкая сердцу картина!

Все это было как-то прелестно. Прелестно тихой, скучной, безмятежной жизнью. И оторванная даже ступенька у крыльца, несмотря на свой невыносимо скучный вид, и теперь приводит автора в тихое, созерцательное настроение.

А Борис Иванович всякий раз, вступая на крыльцо, отплевывался с омерзением в сторону и покачивал головой, глядя на обломанную корявую ступеньку.

Пятнадцать лет назад Борис Иванович Котофеев впервые ступил на это крыльцо и впервые перешагнул порог этого дома. И здесь он остался. Он женился на своей хозяйке, на Лукерье Петровне Блохиной. И стал полновластным хозяином всего этого имения.

И колесо, и сарай, и грабля, и камень — все стало его неотъемлемой собственностью.

Лукерья Петровна с беспокойной усмешкой глядела на то, как Борис Иванович становился всего этого хозяином.

И под сердитую руку она всякий раз не забывала прикрикнуть и одернуть Котофеева, говоря, что сам-то он

нищий, без кола, без двора, осчастливленный ее многими милостями.

Борис Иванович хотя и огорчался, но молчал.

Он полюбил этот дом. И двор с камнем полюбил. Он полюбил жить здесь за эти пятнадцать лет.

Вот бывают такие люди, о которых можно в десять минут рассказать всю ихнюю жизнь, всю обстановку жизни, от первого бессмысленного крика до последних дней.

Автор попробует это сделать. Автор попробует очень коротко, в десять минут, но все-таки со всеми подробностями рассказать о всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

А впрочем, и рассказывать нечего.

Тихо и покойно текла его жизнь.

И если всю эту жизнь разбить на какие-то периоды, то вся жизнь распадется на пять или шесть небольших частей.

Вот Борис Иванович, окончив реальное училище, вступает в жизнь. Вот он музыкант. В оркестре играет. Вот его роман с хористкой. Женитьба на своей хозяйке. Война. Потом революция. А перед этим — пожар местечка.

Все было просто и понятно. И ничего не вызывало никакого сомнения. А главное, все это казалось не случайным. Все это казалось таким, как должно быть и как это бывает у людей, согласно, так сказать, начертанию истории.

Даже революция, сначала крайне смутившая Бориса Ивановича, после оказалась простой и ясной в своей твердой установке на определенные, отличные и вполне реальные идеи.

А все остальное — выбор профессии, дружба, женитьба, война — все это представлялось не случайной игрой судьбы, а чем-то необычайно солидным, твердым и безоговорочным.

Единственно, пожалуй, любовное приключение несколько разбивало стройную систему крепкой и не случайной жизни. Здесь дело обстояло несколько сложней. Тут Борис Иванович допускал, что это был случайный эпизод, который мог бы и не быть в его жизни. Дело в том, что Борис Иванович Котофеев в начале своей музыкальной карьеры сошелся с хористкой из городского театра. Это была юная опрятная блондинка с неопределенными светлыми глазами.

Сам Борис Иванович был довольно красивый еще, двадцатидвухлетний юноша. Единственно, пожалуй, несколько портила его отвисшая нижняя челюсть. Она придавала лицу скучное, растерянное выражение. Однако пыш-

ные стоячие усики в достаточной мере скрадывали досадный выступ.

Как началась эта любовь — не вполне известно. Борис Иванович сидел постоянно в глубине оркестра и в первые годы, из боязни ударить в инструмент не вовремя, положительно не спускал глаз с дирижера. И когда он успел перемигнуться с хористкой — так и осталось невыясненным.

Впрочем, в те годы Борис Иванович пользовался жизнью полностью. Он жуировал, ходил вечерами по городскому бульвару и даже посещал танцевальные вечера, на которых иногда с голубым распорядительским бантом бабочкой порхал по залу, дирижируя танцами.

Очень возможно, что знакомство как раз и началось на каком-нибудь вечере.

Во всяком случае, знакомство это Борису Ивановичу счастья не принесло. Роман начался удачно. Борис Иванович построил даже план своей дальнейшей жизни совместно с этой миленькой и симпатичной женщиной. Но через месяц неожиданно блондинка покинула его, едко посмеявшись над его неудачной челюстью.

Борис Иванович, несколько сконфуженный этим обстоятельством и таким легким уходом любимой женщины, решил после недолгого раздумья сменить свою жизнь провинциального льва и отчаянного любовника на более покойное существование. Он не любил, когда что-нибудь происходило случайное и такое, что могло измениться.

Вот тогда-то Борис Иванович и переехал за город, сняв за небольшую плату теплую комнату со столом.

И там он женился на своей квартирной хозяйке. И этот брак с домом, хозяйством и размеренной жизнью вполне утешил его встревоженное сердце.

Через год после брака произошел пожар.

Огонь уничтожил почти половину местечка.

Борис Иванович, обливаясь потом, самолично вытаскивал из дому мебель и перины и складывал все в кустах.

Однако дом не сгорел. Только полопались стекла и облупилась краска.

И уже утром Борис Иванович, веселый и сияющий, втаскивал назад свой скарб.

Это надолго оставило след. Борис Иванович несколько лет подряд делился своими переживаниями со знакомыми и соседями. Но и это сейчас стерлось.

И вот, если закрыть глаза и подумать о прошлом, то все: и пожар, и женитьба, и революция, и музыка, и голубой

распорядительский бант на груди — все это стерлось, все слилось в одну сплошную, ровную линию.

Даже любовное событие стерлось и превратилось в какое-то досадное воспоминание, в скучный анекдот о том, как хористка просила подарить ей сумочку из лакированной кожи, и о том, как Борис Иванович, откладывая по рублю, собирал нужную сумму.

Так жил человек.

Так жил он до тридцати семи лет, вплоть до того момента, до того исключительного происшествия в его жизни, за которое он был по суду оштрафован на двадцать пять рублей. Вплоть до этого самого приключения, ради которого автор, собственно, и рискнул испортить несколько листов бумаги и осушить небольшой пузырек чернил.

3

Итак, Борис Иванович Котофеев прожил до тридцати семи лет. Очень вероятно, что он еще будет жить очень долго. Человек он очень здоровый, крепкий и с широкой костью. А что прихрамывает Борис Иванович слегка, чуть заметно, то это еще при царском режиме он стер свою ногу.

Однако нога жить не мешала, и жил Борис Иванович ровно и хорошо. Все было ему по плечу. И никогда и ни в чем сомнений не было. И вдруг в самые последние годы Борис Иванович стал задумываться. Ему вдруг показалось, что жизнь не так уж тверда в своем величии, как это рисовалось ему раньше.

Он всегда боялся случайности и старался этого избегать, но тут ему показалось, что жизнь как раз и наполнена этой случайностью. И даже многие события из его жизни показались ему случайными, возникшими от вздорных и пустых причин, которых могло и не быть.

Эти мысли взволновали и устрашили Бориса Ивановича.

Борис Иванович раз даже завел об этом речь в кругу своих близких приятелей.

Это было на его собственных именинах.

— Странно все, господа,— сказал Борис Иванович.— Все как-то, знаете, случайно в нашей жизни. Все, я говорю, на случае основано... Женился я, скажем, на Луше... Я не к тому говорю, что недоволен или что-нибудь вообще. Но случайно же это. Мог бы я вовсе не здесь комнату снять.

Я случайно на эту улицу зашел... Значит, что же это выходит? Случай?

Приятели криво усмехались, ожидая семейного столкновения. Однако столкновения не последовало. Лукерья Петровна, соблюдая настоящий тон, вышла только демонстративно из комнаты, выдула ковшик холодной воды и снова вернулась к столу свеженькая и веселенькая. Зато ночью устроила столь грандиозный скандал, что сбежавшиеся соседи пытались вызвать пожарную часть для ликвидации семейных распрей.

Однако и после скандала Борис Иванович, лежа с открытыми глазами на диване, продолжал обдумывать свою мысль. Он думал о том, что не только его женитьба, но, может, и игра на треугольнике и вообще все его призвания — просто случай, простое стечение житейских обстоятельств.

«А если случай,— думал Борис Иванович,— значит, все на свете непрочно. Значит, нету какой-то твердости. Значит, все завтра же может измениться».

У автора нет охоты доказывать правильность вздорных мыслей Бориса Ивановича. Но на первый взгляд действительно все в нашей уважаемой жизни кажется отчасти случайным. И случайное наше рождение, и случайное существование, составленное из случайных обстоятельств, и случайная смерть. Все это заставляет и впрямь подумать о том, что на земле нет одного строгого, твердого закона, охраняющего нашу жизнь.

А в самом деле, какой может быть строгий закон, когда все меняется на наших глазах, все колеблется, начиная от самых величайших вещей до мизернейших человеческих измышлений.

Скажем, многие поколения и даже целые замечательные народы воспитывались на том, что бог существует.

А теперь мало-мальски способный философ с необычайной легкостью, одним росчерком пера, доказывает обратное.

Или наука. Уж тут-то все казалось ужасно убедительным и верным, а оглянитесь назад — все неверно, и все по временам меняется, от вращения Земли до какой-нибудь там теории относительности и вероятности.

Автор — человек без высшего образования, в точных хронологических датах и собственных именах туговато разбирается и поэтому не берется впустую доказывать.

Тем более что об этом Борис Иванович Котофеев вряд ли, конечно, думал. Был он хотя и неглупый человек со

средним образованием, но не настолько уж развит, как некоторые литераторы.

И все-таки он и то заметил какой-то хитрый подвох в жизни. И даже стал с некоторых пор побаиваться за твердость своей судьбы.

Но однажды его сомнение разгорелось в пламя.

Однажды, возвращаясь домой по Заднему проспекту, Борис Иванович Котофеев столкнулся с какой-то темной фигурой в шляпе.

Фигура остановилась перед Борисом Ивановичем и худым голосом попросила об одолжении.

Борис Иванович сунул руку в карман, вынул какую-то мелочишку и подал нищему. И вдруг посмотрел на него.

А тот сконфузился и прикрыл рукой свое горло, будто извиняясь, что на горле нет ни воротничка, ни галстука. Потом, тем же худым голосом, нищий сказал, что он — бывший помещик и что когда-то он и сам горстями подавал нищим серебро, а теперь, в силу течения новой, демократической жизни, он принужден и сам просить об одолжении, поскольку революция отобрала его имение.

Борис Иванович принялся расспрашивать нищего, интересуясь подробностями его прошлой жизни.

— Да что ж,— сказал нищий, польщенный вниманием.— Был я ужасно какой богатый помещик, деньги куры у меня не клевали, а теперь, как видите, в нищете, в худобе и жрать нечего. Все, гражданин хороший, меняется в жизни в свое время.

Дав нищему еще монету, Борис Иванович тихонько пошел к дому. Ему не было жаль нищего, но какое-то неясное беспокойство овладело им.

— Все в жизни меняется в свое время,— бормотал добрейший Борис Иванович, возвращаясь домой.

Дома Борис Иванович рассказал своей жене, Лукерье Петровне, об этой встрече, причем несколько сгустил краски и прибавил от себя кой-какие подробности, например, как этот помещик кидался золотом в нищих и даже разбивал им носы тяжеловесными монетами.

— Ну и что ж,— сказала жена.— Ну, жил хорошо, теперь — плохо. В этом нет ничего ужасно удивительного. Вот недалеко ходить — сосед наш тоже чересчур бедствует.

И Лукерья Петровна стала рассказывать, как бывший учитель чистописания Иван Семеныч Кушаков остался ни при чем в своей жизни. А жил тоже хорошо и даже сигары курил.

Котофеев как-то близко принял к сердцу и этого

учителя. Он стал расспрашивать жену, почему и отчего тот впал в бедность.

Борис Иванович захотел даже увидеть этого учителя. Захотел немедленно принять самое горячее участие в его плохой жизни. И он стал просить свою жену, Лукерью Петровну, чтобы та сходила поскорей за учителем, привела бы его и напоила чаем.

Для порядку побранившись и назвав мужа «вахлаком», Лукерья Петровна все же накинула косынку и побежала за учителем, снедаемая крайним любопытством.

Учитель, Иван Семенович Кушаков, пришел почти немедленно.

Это был седоватый, сухонький старичок в длинном худом сюртуке, без жилета. Грязная рубашка без воротника выпирала на груди комком. И медная, желтая, ужасно яркая запонка выдавалась как-то далеко вперед своей пупочкой.

Седоватая щетина на щеках учителя чистописания была давно не брита и росла кустиками.

Учитель вошел в комнату, потирая руки и на ходу прожевывая что-то. Он степенно, но почти весело поклонился Котофееву и зачем-то подмигнул ему глазом.

Потом присел к столу и, пододвинув тарелку с ситником с изюмом, принялся жевать, тихо усмехаясь себе под нос.

Когда учитель поел, Борис Иванович с жадным любопытством стал расспрашивать о прежней его жизни и о том, как и почему он так опустился и ходит без воротничка, в грязной рубашке и с одной голой запонкой.

Учитель, потирая руки и весело, но ехидно подмигивая, стал говорить, что он действительно неплохо жил и даже сигары курил, но с изменением потребностей в чистописании и по декрету народных комиссаров предмет этот был исключен из программы.

— А я с этим свыкся уж,— сказал учитель,— привык. И на жизнь не жалуюсь. А что ситный скушал, то в силу привычки, а вовсе не от голоду.

Лукерья Петровна, сложив руки на переднике, хохотала, предполагая, что учитель уже начинает завираться и сейчас заврется окончательно. Она с нескрываемым любопытством глядела на учителя, ожидая от него чего-то необыкновенного.

А Борис Иванович, покачивая головой, бормотал что-то, слушая учителя.

— Что ж,— сказал учитель, снова без нужды усмехаясь,— так и все в нашей жизни меняется. Сегодня, скажем,

отменили чистописание, завтра — рисование, а там, глядишь, и до вас достукаются.

— Ну, уж вы того,— сказал Котофеев, слегка задохнувшись.— Как же до меня-то могут достукаться... Если я в искусстве... Если я на треугольнике играю.

— Ну и что ж,— сказал учитель презрительно,— наука и техника нынче движется вперед. Вот изобретут вам электрический этот самый инструмент — и крышка... И достукались...

Котофеев, снова слегка задохнувшись, взглянул на жену.

— И очень просто,— сказала жена,— если в особенности движется наука и техника...

Борис Иванович вдруг встал и начал нервно ходить по комнате.

— Ну и что ж, ну и пущай,— сказал он,— ну и пущай.

— Тебе пущай,— сказала жена,— а мне отдувайся. Мне же, дуре, на шею сядешь, пилат-мученик.

Учитель завозился на стуле и примиряюще сказал:

— Так и все: сегодня чистописание, завтра рисование... Все меняется, милостивые мои государи.

Борис Иванович подошел к учителю, попрощался с ним и, попросив его зайти хотя бы завтра к обеду, вызвался проводить гостя до дверей.

Учитель встал, поклонился и, весело потирая руки, снова сказал, выйдя в сени:

— Уж будьте покойны, молодой человек, сегодня чистописание, завтра рисование, а там и по вас хлопнут.

Борис Иванович закрыл за учителем двери и, пройдя в свою спальню, сел на кровати, охватив руками свои колени.

Лукерья Петровна, в стоптанных войлочных туфлях, вошла в комнату и стала прибирать ее к ночи.

— Сегодня чистописание, завтра рисование,— бормотал Борис Иванович, слегка покачиваясь на постели.— Так и вся наша жизнь.

Лукерья Петровна оглянулась на мужа, молча и с остервенением плюнула на пол и стала распутывать свалявшиеся за день свои волосы, стряхивая с них солому и щепки.

Борис Иванович посмотрел на свою жену и меланхолическим голосом вдруг сказал:

— А что, Луша, а вдруг да и вправду изобретут ударные электрические инструменты? Скажем, кнопочка небольшая на пюпитре... Дирижер тыкнет пальцем, и она звонит...

— И очень даже просто,— сказала Лукерья Петров-

на.— Очень просто... Ох, сядешь ты мне на шею!.. Чувствую, сядешь...

Борис Иванович пересел с кровати на стул и задумался.

— Горюешь небось? — сказала Лукерья Петровна.— Задумался? За ум схватился... Не было бы у тебя жены да дома, ну куда бы ты, голоштанник, делся? Ну, например, попрут тебя с оркестру?

— Не в том, Луша, дело, что попрут,— сказал Борис Иванович.— А в том, что превратно все. Случай... Почему-то я, Луша, играю на треугольнике. И вообще... Если игру скинуть с жизни, как же жить тогда? Чем, кроме этого, я прикреплен?

Лукерья Петровна, лежа в постели, слушала мужа, тщетно стараясь разгадать смысл его слов. И, предполагая в них личное оскорбление и претензию на ее недвижимое имущество, снова сказала:

— Ох, сядешь мне на шею! Сядешь, пилат-мученик, сукин кот.

— Не сяду,— сказал Котофеев.

И, снова задохнувшись, он встал со стула и принялся ходить по комнате.

Страшное волнение охватило его. Рукой проведя по голове, будто стараясь скинуть какие-то неясные мысли, Борис Иванович снова присел на стул.

И сидел долго в неподвижной позе.

Затем, когда дыхание Лукерьи Петровны перешло в легкий, с небольшим свистом, храп, Борис Иванович встал со стула и вышел из комнаты.

И, найдя свою шляпу, Борис Иванович напялил ее на голову и в какой-то необыкновенной тревоге вышел на улицу.

4

Было всего десять часов.

Стоял отличный, тихий августовский вечер.

Котофеев шел по проспекту, широко махая руками.

Странное и неясное волнение его не покидало.

Он дошел, совершенно не заметив того, до вокзала.

Прошел в буфет, выпил бокал пива и, снова задохнувшись и чувствуя, что не хватает дыхания, опять вышел на улицу.

Он шел теперь медленно, уныло опустив голову, думая о чем-то. Но если спросить его, о чем он думал, он не ответил бы — он и сам не знал.

Он шел от вокзала все прямо и на аллее, у городского сада, присел на скамейку и снял шляпу.

Какая-то девица с широкими бедрами, в короткой юбке и в светлых чулках прошла мимо Котофеева раз, потом вернулась, потом снова прошла и наконец села рядом, взглянув на Котофеева.

Борис Иванович вздрогнул, взглянул на девушку, мотнул головой и быстро пошел прочь.

И вдруг Котофееву все показалось ужасно отвратительным и невыносимым. И вся жизнь — скучной и глупой.

— И для чего это я жил...— бормотал Борис Иванович.— Приду завтра — изобретен, скажут. Уже, скажут, изобретен ударный электрический инструмент. Поздравляю, скажут. Ищите, скажут, себе новое дело.

Сильный озноб охватил все тело Бориса Ивановича. Он почти бегом пошел вперед и, дойдя до церковной ограды, остановился. Потом, пошарив рукой калитку, открыл ее и вошел в ограду.

Прохладный воздух, несколько тихих берез, каменные плиты могил как-то сразу успокоили Котофеева. Он присел на одну из плит и задумался. Потом сказал вслух:

— Сегодня чистописание, завтра рисование. Так и вся наша жизнь.

Борис Иванович закурил папиросу и стал обдумывать, как бы он начал жить в случае чего-либо.

— Прожить-то проживу,— бормотал Борис Иванович,— а к Луше не пойду. Лучше народу в ножки поклонюсь. Вот, скажу, человек, скажу, гибнет, граждане. Не оставьте в несчастье...

Борис Иванович вздрогнул и встал. Снова дрожь и озноб охватили его тело.

И вдруг Борису Ивановичу показалось, что электрический треугольник давным-давно изобретен и только держится в тайне, в страшном секрете, с тем чтобы сразу, одним ударом, свалить его.

Борис Иванович в какой-то тоске почти выбежал из ограды на улицу и пошел, быстро шаркая ногами.

На улице было тихо.

Несколько запоздалых прохожих спешили по своим домам.

Борис Иванович постоял на углу, потом, почти не отдавая отчета в том, что он делает, подошел к какому-то прохожему и, сняв шляпу, глухим голосом сказал:

— Гражданин... Милости прошу... Может, человек погибает в эту минуту...

Прохожий с испугом взглянул на Котофеева и быстро пошел прочь.

— А-а,— закричал Борис Иванович, опускаясь на деревянный тротуар.— Граждане!.. Милости прошу... На мое несчастье... На мою беду... Подайте, кто сколько может!

Несколько прохожих окружило Бориса Ивановича, разглядывая его с испугом и изумлением.

Постовой милиционер подошел, тревожно похлопывая рукой по кобуре револьвера, и подергал Бориса Ивановича за плечо.

— Пьяный это,— с удовольствием сказал кто-то в толпе.— Нализался, черт, в буден день. Нет на них закона!

Толпа любопытных окружила Котофеева. Кое-кто из сердобольных пытался поднять его на ноги. Борис Иванович рванулся от них и отскочил в сторону. Толпа расступилась.

Борис Иванович растерянно посмотрел по сторонам, ахнул и вдруг молча побежал в сторону.

— Крой его, робя! Хватай! — завыл кто-то истошным голосом.

Милиционер резко и пронзительно свистнул. И трель свистка всколыхнула всю улицу.

Борис Иванович, не оглядываясь, бежал ровным, быстрым ходом, низко опустив голову.

Сзади, дико улюлюкая и хлопая ногами по грязи, бежали люди.

Борис Иванович метнулся за угол и, добежав до церковной ограды, перепрыгнул ее.

— Здеся! — выл тот же голос.— Сюды, братцы! Сюды, загоняй!.. Крой...

Борис Иванович вбежал на паперть, тихо ахнул, оглянувшись назад, и налег на дверь.

Дверь подалась и со скрипом на ржавых петлях открылась.

Борис Иванович вбежал внутрь.

Одну секунду он постоял в неподвижности, потом, охватив голову руками, по шатким каким-то, сухим и скрипучим ступенькам бросился наверх.

— Здеся! — орал доброхотный следователь.— Бери его, братцы! Крой все по чем попало...

Сотня прохожих и обывателей ринулась через ограду и ворвалась в церковь. Было темно.

Тогда кто-то чиркнул спичкой и зажег восковой огарок на огромном подсвечнике.

Голые высокие стены и жалкая церковная утварь осветились вдруг желтым скудным мигающим светом.

Бориса Ивановича в церкви не было.

И когда толпа, толкаясь и гудя, ринулась в каком-то страхе назад, сверху, с колокольни, раздался вдруг гудящий звон набата.

Сначала редкие удары, потом все чаще и чаще поплыли в тихом ночном воздухе.

Это Борис Иванович Котофеев, с трудом раскачивая тяжелый медный язык, бил по колоколу, будто нарочно стараясь этим разбудить весь город, всех людей.

Это продолжалось минуту.

Затем снова завыл знакомый голос:

— Здеся! Братцы, неужели-те человека выпущать? Крой на колокольню! Хватай бродягу!

Несколько человек бросилось наверх.

Когда Бориса Ивановича выводили из церкви, огромная толпа полуодетых людей, наряд милиции и пригородная пожарная команда стояли у церковной ограды.

Молча, через толпу, Бориса Ивановича провели под руки и поволокли в штаб милиции.

Борис Иванович был смертельно бледен и дрожал всем телом. А ноги его непослушно волочились по мостовой.

5

Впоследствии, много дней спустя, когда Бориса Ивановича спрашивали, зачем он это все сделал и зачем, главное, полез на колокольню и стал звонить, он пожимал плечами и сердито отмалчивался или же говорил, что он подробностей не помнит. А когда ему напоминали об этих подробностях, он конфузливо махал руками, упрашивая не говорить об этом.

А в ту ночь продержали Бориса Ивановича в милиции до утра и, составив на него неясный и туманный протокол, отпустили домой, взяв подписку о невыезде из города.

В рваном сюртуке, без шляпы, весь поникший и желтый, Борис Иванович вернулся утром домой.

Лукерья Петровна выла в голос и колотила себя по грудям, проклиная день своего рождения и всю свою разнесчастную жизнь с таким человеческим отребьем, как Борис Иванович Котофеев.

А в тот же вечер Борис Иванович, как и всегда, в чистом, опрятном сюртуке, сидел в глубине оркестра и меланхолически позвякивал в свой треугольник.

Был Борис Иванович, как и всегда, чистый и причесанный, и ничего в нем не говорило о том, какую страшную ночь он прожил.

И только две глубокие морщины от носа к губам легли на его лице.

Этих морщин раньше не было.

И не было еще той сутулой посадки, с какой Борис Иванович сидел в оркестре.

Но все перемелется — мука будет.

Борис Иванович Котофеев жить еще будет долго.

Он, дорогой читатель, и нас с тобой переживет. Мы так думаем.

О ЧЕМ ПЕЛ СОЛОВЕЙ

1

А ведь посмеются над нами лет через триста! Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилищной площади...

Ну что ж! Пущай смеются.

Одно обидно: не поймут ведь, черти, половины. Да и где же им понять, если жизнь у них такая будет, что, может, нам и во сне не снилась!

Автор не знает и не хочет загадывать, какая у них будет жизнь. Зачем же трепать свои нервы и расстраивать здоровье — все равно бесцельно, все равно не увидит, вероятно, автор полностью этой будущей прекрасной жизни.

Да будет ли она прекрасна — это еще вопрос. Для собственного успокоения автору кажется, что и там много будет ерунды и дряни.

Впрочем, может, эта ерунда будет мелкого качества. Ну, скажем, в кого-нибудь, извините за бедность мысли, плюнули с дирижабля. Или кому-нибудь пепел в крематории перепутали и выдали заместо помершего родственничка какую-нибудь чужую и недоброкачественную труху... Конечно, это не без того — будут случаться такие ничтожные неприятности в мелком повседневном плане. А остальная-то жизнь, наверное, будет превосходна и замечательна.

Может быть, даже денег не будет. Может быть, все будет бесплатно, даром. Скажем, даром будут навязывать какие-нибудь шубы или кашне в Гостином дворе.

— Возьмите, скажут, у нас, гражданин, отличную шубу.

А ты мимо пройдешь. И сердце не забьется.

— Да нет, скажешь, уважаемые товарищи. На черта мне сдалась ваша шуба. У меня их шесть.

Ах, черт! До чего веселой и привлекательной рисуется автору будущая жизнь!

Но тут стоит призадуматься. Ведь если выкинуть из жизни какие-то денежные счеты и корыстные мотивы, то в какие же удивительные формы выльется сама жизнь! Какие же отличные качества приобретут человеческие отношения! И, например, любовь. Каким небось пышным цветом расцветет это изящнейшее чувство!

Ах ты, какая будет жизнь, какая жизнь! С какой сладкой радостью думает о ней автор, даже вчуже, даже без малейшей гарантии застать ее. Но вот — любовь.

Об этом должна быть особая речь. Ведь многие ученые и партийные люди вообще склонны понижать это чувство. Позвольте, говорят, какая любовь? Нету никакой любви. И никогда и не было. И вообще, мол, это заурядный акт того же гражданского состояния, ну, например, вроде похорон.

Вот с этим автор не может согласиться.

Автор не хочет исповедоваться перед случайным читателем и не хочет некоторым, особо неприятным автору критикам открывать своей интимной жизни, но все же, разбираясь в ней, автор вспоминает одну девицу в дни своей юности. Этакое было у ней глупое белое личико, ручки, жалкие плечики. А в какой телячий восторг впадал автор! Какие чувствительные минуты переживал автор, когда от избытка всевозможных благородных чувств падал на колени и, как дурак, целовал землю.

Теперь, когда прошло пятнадцать лет и автор слегка седеет от различных болезней, и от жизненных потрясений, и от забот о куске хлеба, когда автор просто не хочет врать и не для чего ему врать, когда, наконец, автор желает увидеть жизнь как она есть, без всякой лжи и украшений,— он, не боясь показаться смешным человеком из прошлого столетия, все же утверждает, что в ученых и общественных кругах сильно на этот счет ошибаются.

На эти строчки о любви автор уже предвидит ряд жестоких отповедей со стороны общественных деятелей.

— Это, скажут, товарищ, не пример — собственная ваша фигура. Что вы, скажут, в нос тычете свои любовные шашни? Ваша, скажут, персона несозвучна эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней.

— Видали? Случайно! То есть дозвольте вас спросить, как это случайно? Что ж, прикажете под трамвай ложиться?

— Да это как вам угодно, скажут. Под трамвай или с моста, а только существование ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, скажут, на простых, неискушенных людей, и вы увидите, как иначе они рассуждают.

Ха!.. Прости, читатель, за ничтожный смех. Недавно автор вычитал в «Правде» о том, как один мелкий кустарь, парикмахерский ученик, из ревности нос откусил одной гражданке.

Это что — не любовь? Это, по-вашему, жук нагадил? Это, по-вашему, нос откушен для вкусовых ощущений? Ну и черт с вами! Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надобно еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать, кроме того, несколько неприятных автору визитов к кое-каким литературным критикам, попросив их не торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть.

Итак, любовь.

Пущай об этом изящном чувстве каждый думает как хочет. Автор же, признавая собственное ничтожество и неспособность к жизни, даже, черт с вами, пущай трамвай впереди,— автор все же остается при своем мнении.

Автор только хочет рассказать читателю об одном мелком любовном эпизоде, случившемся на фоне теперешних дней. Опять, скажут, мелкие эпизоды? Опять, скажут, мелочи в двухрублевой книге? Да что вы, скажут, очумели, молодой человек? Да кому, скажут, это нужно в космическом масштабе?

Автор честно и открыто просит:

— Не мешайте, товарищи! Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии!..

2

Фу! Трудно до чего писать в литературе!

Пóтом весь изойдешь, покуда продерешься через непроходимые дебри.

И ради чего? Ради какой-то любовной истории гражданина Былинкина. Автору он не сват и не брат. Автор у него в долг не занимал. И идеологией с ним не связан. Да уж если говорить правду, то автору он глубоко безразличен. И расписывать его сильными красками автору нет охоты. К тому же автор не слишком-то помнит лицо этого Былинкина, Василия Васильевича.

Что касается других лиц, участвующих так или иначе в этой истории, то и другие лица тоже прошли перед взором автора малозамеченные. Разве что Лизочка Рундукова, которую автор запомнил по причинам совершенно особенным и, так сказать, субъективным.

Уже Мишка Рундуков, братишка ее, менее запомнился. Это был парнишка крайне нахальный и задира. Наружностью своей он был этакий белобрысенький и слегка мордастый.

Да о наружности его автору тоже нет охоты распространяться. Возраст у парнишки переходный. Опишешь его, а он, сукин сын, подрастет к моменту выхода книги, и там разбирайся — какой это Мишка Рундуков. И откуда у него усы взялись, когда у него и усов-то не было в момент описания событий.

Что же касается самой старухи, так сказать, мамаши Рундуковой, то читатель и сам вряд ли выразит претензию, ежели мы старушку и вовсе обойдем в своем описании. Тем более что старушек вообше трудновато художественно описывать. Старушка и старушка. А пес ее разберет, какая это старушка. Да и кому это нужно описание, скажем, ее носа? Нос и нос. И от подробного его описания читателю не легче будет жить на свете.

Конечно, автор не взялся бы писать художественные повести, если бы были у него только такие скудные и ничтожные сведения о героях. Сведений у автора хватает.

Например, автору очень живо рисуется вся ихняя жизнь. Ихний небольшой рундуковский домишко. Этакий темненький, в один этаж. На фасаде — номер двадцать два. Повыше на досочке багор нарисован. На предмет пожара. Кому что тащить. Рундуковым, значит, багор тащить. А только есть ли у них багор? Ох, небось нету!.. Ну да не дело художественной литературы разбираться и обращать на это внимание уездной администрации.

А вся внутренность ихнего домика и, так сказать, вещественное его оформление в смысле мебели тоже достаточно рельефно вырисовывается в памяти автора... Три комнаты небольшие. Пол кривой. Рояль Беккера. Этакий жуткий рояль. Но играть на нем можно. Кой-какая мебелишка. Диван. Кошка или кот на диване. На подзеркальнике часишки под колпаком. Колпак пыльный. А само зеркало мутное — морду врет. Сундук огромный. Нафталином и дохлыми мухами от него пахнет.

Скучно небось было бы жить в этих комнатах столичным гражданам!

Скучно небось столичному гражданину и в ихнюю кухню войти, где мокрое белье на бечевке развешано. И у плиты старуха продукты стряпает. Картошку, например, чистит. Шелуха лентой с-под ножа свивается.

Только пущай не думает читатель, что автор описывает

эти мелкие мелочи с любовью и восхищением. Нету! Нету в этих мелких воспоминаниях ни сладости, ни романтизма. Знает автор и эти домики, и эти кухни. Заходил. И жил в них. И может, и сейчас живет. Ничего в этом нету хорошего, так — жалкая жалость. Ну, войдешь в эту кухню — и ведь непременно мордой в мокрое белье угодишь. Да еще спасибо, ежели в благородную часть туалета, а то в мокрый чулок какой-нибудь, прости господи! Противно же мордой в чулок! Ну его к черту! Такая гадость.

А по причинам, не касающимся художественной литературы, автору приходилось несколько раз бывать у Рундуковых. И автор всегда удивлялся, как это в такой прели и мелкоте жила такая выдающаяся барышня, такой, можно сказать, ландыш и настурция, как Лизочка Рундукова.

Автору всегда было очень-очень жаль эту миловидную барышню. О ней будем в свое время длинно и обстоятельно говорить, пока же автор принужден рассказать кое-что о гражданине Василии Васильевиче Былинкине. О том, какой это человек. Откуда он взялся. И благонадежен ли он политически. И какое отношение он имеет к уважаемым Рундуковым. И не родственник ли он им.

Нет, он не родственник. Он просто случайно и на время замешался в ихнюю жизнь.

Автор уже предупреждал читателя, что физиономия этого Былинкина ему не слишком запомнилась. Хотя вместе с тем автор, закрывая глаза, видит его как живого.

Этот Былинкин ходил всегда медленно, даже вдумчиво. Руки держал позади. Ужасно часто моргал ресницами. И фигуру имел несколько сутулую, видимо придавленную житейскими обстоятельствами. Каблуки же Былинкин снашивал внутрь до самых задников.

Что касается образования, то на вид образование было не ниже четырех классов старой гимназии.

Социальное происхождение — неизвестно.

Приехал человек из Москвы в самый разгар революции и о себе не распространялся.

А зачем приехал — тоже неясно. Сытнее, что ли, в провинции показалось? Или не сиделось ему на одном месте и влекли его, так сказать, неведомые дали и приключения? Черт его разберет! Во всякую психологию не влезешь.

Но скорей всего в провинции сытней показалось. Потому — первое время ходил человек по базару и с аппетитом посматривал на свежие хлебы и на горы всевозможных продуктов.

Но, между прочим, как он кормился — для автора

неясная тайна. Может, он даже и руку протягивал. А может, и пробки собирал от минеральных и фруктовых вод. И продавал после. Были и такие отчаянные спекулянты в городе.

Только, видимо, жил человек худо. Весь сносился и волосы стал терять. И ходил робко, оглядываясь по сторонам и волоча ноги. Даже глазами перестал моргать и смотрел неподвижно и скучно.

А после, по невыясненной причине, в гору пошел. И к моменту разыгравшейся нашей любовной истории имел Былинкин прочное социальное положение, государственную службу и оклад по седьмому разряду плюс за нагрузку.

И к этому моменту Былинкин уже несколько округлился в своей фигуре, влил, так сказать, в себя снова потерянные жизненные соки и снова по-прежнему часто и развязно моргал глазами.

И ходил по улице тяжеловатой походкой человека, насквозь прожженного жизнью, и имеющего право жить, и знающего себе полную цену.

И действительно, к моменту развернувшихся событий был он мужчина хоть куда в свои неполные тридцать два года.

Он много и часто гулял по улицам и, размахивая палкой, сбивал по дороге цветы, или траву, или даже листья. Иногда присаживался на скамейку бульвара и бодро дышал полной грудью, счастливо улыбаясь.

О чем он думал и какие исключительные идеи осеняли его голову — никому не известно. Может, он и ни о чем не думал. Может, он просто проникался восторгом своего законного существования. Или скорей всего думал, что ему совершенно необходимо переменить квартиру.

И в самом деле: он жил у Волосатова, у дьякона живой церкви, и, в силу своего служебного положения, весьма беспокоился жить у лица, столь политически запачканного.

Он много раз спрашивал, не знает ли кто, ради бога, какой-нибудь новой квартиренки или комнаты, так как он не в силах более жить у служителя определенного культа.

И наконец кто-то по доброте душевной сосватал ему небольшую, в две квадратные сажени, комнату. Это было как раз в доме уважаемых Рундуковых. Былинкин немедленно же переехал. Сегодня он осмотрел комнату и завтра с утра въехал, наняв для этой цели водовоза Никиту.

Отцу дьякону ни с какой стороны не нужен был этот Былинкин, однако, видимо, уязвленный в неясных, но

отличных своих чувствах, дьякон страшным образом ругался и даже грозил при случае набить Былинкину морду. И когда Былинкин складывал свое добро на телегу, дьякон стоял у окна и громко искусственно хохотал, желая этим показать полное свое равнодушие к отъезду.

Дьяконица же выбегала время от времени во двор и, кидая на телегу какую-нибудь вещь, кричала:

— Скатертью дорожка. Камнем в воду. Не задерживаем.

Собравшаяся публика и соседи с удовольствием хохотали, прозрачно намекая на ихние будто бы любовные отношения. Об этом автор не берется утверждать. Не знает. Да и не желает заводить излишних сплетен в изящной литературе.

3

Комната Былинкину, Василию Васильевичу, была сдана без всякой корысти и даже без особой на то нужды. Вернее, старуха Дарья Васильевна Рундукова побаивалась, как бы из-за жилищного кризиса ихнюю квартирку не уплотнили бы вселением какого-нибудь грубого и лишнего элемента.

Былинкин этим обстоятельством несколько даже воспользовался. И, проходя мимо беккеровского рояля, сердито покосился на него и с неудовольствием заметил, что этот инструмент, вообще говоря, лишнее и что сам он, Былинкин, человек тихий и потрясенный жизнью, побывавший на двух фронтах и обстрелянный артиллерией, не может переносить лишних мещанских звуков.

Старуха обиженно сказала, что у них сорок лет стоит этот рояльчик и для былинкинских прихотей не могут они его сломать или выдернуть из него струны и педали, тем более что Лизочка Рундукова обучается игре на инструменте и, может быть, это у ней основная цель в жизни.

Былинкин сердито отмахнулся от старухи, заявив, что он говорит это в форме деликатной просьбы, а отнюдь не в виде строгого приказания.

На что старуха, крайне обидевшись, расплакалась и чуть было вовсе не отказала от комнаты, если б не подумала о возможности вселения со стороны.

Былинкин переехал утром и до вечера кряхтел в своей комнате, устанавливая и прибирая все по своему столичному вкусу.

Два или три дня прошли тихо и без особых перемен.

Былинкин ходил на службу, возвращался поздно и долго ходил по комнате, шаркая войлочными туфлями. Вечером жевал что-то и наконец засыпал, слегка похрапывая и вереща носом.

Лизочка Рундукова эти два дня ходила несколько притихшая и много раз расспрашивала свою мамашу, а также и Мишку Рундукова о том, какой это Былинкин на ихний взгляд, курит ли трубку и имел ли он в своей жизни какое-нибудь прикосновение к морскому комиссариату.

Наконец на третий день она и сама увидела Былинкина.

Это было рано утром. Былинкин по обыкновению собирался на службу.

Он шел по коридору в ночной рубашке с расстегнутым воротом. Помочи от штанов болтались позади, развеваясь в разные стороны. Он шел медленно, держа в одной руке полотенце и душистое мыло. Другой рукой он приглаживал встрепанные за ночь волосы.

Она стояла в кухне по своим домашним делам, раздувая самовар или нащепывая от сухого полена лучину.

Она тихо вскрикнула, увидев его, и бросилась в сторону, стыдясь своего неприбранного утреннего туалета.

А Былинкин, стоя в дверях, разглядывал барышню с некоторым изумлением и восторгом.

И верно: в то утро она была очень хороша.

Эта юная свежесть слегка заспанного лица. Этот небрежный поток белокурых волос. Слегка приподнятый кверху носик. И светлые глаза. И небольшая по высоте, но полненькая фигура. Все это было в ней необыкновенно привлекательно.

В ней была та очаровательная небрежность и, пожалуй, даже неряшливость той русской женщины, которая вскакивает поутру с постели и, немытая, в войлочных туфлях на босу ногу, возится по хозяйству.

Автору, пожалуй, даже нравятся такие женщины. Он ничего не имеет против таких женщин.

В сущности, нет ничего в них хорошего, в этих полных, с ленивым взглядом женщинах. Нет в них ни живости, ни яркости темперамента, ни, наконец, кокетливости позы. Так — мало двигается, в мягких туфлях, непричесанная... Вообще говоря, пожалуй, даже противно. Но вот подите ж!

И странная вещь, читатель!

Такая какая-нибудь кукольная дамочка, так сказать — измышление буржуазной западной культуры, совсем не по душе автору. Этакая прическа у ней, черт ее знает какая

греческая — дотронуться нельзя. А дотронешься — криков и скандалов не оберешься. Этакое платье ненастоящее — опять не дотронься. Или порвешь, или запачкаешь. Скажите: кому это нужно? В чем тут прелесть и радость существования?

Наша, например, как сядет, так вполне видишь, что сидит, а не на булавке пришпилена, как иная. А та — как на булавке. Кому это надо?

Автор многим восхищен в иноземной культуре, однако относительно женщин автор остается при своем национальном мнении.

Былинкину тоже, видимо, нравились такие женщины.

Во всяком случае, он стоял теперь перед Лизочкой Рундуковой и, слегка раскрыв рот от восторга и не прибрав даже висящие подтяжки, смотрел на нее с радостным изумлением.

Но это длилось одну минуту.

Лизочка Рундукова, тихо ахнув и заметавшись по кухне, вышла прочь, на ходу поправляя свой туалет и спутанные волосы.

К вечеру, когда Былинкин вернулся со службы, он медленно прошел в свою комнату, рассчитывая встретить в коридоре Лизочку.

Но не встретил.

Тогда попозже, к вечеру, Былинкин пять или шесть раз смотался на кухню и наконец встретил Лизочку Рундукову, которой и поклонился страшно почтительно и галантно, слегка склонив голову набок и делая руками тот неопределенный жест, который условно показывает восхищение и чрезвычайную приятность.

Несколько дней таких встреч в коридоре и на кухне значительно их сблизили.

Былинкин приходил теперь домой и, слушая, как Лизочка играет какой-нибудь трамблям на рояле, упрашивал ее изобразить еще и еще что-нибудь душещипательное.

И она играла какой-нибудь собачий вальс или шимми или брала несколько бравурных аккордов второй или третьей, а может даже, черт их разберет, и четвертой рапсодии Листа.

И он, Былинкин, дважды побывавший на всех фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, как бы впервые слушал эти дребезжащие звуки беккеровского рояля. И, сидя в своей комнате, мечтательно откидывался на спинку кресла, думая о прелестях человеческого существования.

Очень роскошная жизнь началась у Мишки Рундукова.

Былинкин дважды давал ему по гривеннику и один раз пятиалтынный, прося Мишку тихонько свистеть в пальцы, когда старуха у себя на кухне и Лизочка одна в комнате.

Зачем это понадобилось Былинкину, автору крайне неясно. Старуха с совершенным восторгом смотрела на влюбленных, рассчитывая не позднее осени повенчать их и сбыть Лизочку с рук.

Мишка Рундуков также не разбирался в психологических тонкостях Былинкина и самосильно свистал раз по шесть в день, приглашая Былинкина заглянуть то в ту, то в другую комнату.

И Былинкин входил в комнату, садился подле Лизочки, перекидывался с ней сначала незначительными фразами, потом просил сыграть на инструменте какую-нибудь наиболее ее любимую вещь. И там, у рояля, когда Лизочка переставала играть, Былинкин клал свои узловатые пальцы, пальцы философски настроенного человека, прожженного жизнью и обстрелянного тяжелой артиллерией, на Лизочкины белые руки и просил барышню рассказать о ее жизни, живо интересуясь подробностями ее прежнего существования.

Иногда же спрашивал, чувствовала ли она когда-нибудь трепет настоящей, истинной любви или это у нее в первый раз.

И барышня загадочно улыбалась и, тихо перебирая рояльные клавиши, говорила:

— Не знаю...

4

Они страстно и мечтательно полюбили друг друга.

Они не могли видеться без слез и трепета.

И, встречаясь, всякий раз испытывали все новый и новый прилив восторженной радости.

Былинкин, впрочем, с некоторым даже испугом вглядывался в себя и с изумлением думал, что он, дважды побывавший на всех фронтах и с необыкновенной трудностью заработавший себе право существования, с легкостью бы теперь отдал свою жизнь за один ничтожный каприз этой довольно миленькой барышни.

И, перебирая в своей памяти тех женщин, которые прошли в его жизни, и даже последнюю, дьяконицу, с кото-

рой у него таки был роман (автор совершенно в этом уверен), Былинкин с уверенностью думал, что только теперь, на тридцать втором году, он узнал истинную любовь и подлинный трепет чувства.

Распирали ли Былинкина его жизненные соки или же у человека бывает предрасположение и склонность к отвлеченным романтическим чувствам — пока остается тайной природы.

Так или иначе, Былинкин видел, что он иной теперь человек, чем был раньше, и что кровь у него изменилась в своем составе, и что вся жизнь — смешна и ничтожна перед столь необычайной силой любви.

И Былинкин, этот слегка циник и прожженный жизнью человек, оглушенный снарядами и видевший не раз лицом к лицу смерть, этот жуткий Былинкин слегка ударился даже в поэзию, написав с десяток различных стихотворений и одну балладу.

Автор незнаком с его стишками, но одно стихотворение, под заглавием: «К ней и к этой», посланное Былинкиным в «Диктатуру труда» и не принятое редакцией как несозвучное социалистической эпохе, случайно и благодаря любезности технического секретаря, Ивана Абрамовича Кранца, сделалось известным автору.

У автора особое мнение насчет стишков и любительской поэзии, и поэтому автор не будет утруждать читателей и наборщиков целым и довольно длинным стихом. Автор предлагает вниманию наборщиков только пару последних, наиболее звучных строф:

Девизом сердца своего,
Любовь прогрессом называл.
И только образ твоего
Изящного лица внимал.

Ах, Лиза, это я
Сгорел, как пепел, от огня
Тому подобного знакомства.

С точки зрения формального метода, стишки эти как будто и ничего себе. Но вообще же стишки — довольно паршивые стишки и действительно несозвучны и несоритмичны с эпохой.

В дальнейшем Былинкин не увлекался поэзией и не пошел по тяжкому пути поэта. Былинкин, всегда несколько склонный к американизму, забросил вскоре свои литературные достижения, без сожаления закопал талант в землю

и стал жить по-прежнему, не проектируя своих безумных идей на бумагу.

Былинкин и Лизочка, встречаясь теперь по вечерам, уходили из дому и до ночи бродили по опустевшим улицам и бульварам. Иногда спускались к реке и сидели над песчаным обрывом, с глубокой и молчаливой радостью следя за быстрой водой реки Козявки. Иногда же, взяв друг друга за руки, тихо ахали, восторгаясь необычайными красотами природы или легкой воздушной тучкой, пробегавшей по небу.

Все это было им ново, очаровательно, и, главное, казалось, что видят они все в первый раз.

Иногда влюбленные уходили за город и шли к лесу. А там, взявшись за пальцы, ходили разомлевшие и, останавливаясь перед какой-нибудь сосной или елкой, смотрели на нее с изумлением, искренне удивляясь причудливой и смелой игре природы, выкинувшей из-под земли столь нужное для человека дерево.

И тогда Василий Былинкин, потрясенный необычайностью существования на земле и удивительными ее законами, падал от избытка чувств на колени перед барышней и целовал землю вокруг ее ног.

А кругом-то луна, кругом таинственность ночи, трава, светлячки чирикают, лес молчаливый, лягушки и букашки. Кругом этакая сладость и умиротворение в воздухе. Кругом та радость простого существования, от которой автор не хочет еще до конца отказаться и поэтому ни под каким видом не может признать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

Так вот, Былинкин с Лизочкой наиболее любили эти свои прогулки за город.

Но в одну из таких прелестных прогулок, видимо сырой ночью, неосторожный Былинкин простудился и слег. У него открылась болезнь вроде свинки. Или, как врачи называют, — заушница.

Уже к вечеру Былинкин почувствовал легкий озноб и режущую боль в горле. К ночи же морду его стало раздувать.

С тихим плачем входила Лиза в его комнату и с распущенными волосами, в мягких туфлях, металась от постели к столу, не зная, что ей предпринять, и что делать, и как облегчить участь больного.

Мамаша Рундукова и та вкатывалась в комнату по нескольку раз в день, расспрашивая, не хочет ли больной клюквенного киселька, который будто бы незаменим при всех инфекционных заболеваниях.

Через два дня, когда морду у Былинкина раздуло до неузнаваемости, Лизочка побежала за доктором.

Осмотрев больного и прописав ему какие-то медикаменты, доктор ушел, в душе, видимо, ругаясь, что дали ему мелочью.

Лизочка Рундукова побежала за ним и, догнав его на улице, заламывая руки, стала лепетать и спрашивать: ну как? Что? Есть ли надежда? И что пущай врач знает, что она не перенесет гибели этого человека.

Тогда врач, в силу своей профессии привыкший к этим сценам, равнодушно сказал, что свинка — свинка и есть, и помирать от этого, к сожалению, не приходится.

Несколько раздосадованная незначительной опасностью, Лизочка грустно вернулась домой и стала самоотверженно ухаживать за больным, не щадя ни своих слабых сил, ни здоровья, не боясь даже схватить эту самую свинку от заражения.

Былинкин первые дни боялся подняться с подушки и, ощупывая раздувшееся свое горло, с ужасом спрашивал, не разлюбит ли его Лизочка Рундукова после болезни, которая позволила увидеть его в столь безобразном и омерзительном виде.

Но барышня, упрашивая его не беспокоиться, говорила, что, на ее взгляд, он стал более представительный мужчина, чем был раньше.

И Былинкин тихо и благодарно смеялся, говоря, что эта болезнь как нельзя более испытала крепость ихней любви.

5

Это была совершенно необыкновенная любовь.

А с тех пор, когда Былинкин встал с одра болезни и голова с шеей снова приняли прежние формы, ему стало казаться, что Лизочка Рундукова спасла его от неминуемой гибели.

От этого в ихние любовные отношения вошла некоторая торжественность и даже великодушие.

В один из ближайших после болезни дней Былинкин взял Лизочку за руку и тоном решившегося на что-то человека попросил ее выслушать его, не задавая пока что лишних вопросов и не вмешиваясь со своими глупыми репликами.

Былинкин сказал длинную и торжественную речь о том,

что он совершенно знает, что такое жизнь, и знает, как трудно существовать на земле, и что раньше, когда он был еще неоперившимся юнцом, он с преступной легкостью относился к жизни, за что сильно пострадал в свое время, но теперь, умудренный житейским опытом, знает, как надо жить, и знает суровые и непоколебимые законы жизни. И что, все это обдумав, он предполагает внести кой-какие изменения в свою намеченную жизнь.

Одним словом, Былинкин сделал Лизочке Рундуковой официальное предложение с просьбой не тревожиться за будущее благосостояние, даже если Лизочка Рундукова и впредь останется безработной и не будет в состоянии вносить посильную лепту в общий скромный котел.

Она, слегка поломавшись и поговорив для изящности переживаемого момента о свободной любви, все же с восторгом приняла предложение, говоря, что она давно ждала его и что если б он не сделал этого, то он был бы последним мазуриком и проходимцем. А что свободные отношения, хотя и тоже очень хороши и отличны в свое время, но это уж не то, что иное прочее.

Со своей радостной новостью Лизочка Рундукова немедленно побежала к мамаше, а также и к соседям, приглашая их прийти на бракосочетание, которое состоится в весьма непродолжительном времени и будет носить скромный и семейственный характер.

Соседи горячо поздравляли ее, говоря, что она достаточно уж засиделась и намучилась безысходностью своего существования.

Мамаша Рундукова всплакнула, конечно, и пошла к Былинкину, чтоб самой убедиться в подлинности факта.

И Былинкин удостоверил старуху, торжественно попросив называть ее с этого дня мамашей. Старуха, плача и сморкаясь в передник, сказала, что она пятьдесят три года живет на свете, но что этот день — самый счастливый в ее жизни. И, в свою очередь, попросила называть его Васей. На что Былинкин милостиво дал свое согласие.

Что касается Мишки Рундукова, то Мишка довольно равнодушно отнесся к жизненной перемене своей сестры и в настоящее время мотался где-то по улицам, сломя голову и высунув язык.

Теперь влюбленные не ходили уже за город. Большей частью они просиживали дома и, болтая до ночи, обсуждали план своей дальнейшей жизни.

И в одну из таких бесед Былинкин принялся с карандашом в руках чертить на бумаге план их будущих комнат,

которые будут составлять как бы отдельную, маленькую, но уютную квартирку.

Они, совершенно захлебываясь и споря друг с другом, доказывали, куда лучше поставить кровать, и куда поставить стол, и где расположить туалет.

Былинкин убеждал Лизочку не делать глупостей и не ставить туалетный столик в углу.

— Это абсолютное мещанство,— сказал Былинкин,— ставить туалетный столик в углу. Это каждая барышня ставит этак. В углу гораздо лучше и монументальнее поставить комод и покрыть его легкой кружевной скатертью, которую мамаша, надеюсь, не откажет дать.

— Комод в углу тоже мещанство,— сказала Лизочка, едва не плача.— Да к тому же комод мамашин, и даст ли она его или нет, это еще вопрос.

— Ерунда,— сказал Былинкин,— как это она не даст? Не держать же нам белье на подоконниках! Явная чушь.

— Ты, Вася, поговори с мамашей,— строго сказала Лизочка.— Поговори просто как с родной матерью. Скажи: дескать, дайте, маменька, комод.

— Ерунда,— сказал Былинкин.— Да, впрочем, я могу и сейчас сходить к старухе, если тебе этого так хочется.

И Былинкин пошел в старухину комнату.

Было уже довольно поздно. Старуха спала.

Былинкин долго раскачивал ее, и та, брыкаясь во сне, никак не хотела вставать и понять, в чем дело.

— Проснитесь же, мамаша,— строго сказал Былинкин.— Ведь можем же мы с Лизочкой рассчитывать на какой-то небольшой комфорт? Ведь не трепаться же белью на подоконниках.

С трудом понимая, что от нее нужно, старуха принялась говорить, что комод этот пятьдесят один год стоит на своем месте и на пятьдесят втором году она не намерена перетаскивать его в разные стороны и разбрасывать его налево и направо. И что комоды она не сама делает. И что поздно ей на старости лет обучаться столярному ремеслу. Пора бы это понять и не обижать старуху.

Былинкин принялся стыдить мамашу, говоря, что он, побывавший на всех фронтах и дважды обстрелянный тяжелой артиллерией, может же наконец рассчитывать на покойную жизнь.

— Стыдно, мамаша! — сказал Былинкин.— Жалко вам комода! А в гроб вы его не возьмете. Знайте это.

— Не дам комода! — визгливо сказала старуха.— Помру, тогда и берите хоть всю мебель.

— Да, помрете! — сказал Былинкин с негодованием.— Жди!..

Видя, что дело принимает серьезный оборот, старуха принялась плакать и причитать, говоря, что в таком случае пущай невинный ребенок Мишка Рундуков своими устами скажет последнее слово, тем более что он единственный мужской представитель в ихнем рундуковском роду, и комод, по праву, принадлежит ему, а не Лизочке.

Разбуженный Мишка Рундуков крайне не захотел отдавать комода.

— Да-а,— сказал Мишка.— Небось гривенник отвалят, а комод взять хочут. Комоды тоже денег стоят.

Тогда Былинкин, хлопнув дверью, пошел в свою комнату и, горько отчитывая Лизочку, говорил ей, что ему без комода как без рук и что он сам, закаленный борьбой, знает, что такое жизнь, и ни на шаг не отступится от своих идеалов.

Лизочка буквально металась от матери к Былинкину, умоляя их как-нибудь прийти к соглашению и предлагая по временам перетаскивать комод из одной комнаты в другую.

Тогда, попросив Лизочку не метаться, Былинкин предложил ей немедленно лечь спать и набраться сил, с тем чтобы с утра заняться этим роковым вопросом.

Утро ничего хорошего не принесло. Много было сказано со всех сторон горьких и обидных истин.

Разгневанная старуха с отчаянной решимостью сказала, что она видит его, Василия Васильевича Былинкина, вдоль и поперек, и что сегодня он комод от нее требует, а завтра студень из нее сварит и съест с хлебом. Вот это какой человек!

Былинкин кричал, что он подаст в уголовный розыск прошение об аресте старухи за распространение заведомо ложных и порочащих слухов.

Лизочка с тихим криком перебегала от одного к другому, упрашивая их наконец не орать и постараться спокойно разобраться в вопросе.

Тогда старуха сказала, что она вышла из того возраста, когда орут, и что она без оранья скажет всем и каждому, что Былинкин за это время у них обедал три раза и не потрудился даже ради любезности предложить некоторую компенсацию хотя бы за один обед.

Страшно взволнованный, Былинкин язвительно сказал, что зато он, гуляя с Лизочкой, много раз покупал ей леденцы и пастилу и два раза букеты цветов и тем не менее не предъявляет мамаше никаких счетов.

На что Лизочка, закусив губы, сказала, что пусть он не врет нахально, что никакой пастилы не было, а было лишь монпансье и небольшой букетик фиалок, которым грош цена и которые к тому же на другой день завяли.

Сказав это, Лизочка с плачем вышла из комнаты, предоставив все на волю судьбы.

Былинкин хотел побежать за ней и извиниться за неточные сведения, но, снова связавшись со старухой, назвал ее чертовой мамашей и, плюнув в нее, выбежал из дому.

Былинкин ушел из дому и два дня пропадал неизвестно где. И когда явился, то официальным тоном заявил, что он не считает более возможным пребывание в этом доме.

Через два дня Былинкин переехал на другую квартиру, в дом Овчинниковых. Лизочка демонстративно просидела эти дни в своей комнате.

Автор не знает подробностей переезда и также не знает, какие горькие минуты переживала Лизочка. И переживала ли она их. И сожалел ли обо всем Былинкин или все сделал с полным сознанием и решимостью.

Автору известно только, что Былинкин, переехав, долгое еще время, правда уже после своей женитьбы на Марусе Овчинниковой, ходил к Лизочке Рундуковой. И они вдвоем, потрясенные своим несчастьем, сидели рядом, перебрасываясь незначительными словами. Иногда, впрочем, перебирая в своей памяти тот или иной счастливый эпизод и случай из прошлого, говорили о нем с грустной и жалкой улыбкой, сдерживая слезы.

Иногда приходила в комнату мать, и тогда они втроем оплакивали свою судьбу.

После Былинкин перестал ходить к Рундуковым. И, встречаясь с Лизочкой на улице, корректно и сдержанно кланялся ей и проходил мимо.

6

Так кончилась эта любовь.

Конечно, в иное время, лет, скажем, через триста, эта любовь так бы не кончилась. Она бы расцвела, дорогой читатель, пышным и необыкновенным цветом.

Но жизнь диктует свои законы.

В заключение повести автор хочет сказать, что, развертывая эту несложную историю любви и несколько увлекшись переживаниями героев, автор совершенно упустил из

виду соловья, о котором столь загадочно сказано было в заглавии.

Автор побаивается, что честный читатель, или наборщик, или даже отчаянный критик, прочтя эту повесть, невольно расстроится.

— Позвольте, скажет, а где же соловей? Что вы, скажет, морочите голову и заманиваете читателя на легкое заглавие?

Было бы, конечно, смешно начинать сначала повесть об этой любви. Автор и не пытается этого сделать. Автор только хочет восполнить кое-какие подробности.

Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала:

— Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?

На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:

— Жрать хочет, оттого и поет.

И только потом, несколько освоившись с психологией барышни, Былинкин отвечал более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни.

Автор тоже именно так и думает: о будущей отличной жизни лет, скажем, через триста, а может, даже и меньше. Да, читатель, скорее бы, как сон, прошли эти триста лет, а там заживем.

Ну, а если и там будет плохо, тогда автор с пустым и холодным сердцем согласится считать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

ВЕСЕЛОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

1

Нет, не может автор с легким и веселым сердцем прилечь на кровать с книжкой русского писателя!

Автор для душевного успокоения предпочитает взять какую-нибудь иностранную книжку.

В самом деле — иностранцы очень уж приятно пишут. Кругом у них счастье и удача. Кругом полное благополучие. Герои все как на подбор красивые. Ходят в шелковых платьях и в голубых подштанниках. В ваннах чуть не ежедневно моются. А главное — масса бодрости, веселья и вранья. Конец, конечно, счастливый. И вообще вся книжка закрывается с полным успокоением и с полной сердечной радостью.

Даже такая неустойчивая вещь, как погода, и та берется определенно хорошая на протяжении всей иностранной книжки. Солнце светит и греет. Масса зелени и воздуху. Тепло. Духовые оркестры поминутно играют. Ведь это же прямо нервы успокаивает!

Теперь нарочно возьмем нашу дорогую русскую литературу. Погодка взята по большей части ерундовая. Либо метель, либо буря. Либо ветер дует в морду герою. Герои же, как нарочно, подобраны нелюбезные. То и дело ругаются. Одеты плохо. Вместо веселых и радостных приключений описываются кровавые стычки из эпохи гражданской войны. Либо вообще чего-нибудь описывается, от чего клюешь носом.

Нет, не согласен автор с такой литературой! Пущай в этой литературе много хороших и гениальных книг, пущай в этих книгах черт знает какие глубокие идеи и разнообразные слова — не может автор найти в них душевного равновесия и радости.

И почему это французы могут изображать отличные и успокоительные стороны жизни, а мы не можем? Да что

вы, товарищи, помилуйте! Хороших фактов, что ли, не хватает в нашей жизни? Или легких и бодрых приключений недостает? Или, по-вашему, ощущается недохватка в красивых героинях?

Что вы, дорогие товарищи! Все есть, если поискать. И любовь. И счастье. И благополучие. И красивые герои. И яркая бодрость. И наследства. И ванны. И голубые подштанники. И выигрышные займы, по которым можно выиграть 100 000. Все это есть в нашей жизни.

Зачем же тогда засорять эту жизнь и сгущать черные краски? И так-то много скучного и бедного в наши переходные дни, зачем же еще литературой подбавлять пару?

Нет, не согласен автор с нашей высокой литературой! Конечно, автор и сам только недавно пришел к этим решительным мыслям.

Автор и сам недавно еще задавался на самые отчаянные и меланхолические идеи и на разрешение самых немыслимых вопросов. И вот — хватит. Довольно. Не в этом счастье. И не в этом мудрость.

Может, и в самом деле надо писать легко и весело. Может, и в самом деле надо писать только о хорошем и счастливом. Чтоб дорогой покупатель из книг черпал бы бодрость и радость, а не тоску и уныние.

Автор предполагает, что это именно так и должно быть.

И теперь, когда автор заканчивает свою книгу, он приходит к грустному размышлению о том, что вся книга написана не так, как надо бы.

Но что же поделать? Отныне автор берется рассказывать только бодрые, веселые и занимательные истории. Отныне автор отрекается от всех своих мрачных мыслей и меланхолических настроений.

К сожалению, перебирая в своей памяти все приключения и события последних лет, автор с некоторым конфузом и замешательством должен заявить, что для почину особо выдающейся веселой истории автор прямо-таки не может сейчас припомнить. Вспоминается лишь одна более или менее подходящая историйка, не то чтобы слишком веселая, но, пожалуй, тихонько посмеяться можно будет. А если в этой истории чуть слегка подтушевать факты, не то чтобы приврать, а чуть пустить этакого веселенького колеру и светлого фона, на котором развернутся события, то она для почину вполне сойдет. Читать будет можно.

А читателя автор насквозь узнал. Читателя хлебом не корми — дай ты ему ради бога за его деньги бодрые и счастливые переживания.

Какой-нибудь тут литературный критик, какой-нибудь писатель, какой-нибудь Рабиндранат Тагор ужасно как обрадуется и всполошится. «Вот, скажет, потирая руки, взгляните, скажет, на сукинова сына — явно потрафляет читателю. Хватайте его и бейте по морде и по чем попало».

Подождите драться и ударять по морде, уважаемые критики. Обождите замахиваться. Дайте сказать человеку. Он не потрафляет читателю, а пишет так, как полагает нужным, ради бодрой идеи и ради общего благополучия. Впрочем, житейская мудрость и опыт многих лет, а также слабое состояние здоровья не дозволяют автору вступать в пререканье с критиком.

Так вот, перебирая в памяти десятка полтора всяких историй, автор решает остановиться на забавном и веселом приключении, достойном пера какого-нибудь выдающегося французского писателя.

В этом веселом приключении много было счастливых и острых переживаний, много было бодрости и борьбы. Тут были романтические встречи. И стояла весьма недурная осенняя погода. Счастливый конец завершил эту эпопею.

Автор полагает, что лучшей истории ему прямо-таки не припомнить.

Конечно, на первый взгляд особо выдающейся бодрости и счастья не будет ощущаться. Но нельзя же, чтоб сплошь было счастье и счастье. Этак и жить, сами понимаете, будет скучновато.

Итак, автор постарается в правдивых и бодрых тонах рассказать о веселом приключении, случившемся в самые недавние дни с Сергеем Петровичем Петуховым.

2

Сергей Петрович Петухов по воскресеньям на службу не ходил. В этот день, полный отдыха и бодрого веселья, Сергей Петрович вставал поздно, часов этак в десять, а то и в одиннадцать. Вон как!

Но сегодня не было еще и десяти, когда Сергей Петрович сладко проснулся в своей постели, повернулся на другой бок и радостно улыбнулся наступающему утру.

Это была улыбка молодого, здорового организма, не захватанного еще врачами. Это была улыбка юноши, видевшего ночью отличные сны, светлые перспективы и бодрые горизонты.

И действительно, в эту ночь Сергей Петрович видел себя каким-то молодым, богатым франтом. Он не помнил в точности, что он видел, но какие-то миловидные мордочки, какие-то танцующие барышни, какие-то легкие неоскорбительные речи и славные улыбки переплетались этой ночью в радостное сновиденье, счастливые картины молодости и удачи.

Сергей Петрович похлопал себя ладонью по зевающему рту и сел на постели.

Довольно чистая ночная рубашка из тонкого мадаполама плотно облегала высокую грудь и молодые крепкие плечи.

Сергей Петрович долго сидел на постели и, обняв свои колени, обдумывал виденный сон.

И под влиянием этого сна и, может быть, из-за того, что солнце светило в комнату, Сергею Петровичу захотелось легкой и беспечной жизни или какого-нибудь забавного и веселого приключения. Ему хотелось как бы продолжения сегодняшнего удачного сна.

Ему захотелось жить в просторной и веселой комнате площадью не менее как в три квадратные сажени. Он уже мысленно застилал эту комнату пушистыми персидскими коврами и обставлял ее дорогими роялями и пианинами.

Он уже видел себя под руку с красивой, миловидной девушкой. Ему казалось, что он идет с ней в кафе, где пьет густое какао с венскими сухарями, платит за все один и затем, пошатываясь, выходит на улицу.

Сергей Петрович вздохнул, обвел тихим взглядом свое неказистое помещение и вдруг резким движением вскочил с постели.

Он вскочил с постели, сполоснул морду под жестяным рукомойником, причесал свои трепаные волосы и, прикрепив маленькое карманное зеркальце к стене, стал перед ним завязывать галстук.

Он долго возился с галстуком, потом с сапогами, начищая их до самого отчаянного блеска. Потом долго примерял шляпу. И наконец, одетый и причесанный, слегка надушенный мятными каплями, вышел на улицу.

Стояло чудное, тихое утро бабьего лета. Масса зелени, воздуха и солнца на минуту ослепила Сергея Петровича. Где-то гремел духовой оркестр — хоронили общественного деятеля.

Серега постоял у дома, повертел в руке палочку и пошел вдоль по проспекту легкой, танцующей походкой.

Сергею Петухову было двадцать пять лет. Он был молод

и здоров. У него были крепкие и сильные мускулы, у него были крупные, удачные черты лица и красивые серые глаза с ресницами и бровями. Проходящие женщины с явным удовольствием глядели на его выпуклый стан, на его круглые, полные щеки и на свежеразглаженные брюки без излишних пятен. Сергей Петрович чуть прищуренным глазом приветствовал каждую проходящую мимо женщину. Иногда он оборачивался и смотрел ей вслед, что-то обдумывая. Он шел медленно и дышал полной грудью. Иногда останавливался у магазина рядом с какой-нибудь девушкой и смотрел на нее искоса, как бы оценивая и сравнивая с теми выдающимися барышнями, каких он видел этой ночью.

Вдруг Сергей обернулся и пристально посмотрел вслед какой-то проходящей девушке.

«Катюша Червякова собственной персоной»,— подумал Сергей Петрович и, немного постояв, пошел вслед за ней.

Слегка задыхаясь, он догнал девушку. Он хотел сзади веселым, шаловливым движением рук закрыть ей глаза и после спросить фальшивым тоном: «Кто вас схватил за глаза?» Но вдруг вспомнил, что руки у него сегодня не особо чистые и что перед уходом он чистил сапоги и ядовитый скипидарный дух гуталина вряд ли выветрился за пятиминутную прогулку. Серега раздумал это сделать, и, только подойдя совсем близко к девушке, он одернул ее за руку и, шуточно затопав ногами, вскричал:

— Вот я вас! Хоп, поберегись...

Девушка, смертельно побледнев, испуганно отшатнулась. Скорей всего она предположила, что какой-то дурак выкатывает тележку со двора или какой-нибудь хулиган хочет чего-нибудь с ней сделать. Но, увидев Сергея Петровича, она бурно расхохоталась. Они вдвоем, взявшись за руки, хохотали, как дети. Они буквально минут десять не могли произнести ни одного слова от приступов смеха.

Потом, слегка успокоившись, он спросил, куда она идет. И, узнав, что она гуляет, он взял ее под руку и поволочил за собой.

Много раз встречался Сергей Петрович с этой девушкой, но никогда не думал о ней и не вспоминал даже. А сейчас, под влиянием легкого, веселого сна и бодрящей погоды, Серега ощутил в своей груди какое-то томление и любовный трепет.

Он крепко взял девушку под руку и торжественно повел

ее по городу, как бы приглашая прохожих взглянуть на продолжение его сна.

Катюша Червякова, привыкшая видеть Сергея Петровича слегка хмурым, с обидчиво выпяченной нижней губой, решительно недоумевала. Она не знала, какая счастливая муха укусила ее кавалера. Но, по природе своей веселая и смешливая, она поддерживала его бодрое, шаловливое настроение ума. Она говорила всякие пустяки, и он, захлебываясь от смеха и молодости, буквально хрюкал на всю улицу.

Молодость, красота и прекрасная погода связали вдруг эту парочку: им обоим показалось, что наступила любовь, и тогда какой-то трепет прошел по их коже.

И когда они прощались у ее дома, Сергей Петрович стал взволнованно просить назначить свидание как можно скорей. Он говорил, что жизнь его быстро проходит без особых переживаний и приключений. Он крайне одинок. Одиночество его коробит. И он хотел бы поближе подойти к Катюше Червяковой. Не хочет ли она сегодня в семь часов вечера прийти на угол Кирпичного переулка к кинематографу? Они пойдут на первый сеанс и там, сидя рядышком, посмотрят драму и под музыку обмозгуют, чего им делать дальше — гулять ли по городу или зайти куда-нибудь.

Слегка для виду поломавшись и заявив, что ей надо сегодня подрубить какие-то там мамашины простыни и пересчитать грязное белье, девушка все же быстро дала свое согласие, испугавшись, как бы кавалер не раздумал насчет кино.

Они очень мило и просто попрощались и разошлись. Впрочем, Серега с минуту постоял еще перед калиткой, заглянул в ворота, бодро цыкнул на залаявшую на него собаку и пошел домой завтракать.

Завтрак был сытный и сочный. Яичница из трех яиц с луком и с хреном. Кусок чайной колбасы. Масло. Хлеба Сергей Петрович мог есть без устали. Хозяйка с этим не считалась.

— Хорошая штука жизнь,— бормотал Сережа, кушая яичницу.

3

Автор не знает, что самое главное, самое, так сказать, великолепное в нашей жизни, из-за чего стоит, вообще говоря, существовать на свете.

Может быть, это служение отечеству, может быть,

служение народу и всякая такая ураганная идеология. Может быть, так. Скорей всего, что так. Но вот в личной жизни, в повседневном плане, кроме этих высоких идей, существуют и другие, более мелкие идейки, которые главным образом и делают нашу жизнь интересной и привлекательной.

Автор ничего не знает о них и не берется запутывать простые и малокультурные умы своими на этот счет глупыми изречениями. Решительно не знает автор, что самое привлекательное в жизни.

Иной раз только автору кажется, что после общественных задач на первом плане стоит любовь. И что любовь — самое привлекательное занятие.

Вот другой раз идешь, предположим, по городу. Поздно. Вечер. Пустые улицы. И идешь ты, предположим, в огромной тощище — в пульку, скажем, проперся или какая-нибудь мировая скорбь обуяла.

Идешь, и все кажется до того плохим, до того омерзительным, что вот прямо взял бы, кажись, и повесился бы сию минуту на первом фонаре, если б он освещен был.

И вдруг видишь — окно. Свет в нем красный или розовый пущен. Занавесочки какие-нибудь этакие даны. И вот смотришь издали на это окно и чувствуешь, что уходят все твои мелкие тревоги и волнения и лицо расплывается в улыбку.

И тогда кажется чем-то прекрасным и великолепным и этот розовый свет, и оттоманка какая-нибудь там за окном, и какая-нибудь смешная любовная канитель.

Тогда кажется все это чем-то основным, чем-то непоколебимым, чем-то раз навсегда данным.

Ах, читатель! Ах ты, милый мой покупатель! Да знаешь ли ты это драгоценное чувство любви, этот настоящий любовный трепет и сердечные треволнения? Не кажется ли тебе это самым драгоценным, самым привлекательным в нашей жизни?

Автор повторяет: он не утверждает этого. Он решительно не утверждает. Он надеется, что есть в жизни что-то еще более лучшее и более прекрасное. Автору только иногда кажется, что нет ничего выше любви.

Автора, к сожалению, мало любили женщины. Автор прямо-таки не припомнит — целовали ли его хоть раз при розовом освещении. Должно быть, нет. Автор был молод и юн в те бурные дни революции, когда вообще никакого освещения не было, кроме восходящего солнца. И люди ели тогда овес. Пища эта грубая, лошадиная. Она не вызывает

тонких романтических побуждений и тоски по розовому фонарю.

Но все это не слишком удручает автора и не колеблет в нем сейчас бодрой любви к жизни и сознания в том, что любовь, пожалуй, очень большое и очень привлекательное занятие.

Сергей Петрович Петухов хотя был и помоложе автора, но у него были такие же мысли и такие же точно соображения насчет жизни и любви. Он так же понимал жизнь, как понимает ее автор, умудренный житейским опытом.

И в тот знаменитый день, в то ясное воскресенье, Сергей Петрович, сытно позавтракав, часа полтора валялся на кровати, предаваясь этим сладким любовным мечтаниям. Он думал о любовном приключении, которое у него уже завязывается. Он думал о тех умных, веселых и энергичных словах, которые он нынче утром говорил девушке. И еще думал о том, что любовь очень и очень может скрасить его скучную и одинокую жизнь.

Сергей Петрович, вытянув ноги на спинку кровати, с нетерпением стал подсчитывать, сколько же, наконец, времени осталось до назначенного часа, до семи часов вечера, когда он будет сидеть со своей барышней в кино и там, под музыку бравурного рояля и под стрекот аппарата, будет говорить тихим и энергичным шепотом о той неожиданной нежности, которая нынче охватила его.

Было начало второго.

— Почти шесть часов ожидания,— бормотал наш нетерпеливый герой.

Но вдруг, стремительно вскочив с кровати, он быстро зашагал по комнате, бормоча проклятия и пихая ногами стулья и табуреты, попадавшиеся под его неосторожные шаги.

В самом деле. Что ж это он лежит, как сукин сын? Нужно же поскорее действовать.

Сергей Петрович был в настоящую минуту, так сказать, не при деньгах. Полученное неделю назад жалованье давно ушло на всякие житейские нужды и потребности, и сейчас у нашего героя было в кармане всего четыре копейки меди и одна трехкопеечная почтовая марка.

Сергей Петрович об этом строго помнил, когда говорил девушке о кино. Он не захотел только в те минуты портить себе кровь и обдумывать, где бы ему занять эти, в сущности, ничтожные деньги. Он решил обдумать это дома. Но вот уже почти два часа он, как последний сукин кот, валяется

на матрацах, не предпринимая никаких шагов! Размечтался, дырявая голова.

Сергей Петрович, без пиджака, в одной рубашке, бросился в соседнюю комнату. Он захотел занять у соседа, с которым он был в довольно-таки приятельских отношениях. Однако сосед сказал, что сегодня он решительно не может одолжить. Он верит в благие намерения Сергея Петровича отдать эти деньги, но, к сожалению, у него самого осталось копеек сорок, которые ему крайне нужны сегодня. А кроме того, он вообще воздерживается давать в долг, считая это совершенно неумной и рискованной затеей.

Сергей Петрович бросился на кухню. Он стал умолять хозяйку выручить его из беды. Однако хозяйка сухо и непреклонно отказала, заявив, что она сама едва-едва сводит концы с концами и что она, к сожалению, не удосужилась еще приобрести на рынке подходящий станок, на котором она могла бы сколько ей влезет печатать червонцы и двугривенные.

Сергей Петрович, в сильных грустях и даже несколько взволнованный, прошел в свою комнату и снова прилег на кровать. Он стал методически обдумывать, где бы ему разжиться монетой. Ему нужна, в сущности, небольшая сумма — ну, на худой конец, ему нужно семь гривен.

Сергею Петровичу до того захотелось достать эти деньги, что на один миг он даже отчетливо увидел их в своей руке — три двугривенных и один гривенник.

Стараясь обдумывать спокойно, Сергей Петрович мысленно обошел всех своих знакомых и в сильных выражениях упрашивал их одолжить ему нужную сумму. Но вдруг пришел к мысли, что в долг он действительно вряд ли у кого займет.

Тогда Сергей Петрович стал обдумывать, как бы иным способом выкрутиться из некрасивого положения. Быть может, продать что-нибудь?

Да, конечно, продать!

Тогда Сергей Петрович быстро открыл шкап, письменный стол, ящик. Нет, решительно ничего нет. Все ерунда и рвань. Не может же он загнать последний костюм или хозяйский шкап и диван! Вот если загнать старые сапоги. Но что за них дадут?

Вот что. Да, конечно, Сергей Петрович сейчас, сию минуту продаст эту мясорубку. Она у него лежит в корзине. Она досталась ему еще от покойной матери. Странно, почему он эту машинку до сих пор не загнал?

Сережа стремительно вытянул из-под кровати корзину, полную всякой домашней пыльной рухляди. С большой надеждой извлекал Сергей из корзины разные вещи и предметы, мысленно оценивая их. Но все это опять-таки была сплошная неценная ерунда. Масса пыльных пузырьков, заскорузлых склянок, коробочек от порошков с закрученными рецептами. Какой-то тяжелый висячий шар от лампы, с дробью. Ржавый засов. Два крючка. Мышеловка. Колодка от сапог. Кусок голенища. И вот наконец мясорубка.

Сережа стер с нее пыль платком и любовно прикинул ее на ладонь, мысленно взвешивая и оценивая.

Это была довольно массивная, плотная мясорубка с ручкой. В девятнадцатом году в ней мололи овес.

Сережа сдунул с нее последнюю пыль, завернул в газету и, накинув на себя пальто, опрометью кинулся на рынок.

Воскресный торг был в полном разгаре. На площади ходили и стояли люди, бормоча и размахивая руками. Здесь продавались штаны, сапоги и лепешки на подсолнечном масле. Стоял страшный гул и острый запах.

Сережа протискался сквозь толпу и стал на виду в сторонку. Он развернул свою драгоценную ношу и опрокинул ее на ладонь, ручкой вверх, приглашая этим проходящую публику взглянуть на товар.

— Вот мясорубка,— бормотал наш герой, уторапливая события.

Сережа довольно долго стоял — никто не подходил даже. Только одна полновесная дама на ходу спросила о цене и, узнав, что цена — полтора целковых, пришла в такое сильное нервное раздражение и в такую неописуемую ярость, что начала на весь рынок крыть и срамить Сергея Петровича, называя его мародером и осатанелым подлецом. И под конец заявила, что он сам вместе со своей машинкой и прабабушкой стоит не более как рубль с четвертью.

Собравшаяся толпа несколько оттеснила расходившуюся даму.

Один предприимчивый молодой человек, тут же отделившись от толпы, осмотрел мясорубку, вынул кошелек и, брякнув им об ладонь, сказал, что полтора целковых — цена, действительно, неслыханная в наши дни и что мясорубка решительно не стоит таких денег. Она в плохом виде, и нож у нее — затупленный и гнусный нож. И что если владелец мясорубки желает, то может хоть сию минуту получить за нее наличными деньгами двугривенный.

Сережа отказался, гордо покачав головой.

Он долго стоял после этого в неподвижной позе. Никто не подходил к нему. Толпа давно поредела.

У Сергея Петровича крайне затекли руки и заныло сердце.

Но вот неожиданно он глянул на рыночные часы и пришел в совершенный ужас. Было уже без четверти четыре. Он еще ничего не сделал.

Тогда Сергей решил, не теряя драгоценного времени, продать мясорубку первому покупателю за любую цену с тем, чтобы немедленно куда-нибудь побежать и раздобыть недостающие деньги.

Он продал мясорубку какому-то лохматому черту за пятнадцать копеек.

Лохматый долго и с особо оскорбительным выражением лица отсчитывал медяки в протянутую руку Сергея Петровича. И, отсчитав тринадцать копеек, сказал: «Хватает».

Сережа хотел крепко покрыть отчаянного покупателя, но, взглянув еще раз на часы, охнул и ринулся к дому.

Было четыре часа пополудни.

4

Сережа, зажав в руке тринадцать копеек, бросился домой, на ходу обдумывая планы и возможности, по которым он достанет остальную сумму. Однако голова решительно отказывалась что-либо придумать. Лоб покрылся потом, и в висках лихорадочно стучало. Мысль о том, что осталось менее трех часов, не давала спокойно обдумать создавшееся положение.

Сергей Петрович пришел домой и окинул печальным взором свою комнату.

Он было решил загнать что-нибудь основное из своего постельного гардероба — подушку, например, или одеяло. Но в это время подумал о том, что девушка после кино, очень свободно, может посетить его скромное жилище. Ну что он ей тогда скажет? В самом деле, ну что он может сказать барышне насчет недостающего одеяла? Позор. Ведь барышня из любопытства сама может спросить: «Где, скажет, у вас, Сергей Петрович, одеяло?»

При этой мысли сердце Сергея Петровича облилось кровью и страшно застучало, и он решительно отверг этот недостойный план.

Но вдруг новая счастливая идея осенила бедную голову.

Тетка. Родная тетка. Тетка Наталья Ивановна Тупицына. Родная тетка Сергея Петровича. Что он, обалдел, в самом деле? Чего ж раньше, дырявая голова, о ней не подумал?

Прежняя бодрость и веселье охватили все существо Сергея Петровича. Он стал танцевать какой-то дикий африканский танец, размахивая своим пальто и подвывая. И, накинув пальто только на лестнице, Сергей Петрович хорошей, бодрой рысцой побежал на Газовую улицу № 4 к родной, дорогой своей тетке.

Сергей Петрович довольно редко видался с теткой. Он виделся с ней не более двух раз в год — на именины и пасху. Но тем не менее это была его родная тетка. Она поймет. Она, ей-богу, поймет. Сергей был довольно-таки любимым ее племянником. У нее была даже сумасшедшая любовь к нему. Она сама ему сказала, что после ее смерти пущай он владеет тремя мужскими костюмами, которые остались после ее покойного супруга, умершего полтора года назад от совершенно незаразной болезни — от брюшного тифа.

И не может быть, чтобы эта родная тетка не вошла в его пиковое положение.

Вот наконец и Газовая улица. А вот и симпатичный дом № 4, двухэтажный, с мелкими окнами.

Сережа вбежал во двор через калитку. Поднялся одним духом во второй этаж. Вошел в кухню.

Две старые женщины хлопотали у плиты. Это были довольно вздорные старухи, квартирные хозяйки — сестры Белоусовы. Одна из них, младшая и наиболее ядовитая старуха, стояла на корячках перед открытой печкой и кочережкой вынимала угли в тушилку, из явной скупости. Другая старушка, старшая Белоусова, вытирала тарелки засаленным полотенцем. Какой-то небольшой парень, может быть какой-нибудь белоусовский родственничек, сидел на табурете и беззастенчиво жрал вареный картофель.

На стене перед плитой в громадном количестве бегали тараканы. У окна висели железные часы с гирями. Маятник качался со страшной быстротой и хрипло, со скрежетом отбивал такт тараканьей жизни.

Женщины таинственно переглянулись, когда Сергей Петрович вошел в кухню. Они замахали на него руками, как бы приглашая его вести себя потише и не харкать. А сами, стараясь перегудеть друг друга, начали докладывать, что вот уже вторая неделя, как его тетка, Наталья Ивановна Тупицына, лежит без задних ног, на краю могилы. И что приглашенный врач, выслушав ее, ничего такого

особенно страшного не сказал, он только развел руками и прописал порошки, от которых на другой день к вечеру у больной отнялись ноги и перестали работать язык и желудок. И что если так пойдет дальше, то старушка Тупицына не сегодня-завтра, с помощью божьей, перекочует в иной, лучший мир. И что Сергей Петрович, как единственный ее законный наследник, пущай сам распоряжается всякими могилами и гробами, так как у них нету времени бескорыстно работать неизвестно для кого.

У Сергея Петровича совершенно упало сердце. Последняя надежда его рухнула. Он почти не соображал, что ему говорили. Он оттеснил причитавших старух и медленно, слегка покачиваясь, пошел по коридору в теткину комнату.

Тетка неподвижно лежала на кровати, тяжело и хрипло дыша.

Сергей Петрович обвел глазами комнату и мельком глянул на желтое старухино лицо с закрытыми глазами и с острым носом. У Сергея Петровича захватило дыхание, и, осторожно ступая на носки, он снова пошел в кухню.

Ему не было жаль умирающей тетки. Он даже в те минуты и не подумал о ней. Он только подумал о том, что сегодня решительно нет никакой возможности призанять у нее денег.

Сергей Петрович минут пять стоял на кухне почти в полной неподвижности. Ужасная бледность покрыла его лицо.

Две женщины, из уважения к его нестерпимому горю, старались даже не двигаться, они только беззвучно вздыхали и вытирали кончиками платков свои губы и глаза. Стояла почти полная тишина. Только один парнишка попрежнему, грубо чавкая, жрал картофель. И по-прежнему кухонные часы мерно отбивали движение времени.

Тогда Сергей Петрович, шумно вздохнув, искоса посмотрел на тикающие часы и замер в совершенном и окончательном оцепенении.

Было начало шестого.

Большая стрелка заканчивала первую свою четверть.

Второй раз в этот день сердце Сергея Петровича облилось кровью. Заломило в боку. Вся голова вспотела. И в горле стало сухо и жестко.

Сосущая тревога сменилась вдруг полным и бурным отчаянием.

С Сергеем Петровичем сделалась такая нервная лихорадка, что он едва нашел выход на лестницу. Он сунулся

было в чулан, потом дважды ткнулся в уборную, потом согнал с табуретки парнишку и хотел ударить его по морде и наконец, с помощью крестящих его старух, нашел выходную дверь.

Он едва прошел через двор, до того мотались его руки и ноги.

Только на улице Сергей Петрович немного пришел в себя. Он медленным шагом пошел к дому. Он старался ни о чем не думать. Но всевозможные мысли сами давили его голову. Он пытался иронией несколько смягчить свое положение.

— Вот как, брат Серега,— бормотал он.— Вот как пришпилило.

Однако ирония не помогала.

Он пришел домой и в полном изнеможении лег на кровать.

— В чем, собственно, дело? — успокаивал себя Сергей.— Ну, эка штука — денег нету! Подумаешь, какая нестерпимая беда! Дерьмо какое. К чему же это последнюю свою кровь отравлять вопросами? Пойду и скажу, мол, нету — мало ли.

Но тут какое-то упрямство и какое-то тупое желание достать во что бы то ни стало не давали ни о чем другом думать.

Казалось, что в этом сейчас заложен весь смысл жизни. Или он, Сергей Петрович Петухов, достанет эти жалкие деньги и пойдет сегодня с девушкой, как ходят все люди, беспечно и весело, или же какой-то крах, какая-то ужасная катастрофа разразится над ним.

Сергей Петрович неподвижно лежал на постели. Целые фантастические планы и картины стали рисоваться в его мозгу.

Вот, например, он идет по улице и находит бумажник. Или вот он заходит в магазин, наводит панику и ужас на приказчиков и забирает товару на кругленькую сумму. Или приходит в госбанк, загоняет служащих в ванную комнату и берет полный мешок гривенников.

Тут же, после всякой своей фантазии, Сергей безнадежно усмехался и упрекал себя в нереальном подходе к событиям.

Он упрашивал себя не волноваться, а строго, по порядку, не торопясь и не предаваясь заманчивым иллюзиям, перечислить методически все возможные выходы.

Но вдруг все — и кровать, и комната, и подушки — стало невыносимо. Сергей Петрович почти выбежал на улицу.

Он, крупно шагая и бормоча что-то, прошел по проспекту.

Сам того не замечая, он остановился у часового магазина и долго глядел на кругленький белый циферблат часов, выставленных в окне.

Он долго стоял и глядел, как двигалась большая стрелка. Она двигалась крайне медленно, и с каждым ее движением высыхало в горле Сергея Петровича.

Было шесть часов вечера.

Большая стрелка несколько даже перемахнула двенадцать.

Сергей Петрович резко повернул и пошел дальше. И, проходя мимо госбанка, криво усмехнулся и побарабанил пальцами по вывеске.

И пошел дальше, усмехаясь.

Он долго шел по каким-то улицам. И вдруг снова увидел дом своей тетки.

5

Сергей Петрович немного постоял у теткиного дома, решительным шагом прошел во двор и стал подниматься по лестнице.

Неясные мысли приняли вдруг отчетливую форму.

Ну конечно. В чем же дело? Он придет к тетке и просто возьмет у нее что-нибудь. Или разбудит ее и попросит. Он совсем не хочет скрывать от нее. Он, наконец, наследник, может это сделать. Он может, например, открыть комод или какой-нибудь там ночной столик и взять какую-нибудь мелочь. В чем же дело? В конце концов он может даже предупредить этих двух квартирных дур.

Сергей Петрович поднялся во второй этаж, подошел к дверям и минуты две стоял перед ними в нерешительности.

Потом слегка подергал ручку. Дверь была закрыта.

Сергей Петрович хотел было громче потрясти ручку, но вдруг услышал шаги в кухне. Кто-то подходил к дверям.

Сам не зная почему, Сергей Петрович испугался и одним прыжком бросился в сторону на лесенку, ведущую на чердак.

В это время загремел крюк, дверь открылась, и квартирная хозяйка, старшая Белоусова, с ведром, полным помоев, вышла на лестницу и, не заметив Сергея Петровича, стала спускаться вниз.

Немного обождав, Сергей Петрович быстро и решительно подошел к незапертым дверям, осторожно открыл их и вошел в кухню.

В кухне никого не было.

Тогда, осторожно и тихо ступая на носки, Сергей Петрович пошел по коридору в теткину комнату. В комнате было темно.

Безотчетный страх, почти ужас охватил Сергея. Он сделал три шага по направлению к теткиной кровати и остановился, наступив на мягкие войлочные старухины туфли. Дрожь прошла по его телу.

Спокойное, хотя и хриплое, дыхание тетки своей равномерностью немного успокоило Сергея Петровича. Он подошел вплотную к кровати, пошарил руками впереди себя и, нащупав столик, подошел к нему.

Вдруг неосторожным движением трясущейся руки он опрокинул на столике какой-то пузырек. Вслед за пузырьком со страшным звоном упала на пол столовая ложка. Тетка слегка мотнула головой и промычала неясное.

Сергей Петрович замер, стараясь не дышать.

В соседней комнате послышались вдруг чьи-то шаги. Кто-то теперь шел по коридору беспокойными шаркающими ногами.

Сергей Петрович заметался по комнате. Он подбежал к окну. Потом повернулся назад и, стремительно открыв дверь, бросился в темный коридор. На быстром ходу он сшиб с ног младшую старуху Белоусову и, перепрыгнув через нее, побежал дальше.

Ужасно закричала старуха, и крик ее гулко разнесся по всему дому.

Сергей Петрович вбежал в кухню, погасил за собой свет и кинулся на площадку.

Сергей Петрович хотел одним духом броситься вниз, но вдруг внизу послышались торопливые шаги. Ужасный старухин крик всполошил весь дом, а может быть, и всю улицу.

Теперь по лестнице снизу бежали какие-то люди. Сергей заметался на площадке и снова, как и в первый раз, бросился на верхнюю чердачную лесенку. И там, у закрытой двери, присел, почти упал на ступеньки. Сердце его колотилось отчаянно. Не хватало воздуха. С разинутым ртом сидел Сергей Петрович на ступеньках и с ужасом прислушивался к тому, что происходило внизу.

Какие-то люди бежали в квартиру, кто-то отчаянно визжал. И кто-то, сквозь рыдания, хрюкал.

Человек десять выбежали вдруг из квартиры и бросились вниз.

Выждав несколько минут, а может быть, и полчаса, Сергей Петрович стал спускаться с лестницы. Он медленно, почти задумчиво, положив руки назад, с полным и ледяным спокойствием прошел через двор и, не встретив никого, очутился на улице.

На улице, у ворот, толпились люди.

— Ну что? — спросили Сергея Петровича.— Поймали?

Сергей Петрович промычал что-то в ответ и тихим шагом, слегка покачиваясь, пошел к своему дому.

Он как тень прошел в свою комнату. Потом прошел на кухню и поглядел на хозяйский будильник.

Было четверть девятого.

Сергей Петрович усмехнулся и, сняв пиджак и штаны, долго ходил по комнате в одних подштанниках. Он соображал, где именно он был в семь часов вечера. И никак не мог решить.

Вдруг кровь ударила ему в голову. Он мысленно представил себе растерянное лицо девушки, ждущей его час и более.

Потом, снова усмехнувшись, Сергей Петрович лег на постель. Он спал беспокойно, часто мычал во сне и перекладывал подушку.

6

Сергей Петрович проснулся рано. Было часов семь утра.

Он сидел на постели в одних подштанниках и задумчиво зашнуровывал ботинок.

В этот момент постучали в дверь, и в комнату тихо вошла младшая старуха Белоусова.

Сергей Петрович страшно побледнел и встал с постели. Он дрожал, и зубы его отбивали барабанную дробь. Старуха замахала на него руками, заявив, что пусть он зря не стыдится своего вида, он вполне ей годится в правнуки, и что она на своем веку много перевидала мужчин в самых разнообразных подштанниках.

Старуха присела на табурет, скорбно высморкалась в головной платок и торжественно сказала, что сегодня под утро померла его тетка, Наталья Ивановна Тупицына.

Сергей Петрович сперва просто не понял, о чем идет речь. Он предполагал услышать от старухи кое-какие

намеки и подозрения относительно вчерашнего происшествия, однако старуха говорила о другом.

Но вот гостья, выждав для приличия несколько минут и безутешно всплакнув о безвременно погибшей тетке, принялась длинно и подробно рассказывать об ужасах вчерашнего налета.

Сергей Петрович снисходительно слушал, потом стал думать о своем.

Конечно, думал Сергей, можно бы пойти сейчас к Катюше и объяснить, что, мол, вчера померла тетка. Так сказать, семейные обстоятельства не дозволили вчера провести прилично время. Он, мол, сидел у постели умирающей родственницы.

Конечно, это можно сделать. Но вчерашнее волнение, вчерашние ужасные потрясения несколько притупили охоту Сергея Петровича. Он снова стал слушать старухину речь.

Старуха длинно и нахально врала о вчерашнем бандитском нападении, совершенно не предполагая, что перед ней сидит человек, кое-что знавший об этом деле. Старуха уверяла, что налетчиков было трое и ими резко командовала одна женщина. И что кроме этих четырех был еще пятый — наводчик, совершенно безусый парень.

Тут Сергей Петрович несколько не выдержал и высказал предположение, что старуха, видимо, с перепугу обмишурилась и приняла своего белоусовского родственника за безусого наводчика, а свою многоуважаемую сестрицу за атамана.

На что старуха с обидой заявила, что пущай он при себе оставит свои лишние сентенции и что только ее находчивость и смелость не допустили разбойников разграбить имущество их, а также и Сергея Петровича.

Тут старуха подошла вплотную к наиболее острому и занимательному вопросу. Она деликатно повела речь об оставшемся наследстве.

Ах, да! Сергей Петрович с этими волнениями вовсе позабыл об этом наследстве. Это же прямо великолепно!

Снова бодрость и счастье охватили Сергея Петровича. Снова радужные перспективы и счастливые горизонты открылись перед ним. Он мысленно примерял теткины костюмы и жилеты. Он мысленно шел в новеньком пиджаке под руку с Катюшей Червяковой. Он мысленно торговался с татарином, загоняя ему всякое ненужное теткино барахло.

Долой унынье, долой меланхолию и слякоть! Да здравствуют бодрые слова, бодрые мысли, счастливые мысли, прекрасные желания! Как хорошо и отлично жить на свете! Как хорошо и какое счастье чувствовать жизнь такой, какая она есть, а не такой, как иной раз кажется!

Сергей Петрович чувствовал себя семнадцатилетним мальчиком. Он пустился бы в пляс, он пошел бы отплясывать фокстрот с младшей Белоусовой, если бы было прилично танцевать сразу после смерти родственников.

Сергей Петрович, вежливо попрощавшись со старухой, великосветски заявил, что он непременно будет сегодня на панихиде. Он не пойдет на службу. Он, конечно, сейчас же смотается до Катюши Червяковой и оставит ей прискорбное письмо с наилучшими извинениями. И потом пойдет отдать последний долг родственнице.

Сергей Петрович несколько даже заволновался. Он забоялся, как бы в последний момент старухи не почистили его наследство.

Он быстро присел к столу и, барабаня пальцами, стал обдумывать текст письма.

Радость и счастье давили грудь и мешали сосредоточиться.

Сергей Петрович взглянул в окно и замер в полном восхищении. Вставало прелестное утро. Голубое небо и спокойные верхушки деревьев предвещали отличный день.

— Как хорошо жить,— бормотал Сергей, открывая форточку.— Как хорошо дышать утренней прохладой. Как хорошо любить какую-нибудь миловидную барышню.

Сергей Петрович решительно присел к столу. Он написал несколько слов Катюше с объяснениями и просьбой непременно прийти сегодня, в семь часов, в назначенное место. Он запечатал конверт, оделся и вышел на улицу.

Он шел с гордо поднятой головой. Вчерашний ужас и волнения отошли куда-то в вечность. Вчерашний маленький страх перед жизнью исчез и сменился энергичным мужеством.

И в чем, собственно, дело? Да, действительно, вчера он немножко как будто сдал. Вчера он слегка поволновался. Но все остается по-прежнему. Прекрасная жизнь продолжается. И продолжается его веселое любовное приключение. За ним идут счастье и удача.

Сергей Петрович отдал письмо дворнику для передачи Катюше Червяковой и сам, глубоко вдыхая утреннюю прохладу, пошел легкой танцующей походкой к бывшей своей тетке.

Сергей пришел к самой панихиде. Старый батюшка тянул свою канитель. Старухи Белоусовы тихонько хрюкали, оплакивая свою последнюю жилицу. Но вместе с тем все это веяло яркой бодростью и повседневной жизнью.

Сама покойная тетка удобно расположилась на столе, на лучших кружевных наволочках. Спокойствие и счастье лежали на ее добродушном лице. Старуха была как живая. Некоторый даже румянец пробивался сквозь ее желтую кожу. Казалось, как будто она, устав, на минуту прилегла на столе и вот-вот, сейчас, отдохнув, встанет и скажет: «А вот и я, братцы мои».

Сергей Петрович долго смотрел на нее добрыми глазами.

«Тетка, тетка,— думал он.— Экая ты, брат, тетка. Подохла-таки...»

Сергей Петрович стоял неподвижно, склонив голову. Он думал о кратковременной жизни и о непрочности человеческого организма и о том, что надо эту жизнь заполнить погуще всякими отличными делами и веселыми приключениями. И эти мысли не горем и меланхолией наполняли его сердце — на сердце его были мир и тишина.

И Сергей Петрович, не дождавшись конца панихиды, тихо поклонился неподвижной тетке и вышел из помещения.

Он пошел по коридору в комнату своей тетки. Там было все аккуратно прибрано. И ничто не говорило о смерти.

Сергей Петрович беглым взглядом оглядел комнату, прикинув на глаз стоимость каждой вещицы. И, насчитав до кругленькой суммы — сто рублей, тихонько улыбнулся, вышел из комнаты и, закрыв дверь на ключ, пошел на улицу.

Он шел по улице и радостно смеялся. Солнце, несмотря на осень и несмотря на свои все растущие пятна, обжигало его всем своим стремительным пылом. Ветра никакого не было.

7

Вечером, в тот же день, Сергей Петрович встретился со своей дамочкой.

Она пришла несколько позже его. Он, волнуясь и подыскивая приличные слова, взял ее руки и тут же, на углу, стал объяснять причины вчерашнего отсутствия.

Да, он ни на одну минуту не мог уйти. Его родная тетка предпочитала помирать на его руках.

Он в сильных красках описывал теткину смерть. Засим перешел на описание оставленного имущества.

Девушка мило моргала ресницами и, добродушно усмехаясь, говорила, что вчера, действительно, она сильно разобиделась, но сегодня не высказывает никаких претензий.

Они, мило обнявшись, сидели в зрительном зале. И под стрекот аппарата Сергей Петрович шептал ей всякие порядочные слова о своих чувствах и намерениях. Девушка благодарно пожимала ему руку и ногу и говорила, что он с первого взгляда ей приглянулся своей ровной внешностью.

После кино Сергей Петрович со своей мамзелью долго шлифовал тротуары. А немного попозже она посетила его скромное жилище.

Половина двенадцатого ночи Сергей Петрович выпускал ее от себя. Это видел гражданский инвалид Жуков. Он в это время искал свою кошку на лестнице и слышал, как Сергей Петрович сказал: «В крайнем случае можно записаться».

Через две недели они записались.

А через полгода Сергей Петрович с молодой своей супругой выиграли двадцать рублей по Крестьянскому займу, доставшемуся им от бывшей тетки.

Радости их не было границ.

СИРЕНЬ ЦВЕТЕТ

1

Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение.

Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.

И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные.

И герои не горазд такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами.

Конечно, об чем говорить — персонажи действительно взяты не высокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством. Что же касается клеветы на человечество, то этого здесь определенно и решительно нету.

Это раньше можно было упрекать автора если и не за клевету, то за некоторый, что ли, излишек меланхолии и за желание видеть разные темные и грубые стороны в природе и людях. Это раньше действительно автор горячо заблуждался в некоторых основных вопросах и доходил до форменного мракобесия.

Еще какие-нибудь два года назад автору и то не нравилось, и это. Все он подвергал самой отчаянной критике и разрушительной фантазии. Теперь, конечно, неловко сознаться перед лицом читателя, но автор в своих воззрениях докатился до того, что начал обижаться на непрочность и недолговечность человеческого организма и на то, что человек, например, состоит главным образом из воды, из влаги.

— Да что это, помилуйте, гриб или ягода! — восклицал

автор.— Ну зачем же столько воды? Это, ну, прямо оскорбительно знать, из чего человек состоит. Вода, труха, глина и еще что-то такое в высшей степени посредственное. Уголь, кажется. И вдобавок в этом прахе еще чуть что микробы заводятся. Ну что это такое! — восклицал в те годы автор не без огорчения.

Даже в таком святом деле — во внешнем человеческом облике — автор и то стал видеть только грубое и нехорошее.

— Только что мы привыкли к человеку,— бывало, говорил автор своим близким родственникам,— а если чуть отвлечься или, к примеру, не видеть человека пять-шесть лет, то прямо удивиться можно, какое безобразие наблюдается в нашей наружности. Ну, рот — какая-то небрежная дыра в морде. Оттуда зубы веером выступают. Уши с боков висят. Нос — какая-то загогулина, то есть как нарочно посреди самой морды. Ну, некрасиво! Неинтересно глядеть.

Вот примерно до таких глупых и вредных для здоровья идей доходил автор, находясь в те годы в черной меланхолии. Даже такую несомненную и фундаментальную вещь, как ум, автор и то подвергал самой отчаянной критике.

— Ну, ум,— говорил автор,— предположим. Действительно, спору нет, много чего любопытного и занимательного изобрели люди благодаря уму: микроскоп, бритва «жиллет», фотография и так далее, и так далее. Но чтоб, значит, такое изобрести, чтоб каждому человеку жилось бы совершенно припеваючи,— этого еще окончательно нету. А столетия, промежду прочим, идут, века идут. Солнце уж пятнами стало покрываться. Остывает, видите ли. Год-то у нас, скажем, одна тысяча девятьсот двадцать девятый. Эвон сколько времени уже промигали.

Вот примерно такие недостойные мысли мелькали у автора.

Но эти мысли мелькали, без сомнения, по случаю болезни автора.

Его острая меланхолия и раздражение к людям доводили его форменно до ручки, заслоняли горизонты и закрывали глаза на многие прекрасные вещи и на то, что у нас сейчас кругом происходит.

И теперь автор бесконечно рад и доволен, что ему не пришлось писать повести в эти два или три прискорбные года. Иначе большой позор лег бы на его плечи. Вот это был бы действительно злостный поклеп, это была бы действительно грубая и хамская клевета на мировое устройство и человеческий распорядок.

Но теперь вся эта меланхолия прошла, и автор снова видит своими глазами все, как оно есть.

Причем, хворая, автор отнюдь не отрывался от масс. Напротив того, он живет и хворает в самой, можно сказать, человеческой гуще. И описывает события не с планеты Марс, а с нашей уважаемой Земли, с нашего восточного полушария, где как раз и находится в одном из домов коммунальная квартирка, в которой жительствует автор и в которой он, так сказать, воочию видит людей, без всяких прикрас, нарядов и драпировок.

И по роду такой жизни автор замечает, что к чему и почему. И сейчас упрекать автора в клевете и в оскорблении людей словами просто не приходится. Тем более автор последнее время особенно горячо полюбил людей со всеми ихними пороками, недостатками и прочими вышеуказанными особенностями.

Конечно, другие интеллигенты, действительно верно, иной раз произносят разные слова. И, дескать, люди определенно еще дрянь. И, дескать, их надо еще подравнять, привести в порядок. Надо из них вытряхнуть всякие грубые элементы. Надо их подутюжить. Только тогда жизнь может засиять в полном своем дивном блеске. Остановка, так сказать, за небольшим. Но автор как раз не имеет такого мнения. Он решительно отмежевывается от таких взглядов. Конечно, безусловно надо изжить такие печальные недостатки механизма, как бюрократизм, мещанство, канцелярская волокита, чубаровщина и так далее. Но все остальное пока что более или менее стоит на месте и не мешает постепенному улучшению жизни.

И если б автора спросили: «Чего ты хочешь? Чего бы ты хотел, например, в ударном порядке изменить в своих близких людях, кроме этих вышеуказанных недостатков?» — автор затруднился бы сразу ответить.

Нет, кроме этого он ничего не хочет изменять. Так, разве самую малость. В смысле, что ли, корысти. В смысле повседневной грубости материального расчета.

Ну, чтобы люди в гости стали ходить, что ли, так, для приятного душевного общения, не имея при этом никаких задних мыслей и расчетов. Конечно, все это блажь, пустая фантазия, и автор, вероятно, с жиру бесится. Но такая уж сентиментальная у него натура — ему желательно, чтоб фиалки прямо на тротуарах росли.

2

Конечно, все, что сейчас говорилось, может, и не имеет прямого отношения к нашему художественному произведению, но уж очень, знаете, все это наболевшие, актуальные вопросы. И такой уж каторжный характер у автора — покуда он не выскажется перед читателем — прямо, знаете ли, не до повестушки.

Хотя как раз в данном случае эти слова отчасти все же имеют некоторое отношение к нашей повести. Тем более мы беседовали тут про разные корыстные расчеты. И в повести как раз выведен такой герой, который столкнулся лицом к лицу с такими же обстоятельствами и прямо рот раскрыл, утомленный целым вихрем событий, которые разыгрались на этой почве.

В молодые, прекрасные годы, когда жизнь казалась утренней прогулкой, вроде как по бульвару, автор не видел многих теневых сторон. Он просто не замечал этого. Не на то глядели его глаза. Его глаза глядели на разные веселые вещицы, на разные красивые предметы и переживания. И на то, как цветки растут и бутончики распускаются, и как облака по небу плывут, и как люди друг дружку взаимно горячо любят.

А как все это происходит и что чем движется и чем толкается, автор не видел по молодости лет, по глупости характера и по наивности своего зрения.

А после, конечно, стал себе автор приглядываться. И вдруг видит разные вещи.

Вот он видит — седовласый человек жмет другому ручку, и в глаза ему глядит, и слова произносит. Вот раньше поглядел бы на это автор — душевно бы порадовался. «Эвон, подумал бы, какие все милые, особенные, до чего любят друг друга и до чего жизнь прелестно складывается».

Ну, а сейчас не доверяет автор галлюцинации своего зрения. Автора гложут сомнения. Он беспокоится — а может, эта седовласая борода ручку жмет и в глаза глядит, чтоб поправить пошатнувшееся свое служебное положение или чтоб заиметь кафедру и читать с этой кафедры лекции о красоте и искусстве?

Автор запомнил на всю жизнь одно небольшое событие, случившееся совсем недавно. И это событие буквально режет автора без ножа. Вот один милый дом. Гости туда шляются. Днюют и ночуют. В картишки играют. И кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно уха-

живают и ручки ей лобызают. И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не околевает. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лобызает. И вообще пугаются, как бы это бывшее знакомство не кинуло на них тень.

Но вот после инженера освободили — никакой особой вины за ним не нашли. И все снова опять завертелось. Хотя инженер стал грустный и к гостям не всегда выходил, а если и выходил, то глядел на них с некоторым испу́гом и удивлением.

Ну что? Может быть, это клевета? Может быть, это есть злобное измышление? Нет, это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота, да величие, да звучит гордо. А как до дела дойдет, так просто, ну, пустяки получаются.

Но автор не поддается унынию. Тем более иногда, раз в пять лет, он и встречает чудаков, которые резко отличаются от всех прочих граждан.

Но все это есть теоретическое размышление, а то, что автор хочет рассказать, есть подлинная история, взятая из самого источника жизни.

Но прежде чем приступить к описанию событий, автор хочет поделиться еще некоторыми сомнениями.

Дело в том, что по ходу сюжета в повести имеются две-три дамы, которые выведены не так чтоб слишком симпатично.

Автор не жалел на них никаких красок и старался придать им свеженький актуальный вид, тем не менее не получилось того, что хотелось бы. И по этой причине женские фигуры получились одна другой хуже.

И многие, в особенности читательницы, могут вполне оскорбиться за эти женские типы и постараются уличить автора в нехорошем подходе к женщинам и в нежелании, чтоб женщины сравнивались в своих законных правах с мужчинами. Тем более что некоторые знакомые женщины уже обижаются: да уж, говорят, у вас всегда дамские типы малосимпатичные.

Но автор горячо просит за это его не бранить. Автор и сам диву дается, чего это у него из-под пера такие малоинтересные дамочки определяются.

И это тем более странно, что автор, может, всю жизнь видел главным образом только довольно хороших, добродушных и не злых дам.

И вообще на этот вопрос автор так глядит, что женщи-

ны, пожалуй, даже лучше, нежели мужчины. Что ли, они как-то сердечней, мягче, отзывчивей и приятней.

И в силу таких взглядов автор никогда не позволит себе оскорблять женщину. А если в повести другой раз и получаются неясности по этому вопросу, то это просто недоразумение, и автор умоляет на это не обращать внимания и тем более не расстраиваться по пустякам.

Для автора, безусловно, все равны.

Другое дело, если взять, любопытства и смеха ради, мир животных.

Там бывает разница. Там даже птицы имеют свою разницу. Там самец всегда как-то несколько дороже стоит, чем самка.

Так, для примеру, чижик стоит два целковых по теперешней калькуляции, а чижиха в том же магазине — копеек пятьдесят, сорок, а то и двугривенный. А по виду птички — как две капли воды. То есть буквально не разобрать, которая что, которая ничего.

И вот сели эти птички в клетку. Они зернышки жуют, водичку пьют, на палочках прыгают и так далее. Но вот чижик перестал водичку пить. Он сел поплотней, устремил свой птичий взор в высоту и запел.

И за это такая дороговизна. За это гони монету.

За пение и за исполнение.

Но что в птичьем мире прилично, то среди людей не полагается. И дамы у нас в одной цене находятся, как и мужчины. Тем более у нас и дамы поют, и мужчины поют. Так что все вопросы и все сомнения в этом отпадают.

А кроме того, в нашей повести все грубые нападки на женщину и подозрения относительно ее корысти идут со стороны нашего самого главного героя — человека определенно мнительного и больного. Бывшего прапорщика царской армии, к тому же слегка контуженного в голову и потрепанного революцией. В девятнадцатом году он в камышах сколько раз ночевал — боялся, что его коммунисты арестуют, схватят и разменяют.

И эти все страхи печальным образом отразились на его характере.

И в двадцатых годах он был нервный и раздражительный субъект. У него тряслись руки.

И даже стакана он не мог поставить на стол, не кокнув его своей дрожащей ручкой.

Тем не менее в житейской борьбе руки его не дрожали.

По этой самой причине он не погиб, а с честью выжил.

3

Безусловно, человеку не так-то легко погибнуть. То есть автор думает, что не так-то просто человек может с голоду помереть, находясь даже в самых крайних условиях. И если есть некоторая сознательность, если есть руки и ноги и башка на плечах, то, безусловно, как-нибудь можно расстараться и найти себе пропитание, хотя бы в крайнем случае милостыней.

Но тут до милостыни не дошло, хотя у Володина и было довольно пиковое положение в первые годы революции.

Тем более он много лет провел на военном фронте, совершенно, так сказать, оторвался от жизни, ничего такого особенно полезного делать не умел, кроме стрельбы в цель и по людям. Так что он еще не понимал — какое найти себе применение.

И, конечно, родственников у него не было. И квартиры у него не имелось. Буквально ничего.

Была у него одна мамаша, и та в военные годы скончалась. Квартирка ее, по случаю смерти, перешла в другие быстрые руки. И остался наш бывший военный гражданин по приезде совершенно не у дел и, как бы сказать, без портфеля. Тем более революция выбила его из седла, и он остался, так сказать, в стороне и даже как бы лишний и вредный элемент.

Однако он не допустил слишком большой паники в этот ответственный момент своей жизни. Он поглядел своими ясными очами, что к чему и почему. Видит — расположен город. Он окинул город своим орлиным взором. И видит — идет вращение жизни тем же почти манером, как и всегда. По улицам народ ходит. Граждане спешат туда и сюда. Девушки ходят с зонтиками.

Он поглядел, что к чему и что чем движется и толкается. И видит, что революция хотя и многое изменила, но не настолько, чтоб поддаться панике.

«Что ж, думает, кидаться в озеро не приходится, а надо, без сомнения, в ударном порядке что-нибудь придумать. Можно в крайнем случае дрова грузить, или какую-нибудь хрупкую мебель перевозить, или, для примеру, мелкой торговлишкой заниматься. Или же, наконец, можно жениться не без выгоды».

И вот от этих мыслей он даже повеселел.

«То есть особой выгоды, думает, в этом последнем случае сейчас, конечно, не найти, но, скажем, помещение, отопление и себе пища — это, безусловно, можно».

И, конечно, не такой он отпетый человек, чтобы дама его содержала, но подать первую помощь в минуту жизни трудную — это не порок.

Тем более он был молодой и не старый. Ему было тридцать с небольшим лет.

И хотя его центральная нервная система была довольно потрепана бурями и житейскими треволнениями, однако он был мужчина еще ничего себе. Причем у него была выгодная и приятная наружность. И хотя он был блондин, но блондин все-таки довольно мужественного вида.

К тому же он носил на щеках небольшие итальянские бачки. И от этого его лицо еще более выигрывало и давало что-то демоническое и смелое, что заставляло женщин вздрагивать всем корпусом, опускать глаза долу и быстро одергивать свои юбки на коленях.

Вот какие блага и преимущества имел он, когда начал завоевывать свою жизнь.

Он приехал после военной службы в город и временно поселился в проходной комнате у своего знакомого фотографа Патрикеева, который пустил его хотя и по доброте сердечной, однако рассчитывал снять кое-какие пенки с этого дела. Он записал на него часть квартирной площади и, кроме того, ожидал, что Володин иной раз, из чувства живейшей благодарности, будет принимать посетителей — будет открывать им двери и записывать ихние фамилии. Однако Володин не подтвердил этих хозяйственных надежд — он мотался целые дни напролет невесть где и даже сам в ночное время иной раз трезвонил и тем самым вносил в дом полное беспокойство и дезорганизацию.

Фотограф Патрикеев очень от этих дел грустил и расстраивал свое здоровье и даже иной раз, вскакивая ночью в кальсонах, ужасно как ругался, называя его прохвостом, золотопогонником и бывшим беспорточным барином.

Однако Володин не более как через полгода начал все-таки приносить явную выгоду своему патрону. Правда, под конец, когда он уже съехал с его квартиры и благополучно женился.

Дело в том, что еще в мелком своем возрасте он имел некоторую склонность и любовь к художественному рисованию. И, будучи абсолютно крошкой, он любил марать карандашом и красками разные картинки и рисуночки.

И в настоящее время это художественное дарование ему неожиданно пригодилось.

Сначала шутя, а после более серьезно он стал помогать

фотографу Патрикееву, ретушируя ему снимки и пластинки.

Разные приходящие барышни обязательно требовали прилично заснятого лица, без складок, морщин, угрей и прочих досадных особенностей, которые, к сожалению, имелись в натуральном человеческом виде.

Эти угри и бутоны Володин зарисовывал карандашом, ловко кладя тени и просветы на заснятые личности.

В короткое время Володин сделал в этой области изрядный успех и даже стал подрабатывать себе деньги, сердечно радуясь такому обороту дела.

4

И, научившись этому хитрому искусству, он понял, что занял в жизни определенную позицию и что с этой позиции его выбить довольно затруднительно и даже почти что невозможно. Ибо для этого потребуется уничтожение всех фотографий, категорическое запрещение жителям сниматься на карточку или же полное отсутствие фотографической бумаги на рынке.

Но, к сожалению, жизнь обернулась так выгодно только после того, как Володин сделал решительный шаг — он женился на одной гражданке, никак еще не предполагая, что его искусство даст полную возможность стать на ноги самостоятельно.

И, живя у фотографа и не имея пока никаких особых перспектив, он, естественным образом, кидал взоры на окружающих людей и в особенности, конечно, на дам и на женщин, которые могли бы подать ему руку помощи, дружбы и участия.

И такая дама нашлась и откликнулась на призыв гибнущего человека.

Это была жилица из соседнего дома, Маргарита Васильевна Гопкис.

Она занимала целую квартиру, проживая там совместно со своей младшей сестрицей Лелей, которая, в свою очередь, была замужем за братом милосердия, товарищем Сыпуновым.

Эти две сестрицы были довольно еще молоденькие, и занимались они пошивкой рубашек, кальсон и прочих гражданских предметов.

Они этим занимались в силу необходимости. И не на такую ничтожную судьбу они рассчитывали, заканчивая

до революции свое высшее образование в женской гимназии.

Получив такое приличное образование, они, естественно, мечтали зажить достойным образом, выйдя замуж за исключительных мужчин или за профессоров, которые окружили бы ихнюю жизнь роскошью, баловством и красивыми привычками.

Но жизнь между тем проходила. Бурные годы нэпа и революции не дозволяли подолгу осматриваться и кидать якорь в том месте, в котором желательно.

И вот младшая сестрица Леля, погоревав о превратностях судьбы, выходит поскорее замуж за Сыпунова, совершенно грубого, небритого субъекта — брата милосердия, вернее санитара из городской больницы.

А старшая сестрица, Маргариточка, вздыхая о невозможном, прогоревала все сроки и к тридцати годам, спохватившись, начала метаться туда и назад, желая заполучить в мужья хотя бы какого-нибудь завалявшегося человечка.

И вот как раз в ее расставленные сети попадает наш приятель Володин.

Он давно мечтал о более подходящей жизни, о некотором семейном уюте, о непроходной комнате, о кипящем самоваре и о всех таких житейских вещицах, которые, безусловно, украшают жизнь и дают тихую прелесть мелкобуржуазного существования.

И вот тут имелось все это налицо плюс прочное положение и самостоятельный заработок, что было как бы приданым и, несомненно, оживляло сделку, придавая ей определенный живой интерес.

Конечно, будь это знакомство позже, Володин, имея свои заработки, не пошел бы так стремительно на этот шаг. Тем более ему совершенно не нравилась Маргарита Гопкис с ее тусклым, однообразным лицом.

Володину нравились и влекли девицы другого порядка — такие с темненькими усиками на верхней губе. Очень такие веселые, бравурные, быстрые в своих движениях, умеющие танцевать, плавать, нырять и болтать всякую чепуху. А его Маргариточка была благодаря профессии малоподвижная и слишком скромная в своих движениях и действиях.

Но жребий был брошен, и пружина разворачивалась без остановки.

И, проходя теперь мимо соседнего дома, Володин всякий раз останавливался подле ее окон и подолгу разго-

варивал, беседуя о том и о сем. И, стоя перед ней в профиль или в три четверти и теребя свои бачки, Володин говорил разные иносказательные вещи о приличной жизни и о хорошей судьбе. И из разговоров с ней он определенно понял, что комната в ее квартире к его услугам, если, конечно, он не остановится на своих намеках.

И он, быстро обмозговав все дело и оглядев более внимательным и требовательным взором свою даму, с победным криком ринулся в бой.

Так состоялся этот знаменитый брак.

И Володин перебрался в квартиру Гопкис, внеся туда, в общий котел, свою скромную одинокую подушку и другой жидковатый скарб.

Фотограф Патрикеев провожал Володина, тряс ему руку и советовал не кидать только что начатого познания в ретушерском деле.

Маргарита Гопкис с досадой махала руками, говоря, что навряд ли Володину понадобится такое кропотливое занятие.

Итак, Володин вошел в новую жизнь, считая, что произошла довольно выгодная комбинация, построенная на точном и правильном расчете.

И он бодро потирал свои руки и мысленно хлопал себя по плечу, говоря:

— Ничего, брат Володин, жизнь и тебе, кажись, начинает улыбаться.

Но это была улыбка не так чтобы слишком веселая.

5

Слов нет, жизнь нашего Володина переменилась к лучшему. Из проходной, неуютной комнаты он переехал в дивную спальню с разными этажерками, подушками и статуэтками.

Кроме того, питаясь раньше плохо и скромно всякими огрызками и требухой, он и тут остался в крупном выигрыше. Он кушал теперь разные порядочные блюда — супы, мясо, фрикадельки, помидоры и так далее. Кроме того, раз в неделю, вместе со всей семьей, он пил какао, удивляясь и восторгаясь этому жирному напитку, вкус которого он позабыл за восемь-девять лет своей походной и неуютной жизни. Однако Володин не был на содержании у своей законной жены.

Не переставая работать на поприще фотографии, он

сделал крупные успехи и стал получать за свою работу не только благодарность, но и, так сказать, живые деньги.

Хорошая, свежая пища дозволяла Володину с особенным вдохновением кидаться на работу. И, не имея особого счастья со своей молодой супругой, он уходил в силу этого в работу. И эту работу исполнял до того тонко и художественно, что все снятые физиономии выходили у него теперь совершенно ангельскими и ихние живые владельцы искренне удивлялись такой счастливой неожиданности и снимались все более и более охотно, не жалея никаких денег и засылая, кроме того, в фотографию все новых и новых клиентов.

Фотограф Патрикеев чрезвычайно дорожил теперь своим работником и делал ему надбавку всякий раз, когда клиенты особенно восторгались художественным исполнением.

Вот тут Володин и почувствовал под ногами почву и понял, что теперь его немыслимо согнать с занятой позиции.

И он начал полнеть, округляться и приобретать спокойно-независимый вид. Его не стало развозить, а просто его организм начал мудро запасаться жирами и витаминами на черный день и на всякий случай.

Конечно, особого спокойствия и довольствия Володин не имел.

Покушав вволю, и побеседовав с женой на хозяйственные темы, и заказав ей обед на завтра, он оставался в печальном одиночестве, искренне горюя, что у него нету особой нежной привязанности к молодой супруге, той привязанности, которая достойно украшает жизнь и делает всякую обыденную собачью ерунду событием и красивой подробностью счастливой жизни. И, имея такие мысли, Володин надевал свою шляпу и выходил на улицу, конечно, предварительно побрившись, попудрив свой элегантный нос и подровняв свои итальянские бачки.

Он шел по улицам и посматривал на проходящих женщин, живо интересуясь, какие они, как они ходят и какие у них лица и мордочки. Он останавливался, смотрел вслед и насвистывал какой-нибудь особенный мотивчик.

Так незаметно проходило время. Проходили дни, недели, месяцы. Так незаметно прошло три года. Молодая супруга Маргарита Гопкис буквально не могла налюбоваться на своего выдающегося супруга.

Она работала все равно как слон, буквально не разгибая

спины, желая предоставить своему хозяину наибольшие выгоды. Она, желая скрасить ему существование, покупала всякие приличные и забавные мелочишки, красивые подтяжки, ремешки для часов и прочие вещицы семейного обихода. Но он глядел хмуро и скупо подставлял свои щеки под обильные поцелуи своей сожительницы. Иногда он просто грубо огрызался и отгонял ее, как назойливую муху.

Он начал явно и открыто грустить, задумываться и проклинать свою жизнь.

— Нет, не удалася жизнь,— бормотал наш Володин, стараясь понять, какую ошибку он сделал в своей жизни и в своих планах.

6

Но вот весной, если не изменяет нам память, 1925 года произошли крупные события в жизни нашего друга, Николая Петровича Володина. Ухаживая за одной довольно миленькой девушкой, он горячо влюбился, или, скажем более проще,— втюрился в нее, и даже стал подумывать о коренной перемене своей жизни. Имея теперь приличный заработок, он уже мог думать о новой, более счастливой жизни.

Все ему было мило и прелестно в этой молодой девице. Она, одним словом, вполне отвечала его духовным запросам, имея именно такую внешность, о которой он мечтал всю свою жизнь.

Она была худенькая поэтическая особа с темными волосами и с блестящими, как звезды, глазами. Ее небольшие, крошечные усики особенно приводили в восторг Володина и заставляли его более серьезно обдумывать создавшееся положение.

Но разные семейные подробности и предчувствия громких скандалов и, пожалуй, даже мордобоя заставляли его холодеть и отгонять решительные мысли прочь.

Он стал на всякий случай несколько даже приветливей со своей супругой и, уходя из дому, вкручивал ей что-то относительно своих знакомых друзей, к которым он спешит, и, похлопывая ее по спине, говорил ей разные приветливые и не оскорбительные слова.

И мадам Володина, понимая, что происходит что-то такое исключительное по своей важности, хлопала глазами и не знала, как ей вести себя — то ли ей кричать и сканда-

лить, то ли несколько обождать, собрав предварительно обличительный материал и улики.

Володин уходил из дому и, встречаясь со своей малюткой, вел ее торжественно по улицам, полный остроумных фраз, вдохновения и бурной, кипящей жизни.

Девица висла на его руке, щебеча про свои невинные мелкие делишки и про то, что многие женатые кавалеры вообще стремятся к разным несбыточным фантазиям, но что она, несмотря на теперешнюю полную распущенность, глядит все же совершенно иначе. И только серьезные обстоятельства могут склонить ее к более определенным фактам. Или, уж конечно, слишком сильная любовь сможет тоже, пожалуй, поколебать ее принципы. Чувствуя в этих словах любовное признание, Володин особенно энергично волок свою даму, бормоча разные безответственные мысли и пожелания.

Они уходили по вечерам на озеро и там, на высоком берегу, на скамейке, а то и просто на траве под сиренью сидели, нежно обнявшись, переживая каждую секунду свое счастье.

Был май месяц, и это дивное время года особенно вдохновляло их своей красотой, свежими красками и легким, упоительным воздухом.

Автор, к сожалению, не имеет крупного поэтического дарования, и он не в силах с легкостью владеть поэтическим лексиконом. Автор искренне горюет, что у него мало способностей к художественному описанию и вообще к художественной прозе.

Иначе величественные картины создал бы автор, описывая эти свежие чувства двух влюбленных сердец на чудном фоне весеннего пейзажа, наших природных богатств и душистой сирени.

Автор признается, что он не раз пробовал проникать в секрет художественного описания, в тот секрет, которым с такой завидной легкостью владеют наши современные гиганты литературы.

Однако бледность слов и нерешительность мыслей не дозволяли автору слишком углубляться в девственные дебри русской художественной прозы.

Описывая волшебные картины свидания наших друзей, полные поэтической грусти и трепета, автор все же не может побороть в себе искушение окунуться в запретные и сладкие воды художественного мастерства.

И несколько строк описания ночной панорамы автор с любовью посвящает нашим влюбленным.

Только пущай опытные литераторы-художники не будут слишком строги в оценке этих скромных упражнений. Это нелегкое занятие. Это тяжелый труд.

Однако автор все же попробует окунуться в высокую художественную литературу.

Море булькотело... Вдруг кругом чего-то закурчавилось, затыркало, заколюжило. Это молодой человек рассупонил свои плечи и засупонил руку в боковой карман.

В мире была скамейка. И вдруг в мир неожиданно вошла папироска. Это закурил молодой человек, любовно взглянув на девушку.

Море булькотело... Трава немолчно шебуршала. Суглинки и супеси дивно осыпались под ногами влюбленных.

Девушка шамливо и раскосо капоркнула, крюкая сирень [1]. Кругом опять чего-то художественно заколюжило, затыркало, закурчавилось. И спектральный анализ озарил вдруг своим дивным несказанным блеском холмистую местность...

А ну его к черту! Не выходит. Автор имеет мужество сознаться, что у него нету дарования к так называемой художественной литературе. Кому что дано. Одному господь бог дал простой, грубоватый язык, а у другого язык способен каждую минуту проделывать всякие тонкие художественные ритурнели.

Но автор и не задается на крупное мастерство и снова со своим суконным языком приступает к описанию событий.

Одним словом, не вдаваясь в искусство речи, скажем, что наши влюбленные сидели над озером и вели длинные и нескончаемые любовные беседы, время от времени вздыхая и молча слушая, как булькотело море и шебуршала растительность.

Автор очень всегда удивляется, когда люди говорят о предметах, не задумываясь об их сущности и причинах.

Многие наши видные литераторы и даже крепкие сатирики обычно с легкостью пишут такие, например, слова: «Влюбленные вздыхали».

А почему вздыхали? Отчего они вздыхали? По какой причине влюбленные имеют такую определенную привычку вздыхать?

Объясни, растолкуй неискушенному читателю, если ты носишь звание писателя. Так этого нет. Сказал и до свиданья — отошел к другому предмету с преступной небрежностью.

---

[1] Девушка шаловливо и весело улыбнулась, нюхая сирень.

Автор попробует встрять и в это не его дело. По популярному описанию одного германского зубного врача, вздох есть не что иное, как задержка. То есть, он говорит, в вашем организме происходит, говорит, такое, как бы сказать, торможение, задержка каких-то сил, которым мешают пойти по ихнему прямому пути и назначению, и вот происходит вздох.

Человек вздохнул — значит, человеку мешают выполнить его желания. И раньше, когда любовь не была слишком доступна, влюбленным приходилось прежестоко вздыхать. Но, впрочем, и теперь это иногда случается.

Так просто и славно происходит течение нашей жизни, и так ведется скромная, незаметная, героическая работа нашего организма.

Но автору все это не мешает с любовью относиться ко многим превосходным вещам и желаниям.

Итак, наша молодая парочка беседовала и вздыхала. Но уже в июне месяце, когда над озером зацвела сирень, они вздыхали все реже и реже и наконец совершенно перестали вздыхать и сидели на скамье, склонившись друг к другу, счастливые и упоенные.

Море булькотело. Суглинки и супеси...

А ну его к черту...

В одну из таких славных сердечных встреч, когда Володин сидел с барышней и говорил ей разные поэтические сравнения и рифмы, он обмолвился довольно красивой фразой, которую, без всякого сомнения, он спер откуда-нибудь из хрестоматии, хотя и уверял в противном.

Однако навряд ли он мог бы так сформулировать такую причудливую и поэтическую фразу, достойную разве пера крупного мастера прежней формации.

Наклонившись к барышне и одновременно нюхая с ней ветку сирени, он сказал: «Сирень цветет неделю и отцветает. Так и ваша любовь».

Барышня замерла в совершенном восторге, требуя повторить еще и еще раз эти дивные, музыкальные слова.

И он повторял цельный вечер, читая в промежутках стихи Пушкина — «Птичка прыгает на ветке», Блока и других ответственных поэтов.

7

Вернувшись после этого возвышенного вечера домой, Володин был встречен дикими криками, воплями, грубыми словами.

Вся семья Гопкис совместно с пресловутым братом милосердия Сыпуновым накинулась на Володина и честила его почем зря, называя его жуликом, прохвостом и бабником.

Брат милосердия Сыпунов ходил буквально колесом по квартире, крича, что если женщина слабая, так он заместо нее очень свободно может проломить голову, если понадобится и если такая неблагодарная тварь, как Володин, будет мотаться по ночам, задеря хвост, и будет разрушать семейную слаженную идиллию.

Сама Маргарита, чувствуя неминуемую беду, пронзительно, как свисток, орала и сквозь свист и стенания кричала, что такую бесчувственную и безобразную скотину надо было бы попросту выгнать и что только любовь, а главное, затраченная молодость удерживает ее от такого поступка.

Володина особенно неприятно поразило, что ревела младшая сестрица Леля, которая, казалось, никакой корысти от него не имела. И своим ревом она только создавала тревожную атмосферу и увеличивала беду до большого семейного скандала.

Эта грубая и некультурная сценка убивала в Володине все возвышенные мысли. Вернувшись домой полный самых глубоких элегантных переживаний, благородных чувств и запаха сирени, он хватался теперь за голову и мысленно проклинал свой опрометчивый шаг в смысле женитьбы на этой оголтелой бабе, которая теперь губит его молодость. И, не повышая голоса, в ответ на скандалы и крики он, послав к черту всю семью, заперся в своей комнате. И наутро, чуть свет, тихо сложив свои вещицы и гардероб, приготовился к отбытию.

И когда брат милосердия ушел на службу, Володин, забрав свои узлы, покинул квартиру, несмотря на стенания и поминутные истерические и обморочные припадки своей дражайшей половины.

Он ушел к своему фотографу, который встретил его с распростертыми объятиями и с неподдельной радостью, предполагая, что Володин начнет ему теперь ретушировать если не даром, то на более экономных основаниях.

Взволнованный собственным своим поступком, Володин наобещал разных дружеских и даровых услуг, не задумываясь о своих словах. Он горел одним желанием — поскорей увидеть свою малютку, чтобы поделиться с ней новым и счастливым оборотом дела.

И в два часа дня он встретился с ней, как всегда, у озера, у часовенки.

И, схватив свою крошку за руки, он стал взволнованно рассказывать ей, украшая свой поступок героическими подробностями и мелочами. Да, он ушел из дому, порвав ненавистные цепи и набив морду брату милосердия.

Барышня была до чрезвычайности обрадована таким сообщением. Она говорила, что вот наконец-то он свободный гражданин и наконец-то он сможет назвать свою рыбку фактической женой.

И как все будет очаровательно, когда они заживут вместе, в одной квартире, под одной кровлей, он — работая, как слон, не покладая рук, она — в хлопотах по хозяйству, за шитьем, за уборкой мусора и так далее, и тому подобное.

Володина неприятно вдруг поразило такое слишком нескрываемое желание заполучить его в мужья и оседлать его, сделав добытчиком до конца дней.

Он несколько хмуро поглядел на барышню и стал говорить, что все это очень мило, однако еще требуется всесторонне рассмотреть все вопросы, так как он не привык, чтобы любимый человек подвергался лишениям и бедности.

Собственно говоря, это он сказал просто так, желая одернуть барышню в ее материальных расчетах и перевести ее на более возвышенный лад. Ему показалось оскорбительным, что барышня может рассматривать его именно с этой практической, корыстной стороны.

И, в одно мгновение вспомнив свой брак и свои расчетливые построения, Володин стал испытующе глядеть на девицу, желая проникнуть в ее мысли и в ее сердце, чтоб узнать, нет ли у нее таких же мыслей, какие в свое время были у него.

И Володину показалось, что в глазах девицы горели алчный расчет, выгода и желание поскорей устроить свою судьбу.

— И потом, я просто не имею денег, чтобы сейчас жениться,— сказал он. И вдруг, мгновенно обдумав план действия, он решил выдать себя за бедняка и безработного.

— Да,— повторил он уже более твердо и даже, как бы сказать, торжественно,— я не имею денег, у меня нету денег, и я, к сожалению, не могу обеспечить вас своей работой и своими достатками.

Это было, конечно, неправда, он жил хорошо, и работа у него была, но ему захотелось услышать из уст девушки прелестные и бескорыстные слова — мол, ну, как-нибудь,

что за счеты, и так далее, и зачем, мол, деньги, когда на сердце такое чувство.

А Оленька Сисяева, как назло, пораженная не столько уверениями, сколько его тоном, зашмыгала носиком и забормотала какие-то несложные слова, которые можно было скорее всего принять за досаду и сорвавшиеся мечты.

— Как же,— молвила она наконец,— давеча вы говорили как раз совершенно другие вещи и, напротив того, рисовали разные планы, а сейчас выходит другое. Ну, как же это так?

— А очень просто,— грубо сказал он,— у меня, знаете, уважаемый товарищ, не государственное учреждение, у меня, знаете, положение слишком шаткое и одинокое. И, может, в настоящее время у меня почти что нету работы. Я почти что нуждаюсь в работе. И в дальнейшем сам не знаю, как и чем я буду сводить концы с концами. Возможно даже, что мне придется босиком ходить по дорогам и просить себе пропитание, уважаемый товарищ.

Барышня глядела на него выпуклыми стеклянными глазами, туго соображая, что происходит.

А он нес околесицу и закидывал свою даму картинами бедности, неуютности и предстоящей нужды.

После, перед прощанием, они оба старались смягчить эту небольшую грубую сценку и, гуляя минут десять, беседовали о самых посторонних и даже поэтических вещах. Однако беседа у них не клеилась. И они расстались, она — удивленная и непонимающая, а он — все более и более уверенный в ее тонких расчетах и соображениях.

И, вернувшись в свою пустую проходную комнату, Володин лег на диван и старался разобраться в чувствах и пожеланиях барышни. «Ловко сработано,— думал он,— поддела карася! Небось удивилась, когда про бедность услышала».

Нет, он еще поглядит, какая такая ее любовь. Может быть, просто расчет.

И, хотя у него не было точной и полной уверенности в ее расчетах, однако он думал так, желая поскорей услышать ее слова и уверения в обратном. Настоящая любовь не останавливается при виде бедности и нищеты. И если она его любит, она возьмет его за руку и скажет ему разные слова — мол, об чем речь, об чем беспокойство? Ваша бедность не пугает меня, будем работать и к чему-нибудь стремиться.

Так раздумывая, он лежал в беспокойстве и нерешимости. Как вдруг на лестнице позвонили. Это звонил брат

милосердия Сыпунов, который суровым тоном попросил его следовать за собой на нейтральное место, во двор, чтобы там, на свободе, побеседовать о происшедших делах и поступках.

Беспокоясь и не смея отказаться, Володин надел шляпу и спустился во двор.

Там уже стояла вся семья, оживленно беседуя и горячась.

Не теряя драгоценного времени и слов, брат милосердия Сыпунов подошел к Володину и ударил его булыжником, весом, вероятно, побольше фунта.

Володин не успел отдернуть голову, он только мотнулся в сторону и тем самым несколько ослабил удар. Булыжник, скользнув по шляпе, слегка рассек ухо и кожу щеки.

Володин, закрыв руками лицо, бросился назад. И тотчас ему вдогонку полетело еще два-три камня, пущенных энергичной рукой защитника слабых женщин. Володин одним духом взмахнул по лестнице и поспешно закрыл за собой дверь.

Брат милосердия кинулся за ним и некоторое время из хулиганских побуждений бил ногами в дверь, приглашая Володина выйти и поговорить еще раз, но уже более спокойно и без мордобития.

Володин, зажав рукой раненое ухо, стоял за дверью, удерживая дыхание. Сердце его отчаянно колотилось. Испуг сковал ему ноги.

Брат милосердия, поколотив еще в дверь, сказал, что если так пойдет, то его, подлеца, схватят всей семьей и обольют серной кислотой. Если, конечно, он не одумается и не вернется к исполнению своих обязанностей.

Побитый и потрясенный, Володин лежал на диване, думая, что все рухнуло и все погибло.

Он не видел никакого утешения. Даже любовь была теперь под сомнением. Его чувство было обмануто и оскорблено грубым расчетом и соображением.

И, подумав об этом, Володин снова стал сомневаться, так ли это.

Ну, а если это не так, то он пойдет к ней и целиком убедится.

Да, он пойдет к ней и все скажет. Он скажет, что жизнь обостряется, что он с опасностью для своей жизни идет к намеченным идеалам, но зато она должна знать, окончательно и раз навсегда, что он ничего буквально не имеет. Он нищий, без куска хлеба и без всякой работы. Хочет она — пущай на риск выходит замуж за такого. Не хочет —

пожмем друг другу ручки и разойдемся, как в море корабли.

Он хотел было тотчас побежать к ней, чтоб доложить ей эти последние слова, но было уже поздно, и он, сняв окровавленный пиджак, промыл под краном свое разорванное ухо и, обвязав голову полотенцем, лег спать.

Он плохо спал, ворочался и громко мычал во сне, так что фотограф принужден был дважды окликать его, чтоб перебить ему мычание.

8

Брат милосердия Сыпунов — этот грубый и некультурный субъект — действительно припер откуда-то бутылку с серной кислотой.

Он поставил ее на окно и прочел обеим сестрицам краткую лекцию о пользе этой жидкости.

— Маленько плеснуть никогда не мешает, — говорил он сестрам, картинно изображая в лицах момент облития.— Особенно, конечно, глаза не надо вытравлять, но нос и другие предметы, безусловно, можно потревожить. Тем более, имея после того красную морду, пострадавший не будет слишком привлекательный господин, и девицы, без всякого сомнения, перестанут на него кидаться, и он тогда как миленький снова вернется в свое стойло. А суд, конечно, найдет разные обстоятельства и даст условное покаяние.

Маргарита Гопкис ахала, вздыхала и заламывала свои руки, говоря, что если это так нужно, то она предпочла бы плеснуть в лицо этой усатой, черномазой бабенке, которая испортила ее счастье.

Однако, считая, что вернуть его обратно с неиспорченной личностью нету возможности, она, снова ахая, соглашалась, говоря, что надо бы слегка, из гуманных соображений, разбавить эту ядовитую жидкость.

Брат милосердия гремел своим голосом и стучал бутылкой о подоконник, говоря, что в крайнем случае, если на то пошло, можно, конечно, и двоих облить к чертовой матери, что оба они два весьма ему примелькались и беспокоят его характер. И что он еще бы и третьего кого-нибудь облил, хотя бы, для примеру, ту же мать этой чернявой девчонки — зачем она настолько распускает свою дочку, позволяет трепаться с уже занятым человеком.

Что же касается до разбавления жидкости, то это ни

к чему не приведет, так как химия есть точная наука и она требует определенный состав. И не с ихним образованием менять научные формулы.

Всю эту семейную сцену покрывала своим рыданием младшая сестрица Леля, которая предчувствовала новые крупные потрясения.

Автор спешит успокоить уважаемых читателей, что особо серьезного дела не вышло из этого. И все окончилось если и не совсем благополучно, то приблизительно. Но испуг был громадный. И много горя в связи с этим потрясением пришлось хлебнуть нашему другу Володину.

На другой день, побрившись и попудрив свое поврежденное ухо, Володин вышел на улицу, спеша к своей крошке.

Он шел по улице и бурно жестикулировал, беседуя вслух с самим собой.

Он придумывал всякие каверзные вопросы, которые он задаст ей и которые должны вскрыть подпольную и корыстную игру молодой девушки.

Она находится в бедности, она висит на своей мамаше, она желает устроить свою судьбу. Но она жестоко ошибается. Да, он, пусть она знает, ничего не имеет. Он весь тут. Вот один галстук и одни штаны. И к тому же он безработный, без всяких надежд на будущее. А его фотографическое дело ничего ему не дает. И, кроме непосильных расходов на карандаши и резинки, он ничего не видит. И если он этим занимается, то исключительно из любезности и дружбы к фотографу Патрикееву, уступившему ему свой диван и комнату.

Так он ей скажет и посмотрит, в чем дело.

Он шел торопливо, не замечая никого и ничего не слыша.

На углу у пустыря навстречу шла его бывшая супруга Маргариточка Гопкис.

Увидев ее, Володин смертельно побледнел и, как зачарованный, не сводя с нее глаз, медленно пошел к ней.

На расстоянии трех шагов Маргарита, тихо что-то закричав, взмахнула рукой и снизу вверх плеснула в Володина кислотой.

Было большое расстояние, и пузырек был с узким горлышком, так что только несколько капель попало Володину на костюм.

Володин побежал в сторону, пронзительно визжа и хлопая себя ладонями по лицу, желая удостовериться, цела ли его физиономия.

И, уверившись в благополучном исходе, он снова повернулся и бросился на Маргариту Гопкис, которая, как тень, стояла подле забора. Володин схватил ее за горло и начал трясти, ударяя ее головой об забор, крича какие-то несвязные фразы.

Это все происходило на пустынной и глухой улице, по которой Володин имел обыкновение ходить на свидание к своей крошке.

Но, несмотря на это, народ стал подходить с других улиц, с любопытством всматриваясь, какое зрелище им предстоит увидеть.

Но зрелище подходило к концу. Беспокоясь, что его поволокут в часть, Володин перестал трясти свою мадам и быстро, не оглядываясь, пошел домой.

Он был потрясен и взволнован. Зубы его били барабанную дробь.

Почти бегом он вернулся домой и заперся в квартире.

Конечно, он не мог теперь, в таком виде, пойти к своей крошке.

Его била лихорадка. Его ноги дрожали и зубы ляскали.

Володин полежал некоторое время на диване. Потом стал ходить по комнате, с испугом поглядывая в окно и прислушиваясь к шуму.

И он не выходил весь день, боясь, что брат милосердия прикончит его во дворе или сделает его калекой, переломав ему руки и ребра.

Он провел день в смертельной тоске без всякой пищи. Он только пил воду в неимоверном количестве, охлаждая и заливая внутренний жар.

И целую ночь, не сомкнув глаз, он обдумывал создавшееся положение, стараясь найти какой-нибудь приличный и неоскорбительный выход. И такой выход он нашел, придя к мысли, что необходимо заключить перемирие с бывшей женой и ее ангелом-хранителем, товарищем Сыпуновым. Он не подаст на них в суд за покушение на убийство, а за это пусть они его не добивают до смерти.

Успокоившись на этом, он мысленно перекинулся на другой, не менее важный фронт и стал думать в сотый раз, как и какие новые решительные слова он скажет своей малютке для того, чтобы получить настоящего человека с бескорыстным чувством, а не хитрую бабу с ее практическими штучками. И для достижения этой цели он не остановится ни перед какими трудностями и затратами. Да, он объявит себя безработным человеком и первое время

будет тайком от нее работать у своего фотографа, с тем чтобы окончательно убедиться, что барышня не имеет никаких расчетов и внутренних соображений.

И Володину уже мысленно рисовались сцены, когда он, подняв воротничок своего пиджачка и тщательно занавесив окна, тайком работает не покладая рук, день и ночь ретушируя фотографические снимки. Он работает так цельный месяц, или два месяца, или даже год и откладывает деньги, абсолютно не тратя их. И наконец, убедившись в своей крошке, он приносит к ее ногам груду денег и умоляет простить его за такой поступок и проверку.

И барышня, со слезами на глазах, отстранит, возможно что, его деньги — мол, что вы, к чему это, зачем столько много, это, мол, портит отношения.

И тут наступит безоблачное счастье, и наступит дивная, неповторимая жизнь.

Слезы радости показывались на глазах Володина, когда он думал о таком исходе дела. И он энергично вращался на своем диване, скрипя всеми пружинами и вытирая глаза рукавом рубашки.

Но потом он снова думал о своих горестях, о мордобое и о всех последних мрачных делах.

И тогда он буквально холодел и, пугаясь задним числом за свою нетронутую наружность, вскакивал со своего дивана и снова подбегал то к зеркалу, чтоб еще раз удостовериться в сохранности лица, то к костюму, разглядывая прожженную ткань.

Так беспокойно и тяжело он провел целую ночь, слегка вздремнув только под самое утро.

А утром, с серым лицом и с мутными глазами, он стал торопливо собираться по своим делам, решив в первую очередь навестить свою барышню, чтобы приступить поскорей к выполнению своего плана. После того он выкинет белый флаг и войдет в переговоры со своими родственничками.

И, выйдя на лестницу, Володин стал, по своей привычке, чистить сапоги, лакируя их бархаткой до ослепительного блеска.

Он уже вычистил один сапог, как вдруг, вероятно от холода лестницы, икнул. Он икнул раз, потом еще раз, потом, через несколько секунд, еще несколько раз.

Откашлявшись и сделав тут же небольшую зарядовую гимнастику, Володин принялся энергично тереть другой сапог. Но так как икота не проходила, он пошел на кухню и, взяв там кусочек сахару, принялся сосать его, находя

совершенно неловким разговаривать с любимым человеком, имея такой дефект речи.

Однако икота все еще не проходила. И он икал теперь правильно, как машина, через определенный промежуток времени в полминуты.

Слегка взволнованный новым неожиданным препятствием, мешающим увидеть дорогого человека, он принялся ходить по комнате, распевая полным голосом веселые и комические песенки, чтобы не поддаться внутренней тревоге и тоске.

Походив так около часу, он присел на край дивана и вдруг с ужасом убедился, что его икота не только не уменьшилась, но, наоборот, стала гуще и звучней, и только промежутки между двумя схватками увеличились почти до двух минут.

И эти промежутки Володин сидел неподвижно, почти затаив дыхание, со страхом поджидая новой горловой судороги. И, икнув, он вскакивал, взмахнув руками, и убитым, потусторонним взором смотрел вперед, ничего не видя.

Промаявшись так до двух часов дня, он поделился этой бедой со своим сожителем фотографом. Фотограф Патрикеев легкомысленно засмеялся и назвал это сущим пустяком и вздором, который с ним случается почти что всякий день. Тогда Володин, собрав остатки своего мужества, отправился к своей Оленьке Сисяевой.

Он икал всю дорогу, вздрагивая всем телом и махнув рукой на всякие приличия.

И, подходя к дому девушки, он, как назло, стал икать до того часто и энергично, что прохожие оборачивались и ругали его ослом и другими словами.

И, вызвав девушку стуком в окно, Володин приготовился к решительному объяснению, перезабыв, правда, по случаю новой беды, все свои каверзные вопросы.

Извинившись за свою чисто нервную икоту, которая вызвана, видимо, простудой и малокровием, Володин элегантно поцеловал ручку Оленьке, икнув пару раз при этом несложном процессе.

Думая, что он выпил с горя, Оленька Сисяева заморгала ресницами, приготовившись дать ему суровую отповедь. Но он, думая больше о своей болезни, несвязным языком залепетал слова о том, что он безработный, у которого только и капиталу, что один галстук и штаны. И что пусть Оленька по этой причине скажет лучше сейчас, согласна ли она пойти за такого, которого ждет жалкая судьба и с которым,

может, придется ходить по миру, как со слепцом, и просить на пропитание. Или она действительно его любит, несмотря ни на что.

Оленька Сисяева, слегка покраснев, сказала, что, к сожалению, довольно поздно сейчас задавать тому подобные вопросы. Тем более она, как выяснилось вчера, находится в положении, и довольно странно и глупо в ее положении слышать подобные речи. И что муж — это есть муж, и его долг как-нибудь кормить свою будущую семью.

Пораженный новым открытием и не получив решительного ответа на свои мысли и сомнения, Володин, сбитый с толку, окончательно потерял нить своего плана и изумленно глядел теперь на барышню, икая при этом время от времени.

Затем он, схватив ее за руки, сказал, что пусть она хотя бы в таком случае скажет — любит ли она его и охотно ли идет на такой шаг.

И девушка, мило улыбнувшись, сказала, что, конечно, без сомнения, она его любит, но только ему необходимо серьезно полечиться от его нервной икоты и что она не мыслит себе мужа с подобным странным дефектом.

И здесь, распрощавшись, они расстались, она — уверенная в себе, он — полный нерешимости и даже отчаяния оттого, что ему так и не удалось достоверно узнать про чувство барышни.

9

Это было очень странно и удивительно, но икота у Володина не проходила.

Вернувшись домой, он пораньше лег спать с тайной надеждой, что утром все пройдет и снова наступит простая, великолепная человеческая жизнь. Однако, проснувшись, он убедился, что беда не проходит. Правда, он икал теперь редко, примерно один раз в три минуты, но все же икал и не видел никаких признаков облегчения.

И, не вставая со своего дивана и холодея от мысли, что это недомогание останется у него на веки веков, Володин пролежал цельный день и ночь, изредка выбегая на кухню попить холодной водички.

Наутро, снова подняв голову с подушки и убедившись, что икота продолжается, Володин совершенно упал духом. Он перестал сопротивляться природе и, покорно отдавшись

судьбе, лежал, как покойник, время от времени вздрагивая телом под бременем своей нервной икоты.

Фотограф Патрикеев, обеспокоенный странным положением своего жильца, начал всерьез пугаться, как бы на его шее не остался инвалид, который будет круглые сутки икать и тем самым отпугивать его клиентов и посетителей.

И, ничего не сказав Володину, он побежал до этой роковой Оленьки Сисяевой, чтобы пригласить ее к кровати больного, желая тем самым поскорей снять с себя всякую моральную и материальную ответственность и заботы по уходу.

Он пришел к ней и стал умолять ее прийти, говоря, что ее дружок если и не совсем плох, то находится в крайне странном положении. И что ему необходима помощь.

Девица, сконфуженная такой исключительной болезнью своего жениха, не могла особенно высказывать свою печаль и тревогу. Тем не менее она тотчас согласилась навестить больного.

Несколько взволнованная бедным и неуютным видом комнаты и скудостью имущества, барышня остановилась на пороге, не решаясь сразу подойти к больному.

При виде барышни больной вскочил с дивана, потом снова лег, поскорее прикрывая свой растерзанный туалет.

Барышня, придвинув к дивану табурет, присела, с тоской глядя, как ее жениха дергала болезнь.

Весть о больном, который икает трое суток, несколько взбудоражила местное население ближайших домов. Слухи о любовной драме усилили любопытство граждан. И в квартиру началось буквально паломничество, которое невозможно было остановить силами одного фотографа. Все хотели поглядеть, как невеста относится к жениху, и чего она ему говорит, и как он при своей икоте ей отвечает.

Тут же, среди других граждан, колбасился и наш брат милосердия Сыпунов, не рискуя, впрочем, входить в комнату, чтобы не напугать больного.

Как ближайший родственник и медработник, он, окруженный толпой любопытных, авторитетно говорил о состоянии больного, объясняя, что к чему и в чем дело.

Безусловно, он не предполагал такого исхода. Он попугал человека, слов нет, но его двигало чувство справедливости, а также родственные связи с Маргаритой Гопкис, которая на склоне лет остается как-никак без человека.

Однако печальные картины болезненного состояния очень его растрогали, тем более он совершенно считается с чувством любви и, безусловно, никому теперь не дозволит

пальцем тронуть его бывшего родственника, Николая Петровича Володина. А Маргариточка в крайнем случае пущай сама как-нибудь проведет свою жизнь. Что же касается болезни, то это скорей всего чисто нервное заболевание на простудной почве. И что у них в больнице на простудной почве черт знает какие болезни происходят — и ничего, многие остаются живы.

Фотограф Патрикеев, боясь, что в толкотне и сумятице разворуют его фотографические принадлежности, поднял крик, убеждая публику разойтись, иначе он вызовет милицию и силой прекратит безобразие.

Брат милосердия, получив директивы от фотографа, стал выпирать назойливую публику, махая треножником и оттесняя посетителей на кухню и лестницу. Он честью просил расходиться и не вызывать его на более решительные действия.

Увидев такое безобразие, полную огласку дела и открытый срам, барышня Оленька Сисяева стала лепетать, что надо бы больного отвезти в больницу или же в крайнем случае хотя бы пригласить коммунального врача, который может удалить лишнюю публику.

Среди посетителей находился, между прочим, один такой бывший интеллигент, некто Абрамов, который заявил, что врач тут, безусловно, ни при чем, что врач сорвет трояк и наделает таких делов, после которых уже больного навряд ли можно поправить.

И что лучше пущай дозволят ему произвести опыт, который в самом корне подорвет это заболевание.

Этот некто Абрамов не носил звания врача или ученого, но он глубоко понимал многие вопросы и любил лечить граждан от всяких болезней и страданий своими домашними средствами.

Так и тут: он сказал, что картина заболевания ему слишком ясна. Что это есть неправильное движение организма. И что надо поскорее перебить это движение. Тем более организм имеет, так сказать, свою инерцию и как заладит на одно, так прямо нет спасения. От этого, дескать, происходят почти что все наши болезни и недомогания. И это, дескать, необходимо лечить энергично, давая сильную встряску и другой, обратный толчок всему организму, который, дескать, слепо работает, не разбираясь, куда его колесья крутятся и что из его работы выйдет.

Он велел посадить больного на стул, а сам, грубо насмехаясь над врачами и медициной, вышел на кухню, чтобы там начать свои научные приготовления.

Там он, с помощью брата милосердия, нацедил полное ведерко холодной воды и, выбежав осторожно, на цыпочках, из-за двери, вдруг с криком опрокинул всю эту воду на голову больному, который, мало чего соображая, беспечно сидел до этого на стуле, как мешок с картофелем.

Позабыв про свою болезнь, Володин полез было драться и вообще стал после этой процедуры буйствовать, выгоняя народ из помещения и порываясь побить своего доморощенного лекаря.

Но вскоре Володин утих и, переменив платье, задремал, положив голову на колени своей малютки.

На другое утро он встал совершенно здоровый и, побрившись и приведя себя в порядок, стал жить как обычно.

Конечно, автор не собирается утверждать, что это домашнее лечение подействовало исцеляюще. Скорей всего болезнь сама по себе прошла. Тем более что три-четыре дня — срок изрядный, хотя, конечно, медицина знает и более длительные сроки для этой болезни. Так что прохладная водица могла все же доброкачественно подействовать на замороченные мозги нашего больного и тем самым ускорила исцеление.

10

Через несколько дней Володин записался со своей малюткой и перебрался на жительство в ее скромные апартаменты.

Ихний медовый месяц прошел тихо и вполне безмятежно.

Брат милосердия окончательно сменил гнев на милость и даже раза два заходил к молодым с визитом, причем один раз милостиво занял трешку, не обещая, впрочем, ее вернуть. Зато он дал торжественное обещание не убивать и не трогать больше Володина ни при каких обстоятельствах.

Что касается заработка и вообще содержания, то Володину пришлось сознаться в своей клевете. Ну да, он немного приврал, желая испытать ее любовь. В этом нет ничего оскорбительного.

И, говоря об этом, он умолял ее еще раз сказать, знала ли она, что он нарочно соврал, или же она не знала и пошла за него по бескорыстному чувству.

И дамочка, задумчиво смеясь, уверяла его в последнем, говоря, что она сначала, конечно, не знала о его вранье и боялась, что он действительно ничего за душой не имеет.

Но потом-то она определенно догадалась о его прозрачных действиях. Ну, да она не имеет на него претензий — это его законное право узнать про свою будущую супругу.

И, слушая эти дамские речи, Володин мысленно сердился и называл себя ослом и бараном за то, что не смог досконально подловить и проверить барышню.

Впрочем, конечно, что ж он мог сделать? Тем более его злокачественная болезнь подкузьмила — она лишила его энергии и воли и окончательно заморочила ему голову. И в силу этого он не мог решить задачу достойным образом. Тем более барышня запросто обыграла его, козырнув с туза своим положением. Но в дальнейшем как-нибудь все само выяснится.

Что же касается Маргариточки Гопкис, то она продолжала сердиться и однажды, встретившись с Володиным на улице, не ответила на его сдержанный поклон, отвернув в сторону свой профиль.

Это мелкое событие тяжело тем не менее отразилось на Володине, который последнее время хотел, чтобы в жизни все было гладко и мило и чтоб голуби по воздуху порхали.

В тот день он снова несколько заволновался, вспоминая последние события своей жизни.

Ночью ему не спалось. Он ворочался в кровати и хмуро, испытующе смотрел на свою супругу.

Молодая дама спала, распустив свои губы, причмокивая и всхлипывая.

У нее был расчет, думал Володин. Она, безусловно, все знала. И, конечно, не пошла бы за него, если б он ничего не имел. И в своей тоске и беспокойстве Володин поднялся с кровати, походил по комнате, подошел к окну. И, прижав пылающий лоб к стеклу, долго глядел, как в темном саду от ветра покачивались деревья.

Потом, беспокоясь, что ночная прохлада может снова вызвать заболевание, Володин заспешил к кровати. И долго лежал с открытыми глазами, водя пальцем по рисунку обоев.

«Да, без сомнения, она знала, что я приврал»,— снова подумал Володин засыпая.

А наутро он встал веселый и спокойный и о грубых вещах старался больше не думать. А если и думал, то вздыхал и махал ручкой, предполагая, что без корысти никто никогда и ничего не делает.


Мишель
Синягин

*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта повесть есть воспоминание об одном человеке, об одном, что ли, малоизвестном, небольшом поэте, с которым автор сталкивался в течение целого ряда лет.

Судьба этого человека автора чрезвычайно поразила, и в силу этого автор решил написать такие, что ли, о нем воспоминания, такую, что ли, биографическую повесть, не в назидание потомству, а просто так.

Не все же писать биографии и мемуары о замечательных и великих людях, об их поучительной жизни и об их гениальных мыслях и достижениях. Кому-нибудь надо откликнуться и на переживания других, скажем, более средних людей, так сказать, не записанных в бархатную книгу жизни.

Причем жизнь таких людей, по мнению автора, тоже в достаточной мере бывает поучительна и любопытна. Все ошибки, промахи, страдания и радости ничуть не уменьшаются в своем размере от того, что человек, ну, скажем, не нарисовал на полотне какой-нибудь прелестный шедевр — «Девушка с кувшином», или не научился быстро ударять по рояльным клавишам, или, скажем, не отыскал для блага и спокойствия человечества какую-нибудь лишнюю звезду или комету на небосводе.

Напротив, жизнь таких обыкновенных людей еще более понятна, еще более достойна удивления, чем, скажем, какие-нибудь исключительные и необыкновенные поступки и чудачества гениального художника, пианиста или настройщика. Жизнь таких простых людей еще более интересна и еще более доступна пониманию.

Автор не хочет этим сказать, что вот сейчас вы увидите что-то такое исключительно интересное, поразительное по силе переживаний и страстям. Нет, это будет скромно прожитая жизнь, описанная к тому же несколько торопливо, небрежно и со многими, наверно, погрешностями.

Конечно, сколько возможно, автор старался, но для полного блеска описания не было у него такого, что ли, нужного спокойствия духа и любви к разным мелким предметам и переживаниям. Тут не будет спокойного дыхания человека уверенного и развязного, дыхания автора, судьба которого оберегается и лелеется золотым веком.

Тут не будет красоты фраз, смелости оборотов и восхищения перед величием природы.

Тут будет просто правдиво изложенная жизнь. К тому же несколько суетливый характер автора, его беспокойство и внимание к другим мелочам заставляют его иной раз пренебречь плавным повествованием для того, чтобы разрешить тот или иной злободневный вопрос или то или иное сомнение.

Что касается заглавия книги, то автор согласен признать, что заглавие сухое и академическое,— мало чего-нибудь дает уму и сердцу. Но автор оставляет это заглавие временно. Автор хотел назвать эту книгу иначе как-нибудь, например: «У жизни в лапах» или «Жизнь начинается послезавтра». Но и для этого у него не хватило уверенности и нахальства. К тому же эти заглавия, вероятно, уже были в литературном обиходе, а для нового заглавия у автора не нашлось особого остроумия и изобретательности.

Сентябрь 1930 г

М. П. СИНЯГИН

(Воспоминание о Мишеле Синягине)

1

Через сто лет. О нашем времени. О приспособляемости. О дуэлях. О чулках. Пролог истории

Вот в дальнейшем, лет этак, скажем, через сто или там немного меньше, когда все окончательно утрясется, установится, когда жизнь засияет несказанным блеском, какой-нибудь гражданин, какой-нибудь этакий гражданин с усиками, в этаком, что ли, замшевом песочном костюмчике или там, скажем, в вечерней шелковой пижаме, возьмет, предположим, нашу скромную книжку и приляжет с ней на кушетку. Он приляжет на сафьяновую

кушетку или там, скажем, на какой-нибудь мягкий пуфик или козетку, обопрет свою душистую голову на чистые руки и, слегка задумавшись о прекрасных вещах, раскроет книгу.

— Интересно,— скажет он, кушая конфетки,— как это они там жили в свое время.

А его красивая молодая супруга — или там, скажем, подруга его жизни — тут же рядом сидит в своем каком-нибудь исключительном пеньюаре.

— Андреус (или там Теодор),— скажет она, запахивая свой пеньюар,— охота тебе, скажет, читать разную муру? Только, скажет, нервы себе треплешь на ночь глядя.

И сама, может, возьмет с полки какой-нибудь томик в пестром атласном переплете — стихи какого-нибудь там знаменитого поэта — и начнет читать:

В моем окне качалась лилия.
Я весь в бреду...
Любовь, Любовь, моя Идиллия,
Я к вам приду...

Вот как представит себе автор на минутку такую акварельную картину, так и перо у него валится из рук — неохота писать, да и только.

Конечно, автор не утверждает, что именно такие сценки будут наблюдаться в будущей жизни. Нет, это как раз маловероятно. Это только минутное предположение. На это только полпроцента можно положить. А скорей всего, напротив того, будет очень такое, что ли, здоровое, сочное поколение.

Этакие будут загорелые здоровяки, одевающиеся скромно, но просто, без особой претензии на роскошь и щегольство.

К тому же, может, такие паршивые лирические стишки они и читать-то вовсе не будут или будут их читать в исключительных случаях, предпочитая им наши прозаические книжки, которые будут брать в руки с полным душевным трепетом и с полным почтением к их авторам.

Однако как подумает автор о таких настоящих читателях, так опять появляются затруднения и снова перо вываливается из рук.

Ну что автор может дать таким прекрасным читателям?

Сердечно признавая все величие нашего времени, автор тем не менее не в силах дать соответствующее произведение, полностью рисующее нашу эпоху. Может быть, автор растратил свои мозги на мелкие повседневные мещанские дела, на разные личные огорчения и заботы, но только ему

не по силам такое обширное произведение, которое сколько-нибудь заинтересует будущих уважаемых читателей. Нет, уж лучше закрыть глаза на будущее и не думать о новых грядущих поколениях. Лучше уж писать для наших испытанных читателей.

Но тут опять являются сомнения, и перо валится из рук. В настоящее время, когда самая острая, нужная и даже необходимая тема — это колхоз, или там, скажем, отсутствие тары, или устройство силосов, возможно, что просто нетактично писать так себе, вообще о переживаниях людей, которые, в сущности говоря, даже и не играют роли в сложном механизме наших дней.

Читатель может просто обругать автора свиньей.

— Эва, скажет, глядите, чего еще один пишет. Описывает, холера, переживания. Глядите, скажет, сейчас, чего доброго, начнет про цветки поэмы наворачивать.

Нет, про цветки автор писать не станет. Автор напишет повесть, по его мнению даже весьма необходимую повесть, так сказать подводящую итоги прошлой жизни,— повесть про одного незначительного поэта, который жил в наше время. Конечно, автор предвидит жестокую критику в этом смысле со стороны молодых и легкомысленных критиков, поверхностно глядящих на такие литературные факты.

Однако совесть у автора чиста. Автор не забывает и другой фронт и не гнушается писать о прогулах, о силосовании и о ликвидации неграмотности. И даже, напротив, такая скромная работа как раз ему по плечу.

Но наряду с этим у автора имеется чрезвычайное стремление как можно скорей написать свои воспоминания об этом человеке, ибо в дальнейшем жизнь перешагнет его, и все забудется, и травой зарастет та тропинка, по которой прошел наш скромный герой, наш знакомый и, прямо скажем, наш родственник М. П. Синягин.

И это последнее обстоятельство позволило автору видеть всю его жизнь, все мелочи его жизни и все события, развернувшиеся в последние годы. Вся личная его жизнь прошла, как на сцене, перед глазами автора.

Вот тот, который с усиками и в замшевом костюмчике, если, не дай бог, он проскользнет в будущее столетие, наверное, слегка удивится и заполощется на своей сафьяновой козетке.

— Милуша,— скажет он, поглаживая свои усишки,— интересно, скажет. У них, скажет, какая-то личная жизнь была.

— Андреус,— скажет она грудным голосом,— не мешай, скажет, ради бога, я стихи читаю...

А в самом деле, читатель, какой-нибудь этакий с усиками в его спокойное время прямо нипочем правильно не представит нашей жизни. Он, наверно, будет думать, что мы все время в землянках сидели, воробьев кушали и вели какую-нибудь немыслимую дикую жизнь, полную ежедневных катастроф и ужасов.

Правда, надо прямо сказать, что многие и не имели так называемой личной жизни — они отдавали все силы и всю волю для ради своих идей и для стремления к цели.

Ну, а которые помельче, те, безусловно, ловчились, приспосабливались и старались попасть в ногу со временем, для того чтобы прилично прожить и поплотнее покушать.

И жизнь шла своим чередом. Происходили любовь, и ревность, и деторождение, и разные великие материнские чувства, и разные тому подобные прекрасные переживания. И мы ходили с девушками в кино. И катались на лодках. И пели под гитару. И кушали вафли с кремом. И носили модные носочки в полоску. И танцевали фокстрот под домашний рояль.

Нет, так называемая личная жизнь шла понемножку, как она всегда и при всех любых обстоятельствах идет.

И любители такой жизни по мере своих сил приспосабливались и приноравливались.

Так сказать, каждая эпоха имеет свою психику. И в каждую эпоху пока что было одинаково легко или, вернее, одинаково трудно жить.

Вот, для примера, на что уж беспокойный век, ну, скажем, шестнадцатый. Нам издали поглядеть — так прямо немыслимым кажется. Чуть не каждый день в то время на дуэлях дрались. Гостей с башен сбрасывали. И ничего. Все в порядке вещей было.

Нам-то, с нашей психикой, прямо боязно представить себе подобную ихнюю жизнь. Для примера, какой-нибудь там ихний феодальный сукин сын, какой-нибудь такой виконт или там бывший граф идет, для примера, погулять.

Вот идет он погулять и, значит, шпагу сбоку пришпиливает: мало ли, кто-нибудь его сейчас, боже сохрани, плечом пихнет или обругает — сразу надо драться. И ничего.

Идет на прогулку, и даже на морде никакой грусти или паники не написано. Напротив того, идет и даже, может быть, улыбается и насвистывает. Ну, жену небрежно на прощанье поцелует.

— Ну, скажет, ма шер, я того... пошел прогуляться.

И та — хоть бы хны.

— Ладно, скажет, не опоздай, скажет, к обеду.

Да в наше время жена бы рыдала и за ноги бы цеплялась, умоляя не выходить на улицу, или в крайнем случае просила бы обеспечить ей безбедное существование. А тут просто и безмятежно. Взял шпажонку, поточил ее, если она затупилась от прежней стычки, и пошел побродить до обеда, имея почти все шансы на дуэль или столкновение.

Надо сказать, если б автор жил в ту эпоху, его бы силой из дому не выкурили. Так бы всю жизнь и прожил бы взаперти, вплоть до нашего времени.

Да, с нашей точки зрения неинтересная была жизнь. А там этого не замечали и жили поплевывая. И даже ездили в гости к имеющим башни.

Так что в этом смысле человек очень великолепно устроен. Какая жизнь идет — в той он и прелестно живет. А которые не могут, те, безусловно, отходят в сторону и не путаются под ногами. В этом смысле жизнь имеет очень строгие законы, и не всякий может поперек пути ложиться и иметь разногласия.

Так вот, сейчас перейдем к главному описанию, из-за чего, собственно, и началась эта книга. Автор извиняется, если он чего-нибудь лишнее сболтнул, не идущее к делу. Уж очень все такие нужные моменты и вопросы, требующие немедленного разрешения.

А что до психики, так это очень верно. Это вполне историей проверено.

Так вот, сейчас со спокойной совестью мы перейдем к воспоминаниям о человеке, который жил в начале двадцатого века.

По ходу повествования автор принужден будет касаться многих тяжелых вещей, грустных переживаний, лишений и нужды.

Но автор просит не выносить об этом поспешного заключения.

Некоторые нытики способны будут все невзгоды приписать только революции, которая происходила в то время.

Очень, знаете, странно, но тут дело не только в революции. Правда, революция сбила этого человека с позиции. Но тут, как бы сказать, во все времена возможна и вероятна такая жизнь. Автор подозревает, что такие именно воспоминания могли быть написаны о каком-нибудь другом человеке, жившем в другую эпоху.

Автор просит отметить это обстоятельство.

Вот у автора был сосед по комнате. Бывший учитель рисования. Он спился. И влачил жалкую и неподобающую жизнь. Так этот учитель всегда любил говорить:

— Меня, говорит, не революция подпилила. Если б и не было революции, я бы все равно спился, или бы проворовался, или бы меня на войне подстрелили, или бы в плену морду свернули на сторону. Я, говорит, заранее знал, на что иду и какая мне жизнь предстоит.

И это были золотые слова.

Автор не делает из этого мелодрамы. Нет, автор уверен в победном шествии жизни, вполне годной для того, чтобы прожить припеваючи. Уж очень много людей сейчас об этом думают и ломают себе головы, стараясь потрафить человеку в этом смысле.

Конечно, еще, так сказать, пролог истории. Еще жизнь не утряслась. Говорят, люди двести лет назад чулки-то только стали впервые носить.

Так что все в порядке. Хорошая жизнь не за горами.

2

Рождение героя. Молодость. Созерцательное настроение. Любовь к красоте. О нежных душах. Об Эрмитаже и о замечательной скифской вазе

Михаил Поликарпович Синягин родился в 1887 году в имении Паньково Смоленской губернии.

Мать его была дворянка, а отец почетный гражданин.

Но поскольку автор был моложе М. П. Синягина лет на десять, то ничего такого путного автор и не может сказать об его молодых годах вплоть до 1916 года.

Но поскольку его всегда — и даже в сорок лет — называли Мишелем, было видно, что он имел нежное детство, внимание, любовь и душевную ласку. Его называли Мишелем — и верно, его нельзя было назвать иначе. Все другие, грубые наименования мало шли к его лицу, к его тонкой фигуре и к его изящным движениям, исполненным грации, достоинства и чувства ритма.

Кажется, что он окончил гимназию и, кажется, два или три года он еще где-то такое проучился. Образование у него было, во всяком случае, самое незаурядное.

В 1916 году автор, с высоты своих восемнадцати лет, находясь с ним в одном и том же городе, невольно наблюдал

его жизнь и был, так сказать, очевидцем многих важных и значительных перемен и событий.

М. П. Синягин не был на фронте по случаю ущемления грыжи. И в конце европейской войны он слонялся по городу в своем штатском макинтоше, имея цветок в петлице и изящный, со слоновой ручкой, стек в руках.

Он ходил по улицам всегда несколько печальный и томный, в полном одиночестве, бормоча про себя стишки, которые он в изобилии сочинял, имея все же порядочное дарование, вкус и тонкое чутье ко всему красивому и изящному.

Его восхищали картины печальной и однообразной псковской природы, березки, речки и разные мошки, кружащиеся над цветочными клумбами.

Он уходил за город и, сняв шляпу, с тонкой и понимающей улыбкой следил за игрой птичек и комариков.

Или глядел на движущиеся тучные облака и, закинув голову, тут же сочинял на них соответствующие рифмы и стихи.

В те годы было еще порядочное количество людей высокообразованных и интеллигентных, с тонкой душевной организацией и нежной любовью к красоте и к разным изобразительным искусствам.

Надо прямо сказать, что в нашей стране всегда была исключительная интеллигентская прослойка, к которой охотно прислушивалась вся Европа и даже весь мир.

И верно, это были очень такие тонкие ценители искусства и балета, и авторы многих замечательных произведений, и вдохновители многих отличных дел и великих учений.

Это не были спецы с точки зрения нашего понимания.

Это были просто интеллигентные, возвышенные люди. Многие из них имели нежные души. А некоторые просто даже плакали при виде лишнего цветка на клумбе или прыгающего на навозной куче воробышка.

Дело прошлое, но, конечно, надо сказать, что в этом была даже некоторая какая-то такая ненормальность. И такой пышный расцвет, безусловно, был за счет чего-то такого другого.

Автор не слишком владеет искусством диалектики и не знаком с разными научными теориями и течениями, так что не берется в этом смысле отыскивать причины и следствия. Но, грубо рассуждая, можно, конечно, кое до чего докопаться.

Если, предположим, в одной семье три сына. И если,

предположим, одного сына обучать, кормить бутербродами с маслом, давать какао, мыть ежедневно в ванне и бриолином голову причесывать, а другим братьям давать пустяки и урезывать их во всех ихних потребностях, то первый сын очень свободно может далеко шагнуть и в своем образовании, и в своих душевных качествах. Он и стишки начнет загибать, и перед воробышками умиляться, и говорить о разных возвышенных предметах.

Вот автор недавно был в Эрмитаже. Глядел скифский отдел. И там есть одна замечательная ваза. И лет ей, говорят, этой вазе, чего-то такое, если не врут, больше как две тысячи. Такая шикарная золотая ваза. Очень исключительной, тонкой скифской работы. Неизвестно, собственно, для чего ее скифы изготовили. Может, там для молока или полевые цветы туда ставить, чтобы скифский король нюхал. Неизвестно, ученые не выяснили. А нашли эту вазу в кургане.

Так вот, на этой вазе я вдруг увидел рисунки — сидят скифские мужики. Один мужичонка-середняк сидит, другой ему зуб пальцами выковыривает, третий лаптишки себе поправляет.

Автор поглядел поближе — батюшки светы! Ну прямо наши дореволюционные мужики. Ну, скажем, тысяча девятьсот тринадцатого года. Даже костюмы те же — такие широкие рубахи, подпояски. Длинные спутанные бороды.

Автору даже как-то не по себе стало. Что за черт! Смотришь в каталог — вазе две тысячи лет. На рисунки поглядишь — лет на полторы тысячи поменьше. Либо, значит, сплошное жульничество со стороны научных работников Эрмитажа, либо такие костюмчики и лапти так и сохранились вплоть до нашей революции. А если это так — стало быть, за полторы тысячи лет не имелось возможности получше приодеться. Поскольку заняты были — работали на других.

Всеми этими разговорами автор, конечно, нисколько не хочет унизить бывшую интеллигентскую прослойку, о которой шла речь. Нет, тут просто выяснить хочется, как и чего и на чьей совести камень лежит.

А прослойка, надо сознаться, была просто хороша, ничего против не скажешь.

Что касается М. П. Синягина, то автор, конечно, и не хочет его равнять с теми, о ком говорилось. Но все-таки это был человек тоже в достаточной степени интеллигентный и возвышенный. Он многое понимал, любил красивые безделушки и поминутно восторгался художественным

словом. Он сильно любил таких прекрасных, отличных поэтов и прозаиков, как Фет, Блок, Надсон и Есенин.

И в своем собственном творчестве, не отличаясь исключительной оригинальностью, он был под сильным влиянием этих славных поэтов. И в особенности, конечно, под влиянием исключительно гениального поэта тех лет А. А. Блока.

3

Мать и тетка М. П. Синягина. Ихнее прошлое. Покупка имения. Жизнь в Пскове. Тучи собираются. Характер и наклонности тетки М. А. Ар-вой. Встреча с Л. Н. Толстым. Стихи поэта. Его душевное настроение. Увлечение

Мишель Синягин жил со своей мамашей, Анной Аркадьевной Синягиной, и ее сестрицей, Марьей Аркадьевной, о которой в дальнейшем будет особая речь, особое описание и характеристика, в силу того что эта почтенная дама и вдова генерала Ар—ва играет немаловажную роль в нашем повествовании.

Итак, в 1917 году они втроем проживали в Пскове как случайные гости, застрявшие в этом небольшом славном городишке по причинам, не от них зависящим.

Во время войны они приехали сюда для того, чтобы поселиться у своей сестры и тетки, Марьи Аркадьевны, которая по случаю приобрела неподалеку от Пскова небольшое именьице.

В этом именьице обе старушки и хотели скоротать свой век вблизи с природой, в полной тишине и покое, после довольно бурно и весело проведенной жизни.

Это злополучное имение и было названо соответствующим образом — Затишье.

А Мишель, этот довольно грустноватый молодой человек, склонный к неопределенной меланхолии и несколько утомленный своей поэтической работой и шумом столичной жизни, с ее ресторанами, и певицами, и мордобоем, также хотел некоторое время спокойно пожить в тиши, для того чтоб набраться сил и снова пуститься во все тяжкие.

Все, однако, сложилось иначе, чем было задумано.

Затишье было куплено перед самой революцией, что-то месяца за два, так что семейство не успело даже туда перебраться со своими вещами и сундуками. И эти сундуки, перины, диваны и кровати временно и наспех были сложе-

ны на городской квартире у псковских знакомых. И именно в этой квартире в дальнейшем и пришлось прожить несколько лет Мишелю со своей престарелой мамашей и теткой.

Отличаясь свободомыслием и имея некоторую, что ли, тенденцию и любовь к революциям, обе старушки не очень обезумели по случаю революционного переворота и изъятия имений от помещиков. Однако младшая сестрица, Марья Аркадьевна, всадившая в это дело около шестидесяти тысяч капитала, все же иной раз охала и вздыхала и говорила, что это черт знает что такое, поскольку нельзя въехать в имение, купленное на собственные кровные деньги.

Анна Аркадьевна, мать Мишеля, была довольно незаметная дама. Она ничем таким особенным не проявила себя в своей жизни, исключая рождения поэта.

Это была довольно тихая, малосварливая старушка, любящая сидеть у самовара и кушать кофе со сливками.

Что касается Марьи Аркадьевны, то эта дама была уже в другом роде.

Автор не имел удовольствия видеть ее в молодые годы, однако было известно, что она была до чрезвычайности миленькая и симпатичная девица, полная жизни, огня и темперамента.

Но в те годы, о которых идет речь, это была уже бесформенная старушка, скорей безобразная, чем красивая, однако очень подвижная и энергичная.

В этом смысле на ней сказалась ее бывшая профессия. В молодые годы она была балериной и работала в кордебалете Мариинского театра.

Она была в некотором роде даже знаменитостью, поскольку ею увлекался бывший великий князь Николай Николаевич. Правда, он вскоре ее оставил, подарив ей какой-то особый кротовый палантин, бусы и еще чего-то такое. Но начатая карьера ее была сделана.

Обе эти старушки в дальнейшем будут играть довольно видную роль в жизни Мишеля Синягина, так что пусть читатель не принимает близко к сердцу и не сердится, что автор останавливается на описании таких, что ли, дряхлых и отцветших героинь.

Поэтическая атмосфера в доме благодаря Мишелю несколько отозвалась и на наших дамах. И Марья Аркадьевна любила говорить, что она вскоре приступит к своим мемуарам.

Ее бурная жизнь и встречи со многими известными

людьми стоили того. Она самолично будто бы два раза видела Л. Н. Толстого, Надсона, Кони, Переверзева и других знаменитых людей, о которых она и хотела поведать миру свои соображения.

Итак, перед началом революции семья приехала в Псков и там застряла на три года.

М. П. Синягин всякий день говорил, что он ни за что не намерен торчать здесь и что при первой возможности он уедет в Москву или Петроград.

Однако последующие события и перемены жизни значительно отдалили этот отъезд. И наш Мишель Синягин продолжал свою жизнь под псковским небом, занимаясь пока что своими стихами и своим временным увлечением одной местной девушкой, которой он в изобилии посвящал свои стихи.

Конечно, эти стихи не были отмечены гениальностью, они не были даже в достаточной мере оригинальны, но свежесть чувства и бесхитростный, несложный стиль делали их заметными в общем котле стихов того времени.

Автор не помнит этих стихов. Жизнь, заботы и огорчения изгнали из памяти изящные строчки и поэтические рифмы, но какие-то отрывки и отдельные строфы запомнились в силу их неподдельного чувства:

Лепестки и незабудки
Осыпались за окном...

Автор не запомнил всего этого стихотворения «Осень», но помнится, что конец его был полон гражданской грусти:

Ах, скажите же, зачем,
Отчего в природе
Так устроено? И тем
Счастья в жизни нет совсем...

Другое стихотворение Мишеля говорило о его любви к природе и ее бурным стихийным проявлениям:

ГРОЗА

Гроза прошла.
И ветки белых роз
В окно мне дышат
Дивным ароматом.
Еще трава полна
Прозрачных слез,
А гром гремит вдали
Раскатом.

Впрочем, это стихотворение настолько хорошо написано, что есть подозрение — уж не списано ли оно откуда-нибудь начинающим поэтом.

Во всяком случае, Мишель Синягин выдавал его за свое, и мы не считаем себя вправе навязывать читателю наши на этот счет соображения.

Во всяком случае, это стихотворение было разучено всей семьей, и старые дамы ежедневно нараспев повторяли его автору.

А когда приходили гости, Анна Аркадьевна Синягина волокла их в комнату Мишеля и там, показывая на письменный стол карельской березы, вздыхала и с увлажненными глазами говорила:

— Вот за этим столом Мишель написал свои лучшие вещи: «Гроза», «Лепестки и незабудки» и «Дамы, дамы...».

— Мамаша,— говорил, смущаясь, Мишель,— бросьте... Ну зачем же... Какая вы, право...

Гости покачивали головами и, не то одобряя, не то огорчаясь, трогали пальцами стол и неопределенно говорили: «Н-да, ничего себе».

Некоторые же меркантильные души тут же спрашивали, за сколько куплен этот стол, и тем самым переводили разговор на другие рельсы, менее приятные для матери и Мишеля.

Поэт отдавал внимание и женщинам.

Однако, находясь под сильным влиянием знаменитых поэтов того времени, в частности А. Блока, он не бросал свои чувства какой-нибудь отдельной женщине. Он любил нереально какую-то неизвестную женщину, блестящую в своей красоте и таинственности.

Одно прелестное стихотворения «Дамы, дамы, отчего мне на вас глядеть приятно» отлично раскрывало это отношение. Это стихотворение заканчивалось так:

Оттого-то незнакомкой я любуюсь. А когда
Эта наша незнакомка познакомится со мной,
Неохота мне глядеть на знакомое лицо,
Неохота ей давать обручальное кольцо...

Тем не менее поэт увлекся одной определенной девушкой, и в этом смысле его поэтический гений шел несколько вразрез с его житейскими потребностями.

Однако справедливость требует отметить, что Мишель тяготился своим земным увлечением, находя его несколько вульгарным и мелким. Его главным образом пугало, как бы его не скрутили и как бы его не заставили жениться и тем самым не снизили бы его до простых, повседневных поступков.

Мишель рассчитывал на другую, более исключительную судьбу. И о своей будущей жене он мечтал как о какой-

то удивительной даме, вовсе не похожей на псковских девушек.

Он не представлял в точности, какая у него будет жена, но, думая об этом, он мысленно видел каких-то собачек, какие-то меха, сбруи и экипажи. Он выходит с какой-то роскошно одетой дамой из экипажа, и лакей, почтительно кланяясь, открывает дверцы. Такие картины ему рисовались, когда он думал о своей будущей супруге.

Девушка же, которой он увлекался, была более простенькая девушка. Это была Симочка М., окончившая в тот год псковскую гимназию.

4

Влечение. Короткое счастье. Страстная любовь к поэту. Вдова М-ва и ее характеристика. Неожиданный визит. Некрасивая сцена. Согласие на брак

Относясь несколько небрежно к Симочке, Мишель все же порядочно был увлечен ею, ни на минуту, впрочем, не допуская мысли, что он может жениться на ней.

Это было просто увлечение, это была несерьезная и, так сказать, черновая любовь, которой и не следовало бы забивать своего сердца. Симочка была миленькая и даже славненькая девушка, но личико ее, к сожалению, чрезмерно было осыпано веснушками.

Но, поскольку она не входила глубоко в жизнь Мишеля, он и не протестовал против этого явления природы и даже находил это весьма милым и нелишним.

Они оба уходили в лес или в поле и там нараспев читали стихи или бегали взапуски, как дети, резвясь и восторгаясь солнцем и ароматом.

Тем не менее в одно прекрасное время Симочка почувствовала себя матерью, о чем и сообщила другу. Она любила его первым девичьим чувством и даже могла подолгу глядеть на его лицо не отрываясь.

Она страстно и трогательно любила его, отлично понимая, что он ей, провинциальной девушке, не пара.

Известие, сообщенное Симочкой, глубоко ошеломило и даже напугало Мишеля. Он не столько боялся Симочки, сколько он боялся ее матери, известной в городе гр. М., очень энергичной, живой вдовы, отягченной большой семьей. У нее было что-то около шести дочерей, которых она до-

вольно успешно и энергично устраивала замуж, идя ради этого на всевозможные хитрости, угрозы и даже оскорбления действием.

Это была очень такая смуглая, несколько рябая дама. Несмотря на это, все девочки у нее были белокурые и даже скорей белобрысенькие, похожие, вероятно, на отца, умершего два года назад от сапа.

В то время не было еще алиментов и брачных льгот, и Мишель с ужасом думал о возможных последствиях.

Он решительно не мог жениться на ней. Он не о такой мечтал жене, и не на такую провинциальную жизнь он рассчитывал.

Ему казалось все это временным, случайным и проходящим. Ему казалось, что вскоре начнется другая жизнь, полная славных радостей, восторгов, подвигов и начинаний.

И, глядя на свою подругу, он думал, что она ни в коем случае не должна быть его женой — эта белобрысенькая девушка с веснушками. Кроме того, он знал ее старших сестер — все они, выходя замуж, быстро увядали и старели, и это также было не по душе поэту.

Он уже хотел смотать удочки и выехать в Петроград, но последующие события задержали его в Пскове.

Смуглая и рябая дама, вдова М., пришла к нему на квартиру и потребовала, чтобы он женился на ее дочери.

Она пришла в тот день и в тот час, когда в квартире никого не было, и Мишель волей-неволей должен был единолично принять на себя весь удар.

Она пришла к нему в комнату и сначала даже несколько сконфуженно и робко поведала о цели своего посещения.

Скромный, мечтательный и деликатный поэт сначала так же вежливо пытался возражать ей, но все слова его были малоубедительны и не доходили до сознания энергичной дамы.

Вскоре вежливый тон сменился на более энергичный. Последовали жесты и даже безобразные слова и крики. Оба кричали одновременно, стараясь заглушить друг друга и тем самым морально подавить волю и энергию.

Вдова М. сидела в кресле, но, разгорячившись, начала крупно шагать по комнате, двигая для большей убедительности стулья, этажерки и даже тяжелые сундуки. Мишель, как утопающий, старался выбраться из пучины и, не сдаваясь, орал и старался даже физически оттеснить вдову в другую комнату и прихожую.

Но вдова и любящая мать неожиданно вдруг вскочила

на подоконник и торжественным голосом сказала, что вот сейчас она выпрыгнет из окна на Соборную улицу и погибнет, если он не даст своего согласия на этот брак. И, раскрыв окно, она моталась на подоконнике, рискуя каждую минуту свалиться вниз.

Мишель стоял ошеломленный и, не зная, что делать, то подбегал к ней, то к столу, то бросался, схватившись за голову, в коридор, чтоб позвать на помощь.

Уже внизу, на улице, стали собираться люди, показывая пальцами и высказывая самые смелые предположения по поводу кричащей и прыгающей на окне дамы. Гнев, оскорбление, страх скандала и ужас сковывали Мишеля, и он стоял теперь, подавленный столь энергическим характером этой дамы.

Он стоял у стола и с ужасом наблюдал за своей гостьей, которая пронзительно, как торговка, визжала и требовала положительного ответа.

Ее ноги скользили по подоконнику, и каждое неосторожное движение могло вызвать ее падение со второго этажа.

Была чудная августовская погода. Солнце блестело с синего неба. Зайчик на стене прыгал от раскрытого окна. Все было знакомо и прекрасно в своей милой повседневности, и только кричащая и визжащая дама нарушала обычный ход вещей.

И, волнуясь и умоляя прекратить выкрики, Мишель дал свое согласие на брак с Симочкой.

Мадам немедленно и охотно сошла тогда с окна и тихим голосом попросила его извинить за ее несколько, может быть, шумное поведение, говоря при этом о своих материнских чувствах и ощущениях.

Она поцеловала Мишеля в щеку и, назвав его своим сыном, всхлипнула при этом от неподдельности своих чувств.

Мишель стоял как в воду опущенный, не зная, что сказать и что сделать и как выпутаться из беды. Он проводил вдову до дверей и, подавленный ее волей, поцеловал даже неожиданно для себя ее руку и, окончательно смешавшись, попрощался до скорого свидания, лепеча какие-то отдельные слова, мало идущие к делу.

Вдова молча, торжественно и сияя, покинула дом, предварительно попудрившись и подрисовав сбитые на сторону брови.

5

Нервное потрясение. Литературное наследство. Свидание. Свадьба. Отъезд тетки Марьи. Кончина матери. Рождение ребенка. Отъезд Мишеля

В тот злосчастный день вечером, после ухода незваной гостьи, Мишель написал свое известное стихотворение, впоследствии переложенное на музыку: «Сосны, сосны, ответьте мне...».

Это его несколько успокоило, однако потрясение было настолько значительное и серьезное, что ночью Мишель почувствовал сильное сердцебиение, безотчетный страх, тошноту и головокружение.

Думая, что помирает, с трясущимися руками, в одних подштанниках, поэт вскочил с кровати и, хватаясь за сердце, с тоской и страхом разбудил свою мамашу и тетку, которые не были еще посвящены в эту историю. И, ничего не объясняя, он начал лепетать о смерти и о том, что он хочет отдать свои последние распоряжения по поводу рукописей.

Он, качаясь, подошел к столу и начал вытаскивать груды рукописей, перебирая их, сортируя и указывая, что, по его мнению, следовало бы издать и что следует отложить на будущее время.

Обе немолодые дамы, отвыкшие от ночных похождений, в нижних юбках и с распущенными волосами, с тоской метались по комнате и, заламывая руки, пытались уговорить и даже силой уложить Мишеля в постель, считая нужным поставить ему компресс на сердце или смазать йодом бок и тем самым оттянуть кровь, бросившуюся в голову.

Но Мишель, прося не тревожиться за свою, в сущности, ничтожную жизнь, велел лучше запоминать то, что он говорит по поводу своего литературного наследства.

Разобрав рукописи, Мишель, бегая по комнате в своих подштанниках, начал диктовать тетке Марье Аркадьевне новый вариант «Лепестков и незабудок», который он не успел еще переложить на бумагу.

Плача и захлебываясь слезами, тетка Марья при свете свечи марала бумагу, путая и перевирая строфы и рифмы.

Лихорадочная работа несколько отвлекла Мишеля от его заболевания. Сердцебиение продолжалось, но было более умеренно, и головокружение сменилось полной сон-

ливостью и апатией. И Мишель неожиданно для всех тихо заснул, прикорнув в кресле.

Прикрыв его пледом и перекрестив, старые дамы удалились, страшась за столь нервный организм и неуравновешенную психику поэта.

На другой день Мишель встал освеженный и бодрый. Но вчерашний страх не покидал его, и он поведал о своих потрясениях своим родственницам.

Драмы и слезы были в полном разгаре, когда пришла записочка от Симочки, умоляющей его о свидании.

Он пошел на это свидание, надменный и сдержанный, не думая, впрочем, в силу некоторой своей порядочности, ловчиться и отлынивать от обещаний.

Влюбленная женщина умоляла его простить недостойное поведение ее матери, говоря, что она лично хотя и мечтала связать свою жизнь с ним, но никогда не рискнула бы пойти на такие нахальные требования.

Мишель сдержанно сказал, что он сделает то, что обещано, но что на дальнейшую совместную жизнь он не дает гарантии. Может, он проживет во Пскове год или два, но в конце концов он скорей всего уедет в Москву или Петроград, где он и намерен продолжать свою карьеру, или, во всяком случае, будет там искать соответствующей жизни, удовлетворяющей его потребностям.

Не оскорбляя девушку словами, Мишель все же дал ей понять разницу в их если и не положении, которое уравнялось революцией, то, во всяком случае, назначении жизни. Он сказал ей:

— Вы маленький корабль, а я большой. И мне предстоит иное плавание.

Влюбленная молодая дама соглашалась во всем, восторженно глядела на его лицо и говорила, что она ничем не хочет связывать его жизни, что он волен поступать так, как ему заблагорассудится.

Несколько успокоенный в этом смысле, Мишель сам даже стал говорить, что брак этот — решенное дело, но что когда он произойдет, он еще не может сказать.

Они расстались, как и прежде, скорее дружески, чем враждебно. И Мишель спокойным шагом побрел домой, несмотря на то, что рана в его душе не могла зажить так скоро.

Мишель женился на Симочке М. примерно через полгода, кажется, зимой, в январе 1920 года.

Предстоящий брак чрезвычайно подействовал на здоровье матери Мишеля. Она начала жаловаться на скуку

жизни и пустоту и на глазах чахла и хирела, почти не вставая из-за самовара. Понятие о браке было в то время несколько иное, чем теперь, и это был шаг, по мнению старых женщин, единственный, решительный и освященный таинством.

Тетка Марья также была потрясена. Причем она как-то даже оскорбилась подобным ходом дела и уже все более часто говорила, что ей здесь не место, что она в ближайшее время поедет в Петроград, где и приступит к своим мемуарам и описаниям встреч.

Мишель, несколько сконфуженный всеми делами, угрюмый ходил по комнатам, говоря, что, если б не данное слово, он наплевал бы на все и уехал бы куда глаза глядят. Но, во всяком случае, пусть все знают, что этот брак не связывает его: он хозяин своей жизни, он не отступает от своих планов и, вероятно, через полгода или год поедет вслед за теткой.

Свадьба была сыграна скромно и просто.

Они записались в комиссариате, после чего в церкви Преображения было устроено скромное венчание. Все родственники с обеих сторон ходили сдержанные и как бы поразному оскорбленные в своих чувствах. И только вдова М., напудренная и подкрашенная, носилась в своей вуали по церкви и по квартире Мишеля, в которой и был устроен свадебный ужин.

Вдова одна за всех говорила за столом, провозглашала тосты и спичи и осыпала старух комплиментами, всячески поддерживая этим веселое расположение духа и приличный тон свадьбы.

Молодая краснела за свою мать — и за ее рябоватое лицо, и за ее пронзительный, не дававший никому спуску голос — и, опустив голову, сидела за своим прибором.

Мишель за весь вечер не терял своей сдержанности, однако его точила тоска и мысль о том, что его все же, чего бы там ни говорили, опутали, как болвана. И что эта крайне энергичная женщина взяла его на испуг, тем более что навряд ли она кинулась бы из окна.

И в конце ужина, криво усмехаясь, он, после поздравлений и любезностей, спросил вдову об этом, наклонившись к ее уху:

— А ведь вы бы не прыгнули из окна, Елена Борисовна? — сказал он.

Вдова успокаивала его, как могла, говоря и давая торжественные клятвы в том, что она несомненно и скорей всего прыгнула бы, если б он не дал своего согласия. Но под

конец, разозленная его кривыми улыбочками, сердито сказала, что у нее шесть дочерей и если из-за каждой она начнет из окон прыгать, то неизвестно еще, что бы от нее осталось.

Мишель пугливо смотрел на ее злое, оскорбленное лицо и, смешавшись, отошел в сторону.

— Все ложь, форменный эгоизм и обман,— бормотал Мишель, с краской в лице вспоминая подробности.

Вечер все же прошел прилично и не оскорбительно для гостей, и началась повседневная жизнь с разговорами об отъезде, о лучшей жизни и о том, что в этом городе невозможно сколько-нибудь прилично устроить свою судьбу, принимая во внимание революционную грозу, которая все более и более разгоралась.

В ту весну, наконец собравшись, уехала в Петроград тетка Марья Аркадьевна и вскоре оттуда прислала отчаянное письмо, в котором извещала, что в дороге ее обокрали, унеся ее саквояж с частью драгоценностей.

Письмо было несвязное и запутанное — видимо, это потрясение сильно подействовало на немолодую даму.

К этому времени тихо и неожиданно скончалась мать Мишеля, не успев даже ни с кем проститься и отдать свои последние распоряжения.

Все это сильно подействовало на Мишеля, который стал какой-то тихий, робкий и даже пугливый. Были пролиты слезы, но это событие вскоре заслонилось другим.

У Симочки родился щупленький, но милый ребенок, и новое, неиспытанное отцовское чувство несколько захватило Мишеля.

Однако это недолго продолжалось. Он снова начал поговаривать об отъезде, уже более реально и решительно.

И осенью, получив от тетки Марьи новое письмо, которое он никому не показал, Мишель быстро стал собираться, говоря, что он обеспечивает свою жену и ребенка всем движимым имуществом, оставляя его в их полную собственность.

Молодая дама, по-прежнему, а может, даже и более влюбленная в своего супруга, с ужасом слушала его слова, но не смела его удерживать, говоря, что он волен поступать, как ему хочется.

Она его любит по-прежнему и несмотря ни на что, и пусть он знает, что тут, в Пскове, остается верный ему человек, готовый следовать за ним и в Петроград, и в ссылку, и на каторгу.

Пугаясь, как бы она не увязалась за ним в Петроград,

Мишель переводил разговор на другие темы, но молодая дама, рыдая, продолжала говорить о своей любви и самопожертвовании.

Да, она ему не пара, она всегда это знала, но если когда-нибудь он будет старый, безногий, если когда-нибудь он ослепнет или будет сослан в Сибирь,— тогда он может позвать ее, и она с радостью отзовется на его приглашение.

Да, она даже хотела бы для него беды и несчастья — это их уравняло бы в жизни.

Мучаясь от жалости и проклиная себя за малодушие и такие разговоры, Мишель стал поторапливаться с отъездом.

В эту пору объяснений и слез Мишель написал новое стихотворение: «Нет, не удерживай меня, младая дева» и стал быстро и торопливо укладывать свои чемоданы.

Он недолго вкушал семейное счастье и в одно прекрасное утро, достав разрешение на выезд, отбыл в Петроград с двумя небольшими чемоданами и корзинкой.

6

Новые планы. Несчастье тетки Марьи. Мишель поступает на службу. Новая комната. Новая любовь. Неожиданная катастрофа. Серьезная болезнь тетки

Мишель приехал в Петроград и поселился на Фонтанке, угол Невского.

Он временно поселился в теткиной комнате за ширмой. Однако ему твердо была обещана отдельная комната, как только кто-нибудь из жильцов помрет.

Но Мишель и не очень торопился с этим. Другие идеи и планы теснились в его голове.

Он приехал в Петроград примерно за год или за два до нэпа. Голод и разруха, так сказать, сжимали город в своих цепких объятиях. И, казалось, было странным приезжать в эту пору и искать лучшей жизни и карьеры. Но на это были свои причины.

В присланном письме тетка Марья со своей беспечностью извещала Мишеля, что, вероятно, в ближайшие месяцы город Петроград отойдет к Финляндии или к Англии и будет объявлен вольным городом. В ту пору такие слухи ходили среди населения, и Мишель, взволнованный этим извещением, поторопился приехать.

Тетка, кроме того, извещала, что она отнюдь не переменила своих либеральных убеждений и не идет против революции, но поскольку революция продолжается так долго и вот уже третий год, как ей не отдают имения, то это просто ни на что не похоже, и в таком случае им самим необходимо предпринять решительные шаги.

Итак, в силу этого, Мишель прибыл в Петроград и поселился на Фонтанке.

Он нашел тетку чрезвычайно изменившейся. Он просто не узнал ее. Это была весьма похудевшая старуха с отвисшей челюстью и блуждающим взором.

Тетка поведала ему, что ее за это время дважды обчистили. Первый раз в поезде и второй раз здесь, на квартире. К ней под видом обыска пришли просто какие-то мазурики и, предъявив фальшивый мандат, унесли почти все оставшиеся драгоценности.

Когда-то веселая и живая дама стала тихой, дрябловатой и нелюбопытной старухой. Она по большей части лежала теперь на своей кровати и неохотно вступала в разговор даже с Мишелем. А если и начинала говорить, то сводила разговор главным образом на свои кражи, волнуясь при этом и неся какую-то явную околесицу.

Однако тетка не была в нужде. На ее шее была прекрасная массивная цепь с золотым лорнетом. На пальцах ее были нанизаны разные кольца и караты, и имущества в комнате было слишком достаточно.

Время от времени тетка Марья продавала на базаре ту или иную вещь и жила довольно прилично, помогая при этом Мишелю, который ничего не имел и не предполагал иметь.

Слухи о вольном городе оставались ни на чем не обоснованными слухами. И в силу этого приходилось подумать о более оседлой жизни и о будущей судьбе.

И Мишель, записавшись на биржу труда, вскоре получил назначение на работу.

Он получил назначение во Дворец Труда. И в силу того, что он не имел никакой специальности и, в сущности, не умел ничего делать, ему дали мелкую, бестолковую работу в справочном отделении.

Такая работа, конечно, не могла удовлетворить духовных и поэтических запросов Мишеля. Больше того — он был несколько даже сконфужен и даже обижен такой работой, более пригодной для молодой беспечной девицы. Давать справки и указания, где какая комната расположена и где какой работает товарищ, — это было просто

смешно, несерьезно и даже форменным образом оскорбительно для его мужского достоинства.

Однако в ту пору нельзя было быть слишком разборчивым, и Мишель нес свои обязанности, неясно надеясь на какие-то перемены и улучшения. К этому времени Мишель получил в квартире комнату, которая неожиданно очистилась благодаря отъезду за границу одного известного поэта X. Это была прелестная небольшая комната, тоже с видом на Фонтанку и Невский.

Это обстоятельство окрылило Мишеля, и поэт сделал даже несколько стихотворных набросков, освежив этим свое угасавшее творчество.

Получая паек и небольшую помощь от тетки, он уже довольно прилично себя чувствовал и стал ходить по гостям, найдя в городе кое-каких бывших своих знакомых и товарищей.

В эту зиму было получено два письмеца от Симочки.

Эти письма взволновали Мишеля, но, мучаясь от жалости к ней, он все же решил не отвечать на них, находя более правильным не морочить голову молодой женщине и не давать ей неопределенных надежд.

И он продолжал свою жизнь, отыскивая в ней новые радости. В ту пору он сошелся с одной весьма красивой женщиной, несколько, правда, развязной в своих движениях и поступках.

Это была некая Изабелла Ефремовна Крюкова — очень красивая, элегантная женщина, совершенно неопределенной профессии и даже, кажется, не член профсоюза.

Эта связь доставила Мишелю много новых беспокойств и треволнений.

Не имея средств для приличной жизни, Мишель сколько возможно тянул со своей тетки, которая с каждым днем делалась все более угрюмой, нелюбезной и неохотно пускала в комнату Мишеля. И всякий раз беспокойно следила за его движениями во время визита, видимо побаиваясь, как бы он чего не стянул из ее имущества.

Она давала ему незначительные подачки, и Мишелю приходилось убеждать, кричать, даже ругать тетку, обзывая ее скупердяйкой, держимордой и сволочью.

Около года продолжалась такая беспокойная жизнь.

Красивая возлюбленная приходила к Мишелю на своих французских каблучках и требовала все новых и новых расходов. Поэту приходилось изворачиваться и ломать себе голову в поисках доходов.

Мишель продолжал нести свою службу, к которой он

относился все более небрежно и халатно. Он неохотно давал теперь справки, кричал на посетителей и даже в раздражении иной раз топал на них ногами, посылая более назойливых к чертям собачьим и дальше.

Он особенно не любил грязных и неуклюжих мужиков, которые приходили за справками, путая, перевирая и неточно излагая свои мысли.

Мишель грубо орал на них, называя их сиволапыми олухами, и морщился от запаха нищеты, некрасивых лиц и грубой одежды.

Конечно, так не могло долго продолжаться, и после целого ряда жалоб Мишель потерял службу, лишившись пайка и кое-каких доходов.

Это был, в сущности говоря, серьезный удар и даже форменная катастрофа, но влюбленный поэт не замечал, что тучи над его головой сгущаются.

Изабелла Ефремовна приходила к нему почти что всякий день и пела грудным низким голосом разные цыганские романсы, притопывая при этом ногами и аккомпанируя себе на гитаре.

Это была прелестная молодая дама, рожденная для лучшей судьбы и беспечной жизни. Она презирала бедность и нищету и мечтала уехать за границу, подбивая на это Мишеля, с которым она мечтала перейти персидскую границу.

И в силу этого Мишель не искал работы и жил, надеясь на какие-то неожиданные обстоятельства. И эти обстоятельства вскоре последовали.

В одно ненастное утро, придя в комнату тетки для того, чтобы попросить у нее необходимых ему денег, и приготовившись к стычке, Мишель был поражен беспорядком и сдвинутыми с места вещами. Тетка Марья сидела в кресле, перебирая в руках какие-то бутылки, пузырьки и коробочки.

Она взволновалась, когда Мишель вошел в комнату, и, пряча под платок свои склянки, начала визжать и бросать в Мишеля что попадет под руку.

Мишель стоял остолбеневший около двери, не смея шагнуть дальше и не понимая, что, собственно, тут происходит. Через несколько секунд тетка, позабыв о Мишеле, начала кружиться по комнате, напевая при этом шансонетки и вскидывая ногами. Тогда Мишель понял, что тетка Марья свихнулась в своем уме. И, пугаясь ее, взволнованный, потрясенный, он прикрыл дверь и в щелочку начал следить за безумной старухой.

У нее появились совершенно необычайные молодые движения. Ее обычная за последний год неподвижность сменилась каким-то бурным весельем, движением и суетой.

Тетка буквально порхала по комнате и, подбегая к зеркалу, гримасничала и кривлялась, посылая неизвестно кому воздушные поцелуи.

Мишель, пораженный, стоял за дверью, прикидывая в уме, как ему поступить и что делать и какие, собственно говоря, выгоды он может снять с этого дела.

Затем, прикрыв плотно дверь, Мишель кинулся к уполномоченному квартирой, чтоб сообщить о несчастье.

7

Тетку отправляют в лечебницу. Желтый дом. Веселая жизнь. Свидание с теткой. Окончательная распродажа имущества

Квартира, в которой проживал Мишель, была коммунальная. В ней было десять комнат с тридцатью с лишком жильцами. Мишель не имел отношения к этим людям, он даже чуждался их и не заводил знакомств.

Тут, между прочим, жил портной Елкин со своей супругой и ребенком, фабричная работница, бухгалтер Госцветмета Р. и почтовый служащий Н. С., который и являлся уполномоченным квартиры.

Было воскресенье, и все жильцы находились дома в своих комнатах.

Стараясь не шуметь и говоря взволнованным шепотом, Мишель предупредил уполномоченного о буйном сумасшествии своей тетки.

Было решено вызвать карету скорой помощи и поскорей сплавить старуху в сумасшедший дом, поскольку это представляло значительную опасность для жильцов.

Мишель, ахая, бросился в нижнюю квартиру и по телефону вызвал карету скорой помощи, которая и прибыла незамедлительно.

Два человека в белых балахонах в сопровождении Мишеля вошли в комнату старухи.

Тетка Марья, забившись в угол, не подпускала к себе никого, бросаясь вещами и ругаясь, как мужчина.

Позади раскрытых дверей теснились жильцы, помогая советами и планами захвата старухи.

Все говорили шепотом и с нескрываемым диким любопытством следили за движениями безумной старухи.

Братья милосердия в своих халатах, как более опытные, одновременно шагнули к больной и, схватив ее за руки, сжали ее в своих объятиях. Старуха старалась укусить их за руки, но, как это и всегда бывает, бурная энергия сменилась спокойствием и даже безжизненной апатией.

Старуха позволила надеть на себя ватерпруф. Голову ей обвязали платком, и, подталкиваемая сзади Мишелем, она была благополучно под руки спущена вниз и посажена в автомобиль, в который уместился и Мишель, со страхом поглядывая на свою обезумевшую родственницу.

Всю дорогу тетка почти не проявляла признаков жизни, и только когда автомобиль приехал на Пряжку и остановился у желтого дома, тетка Марья снова проявила буйство и, сопротивляясь, долго не хотела вылезать из автомобиля, снова ругаясь безобразными словами. Однако ее благополучно вывели и под руки через сад повели в подъезд.

Сторож у ворот, привыкший к таким делам, без любопытства наблюдал за этой сценой и, привстав со своей скамейки, молча пальцем указал, куда двигаться.

Старуху провели через темный коридор и сдали в распределитель.

Мишель заполнил анкету и, получив на руки теткины драгоценности — ее золотую цепочку с лорнетом, кольца и брошь, вышел взволнованный из приемной комнаты.

Он прошел сад и, очутившись на улице, остановился в нерешительности. Потом долго ходил по улице и со страхом и даже с ужасом поглядывал на желтый дом, прислушиваясь к крикам и воплям, доносившимся из открытых окон.

Он пошел было домой, но, остановившись на деревянном мосту через Пряжку, обернулся назад.

Желтый дом с облезлой, грязной штукатуркой был теперь весь на виду. В окнах за решетками мелькали белые фигуры. Некоторые неподвижно стояли у окон и смотрели на улицу. Другие, ухватившись за решетки, старались сдвинуть их с места.

Внизу на улице, на берегу Пряжки, стояли нормальные люди и с нескрываемым любопытством глядели на сумасшедших, задрав кверху свои головы.

Мишель быстро и не оглядываясь пошел домой, неся в своих руках теткины драгоценности.

Первые дни потрясения прошли, все улеглось, и жизнь, как обычно, пошла дальше.

Не имея службы и не ища ее, Мишель продолжал беспечно существовать и, встречаясь со своей возлюбленной, жил на теткино имущество, которое так неожиданно досталось ему.

В то время был уже нэп во всем своем разгаре. Снова были открыты магазины, театры и кино. Появились извозчики и лихачи. И Мишель со своей дамой окунулся в водоворот жизни.

Они под руку появлялись во всех ресторанах и кабачках. Танцевали фокстрот и, утомленные, почти счастливые, возвращались на лихаче домой, с тем чтобы заснуть крепким сном и утром снова начать веселое, беспечное существование. Но иной раз, вспоминая про свою тетку и тратя ее имущество, Мишель чувствовал угрызения совести и тогда всякий раз давал себе слово навестить больную, для того чтоб снести ей кое-каких конфет и гостинцев и тем самым сделать ее участницей в расходах.

Но дни шли за днями, и Мишель откладывал свое посещение.

В эту зиму веселья и танцев Мишель получил извещение из Пскова от своего владельца дома и теперь арендатора о том, что его жена, потеряв ребенка и выйдя замуж, уехала из квартиры, задолжав ему значительную сумму. Она оставила кое-какую мебель, которую арендатор и сосчитает своей, если Мишель не пришлет ему денег в ближайший месяц.

Прочтя это письмо утром, после попойки, Мишель сердито скомкал его и бросил под кровать, с тем чтобы не вспоминать о своей прошлой бесцветной жизни.

Так проходила зима, и в один из февральских дней, после того как были проданы последние драгоценности, Мишель отправился к тетке на свидание.

Он купил разной снеди и, с тяжелым сердцем и неопределенным страхом, отправился на Пряжку.

Тетку привели в приемную комнату и оставили ее вместе с Мишелем.

Буйное сумасшествие сменилось тихой меланхолией, и теперь тетка Марья в своей белой полотняной кофте стояла перед Мишелем и, странно и хитро поглядывая на него, не узнавала своего племянника.

Он сказал несколько неопределенных слов и стал делать руками энергичные жесты, понятные сумасшедшим. Потом Мишель молча поклонился и вышел из помещения, с тем чтобы сюда никогда не возвращаться.

С легким сердцем Мишель вернулся домой и уже со спокойной совестью стал распоряжаться своим наследством.

Изабелла Ефремовна ревностно помогала ему в этом, уговаривая его поменьше церемониться и стесняться в смысле окончательной распродажи всего имущества.

8

Неожиданная беда. Ужасный скандал. Нервная болезнь Мишеля. Ссора с возлюбленной. Падение

В апреле 1925 года стояла исключительно хорошая и ясная погода.

Мишель в легком пальто, под руку с Изабеллой Ефремовной, выходил из своей комнаты, желая пойти погулять по набережной и посмотреть на ледоход.

И, закрывая дверь на ключ и напевая «Бананы, бананы», он поглядывал на свою даму.

Она тут же колбасилась в коридоре, делая своими стройными ножками разные па и танцуя чарльстон.

Она была чудесно хороша в своем светлом весеннем костюме, со своим прелестным профилем и завитушками из-под шляпы.

Мишель любовно глядел на нее, восхищаясь ее красотой, молодостью и беспечностью.

Да, конечно, она не была ученая девица, способная с легкостью поговорить о Канте или Бабеле или о теории вероятности и относительности.

Безусловно, она этого ничего не знала и не имела склонности к умозрительным наукам, предпочитая им легкую, простую жизнь. Морщины раздумья не бороздили ее лба.

Мишель любил ее со всей страстью и, мысленно сравнивая ее со своей бывшей Симочкой, приходил в ужас — как он мог так низко пасть, женившись на такой провинциальной курочке.

Итак, танцуя чарльстон и дурачась и взявшись за руки, они пошли по коридору и, выйдя в прихожую, остановились, чтоб пропустить вошедшую пару.

Это был рассыльный с книжкой и рядом с ним старая женщина, завернутая в зимний ватерпруф, с головой, повязанной шерстяным платком.

Это была не кто иная, как тетка Марья.

Грубым, шутливым тоном рассыльный спросил, здесь ли проживала выздоровевшая гражданка А., и если здесь, то вот не угодно ли принять кого следует.

Все помутилось в глазах Мишеля. Ноги приросли к полу, и страх отнял у него дар речи.

Кое-как поставив небольшую каракулю в рассыльной книге, Мишель перевел глаза на тетку, которая, сконфуженно улыбаясь, ручкой приветствовала своего племянника.

Мишель начал лепетать непонятные слова и, пятясь к двери, старался заслонить проход, не желая тем самым пропустить тетку дальше.

Тетка Марья шагнула к нему и начала довольно понятно изъясняться, говоря, что она сильно прихворнула, но теперь почти что оправилась и в дальнейшем нуждается только в полной тишине и спокойствии.

Понимая всю серьезность дела и не желая мешать объяснению родственников, Изабелла Ефремовна, сказав, что она зайдет завтра, как птичка выпорхнула на лестницу и исчезла.

А тетка Марья в сопровождении Мишеля пошла по коридору, направляясь к своей двери.

Мишель взял тетку под руку и, стараясь не допустить ее в комнату, в которой оставалась лишь какая-то жалкая дребедень, тянул ее к себе, говоря, что ну вот и отлично, и прекрасно, сейчас они присядут у Мишеля на диване и попьют чайку.

Однако тетка, не пожелав чаю, настойчиво шла к своей комнате, твердо сохранив в своем непрочном уме расположение комнат.

Она вошла в комнату и остановилась, пораженная и полная гнева.

Автор, щадя нервы читателей, не считает возможным продолжать свое описание скандала и драматических сцен, происшедших в первые полчаса. Оголенная комната зияла своей пустотой. В углу стоял нетронутый мраморный умывальник и несколько стульев, не проданных в силу значительной изношенности.

Тетка Марья Аркадьевна моментально поняла, что случилось. Ужасная бледность покрыла ее лицо. Потом гнев зажегся в ее глазах, и она с бешенством набросилась на Мишеля, снова по-мужски ругаясь и выкрикивая такие слова, от которых шарахались в сторону видавшие виды жильцы.

Нервный подъем сменился тихими слезами, чем вос-

пользовался Мишель. Он проскользнул в свою комнату и, обессиленный, рухнул на кровать.

К вечеру стало известно, что тетка вновь свихнулась в своем уме и вновь делает по своей комнате какие-то прыжки и движения.

Еле волоча ноги, Мишель убедился в этом и, сделав соответствующие распоряжения, вернулся к себе.

К ночи тетку Марью вновь отвезли в психиатрическую лечебницу.

Жильцы судачили о всяких превратностях судьбы и говорили о необходимости показательного суда над Мишелем, который обратно свел тетку с ума, решив воспользоваться ее последними вещами.

Однако Мишель на другой день слег в постель в нервной горячке и этим прекратил пересуды.

Три недели он пролежал, думая, что пришел ему конец и расплата, но молодость и цветущее здоровье сохранили ему жизнь.

Изабелла Ефремовна изредка посещала его. Ее веселость сменилась натянутостью, и она еле разговаривала с больным, пикируясь и капризничая. Болезнь значительно изменила Мишеля. Вся его беспечность ушла, и он снова был таким же, как в Пскове,— меланхоличным и созерцательным субъектом.

Вновь приходилось подумать о существовании и о куске насущного хлеба.

М. П. Синягин принялся хлопотать и несколько раз ходил на биржу труда, регистрируясь и отмечаясь.

Не умея ничего делать и не зная никакой специальности, он имел, конечно, мало шансов получить приличную работу.

Правда, ему сразу предложили поехать на торфяные разработки, говоря, что, не имея специальности, он вряд ли получит сейчас что-либо другое. Это предложение страшно поразило Мишеля и даже напугало. Как, он должен поехать куда-то там такое за шестьдесят верст и там копать лопатой разную дрянь и глину! Это никак не укладывалось в его голове, и он, сердито обругав барышню свиньей, ушел домой.

Он стал продавать свои вещи, приобретенные за время своего благополучия, и полгода жил довольно прилично, не имея сильной нужды.

Но так, конечно, не могло вечно продолжаться, и надо было подумать о чем-то существенном.

И, понимая, что он катится под гору, Мишель старался

все же не думать об этом и, сколько возможно, оттягивать решительный момент.

К этому времени он поругался с Изабеллой Ефремовной, которая все еще иногда заходила к нему и сердито, капризно спрашивала, что он намерен делать. Он поссорился с ней, назвав ее гадиной и корыстной бабой. И этот разрыв несколько даже облегчил его существование.

Изабелла Ефремовна охотно пошла на ссору и, хлопнув дверью, упорхнула, предварительно, конечно, поскандалив и поругавшись на разные побочные темы.

Мишель понимал свое критическое положение, и ему временами казалось, что всюду жизнь и, может, действительно стоит ему поехать на разработки. Однако, поругавшись на бирже и порвав свой листок, Мишель уже не имел мужества пойти туда вновь.

9

Приятная встреча. Новая работа. Мрачные мысли. Нищета. Душевное спокойствие. Благодетельная природа. Помощь автора. Кража пальто с обезьянковым воротником

Оставив себе серый пиджачок и осеннее пальто, Мишель без жалости расстался почти со всем своим имуществом. Но оставленные вещи чрезвычайно быстро приходили в ветхость, и это обстоятельство только усиливало падение.

Понимая, что ему не выбраться из создавшегося положения, Мишель вдруг успокоился и поплыл по течению, мало заботясь о том, что будет.

Однажды, встретив одного знакомого нэпмана и владельца маленькой фабрички минеральных и фруктовых вод, Мишель шутливо попросил каким-нибудь образом помочь ему.

Тот обещал устроить его на свою фабрику, однако предупредил, что работа будет не слишком подходящая для поэта и вряд ли Мишель на нее согласится. Надо было мыть бутылки, которые во множестве с разных сторон и даже из помоек поступали на фабрику, где их и приводили в христианский вид, полоща и моя с песком и еще с какой-то дрянью.

Мишель взял эту работу и несколько месяцев ходил в Апраксин рынок на производство, пока не прогорел его зарвавшийся нэпман.

Спокойствие и ровное душевное состояние не покидали Мишеля. Он как бы потерял старое представление о себе. И, приходя домой, ложился спать, не думая ни о чем и ни о чем не вспоминая. Когда нэпман прогорел и заработок был потерян, Мишель и тут не почувствовал большой беды.

Правда, временами — очень редко — находило на него раздумье, и тогда Мишель, как волк, бегал по своей комнате, кусая и грызя свои ногти, к чему он получил привычку за последний год.

Но это, собственно, были последние волнения, после чего жизнь потекла по-прежнему ровно, легко и бездумно.

Уже все жильцы в квартире видели и знали, как обстоят дела Мишеля, и сторонились его, побаиваясь, как бы он не сел им на шею.

И незаметно для себя Мишель из владельца комнаты стал угловым жильцом, поскольку в его комнату вселился один безработный, который по временам ходил торговать семечками.

Так прошел почти год, и жизнь увлекала Мишеля все глубже и глубже.

Уже портной Егор Елкин, заходя в комнату Мишеля, пьяным голосом иной раз просил его присмотреть за своим младенцем, так как надо было портному отлучиться, а супруга невесть где бродит по случаю своей красоты и молодости.

И Мишель заходил в комнату к портному и без интереса глядел, как полуголый ребенок скользит по полу, шаля, забавляясь и поедая тараканов.

Дни шли за днями, и Мишель ничего не предпринимал.

Он стал иногда просить милостыню. И, выходя на улицу, иной раз останавливался на углу Невского и Фонтанки и стоял там, спокойно поджидая подаяния.

И, глядя на его лицо и на бывший приличный костюм, прохожие довольно охотно подавали ему гривенники и даже двугривенные.

При этом Мишель низко кланялся, и приветливая улыбка растягивала его лицо. И, низко кланяясь, он следил глазами за монетой, стараясь поскорей угадать ее достоинство.

Он не замечал в себе перемены, его душа была попрежнему спокойна, и никакого горя он более не ощущал в себе.

Автору кажется, что это форменный вздор, когда многие и даже знаменитые писатели описывают разные трогательные мучения и переживания отдельных граждан, попав-

ших в беду, или, скажем, не жалея никаких красок, сильными мазками описывают душевное состояние уличной женщины, накручивая на нее черт знает что, и сами удивляются тому, чего у них получается. Автор думает, что ничего этого по большей части не бывает.

Жизнь устроена гораздо, как бы сказать, проще, лучше и пригодней. И беллетристам от нее совершенно мало проку.

Нищий перестает беспокоиться, как только он становится нищим. Миллионер, привыкнув к своим миллионам, также не думает о том, что он миллионер. И крыса, по мнению автора, не слишком страдает оттого, что она крыса.

Ну, насчет миллионера автор, возможно, что и прихватил лишнее. Насчет миллионера автор не утверждает, тем более что жизнь миллионеров проходит для автора как в тумане.

Но это дела не меняет, и величественная картина нашей жизни остается в силе.

Вот тут-то и приходит на ум то обстоятельство, о котором автор уже имел удовольствие сообщить в своем предисловии. Человек отлично устроен и охотно живет такой жизнью, какой живется. Ну, а которые не согласны, те, безусловно, идут на борьбу, и ихнее мужество и смелость всегда вызывали у автора изумление и чувство неподдельного восторга.

Конечно, автор не хочет сказать, что человек — и в данном случае М. П. Синягин — стал деревянным и перестал иметь чувства, желания, любовь хорошо покушать и так далее.

Нет, это все у него было, но это было уже в другом виде и, так сказать, в другом масштабе, вровень с его возможностями. И страданий от этого он не чувствовал. И даже прежние огорчения, казалось, были больше и сильнее.

Чувства автора перед величием природы не поддаются описанию!

Автор должен еще сказать, что он сам находился в те годы в сильной нужде, и помощь с его стороны родственнику была незначительная. Однако автор много раз давал ему, сколько было возможно.

Но однажды, в отсутствие автора, Мишель снял с вешалки чужое пальто с обезьянковым воротником и продал его буквально за гроши. После чего он вовсе перестал ходить и даже перестал раскланиваться с автором.

Конечно, автор понимал его грустное положение и даже одним словом не заикнулся о краже, но Мишель, чувствуя

свою вину, попросту отворачивался от автора и не хотел вступать с ним ни в какие разговоры.

Об этом автору приходится говорить с чрезвычайно, так сказать, стесненным чувством и даже с сознанием какой-то своей вины, в то время как никакой вины, в сущности, не было.

10

Жизнь начинается завтра. Выручка за день. Ночлежный дом. Сорок лет. Неожиданные мысли. Новое решение

Автор считает нужным предупредить читателя о том, что наше повествование окончится благополучно и в конце концов счастье вновь коснется крыльями нашего друга Мишеля Синягина.

Но пока что нам придется еще немного коснуться коекаких неприятных переживаний.

И так проходили месяцы и годы. Мишель Синягин побирался и почти всякий день отправлялся на эту свою работу либо к Гостиному Двору, либо к Пассажу.

Он становился к стенке и стоял, прямой и неподвижный, не протягивая руки, но кланяясь по мере того, как проходили подходящие для него люди. Он собирал около трех рублей за день, а иногда и больше, и вел сносную и даже сытую жизнь, кушая иной раз колбасу, студень, белый хлеб и так далее. Однако он задолжал за квартиру, не платя за нее почти два года, и этот долг висел теперь над ним, как дамоклов меч.

Уже к нему в комнату заходили люди и откровенно спрашивали об его отъезде.

Мишель говорил какие-то неопределенные вещи и давал какие-то неясные обещания и сроки.

Но однажды вечером, не желая новых объяснений и новых натисков, он не вернулся домой, а пошел ночевать в ночлежку, или, как еще иначе говорят, на «гопу», на Литейный проспект.

В ту пору на Литейном, недалеко от Кирочной, был ночлежный дом, где за двадцать пять копеек давали отдельную койку, кружку чая и мыло для умывания. Мишель несколько раз оставался здесь ночевать и в конце концов вовсе сюда перебрался со своим небольшим скарбом.

И тогда началась совсем размеренная и спокойная жизнь без ожидания каких-то чудес и возможностей.

Конечно, собирать деньги не было занятием слишком легким. Надо было стоять на улице и в любую погоду поминутно снимать шапку, застуживая этим свою голову. Но другого ничего пока не было, и другого выхода Мишель не искал.

Ночлежка с ее грубоватыми обитателями и резкими нравами, однако, значительно изменила скромный характер Мишеля.

Здесь тихий характер и робость не представляли никакой ценности и были даже, как бы сказать, ни к чему.

Грубые и крикливые голоса, ругань, кражи и мордобой выживали тихих людей или заставляли их соответственным образом менять свое поведение. И Мишель в короткое время изменился. Он стал говорить грубоватые фразы своим сиплым голосом и, защищаясь от ругани и насмешек, нападал, в свою очередь, сам, безобразно ругаясь и даже участвуя в драках.

Утром Мишель убирал свою койку, пил чай и, часто не мывшись, торопливо шел на работу, иногда беря с собой замызганный парусиновый портфель, который, как бы сказать, придавал ему особенно четкий интеллигентный вид и указывал на его происхождение и возможности. Дурная привычка последних лет — грызть свои ногти — стала совершенно неотвязчивой, и Мишель обкусывал свои ногти до крови, не замечая этого и не стараясь от этого отвыкнуть.

Так прошел еще год, итого почти девять лет со дня приезда в Ленинград. Мишелю было сорок два года, но опухшее лицо, длинные и седоватые волосы и рваное тряпье на плечах придавали ему еще более старый и опустившийся вид.

В мае 1929 года, сидя на скамейке Летнего сада и греясь на весеннем солнце, Мишель незаметно и неожиданно для себя, с каким-то даже страхом и торопливостью, стал думать о своей прошлой жизни: о Пскове, о жене Симочке и о тех прошлых днях, которые казались ему теперь удивительными и даже сказочными.

Он стал думать об этом в первый раз за несколько лет. И, думая об этом, почувствовал тот старый нервный озноб и волнение, которое давно оставило его и которое бывало, когда он сочинял стихи или думал о возвышенных предметах.

И та жизнь, которая ему когда-то казалась унизительной для его достоинства, теперь сияла своей какой-то необычайной чистотой. Та жизнь, от которой он ушел, казалась ему теперь наилучшей жизнью за все время его

существования. Больше того — прошлая жизнь представлялась ему теперь какой-то неповторимой сказкой.

Страшно взволнованный, Мишель стал мотаться по саду, махая руками и бегая по дорожкам.

И вдруг ясная и понятная мысль заставила его задрожать всем телом.

Да, вот сейчас, сегодня же, он поедет в Псков, там встретит свою бывшую жену, свою любящую Симочку, с ее милыми веснушками. Он встретит свою жену и проведет с ней остаток своей жизни в полном согласии, любви и нежной дружбе. Как странно, почему он раньше об этом не подумал. Там, в Пскове, остался любящий его человек, который попросту будет рад, что он вернулся.

И, думая об этом, он вдруг заплакал от всевозможных чувств и восторга, охвативших его.

И, вспоминая те жалкие и счастливые слова, которые она ему говорила девять лет назад, Мишель поражался теперь, как он мог ею пренебречь и как он мог учинить такую подлость — бросить славную, любящую женщину, готовую для него отдать свою жизнь.

Он вспоминал теперь каждое слово, сказанное ею. Да, это она ему сказала, и она молила судьбу, чтоб он был больной, старый и хромой, предполагая, что тогда он вернется к ней. И вот теперь это случилось. Он больной, старый, уставший. Он нищий и бродяга, потерявший все в своей жизни. Вот теперь он к ней придет и, став на колени, попросит прощенья за все, что он сделал ей. Ведь это она, его Симочка, сказала, что она пойдет за ним и в тюрьму, и на каторгу.

И, еще более взволновавшись от этих мыслей, Мишель побежал, сам не зная куда.

Быстрая ходьба несколько утихомирила его волнение, и тогда, торопясь и не желая терять ни одной минуты, Мишель отправился на вокзал и там начал расспрашивать, когда и с какой платформы отправляется поезд.

Но, вспомнив, что у него было не больше одного рубля денег, Мишель со страхом стал спрашивать о цене билета.

Проезд до Пскова стоил дороже, и Мишель, взяв билет до Луги, решил оттуда как-нибудь добраться до своего сказочного города, где когда-то прервалось его счастье.

Он приехал в Лугу ночью и крепко заснул на сложенных возле полотна шпалах.

А чуть свет, дрожа всем телом от утренней прохлады и волнения, Мишель вскочил на ноги и, покушав хлеба, пошел в сторону Пскова.

11

Возвращение. Родные места. Свидание с женой. Обед. Новые друзья. Служба. Новые мечты. Неожиданная болезнь

Мишель пошел по тропинке вдоль полотна железной дороги, шагая сначала в какой-то нерешительности и неуверенности. Потом он прибавил шагу и несколько часов подряд шел, не останавливаясь и ни о чем не думая.

Вчерашнее его волнение и радость сменились тупым безразличием и даже апатией. И он шел теперь, двигаясь по инерции, не имея на это ни воли, ни особой охоты.

Было прелестное майское утро. Птички чирикали, с шумом вылетая из кустов, около которых проходил Мишель.

Солнце все больше и больше пекло ему плечи. Ноги, завернутые в портянки и обутые в галоши, стерлись и устали от непривычной ходьбы.

В полдень Мишель, утомившись, присел на край канавы и, обняв свои колени, долго сидел, не двигаясь и не меняя позы.

Белые неподвижные облака на горизонте, молодые листочки деревьев, первые желтые цветы одуванчика напомнили Мишелю его лучшие дни и снова заставили его на минуту взволноваться о тех возможностях, которым он шел навстречу.

Мишель растянулся на траве и, глядя в синеву неба, снова почувствовал какую-то радость успокоения.

Но эта радость была умеренная. Это не была та радость и тот восторг, которые охватывали Мишеля в дни его молодости. Нет, он был другим человеком, с другим сердцем и с другими мыслями.

Неизвестно, правда ли это, но автору одна девушка, окончившая в прошлом году стенографические курсы, рассказала, что будто в Африке есть какие-то животные, вроде ящериц, которые при нападении более крупного существа выбрасывают часть своих внутренностей и убегают, с тем чтобы в безопасном месте свалиться и лежать на солнце, покуда не нарастут новые органы. А нападающий зверек прекращает погоню, довольствуясь тем, что ему дали.

Если это так, то восхищение автора перед явлением природы наполняет его новым трепетом и жаждой жить.

Мишель не был похож на такую ящерицу: он сам иной раз нападал и сам хватал своих врагов за загривок, но в схватке он, видимо, тоже растерял часть своего добра и сейчас лежал пустой и почти безразличный, не зная, собственно, зачем он пошел и хорошо ли это он сделал. Он даже досадовал теперь, что пустился в такое далекое путешествие, не узнав ничего о Симе и не списавшись с ней. Ведь, может быть, ее даже нет в живых.

Через два дня, отдыхая почти каждый час и ночуя в кустах, Мишель пришел в Псков, вид которого заставил забиться его сердце.

Мишель прошел по знакомым улицам и вдруг очутился у своего дома, с тоской заглядывая в его окна и до боли сжимая свои руки.

И тогда волнение снова охватило Мишеля.

И, открыв плечом калитку ворот, он вошел в сад, в тот небольшой тенистый сад, в котором когда-то писались стихи и в котором когда-то сидели тетка Марья, мамаша и Симочка.

Все было так же, как и девять лет назад, только дорожки сада были запущены и заросли травой.

Те же две высокие ели росли у заднего крыльца, и та же собачья будка без собаки стояла возле сарайчика.

Несколько минут стоял Мишель неподвижно, как изваяние, созерцая эти старые и милые вещи. Сердце его тревожно и часто билось. Но вдруг чей-то голос вернул его к действительности. Старая, завернутая в белую косынку старуха, беспокойно глядя на него, спросила, зачем он сюда пришел и что ему нужно.

Путаясь в словах и со страхом называя фамилии, Мишель стал расспрашивать о бывших жильцах, об арендаторе и о Серафиме Павловне, его бывшей жене.

Старуха, приехавшая сюда недавно, не могла удовлетворить его любопытство, однако указала адрес, где теперь проживала Симочка.

Через полчаса Мишель, унимая сердцебиение, стоял у дома на Басманной улице.

Он постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь и шагнул на порог кухни.

Какая-то женщина в переднике стояла у плиты, держа в одной руке тарелку; другой рукой, вооруженной вилкой, она доставала вареное мясо из кипящей кастрюльки.

Женщина сердито посмотрела и, нахмурившись, приготовилась закричать на вошедшего, но вдруг слова замерли на ее губах.

Это была Серафима Павловна, это была Симочка, сильно изменившаяся и постаревшая.

Ах, она очень похудела. Когда-то полненький ее стан и круглое личико были неузнаваемые и чужие.

У нее было желтоватое, увядшее лицо и короткие, обстриженные волосы.

— Серафима Павловна,— тихо сказал Мишель и шагнул к ней.

Она страшно закричала, металлическая тарелка выпала из ее рук и со звоном и грохотом покатилась по полу. И вареное мясо упало в кастрюлю, разбрызгивая кипящий суп.

— Боже мой,— сказала она, не зная, что сделать и что сказать.

Она подняла тарелку и, пробормотав: «Сейчас... только скажу мужу...», скрылась за дверью. Через минуту она снова вернулась в кухню и, робко протянув руку, попросила Мишеля сесть.

Не смея к ней подойти и страшась своего вида, Мишель сел на табурет и сказал, что вот он наконец пришел и что вот у него какое печальное, ужасное положение.

Он говорил тихим голосом и, разводя руками, вздыхал и конфузился.

— Боже мой, боже мой,— бормотала молодая женщина, с тоской ломая свои руки.

Она смотрела на его одутловатое лицо и на грязное тряпье его костюма и беззвучно плакала, не соображая, что делать.

Но вдруг из комнаты вышел муж Серафимы Павловны и, видимо, уже зная, в чем дело, молча пожал Мишелю руку и, отойдя в сторону, присел на другую табуретку возле окна.

Это был гражданин Н., заведывающий кооперативом, немолодой уже и скорей пожилой человек, толстоватый и бледный.

Сразу поняв, в чем дело, и сразу оценив положение и своего неожиданного соперника, он стал говорить веским и вразумительным тоном, советуя Серафиме Павловне позаботиться о Мишеле и принять в нем участие.

Он предложил Мишелю временно поселиться у них в доме, в верхней летней комнатке, поскольку уже в достаточной мере тепло.

Они обедали втроем за столом и, кушая вареное мясо с хреном, изредка перекидывались словами относительно дальнейших шагов. Муж Серафимы Павловны сказал, что службу сейчас найти крайне легко и что безработных сей-

час все меньше и меньше на бирже труда, так что в этом он не видит никакого затруднения. И это обстоятельство позволит, вероятно, Мишелю даже выбрать себе службу из нескольких предложений. Во всяком случае, об этом тревожиться не надо. Временно он будет проживать у них, а там, в дальнейшем, будет видно.

Мишель, не смея поднять глаза на Симочку, благодарил и жадно пожирал мясо и хлеб, запихивая в рот большие куски.

Симочка также не смела на него смотреть и только изредка бросала взгляды, по временам бормоча: «Боже мой, боже мой».

Мишелю устроили верхнюю комнату, поставив туда парусиновую кушетку и небольшой туалетный стол.

Мишель получил кое-какое белье и старый люстриновый пиджак и, умывшись и побрив свои щеки, с какой-то радостью облачился во все свежее и с радостью долго разглядывал себя в зеркало, поминутно благодаря своего благодетеля.

Сильные треволнения и ходьба страшно его утомили, и он как камень заснул у себя наверху.

Ночью, часов в одиннадцать, ничего не понимая и не соображая, где он находится, Мишель проснулся и вскочил со своего ложа.

Потом, вспомнив о случившемся, он присел у окна и стал вспоминать о всех словах, сказанных за день.

Ну что ж, кажется, все хорошо. Кажется, снова начнется покой и счастье. И, думая так, он вдруг почувствовал голод.

Вспоминая сытный, питательный обед, который он жадно и без разбора проглотил, Мишель тихой и вороватой походкой спустился вниз, в кухню, с тем чтобы пошарить там и снова подкрепить свои силы.

Он осторожно по скрипучим половицам вошел в кухню и, не зажигая света, стал шарить рукой по плите, отыскивая какую-нибудь еду.

Серафима Павловна вышла на кухню, дрожа всем телом, и, думая, что Мишель пришел с ней поговорить, объясниться и сказать то, чего не было сказано, подошла к нему, взяла его за руку и начала что-то лепетать взволнованным шепотом.

Сначала страшно испугавшись, Мишель понял, в чем дело, и, держа в руке кусок хлеба, безмолвно слушал слова своей бывшей возлюбленной.

Она говорила ему, что все изменилось и все прошло, что,

вспоминая о нем, она, правда, продолжала его любить, но что сейчас ей кажутся ненужными и лишними какие-либо новые шаги и перемены. Она нашла свою тихую пристань и больше ничего не ищет.

Мишель по простоте душевной, не услышав в ее словах какого-то полувопроса, какой-то тоски и тревоги, тотчас и не без радости ответил, что этих перемен он и не ожидает, но что он будет рад и счастлив, если она позволит ему временно проживать в ихнем доме.

И, жуя хлеб, Мишель благодарно пожимал ее ручки, прося не очень за него беспокоиться и не очень волноваться. Поговорив так около часу, они разошлись, он — спокойный и почти радостный, а она — взволнованная, потрясенная и даже убитая. Она неясно на что-то рассчитывала. И она ожидала услышать не те слова, которые она услышала.

И, вернувшись к себе, она долго плакала о своем прошлом, и о всей своей жизни, и о том, что все проходит, кроме смерти.

Через несколько дней, отъевшись и приведя себя в порядок, Мишель получил работу в управлении кооперативов.

Угасавшая жизнь снова вернулась к Мишелю, и, сидя за обедом, он делился своими впечатлениями за день и строил разные планы о будущих возможностях, говоря, что теперь он начал новую жизнь, и что теперь он понял все свои ошибки и все свои наивные фантазии, и что он хочет работать, бороться и делать новую жизнь.

Серафима Павловна с мужем дружески беседовали с ним, сердечно радуясь его успехам и возрождению.

Так проходили дни и месяцы, и ничто не омрачало жизнь Мишеля.

Но в феврале 1930 года Мишель, неожиданно заболев гриппом, который осложнился воспалением легких, умер почти на руках у своих друзей и благодетелей.

Симочка страшно плакала и долго не находила себе места, проклиная себя за то, что она не сказала Мишелю всего, что хотела и что думала.

Мишель был похоронен на бывшем монастырском кладбище. Могила его и посейчас убирается живыми цветами.



Рассказы

*

СТОРОЖ

Один знакомый парнишка рассказал мне эту занятную историю. Только, к сожалению, я позабыл название села, где развернулись все эти события. Не то Кривючи, не то Кривуши. Где-то, одним словом, недалеко от Пскова.

Так вот, была в этом селе церковь «Никола-на-могильцах». Ну, такое у ней было название. Не могу вам объяснить, отчего она так называлась.

И вот при этой церкви «Никола-на-могильцах» находился сторож, некто Морозов.

И вот стало известно во Пскове, что этого сторожа нещадным образом эксплуатируют. Держат его без страховки, без жалованья и без выходных дней. Ну, там, может, кинут ему, как собаке, рубля три в месяц, и живи как хочешь.

Но, между прочим, сам сторож не жаловался. В довершение всего это был религиозный старик и при церкви находился вроде как бы по призванию. Ну, что ли, ему нравилось быть церковным сторожем. Это, что ли, отвечало его религиозным запросам. Однако от этого картина эксплуатации не менялась.

И, значит, отрядили в эту деревню, в это село Кривуши, «легкую кавалерию». Отрядили трех ребят-комсомольцев обследовать, как и чего и верно ли, что сторожу жалованья не платят.

Вот прибыли ребята на село и взяли сторожа в оборот. Мол, как обстоят дела? И небось вам жалованья не платят, поскольку вы не застрахованы. Ну, если это так, то можете с них потребовать за все проработанное время.

Очень от этих слов взволновался старикан.

— То есть, говорит, как позволите понимать ваши слова? Значит, я могу с них деньги потребовать?

— Да, говорят, можете требовать разницу. И если вам, для примеру, кидали по пятерке, то можете получить остальное, сколько не хватало до ставки.

— А сколько эта ставка?

— Рублей, наверное, двадцать или восемнадцать.

— И за три года я могу получить?

— Да, говорят, можете. Сколько вам платили?

Тут, значит, у сторожа психология надвое раздвоилась.

С одной стороны, очень уж ему захотелось деньжонок хапнуть. С другой стороны, как будто бы неловко церковь под удар подводить. Ну, скажи он: трешку платят. И сразу невиданная сумма перейдет в его карман. А с другой стороны — неловко, срамота, религиозное чувство страдает и вообще для церкви непоправимый удар.

Очень стал старикан мучиться, волноваться, бороденку свою зубами кусать. Начал чего-то бормотать, карман наружу выворачивать.

После все-таки деньги перетянули.

— Да, говорит, безусловно, какая же от них плата. Рубля три отвалят, и, значит, цельный месяц кушай кошкин навоз. Они завсегда рады чью-нибудь шкуру содрать.

Кавалерия говорит:

— Очень великолепно! Сейчас составим акт и двинем дело под гору.

Сторож говорит:

— Да уж будьте милостивцы! Пущай с них деньги сдерут. Три года им дарма храм стерег. Неинтересно получается.

Вот кавалерия уехала, и вскоре после этого попу представили иск на двести восемьдесят рублей.

Чего тут было — описать перу нет возможности. Были скандалы, волнения, крики и форменная неразбериха.

Однако делать нечего. Пришлось сторожа застраховать и пришлось ему понемногу выплачивать.

А надо сказать, все это было в аккурат под самую пасху. Тут, значит, идет разное богослужение, церковный звон, исповедь и тому подобная религиозная волынка. И, значит, наряду с этим такой скандал.

И вот последнюю неделю поста во время исповеди сторож Морозов пришел с измученной душой к попу исповедоваться. И наряду с другими прихожанами стал скромненько в очередь.

Поп, конечно, его увидел, вышел из-за ширмы и так ему говорит:

— Я тебя, Морозов, исповедовать не буду. Отойди

с богом в сторону. Ты мне храм начисто разорил, и не будет тебе никакой исповеди и прощения!

Сторож говорит:

— Батюшка, это есть гражданское дело по советским законам, а исповедь есть вроде как религия, и вы не можете мне отказать в этом, поскольку происходит отделение церкви от государства.

Поп говорит:

— Уйди, я тебя не буду исповедовать! Откажись от своих нахальных претензий — и тогда другой разговор.

Очень они тут оба взволновались, начали срамить друг друга. Сторож говорит:

— Ну, не хочешь — не надо. Пес с тобой! И поскольку церковь не одна, то я могу в другой приход сходить. А только мне без исповеди нельзя — меня грехи мучают.

Взял лошадь и поехал за шестнадцать верст.

Теперь получилась такая картина. Сторож Морозов служит при этой церкви. Однако в этом храме он ничего религиозного себе не дозволяет. Даже не крестится и демонстративно ходит в шапке.

А молиться и за другими мелкими религиозными делишками ездит в соседний приход. Так, сердечный, и живет, не бросая религию. Пущай его.

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

Это маленькое незаметное происшествие случилось на станции Ряжи.

Там наш поезд остановился. Посыпалась, конечно, публика в вагоны. А среди них, семеня ножками, видим, протискивается один такой немолодой уже гражданин с мешком за плечами.

Это был такой довольно затюканный интеллигентик. Такие у него были усишки висячие, как у Максима Горького. Кожица на лице такая тусклая. Ну, сразу видать, человек незнакомый с физкультурой и вообще, видать, редко посещает общие собрания.

Вот он спешит по платформе к вагону. А на спине у него довольно-таки изрядный мешок болтается. И чего в этом мешке — пока неизвестно. Но поскольку человек спешит из деревенского района, то можно заключить, что в мешке не еловые шишки лежат, а пшеница или там сало, или, скорей всего, мука, поскольку с мешка сыплется именно эта самая продукция.

Помощник дежурного по станции оглядел вверенных ему пассажиров и вдруг видит такой прискорбный факт — мешочник. Вот он мигнул агенту — мол, обратите внимание на этого субъекта. И поскольку в связи с уборкой урожая спекулянты и мешочники закопошились и начали хлеб вывозить, так вот — не угодно ли — опять факт налицо.

Агент дежурному говорит:

— То есть наглость этих господ совершенно не поддается описанию. Каждый день сорок или пятьдесят спекулянтов вывозят отсюда драгоценное зерно. То есть на это больно глядеть.

Тем временем наш интеллигентик, покрякивая, взобрался в вагон со своим товаром. Сел и как ни в чем не бывало засунул свой мешок под лавку. И делает вид, что все спокойно, он, изволите видеть, в Москву едет.

Дежурный агент говорит:

— Позвольте, позвольте, я где-то этого старикана видел. Ну да, говорит, я его тут на прошлой неделе видел. Он, говорит, по платформе колбасился и какие-то мешки и корзинки в вагон нагружал.

Агент говорит:

— Тогда надо у него удостоверение личности потребовать и поглядеть его поклажу.

Вот агент с дежурным по станции взошли в вагон и обращаются до этого интеллигентика: мол, будьте добры, прихватите свой мешочек и будьте любезны за нами следовать.

Пассажир, конечно, побледнел как полотно. Начал чего-то такое лопотать, за свой карманчик хвататься.

— Позвольте, говорит, в чем дело? Я в Москву еду. Вот мои документы. Я есть доктор медицины.

Агент говорит:

— Все мы доктора! Тем не менее, говорит, будьте любезны без лишних рассуждений о высоких материях слезть с вагона и проследовать за нами в дежурную комнату.

Интеллигент говорит:

— Но позвольте, говорит, скорей всего поезд сейчас тронется. Я запоздать могу.

Дежурный по станции говорит:

— Поезд еще не сейчас тронется. Но на этот счет вам не приходится беспокоиться. Тем более у вас скорей всего мало будет шансов ехать именно с этим поездом.

Начал наш пассажир тяжело дышать, за сердечишко

свое браться, пульс щупать. После видит — надо исполнять приказание. Вынул из-под лавки мешок, нагрузил на свои плечики и последовал за дежурным.

Вот пришли они в дежурную комнату. Агент говорит:

— Не успели, знаете, урожай собрать, как эти форменные гады обратно закопошились и мешками вывозят ценную продукцию. Вот шлепнуть бы, говорит, одного, другого, и тогда это начисто заглохнет. Нуте, говорит, развяжи мешок и покажи, что там у тебя внутри напихано.

Интеллигент говорит:

— Тогда, говорит, сами развязывайте. Я вам не мальчик мешки расшнуровывать. Я, говорит, из деревни еду, и мне, говорит, удивительно глядеть, что вы ко мне прилипаете.

Развязали мешок. Развернули. Видят — поверх всего каравай хлеба лежит. Агент говорит:

— Ах вот, говорит, какой вы есть врач медицины! Врач медицины, а у самого хлеб в мешках понапихан. Очень великолепно! Вытрусите весь мешок!

Вытряхнули из мешка всю продукцию, глядят — ничего такого нету. Вот бельишко, докторские подштанники. Вот пикейное одеяльце. В одеяльце завернут ящик с разными докторскими щипцами, штучками и чертовщинками. Вот еще пара научных книг. И больше ничего.

Оба два администратора начали весьма извиняться. Мол, очень извините и все такое. Сейчас мы вам обратно все в мешок запихаем, и будьте любезны, поезжайте со спокойной совестью.

Доктор медицины говорит:

— Мне, говорит, все это очень оскорбительно. И поскольку я послан с ударной бригадой в колхоз как доктор медицины, то мне, говорит, просто неинтересно видеть, как меня спихивают с вагона чуть не под колесья и роются в моем гардеробе.

Дежурный, услыхав про колхоз и ударную бригаду, прямо даже затрясся всем телом и начал интеллигенту беспрестанно кланяться. Мол, будьте так добры, извините. Прямо это такое печальное недоразумение. Тем более нас мешок ввел в заблуждение.

Доктор говорит:

— Что касается мешка, то мне, говорит, его крестьяне дали, поскольку моя жена, другой врач медицины, выехала из колхоза в Москву с чемоданом, а меня, говорит, еще на неделю задержали по случаю эпидемии острожелудочных заболеваний. А жену, говорит, может быть, помните, я на

прошлой неделе провожал и помогал ей предметы в вагон носить.

Дежурный говорит:

— Да, да, я чего-то такое вспоминаю.

Тут агент с дежурным поскорее запихали в мешок, чего вытряхнули, сами донесли мешок до вагона, расчистили место интеллигенту, прислонили его к самой стеночке, чтоб он, утомленный событиями, боже сохрани, не ковырнулся во время движения, пожали ему благородную ручку и опять стали сердечно извиняться.

— Прямо, говорят, мы и сами не рады, что вас схватили. Тем более человек едет в колхоз, лечит, беспокоится, лишний месяц задерживается по случаю желудочных заболеваний, а тут наряду с этим такое неосмотрительное канальство с нашей стороны. Очень, говорят, сердечно извините!

Доктор говорит:

— Да уж ладно, чего там! Пущай только поезд поскорей тронется, а то у меня на вашем полустанке голова закружилась.

Дежурный с агентом почтительно поклонились и вышли из вагона, рассуждая о том, что, конечно, и среди этой классовой прослойки не все сукины дети. А вот многие, не щадя своих знаний, едут во все места и отдают свои научные силы народу.

Вскоре после этого наш поезд тронулся.

Да перед тем как тронуться, дежурный лично смотался на станцию, приволок пару газет и подал их интеллигенту.

— Вот, говорит, почитайте в пути, наверно заскучаете.

И тут раздался свисток, гудок, дежурный с агентом взяли под козырек, и наш поезд самосильно пошел.

ИСПЫТАНИЕ ГЕРОЕВ

Я, товарищи, два раза был на фронте: в царскую войну и во время революции, в гражданскую. Воевал, можно сказать, чертовски.

Однако особых героев я не знал.

А вообще говоря, герои были. Но особенно сильно запал мне в душу один человек.

Этот человек не был такой, что ли, очень крупный революционер или там народный предводитель, вождь или покоритель Сибири.

Это был обыкновенный помощник счетовода, некто

Николай Антонович. Его фамилию я даже, к сожалению, позабыл.

А работал этот Николай Антонович совместно с нами в управлении советского хозяйства в городе Арюпино.

Нет, я никогда не был любитель работать в канцелярии! Мне завсегда хотелось найти более чего-нибудь грандиозное: какой-нибудь там простор полей, какие-нибудь леса, белки, звери, какой-нибудь там закат солнца. Хотелось ездить на велосипедах, на верблюдах, хотелось говорить разные слова, строить здания, сараи, железнодорожные пути и так далее, и тому подобное.

Нет, я не был любитель перья в чернильницу макать.

Но, между прочим, пришлось мне поработать и на этом чернильном фронте.

Меня заставил пуститься на это дело целый ряд несчастных обстоятельств.

Я работал до этого в совхозе. Я имел командную должность — инструктор по кролиководству и куроводству.

Вот, имею я эту должность, и происходит у меня чудовищная пренеприятность.

А именно: стали у меня утки в пруде тонуть. То есть, скажите мне, бывшему инструктору по кролиководству и куроводству, что утка может в воде потонуть, я бы никогда этому не поверил и даже, наверное, грубо рассмеялся бы в ответ. Утка, можно сказать, существо вовсе и даже совершенно приспособленное к воде. Ей, по своей природе, вода доступна. Она плавает и ныряет прямо как утка, как рыба. И тонуть ей ну просто свыше не разрешается.

Однако у нас по неизвестной причине стали утки в проруби тонуть. Куры, конечно, тоже параллельно с ними тонули. Но куры — это неудивительно, курам, по своей природе, тонуть допустимо. Но утка — это уже, знаете, слишком.

Тем не менее утки стали у меня тонуть. И за месяц потонуло у меня тридцать шесть уток.

Вот тонут у меня эти утки. А я — инструктор по кролиководству и птицеводству. И от этих делов у меня сердце замирает, руки холодеют и ноги отнимаются.

Стали мы наблюдать за этим делом. Видим — все в порядке. Прорубь на озере. Утки плавают и ныряют.

Вот они плавают, ныряют и забавляются. И видим мы, что обратно на лед они выйти не могут.

Другие утки, более мощные и которые похитрее,— те выходят при помощи своих собратьев по перу. Они нахаль-

но становятся другим уткам на голову и на что попало и после прыгают на лед.

А последние утки, более растерявшиеся и которым не на что опереться, — те, к сожалению, тонут. Они плавают подряд несколько часов, кричат нечеловеческими голосами и после, от полного утомления и от невозможности выйти на высокий лед, тонут.

Тут крестьяне из соседнего совхоза стали давать советы:

— Что вы, говорят, арапы, делаете с своей живностью! Вы, говорят, обязаны лед несколько поддолбить и песком его посыпать, а иначе, говорят, у вас вся птица на дно пойдет.

Тут, действительно верно, с нашей стороны был преступный недосмотр и, главное, незнание всей сути. И хотя в то время кой-какой экзамен на звание куровода мы и сдавали, однако о всех куриных тонкостях понятия не имели, тем более что экзамены мы сдавали во время голода, так что, собственно, даже и не до того было, не до экзаменов. К тому же мы сдавали в более южном районе, где зима бывает слабая и льду никакого нету. Так что таких вопросов ну просто не приходилось затрагивать.

Что касается своих совхозских ребят, то они, вероятно, кое-чего знали и понимали, но молчали. Тем более это им было на руку — они утонувших утей после составления акта жарили, парили и варили и, несмотря на утонутие, с наслаждением кушали их с кашей и с яблоками.

Вот потонуло у меня тридцать шесть утей, и, значит, дело дошло до высшего начальства.

Вот начальство вызывает нас в управление, кричит и говорит разные гордые, бичующие слова, дескать, человек вы, без сомнения, в своем деле весьма опытный, ценный и понимающий, даже были ранены в начале гражданской войны, но поскольку, черт возьми, у вас утки стали тонуть, то это экономическая контрреволюция и шпионаж в пользу английского капитала. И если это так, то вы скорей всего не соответствуете своему назначению. Вас, говорят, мы, конечно, не увольняем, только сделайте милость, не работайте больше. А идите себе в управление — входящие бумаги, черт возьми, в папку зашивать.

Такие бичующие слова говорит мне высшее начальство и велит становиться в канцелярию.

Вот являюсь в канцелярию, в управление совхозов, и приступаю к своим прямым обязанностям.

А комиссаром в этом управлении был некто такой

Шашмурин. Он был черноморский моряк. Очень такой отчаянный человек и дважды раненный герой гражданской войны. Но, между прочим, тем настоящим героем был не он. Настоящим героем оказался счетовод Николай Антонович.

Так вот, этот комиссар Шашмурин дело держал строго. Он опаздывать не разрешал, чуть что — ужасно ругался и всех работников канцелярии подозревал в том, что они мало сочувствуют делу коммунизма. И от этого вопроса он сильно страдал и волновался.

— Ну конечно, говорит, еще бы, все вы, чуть что, морды свои отвернете. Нуте, придет белая гвардия, и вы, говорит, обратно начнете свои канцелярские спины выгибать и разные чудные царские и дворянские слова говорить.

Белый же фронт, действительно верно, был от нас не очень далеко. Нет, он до нас не дошел. Но пока что он подвигался, и даже одно время мы ожидали падения города Арюпино, Смоленской губернии.

И чем более, знаете, подвигался белый фронт, тем ужасней был наш военный комиссар Шашмурин.

Он очень всех ругал последними словами, волновался и выспрашивал каждого — какие кто имеет мысли и кому больше сочувствует — коммунистическому ли движению во главе с III Интернационалом или, может быть, дворянским классам.

Но, конечно, все уверяли его в полной своей преданности, божились, клялись и даже оскорблялись, что на них падает такое темное подозрение.

Одним словом, однажды комиссар Шашмурин устроил у нас в канцелярии штуку, за которую он впоследствии слетел со своей должности. Он получил строгий выговор, и, кроме того, его убрали в другой город за право-левацкий загиб и превышение власти.

А захотел он проверить, кто у него из вверенных ему служащих действительно враждебно настроен и кто горячо сочувствует власти трудящихся.

Нет, сейчас вспомнить про это просто удивительно. Это была сделана грубая комедия. Все шито-крыто было белыми нитками, но в тот момент никто комедии сгоряча не заметил, и все было принято за чистую монету.

Вот что устроил военный комиссар Шашмурин.

Белый фронт был тогда близко, и даже каждый день ждали появления неприятелей и смены власти.

И вот комиссар Шашмурин подговаривает одного своего идейного товарища пойти на такую сделку. Он одевает его

получше, в желтый китель, он дает ему в руки хлыстик с серебряным шариком, надевает лучшую кепку на голову, высокие шевровые сапоги. И с утра пораньше в таком наряде сажает его в свой кабинет как представителя новой дворянской власти.

А сам он помещается рядом в чулане, взбирается там на стул и своими глазами глядит из окошечка.

Нет, конечно, сейчас совершенно смешно представить эту проделку, до того все было заметно. Но служащие, которые были нервные и панически настроены и каждый день ожидали падения большевизма, ничего особенного не заметили.

Вот утром собрались служащие.

Сторож Федор, который тоже был подговорен комиссаром, замыкает тогда двери на ключ, произносит какой-то дворянский лозунг и говорит, дескать, вот, робя, падение большевизма совершилось. И пущай каждый служащий по очереди заходит в кабинет к новому начальству на поклон.

Вот служащие совершенно оробели и начали по очереди являться в кабинет.

Вот видят — стоит новое начальство в гордой дворянской позе. Вот в руке у него стек. Глаза у него сверкают. И слова он орет громкие, не стесняясь присутствием машинистки.

— Я, говорит, выбью из вас красную заразу, трам-тарарам. Я, говорит, покажу вам революционные начинания. Я, говорит, трам-тарарам, не позволю вам посягать на дворянские земли и устраивать из них совхозы, колхозы и разные там силосы...

Вот, конечно, вошедший служащий жмется и извиняется, разводит руками — дескать, какая там, знаете, революция, какие там силосы — не смешите. Да разве мы что... Мы очень рады и все такое...

А начальник в своем кителе орет и орет и заглушает своим голосом Шашмурина, который в своем чулане скрипит зубами и чертыхается.

Из десяти служащих опросили только шесть.

Трое говорили неопределенные слова, моргали ресницами и пугались. Один, скотина, начал нашептывать новому начальству о всяких прошлых событиях и настроениях. Другой начал привирать, что хотя он сам будет не из дворянства, но давно сочувствует этому классу и в прежнее время даже часто у них находился в гостях и завсегда был доволен этим кругом и пышным угощением в виде тартинок, варенья и маринованных грибов.

Вот Шашмурин смотрит из своего окошечка, лязгает зубами, но молчит.

Вдруг приходит счетовод Николай Антонович.

Он говорит:

— Погодите вы, не кричите и своим хлыстиком не махайте. А спрашивайте меня вопросы. А я вам буду отвечать.

Тот ему говорит:

— Будешь, трам-тарарам, служить нашей старой дворянской власти?

Николай Антонович отвечает:

— Служить, говорит, вероятно, придется, поскольку у меня семья, но особого сочувствия я к вам не имею.

— То есть, говорит, трам-тарарам, как это не имеешь?

Николай Антонович отвечает твердо:

— Я, говорит, хотя и не коммунист, но я в революцию кровь проливал. И я, говорит, завсегда стоял на платформе советской власти и никогда не ожидал от дворянской власти ничего хорошего. И я, говорит, считаю своим долгом высказать свое мировоззрение, а вы как хотите.

Сказал он эти слова — и вдруг смотрит: который в желтом кителе — улыбается.

И вдруг слышен треск и шум в чулане. Это комиссар Шашмурин от волнения со стула падает.

Он падает со стула и вбегает в комнату.

— Где, говорит, он?! Дайте я его обниму! Ну, говорит, дружок, Николай Антонович, я, говорит, теперича тебя не позабуду. Теперича я тебе молочный брат и кузен.

И берет он его в охапку, обнимает, нежно целует в губы и ласково ведет к своему столу. Там он потчует его чаем, угощает лепешками и курятиной и ведет длинные политические разговоры о том, о сем.

Тут все понимают, что произошло. Все чересчур пугаются. Который нашептывал на ухо начальству, тот хотел в окно сигануть, но его удержали.

Особенных последствий не было. И никаких наказаний не случилось. Все даже продолжали служить как ни в чем не бывало. Только стеснялись друг дружке в глаза глядеть.

А на другой день после происшествия комиссара Шашмурина попросили к ответу за перегиб. И сразу перевели его работать в другой город.

Так и кончилась эта история.

Николай Антонович работал по-прежнему, и чего с ним случилось в дальнейшем — я не знаю.

Конечно, вы можете сказать — какой это герой, раз он даже служить у дворянства согласился.

Но дозвольте сказать: я много видел самых разнообразных людей. Я видел людей при обстоятельствах тяжелой жизни, знаю всю изменчивость ихних характеров и взглядов, и я имею скромное мнение, что Николай Антонович был настоящий мужественный герой.

А если вы с этим не согласны, то я все равно своего мнения не изменю.

ВРАЧЕВАНИЕ И ПСИХИКА

1

Вчера я пошел лечиться в амбулаторию.

Народу чертовски много. Почти как в трамвае.

И, главное, интересно отметить — самая большая очередь к нервному врачу, по нервным заболеваниям. Например, к хирургу всего один человек со своей развороченной мордой, с разными порезами и ушибами. К гинекологу — две женщины и один мужчина. А по нервным — человек тридцать.

Я говорю своим соседям:

— Я удивляюсь, сколько нервных заболеваний. Какая несоразмерная пропорция.

Такой толстоватый гражданин, наверное, бывший рыночный торговец или черт его знает кто, говорит:

— Ну еще бы! Ясно. Человечество торговать хочет, а тут, извольте, глядите на ихнюю торговлю. Вот и хворают. Ясно...

Другой, такой желтоватый, худощавый, в тужурке, говорит:

— Ну, вы не очень-то распущайте свои мысли. А не то я позвоню куда следует. Вам покажут — человечество... Какая сволочь лечиться ходит...

Такой, с седоватыми усишками, глубокий старик, лет пятидесяти, так примиряет обе стороны:

— Что вы на них нападаете? Это просто, ну, ихнее заблуждение. Они про это говорят, забывши природу. Нервные заболевания возникают от более глубоких причин. Человечество идет не по той линии... цивилизация, город, трамвай, бани — вот в чем причина возникновения нервных заболеваний... Наши предки в каменном веке и вы-

пивали, и пятое-десятое, и никаких нервов не понимали. Даже врачей у них, кажется, не было.

Бывший торговец говорит с усмешкой:

— А вы чего — бывали среди них или там знакомство поддерживали? Седоватый, а врать любит...

Старик говорит:

— Вы произносите глупые речи. Я выступаю против цивилизации, а вы несете бабью чушь. Пес вас знает, чем у вас мозги набиты.

Желтоватый, в тужурке, говорит:

— Ах, вам цивилизация не нравится, строительство... Очень я слышу милые слова в советском учреждении. Вы, говорит, мне под науку не подводите буржуазный базис. А не то знаете, чего за это бывает.

Старик робеет, отворачивается и уж до конца приема не раскрывает своих гнилых уст.

Советская мадам в летней шляпке говорит, вздохнувши:

— Главное, заметьте, все больше пролетарии лечатся. Очень расшатанный класс...

Желтоватый, в тужурке, отвечает:

— Знаете, я, ей-богу, сейчас по телефону позвоню. Тут я прямо не знаю, какая больная прослойка собравшись. Какой неглубокий уровень! Класс очень здоровый, а что отдельные единицы нервно хворают, так это еще не дает картины заболевания.

Я говорю:

— Я так понимаю, что отдельные единицы нервно хворают в силу бывшей жизни — война, революция, питание... Так сказать, психика не выдерживает такой загрубелой жизни.

Желтоватый начал говорить:

— Ну, знаете, у меня кончилось терпение...

Но в эту минуту врач вызывает: «Следующий».

Желтоватый, в тужурке, не заканчивает фразы и спешно идет за ширмы.

2

Вскоре он там начинает хихикать и говорить «ой». Это врач его слушает в трубку, а ему щекотно.

Мы слышим, как больной говорит за ширмой:

— Так-то я здоров, но страдаю бессонницей. Я сплю худо, дайте мне каких-нибудь капель или пилюль.

Врач отвечает:

— Пилюль я вам не дам — это только вред приносит. Я держусь новейшего метода лечения. Я нахожу причину и с ней борюсь. Вот я вижу — у вас нервная система расшатавши. Я вам задаю вопрос — не было ли у вас какого-нибудь потрясения? Припомните.

Больной сначала не понимает, о чем идет речь. Потом несет какую-то чушь и наконец решительно добавляет, что никакого потрясения с ним не было.

— А вы вспомните,— говорит врач,— это очень важно — вспомнить причину. Мы ее найдем, развенчаем, и вы снова, может быть, оздоровитесь.

Больной говорит:

— Нет, потрясений у меня не было.

Врач говорит:

— Ну, может быть, вы в чем-нибудь взволновались... Какое-нибудь очень сильное волнение, потрясение?

Больной говорит:

— Одно волнение было, только давно. Может быть, лет десять назад.

— Ну, ну, рассказывайте,— говорит врач,— это вас облегчит. Это значит, вы десять лет мучились, и по теории относительности вы обязаны это мученье рассказать, и тогда вам снова будет легко и будет хотеться спать.

Больной мямлит, вспоминает и наконец начинает рассказывать.

3

— Возвращаюсь я тогда с фронта. Ну, естественно — гражданская война. А я дома полгода не был. Ну, вхожу в квартиру... Да. Поднимаюсь по лестнице и чувствую — у меня сердце в груди замирает. У меня тогда сердце маленько пошаливало — я был два раза отравлен газами в царскую войну, и с тех пор оно у меня пошаливало.

Вот поднимаюсь по лестнице. Одет, конечно, весьма небрежно. Шинелька. Штанцы. Вши, извиняюсь, ползают.

И в таком виде иду к супруге, которую не видел полгода.

Безобразие.

Дохожу до площадки.

Думаю — некрасиво в таком виде показаться. Морда неинтересная. Передних зубов нету. Передние зубы мне зеленая банда выбила. Я тогда перед этим в плен попал. Ну, сначала хотели меня на костре спалить, а после дали по зубам и велели уходить.

Так вот, поднимаюсь по лестнице в таком неважном виде и чувствую — ноги не идут. Корпус с мыслями стремится, а ноги идти не могут. Ну, естественно — только что тиф перенес, еще хвораю.

Еле-еле вхожу в квартиру. И вижу: стол стоит. На столе выпивка и селедка. И сидит за столом мой племянник Мишка и своей граблей держит мою супругу за шею.

Нет, это меня не взволновало. Нет, я думаю: это молодая женщина — чего бы ее не держать за шею. Это чувство меня не потрясает.

Вот они меня увидели. Мишка берет бутылку водки и быстро ставит ее под стол. А супруга говорит:

— Ах, здравствуйте.

Меня это тоже не волнует, и я тоже хочу сказать «здравствуйте». Но отвечаю им «те-те»... Я в то время маленько заикался и не все слова произносил после контузии. Я был контужен тяжелым снарядом и, естественно, не все слова мог произносить.

Я гляжу на Мишку и вижу — на нем мой френч сидит. Нет, я никогда не имел в себе мещанства! Нет, я не жалею сукно или материю. Но меня коробит такое отношение. У меня вспыхивает горе, и меня разрывает потрясение.

Мишка говорит:

— Ваш френч я надел все равно как для маскарада. Для смеху.

Я говорю:

— Сволочь, сымай френч!

Мишка говорит:

— Как я при даме сыму френч?

Я говорю:

— Хотя бы шесть дам тут сидело, сымай, сволочь, френч.

Мишка берет бутылку и вдруг ударяет меня по башке.

4

Врач перебивает рассказ. Он говорит:

— Так, так, теперь нам все понятно. Причина нам ясна... И, значит, с тех пор вы страдаете бессонницей? Плохо спите?

— Нет,— говорит больной,— с тех пор я ничего себе сплю. Как раз с тех пор я спал очень хорошо.

Врач говорит:

— Ага! Но когда вспоминаете это оскорбление, тогда

и не спите? Я же вижу — вас взволновало это воспоминание.

Больной отвечает:

— Ну да, это сейчас. А так-то я про это и думать позабыл. Как с супругой развелся, так и не вспоминал про это ни разу.

— Ах, вы развелись...

— Развелся. Вышел за другую. И затем за третью. После за четвертую. И завсегда спал отлично. А как сестра приехала из деревни и заселилась в моей комнате вместе со своими детьми, так я и спать перестал. В другой раз с дежурства придешь, ляжешь спать — не спится. Ребятишки бегают, веселятся, берут за нос. Чувствую — не могу заснуть.

— Позвольте,— говорит врач,— так вам мешают спать?

— И мешают, конечно, и не спится. Комната небольшая, проходная. Работаешь много. Устаешь. Питание всетаки среднее. А ляжешь — не спится...

— Ну, а если тихо? Если, предположим, в комнате тихо?

— Тоже не спится. Сестра на праздниках уехала в Гатчину с детьми. Только я начал засыпать, соседка несет тушилку с углями. Оступается и сыплет на меня угли. Я хочу спать и чувствую: не могу заснуть — одеяло тлеет. А рядом на мандолине играют. А у меня ноги горят...

— Слушайте,— говорит врач,— так какого же черта вы ко мне пришли?! Одевайтесь. Ну хорошо, ладно, я вам дам пилюли.

За ширмой вздыхают, зевают, и вскоре больной выходит оттуда со своим желтым лицом.

— Следующий,— говорит врач.

Толстоватый субъект, который беспокоился за торговлю, спешит за ширмы.

Он на ходу машет рукой и говорит:

— Нет, неинтересный врач. Верхогляд. Чувствую — он мне тоже не поможет.

Я гляжу на его глуповатое лицо и понимаю, что он прав — медицина ему не поможет.

ЗАПАДНЯ

Один мой знакомый парнишка — он, между прочим, поэт — побывал в этом году за границей.

Он объездил Италию и Германию для ознакомления

с буржуазной культурой и для пополнения недостающего гардероба.

Очень много чего любопытного видел.

Ну, конечно, говорит,— громадный кризис, безработица, противоречия на каждом шагу. Продуктов и промтоваров очень много, но купить не на что.

Между прочим, он ужинал с одной герцогиней.

Он сидел со своим знакомым в ресторане. Знакомый ему говорит:

— Хочешь, сейчас я для смеха позову одну герцогиню. Настоящую герцогиню, у которой пять домов, небоскреб, виноградники и так далее.

Ну, конечно, наворачивает.

И, значит, звонит по телефону. И вскоре приходит такая красоточка лет двадцати. Чудно одетая. Манеры. Небрежное выражение. Три носовых платочка. Туфельки на босу ногу.

Заказывает она себе шнельклопс и в разговоре говорит:

— Да, знаете, я уже, пожалуй, неделю мясного не кушала.

Ну, поэт кое-как по-французски и по-русски ей отвечает, дескать, помилуйте, у вас а ла мезон столько домов, врете, дескать, наворачиваете, прибедняетесь, тень наводите.

Она говорит:

— Знаете, уже полгода, как жильцы с этих домов мне квартплату не вносят. У населения денег нет.

Этот небольшой фактик я рассказал так, вообще. Для разгона. Для описания буржуазного кризиса. У них там очень отчаянный кризис со всех сторон. Но, между прочим, на улицах у них чисто.

Мой знакомый поэт очень, между прочим, хвалил ихнюю европейскую чистоту и культурность. Особенно, говорит, в Германии, несмотря на такой вот громадный кризис, наблюдается удивительная, сказочная чистота и опрятность.

Улицы они, черт возьми, мыльной пеной моют. Лестницы скоблят каждое утро. Кошкам не разрешают находиться на лестницах и лежать на подоконниках, как у нас.

Кошек своих хозяйки на шнурочках выводят прогуливать. Черт знает что такое.

Все, конечно, ослепительно чисто. Плюнуть некуда.

Даже такие второстепенные места, как, я извиняюсь, уборные, и то сияют небесной чистотой. Приятно, неоскорбительно для человеческого достоинства туда заходить.

Он зашел, между прочим, в одно такое второстепенное учреждение. Просто так, для смеху. Заглянул — верно ли есть отличие,— как у них и у нас.

Оказывается, да. Это, говорит, ахнуть можно от восторга и удивления. Волшебная чистота, голубые стенки, на полочке фиалки стоят. Прямо уходить неохота. Лучше, чем в кафе.

«Что, думает, за черт. Наша страна ведущая в смысле политических течений, а в смысле чистоты мы еще сильно отстаем. Нет, думает, вернусь в Москву — буду писать об этом и Европу ставить в пример. Конечно, у нас многие ребята действительно относятся ханжески к этим вопросам. Им, видите ли, неловко писать и читать про такие низменные вещи. Но я, думает, пробью эту косность. Вот вернусь и поэму напишу — мол, грязи много, товарищи, не годится... Тем более у нас сейчас кампания за чистоту — исполню социальный заказ».

Вот наш поэт находится за закрытой дверью. Думает, любуется фиалками, мечтает, какую поэму он отгрохает. Даже приходят к нему рифмы и строчки. Чего-то там такое:

Даже сюда у них зайти очень мило —
Фиалки на полках цветут.
Да разве ж у нас прошел Аттила,
Что такая грязь там и тут.

А после, напевая последний немецкий фокстротик «Ауфвидерзейн, мадам», хочет уйти на улицу.

Он хочет открыть дверь, но видит — дверь не открывается. Он подергал ручку — нет. Приналег плечом — нет, не открывается.

В первую минуту он даже слегка растерялся. Вот, думает, попал в западню.

После хлопнул себя по лбу.

«Я, дурак, думает, позабыл, где нахожуся — в капиталистическом мире. Тут у них за каждый шаг небось пфенниг плати. Небось, думает, надо им опустить монетку — тогда дверь сама откроется. Механика. Черти. Кровопийцы. Семь шкур дерут. Спасибо, думает, у меня в кармане мелочь есть. Хорош был бы я гусь без этой мелочи».

Вынимает он из кармана монеты. «Откуплюсь, думает, от капиталистических щук. Суну им в горло монету или две».

Но видит — не тут-то было. Видит — никаких ящиков и отверстий нету. Надпись какая-то есть, но цифр на ней

никаких не указано. И куда именно пихать и сколько пихать — неизвестно.

Тут наш знакомый прямо даже несколько струхнул. Начал легонько стучать. Никто не подходит. Начал бить ногой в дверь.

Слышит — собирается народ. Подходят немцы. Лопочут на своем диалекте.

Поэт говорит:

— Отпустите на волю, сделайте милость.

Немцы чего-то шушукаются, но, видать, не понимают всей остроты ситуации.

Поэт говорит:

— Геноссе, геноссе, дер тюр, сволочь, никак не открывается. Компренешен. Будьте любезны, отпустите на волю. Два часа сижу.

Немцы говорят:

— Шпрехен зи дейч?

Тут поэт прямо взмолился:

— Дер тюр, говорит, дер тюр отворите. А ну вас к лешему!

Вдруг за дверью русский голос раздается:

— Вы, говорит, чего там? Дверь, что ли, не можете открыть?

— Ну да, говорит. Второй час бьюсь.

Русский голос говорит:

— У них, у сволочей, эта дверь механическая. Вы, говорит, наверное, позабыли машинку дернуть. Спустите воду, и тогда дверь сама откроется. Они это нарочно устроили для забывчивых людей.

Вот знакомый сделал, что ему сказали, и вдруг, как в сказке, дверь открывается. И наш знакомый, пошатываясь, выходит на улицу под легкие улыбки и немецкий шепот.

Русский говорит:

— Хотя я есть эмигрант, но мне эти немецкие затеи и колбасня тоже поперек горла стоят. По-моему, это издевательство над человечеством...

Мой знакомый не стал, конечно, поддерживать разговор с эмигрантом, а, подняв воротничок пиджака, быстро поднажал к выходу.

У выхода сторож его почистил метелочкой, содрал малую толику денег и отпустил восвояси.

Только на улице мой знакомый отдышался и успокоился.

«Ага, думает, стало быть, хваленая немецкая чистота не

идет сама по себе. Стало быть, немцы тоже силой ее насаждают и придумывают разные хитрости, чтоб поддержать культуру. Хотя бы у нас тоже чего-нибудь подобное сочинили».

На этом мой знакомый успокоился и, напевая «Ауфвидерзейн, мадам», пошел в гости как ни в чем не бывало.

ГРУСТНЫЕ ГЛАЗА

Мне нравятся веселые люди. Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий говор. Крики.

Мне нравятся румяные девушки с коньками в руках. Или такие, знаете, в майках, в спортивных туфельках, прыгающие вверх и вниз.

Я не-люблю эту самую поэзию, где грусть, и печаль, и разные вздохи, и разные тому подобные меланхолические восклицания вроде: «эх», «ну», «чу», «боже мой», «ох», «фу-ты» и так далее.

Мне даже, знаете, смешно делается, когда хвалят чего-нибудь грустное или, например, говорят при виде какой-нибудь особы:

— Ах, у нее, знаете, такие прекрасные грустные глаза. И такое печальное поэтическое личико.

Я при этом думаю: «За что ж тут хвалить? Напротив, надо сочувствовать и надо вести названную особу на медицинский пункт, чтоб выяснить, какие болезни подтачивают ее нежный организм и почему у нее сделались печальные глаза».

Нет, у людей бывает очень странный взгляд на вещи. Восхищаться грустными вещами. Восторгаться печальными фактами. Прямо даже не понять, как это бывает.

Вот прежние интеллигенты и вообще, знаете, старая Россия как раз особенно имела такой восторг ко всему печальному. И находила чего-то в этом возвышенное.

Как у Пушкина сказано. Не помню только, как там строчки расположены. Нынешняя поэзия меня в этом смысле окончательно сбила с панталыку. Одним словом, сказано:

От ямщика
До
Первого поэта
Мы
  Все
    Поем
      Уныло...

Печалию согрета
Гармония
И
Наших
Дев
И муз.

Очень жаль. И гордиться, так сказать, этим не приходится. Нынче мы желаем развенчать эту грусть. Мы желаем, так сказать, скинуть ее с возвышенного пьедестала.

А как-то, знаете, однажды зашел ко мне в гости мой приятель. Ну, мы с ним на «ты». Вообще со школьной скамьи. Делимся новостями. И друг у друга в долг занимаем.

Вот он приходит ко мне и говорит, что он влюбился в одну особу до потери сознания и вскоре на ней женится.

И тут же начинает расхваливать предмет своей любви.

— Такая, говорит, она у меня красавица, такие у нее грустные глазки, что я и в жизни никогда таких не видывал. И эти, говорит, глазки такой, как бы сказать, колорит дают, что из хорошенькой она делается премированная красавица. Личико у нее нельзя сказать что интересное, и носик немножко подгулял, и бровки какие-то странные — очень косматые, но зато ее грустные глаза с избытком прикрывают все недостатки и делают ее из дурнушки ничего себе. Я, знаешь, говорит, ее и полюбил-то за эти самые глаза.

— Ну и дурак,— говорю я ему.— Вот и выходит, что ты форменный дурак. Прошляпился со своей женитьбой. Раз у нее грустные глаза, значит, у нее в организме чего-нибудь не в порядке — либо она истеричка, либо почками страдает, либо вообще чахоточная. Ты, говорю, возьми да порасспроси ее хорошенько. Или поведи к врачу, посоветуйся.

Ох, тут он очень возмутился, начал швыряться вещами, кричать и срамить меня за излишнюю склонность к грубому материализму.

— Я, говорит, жалею, что к тебе зашел. У меня такое было поэтическое настроение, а ты своими ручищами загрязнил мое чувство.

Стал он прощаться и уходить.

Я пытался ему рассказать, как я однажды встретил в Кисловодске одного носильщика с такими грустными глазами, что можно обалдеть. И при расспросе оказалось, что у него было ущемление грыжи. И теперь он должен бросить свою профессию.

Однако приятель не стал до конца слушать и, обидевшись еще сильней за нетактичные параллели и сравнения, холодно подал мне руку и при этом бормотал разные оскорбительные слова — дескать, ты черта лысого понимаешь в поэзии. Сам прошляпил красоту в жизни.

Вот проходит что-то около полгода. Я позабываю эту историю. Но вдруг однажды встречаю своего приятеля на улице.

Он идет с расстроенным лицом и хочет не заметить меня.

Я подхожу к нему и спрашиваю, что случилось.

— Да так, говорит, разные неприятности. Ты мне накаркал — у жены, знаешь ли, легочный процесс открылся. Не знаю, теперь на юг мне ее везти или в санаторию положить.

Я говорю:

— Ну ничего, поправится. Но, конечно, говорю, если поправится, то не будет иметь такие грустные глаза.

Он усмехнулся, махнул рукой — дескать, отвяжись — и пошел от меня.

И вот этой весной я встречаю его снова.

Он идет, подняв воротничок своего пальто. Вижу — морда у него расстроенная. Глаза блестят, но смотрят грустно и даже уныло.

— Вот, говорит, теперь сам, черт возьми, захворал туберкулезом. После гриппа. Конечно, может быть, и от жены заразился. Но вряд ли. Скорей всего от усталости захворал.

— А жена? — говорю.

Он говорит:

— Она поправилась. Только я с ней развелся. Мне нравятся поэтические особы, а она после поправки весь свой стиль потеряла. Ходит, поет, изменять начала на каждом шагу...

— А глаза? — говорю.

— А глаза, говорит, какие-то у ней буркалы стали, а не глаза. Никакой поэзии не осталось.

Тут я попрощался со своим приятелем и пошел по своим делам. И по дороге сочувственно поглядывал на тех прохожих, у кого грустные глаза.

КАКИЕ У МЕНЯ БЫЛИ ПРОФЕССИИ

Я не знаю, сколько есть разных профессий. Один знакомый интеллигент мне сказал, будто всего на земном шаре триста девяносто профессий.

Ну, это он, конечно, перехватил, но, вероятно, все же около ста профессий имеется.

Нет, все сто профессий я не имел, но вот пятьдесят профессий я действительно испытал.

И вот перед вами человек, который испытал на себе пятьдесят профессий.

Интересно, кем я только не был.

Нет, я, конечно, не был там каким-нибудь экономистом, химиком или там пиротехником, скульптором и так далее. Нет, я не был академиком или там профессором анатомии, алгебры или французского языка. Я не скрою от вас — я не занимал разные интеллигентские посты, не смотрел в подзорные трубы, чтоб видеть разные небесные явления, планеты и кометы, не шлялся по шоссе с такой, знаете, маленькой трубочкой на треножнике для измерения высоты поверхности. Не строил мосты или там здания для посольства. И не затемнял свой рассудок математическими вычислениями количества белых шариков в крови.

Да, эти профессии, не скрою от вас, я не испытывал. Мне не хватало для этого всей высоты образования и знания иностранных языков. Тем более что до революции я был отчасти малограмотный. Читать мог, но писать уже не всегда осмеливался.

И через это, конечно, к сожалению, не могу вам ничего рассказать про такие возвышенные профессии, которые основаны там на науке или там технике или медицине.

Хотя должен вам сказать, что с медициной я сталкивался и даже одно время был врачом. Меня избрали на этот пост свои же полковые товарищи вскоре после Февральской революции.

Я тогда служил в царской армии и был рядовым ефрейтором.

Вот после революции ребята мне и говорят:

— У нас полковой врач такая, извините, холера, что никому почти освобождения не дает, несмотря на Февральскую революцию. Очень бы хотелось его заменить. Вот бы, говорят, хорошо, если бы вы согласились на эту должность. Тем более, говорят, все должности сейчас выборные — вот бы мы тебя и выбрали.

Я говорю:

— Отчего же. Конечно, выбирайте. Я, говорю, человек, понимающий явления природы. Понимаю, что после революции ребятам хотелось бы смотаться по домам и поглядеть как и чего. Керенский, говорю, этот артист на троне, завертел волынку до победного конца. И полковой врач ему в дудочку подыгрывает и нашего брата не отпускает. Выбирайте меня врачом — я вас почти всех отпущу.

Вот вскоре после того сменяют командира полка, сменяют подряд офицеров и нашего пресловутого медика. И на его место назначают меня приказом.

Работа оказалась, конечно, трудная и, главное, бестолковая.

Едва послушаешь больного в трубку, как он хнычет и отпрашивается домой. А если его не отпускаешь, он очень на врача наседает и чуть не хватает его за горло.

Профессия совершенно глупая и небезопасная для жительства.

А если больному дашь порошки — он их жрать не хочет, а швыряет порошки врачу в лицо и велит писать увольнительную.

Ну, для формы спросишь — какая у тебя болезнь? Ну, больной сам, конечно, назвать болезнь не может и тем самым ставит врача в тупик, поскольку врач не может все болезни знать наизусть и не может писать в каждой путевке только: брюшной тиф или там вздутие живота.

Другие, конечно, говорят:

— Пиши чего хочешь, только отпусти, поскольку душа болит — охота поглядеть на домашних.

Ну, напишешь ему: душевная болезнь, и с этой диетой отпускаешь.

Но вот вскоре надоедает мне эта бестолковая профессия. И вот пишу я сам себе путевку с обозначением: душевная болезнь первой категории.

Выезжаю с фронта и, значит, на этом заканчиваю эту свою профессию.

После судьба кидает меня в разные стороны — туда и сюда, как, извините за сравнение, скорлупу в бурном море.

Я делаюсь милиционером. После слесарем, сапожником, кузнецом. Я подковываю лягающих лошадей, дою коров, дрессирую бешеных и кусачих собак. Играю на сценах. Поднимаю занавеси. И так далее, и тому подобное, и прочее.

При этом снова год нахожусь на фронте в Красной Армии и защищаю революцию от многочисленных врагов.

Снова освобождаюсь по чистой. Занимаю должность инструктора по кролиководству и куроводству. Становлюсь агентом уголовного розыска. Делаюсь шофером. И по временам пишу критические отзывы и острые дискуссионные статьи относительно театра и литературы.

И вот перед вами человек, который имел в своей жизни пятьдесят, а может, даже и больше профессий.

Некоторые профессии были у меня странные и удивительные. Была у меня до революции одна очень такая странная профессия.

А был я тогда в Крыму. И служил в одном имении. Там было четыреста коров. Масса коз, много курей и до черта баранов. Все это создавало почву для развития сельскохозяйственного дела.

И вот меня нанимают туда пробольщиком.

Одним словом, в мою обязанность входит пробовать качество масла и сыра.

Это масло и сыр отправлялись на пароходе за границу. И надо было все это пробовать, чтоб мировая буржуазия не захворала от недоброкачественного товара.

Конечно, дай вам попробовать масла или сыру — вы небось не откажетесь. Но если, предположим, пробовать эту продукцию с утра и до вечера и ежедневно и целый год, то вы волком завоете и свет перед вами померкнет.

Нет, я не был специалистом по этому делу. И совершенно случайно попал на эту профессию.

Мне тогда было двадцать три года. Все было тьфу и трын-трава. И я тогда шлялся по крымским дорогам, надеясь где-нибудь найти работу.

И вот иду по дороге и слышу — молочным хозяйством пахнет. А тут тем более я не ел два дня. И вот взял и пошел на этот приторный запах. Думаю, подкараулю какую-нибудь корову, подою маленько и тем самым подкреплю свои ослабшие силы.

Вижу — за забором сарай. Наверное, думаю, там коровы. Перемахнул через забор. Захожу в сарай. Вижу — там не коровы, а круги сыра лежат. Только я хотел стибрить кусок сыру — вдруг управляющий идет.

— Ты, говорит, что, из наших рабочих?

Нет, я особенно не смутился. Думаю — успею дать тигаля. Тем более — кругом народу нету и забор близко. И поэтому отвечаю с некоторым нахальством:

— Нет, не из рабочих, но имею мечту на нечто подобное.

Он говорит:

— А, к примеру, зачем же ты в руку сыр взял?

Я говорю не без нахальства:

— Хотел, знаете, этот сыр попробовать — сдается мне, что он кисловат на вкус. Не умеете делать, а беретесь.

Вижу — управляющий даже растерялся от моих слов. Даже, видать, не понимает, что к чему.

Он говорит:

— Как это? Почему кисловат? Ты что, каналья, специалист, что ли, по молочному хозяйству?

Я думал, он шутит, чтоб себя разозлить, с тем чтобы покрепче меня ударить. И говорю:

— Вы угадали. По молочному хозяйству я есть первый специалист города Москвы. И мимо этих молочных продуктов не могу пройти, чтобы их не попробовать.

Вдруг управляющий улыбается, жмет мне руки и говорит:

— Голубчик!

Он говорит:

— Голубчик, если ты специалист, то я тебе дам преогромное жалованье, только сделай милость, становись скорей на работу. Тут на днях заграничный пароход приходит, надо груз отправлять, а рассортировать товар и его попробовать некому. И сдается мне, что иностранная буржуазия наглотается негодных продуктов, и после неприятностей не оберешься. А у меня, как назло, один специалист холерой заболел и теперь категорически не хочет ничего пробовать.

Я говорю:

— Пожалуйста. А что надо делать?

Он говорит:

— Надо попробовать шестьсот двадцать бочек масла и тысячу кругов сыру.

У меня даже желудок задрожал от голоду и удивленья, и я отвечаю:

— Пожалуйста. Об чем речь? Принесите мне буханку хлеба, и я сейчас к этому приступлю с преогромной радостью. Я, говорю, давно мечтал именно такую профессию себе найти — пробовать то и се.

И сам в душе думаю: нажрусь до отвалу, а там пущай из меня лепешку делают. И небось не сделают — убегу на своих сытых ногах.

— Ну, говорю, несите поскорей буханку, я очень тороплив в работе. Если мне что загорится — мне сразу вынь и положь. Несите хлеб, а то я прямо соскучился без этой своей профессии.

Вижу — управляющий глядит на меня с недоверием. Он говорит:

— Тогда я сомневаюсь, что ты есть лучший в мире специалист по молочному хозяйству. Молочные продукты пробуют без хлеба и без ничего, иначе не узнаешь, какой именно сорт и какой вкус.

Тут я вижу, что засыпался, но говорю:

— Это я сам знаю. И вы есть толстобрюхий дурак, если не понимаете. Я хлеб не для еды буду употреблять, а мне надо соприкасать эти два продукта, в силу чего я увижу окисление, и тогда, попробовав, не ошибусь в расчете, какая там есть порча. Это, говорю, есть последний заграничный метод. Я, говорю, удивляюсь на вашу серость и отсталость от Европы.

Тут меня торжественно ведут туда и сюда. Записывают. Одевают в белый балахон и говорят: «Ну, пойдем к бочкам».

А у меня от страху душа в пятках и ноги еле двигаются.

Вот пошли мы к бочкам, но тут на мое счастье вызывают управляющего по спешному делу. Тут у меня на сердце отлегло. Я говорю рабочим:

— Выручайте, братцы, то есть ни черта не понимаю в этом деле. Хотя укажите поскорей, чем пробовать масло — пальцем или особой щепочкой.

Вот рабочие смеются надо мной, умирают со смеху, тем не менее рассказывают, чего надо делать и, главное, чего говорить.

Вот управляющий приходит — я ему прямо затемнил глаза. Говорю разные специальные фразы, правильно пробую. Вижу — человек даже расцвел от моей высокой квалификации.

И вот к вечеру, нажравшись до отвалу, я решил не уходить с этого хлебного места. И вот остался.

Профессия оказалась глупая и бестолковая. Надо пробовать масло особой такой тонкой ложечкой. Надо подковырнуть масло из глубины бочки и пробовать его. И чуть маленько горечь, или не то достоинство, или там лишняя муха, или соль — надо браковать, чтоб не вызвать недовольства среди мировой буржуазии.

Ну, сразу, конечно, я не понимал разницы — каждое масло мне чересчур нравилось, но после кое-чему научился и стал даже покрикивать на управляющего, который чересчур был доволен, что нашел меня. И даже написал своему владельцу письмо, где наплел про себя разные истории

и просил себе надбавку или там какой-нибудь трудовой орден за отличные дела.

Так вот, конечно, первые дни мне профессия нравилась. Бывало, отхватишь сыру да навернешь масла — лучше, думаю, работы и не бывает на земном шаре.

После вижу — что-то не того.

Через две недели я начал страдать, вздыхать и мечтать уже с этим расстаться.

Потому за день напробуюсь жиров, и глаза ни на что не глядят. Хочешь чего-нибудь скушать, а душа не принимает. И внутри как-то тошно, жирно. Никакая пища не интересна, и жизнь кажется скучной и бестолковой.

И при этом еще строго запрещалось пить. Никакого вина или там водки нельзя было в рот брать. Потому алкоголь отбивает вкус, и через это можно натворить безобразных делов и перепутать качество.

Короче говоря, через две недели я ложился после работы вверх брюхом и неподвижно лежал на солнце, рассчитывая, что горячее светило вытопит у меня лишний жир и мне снова захочется ходить, гулять, кушать борщ, котлеты и так далее...

А был там у меня в этих краях один приятель. Один прекрасный грузин. Некто Миша. Очень чудный человек и душевный товарищ. И был он тоже дегустатор, проборщик. Но только в другом деле. Он пробовал вино.

Там в Крыму были такие винные подвалы — удельного ведомства. Вот там он и пробовал.

И профессия его, чересчур бестолковая, была даже хуже моей.

Ему даже кушать не разрешалось. С утра до вечера он пробовал вино и только вечером имел право чего-нибудь покушать.

Меня мутило от жиров, и в рот ничего не хотелось взять. И выпить не разрешалось. И аппетита не было.

А у него наоборот. Его распирало от вина. Он с утра насосется разных крымских вин и еле ходит, и прямо свет ему не мил.

Вот в другой раз встретимся мы с ним вечером — я сытый, он пьяный, и видим — наша дружба ни к чему. Говорить ни о чем неохота. Он хочет кушать, я, наоборот, хочу выпить. Общих интересов мало, и вкус во рту мерзкий. И сидим мы вроде как обалделые и в степь глядим. А в степи ничего. А над головой — небо и звезды. А где-то, может быть, идет жизнь, полная веселья и радости...

Вот я ему однажды и говорю:

— Надо, говорю, уходить. И хотя у меня контракт до осени, но я, безусловно, этого не выдержу. Я отказываюсь кушать масло. Это унижает мое человеческое достоинство. Я смотаю удочки, стибрю круг сыру — и только меня толстобрюхий управляющий и видел.

Он говорит:

— До осени уходить не расчет. Работы сейчас не найти. А надо нам с тобой чего-нибудь такое оригинальное придумать. Дай срок — я придумаю, голь на выдумки хитра.

И вот однажды он мне и говорит:

— Знаешь что — давай временно поменяемся профессией. Давай я буду пробовать масло, а ты временно пробуй вино. Неделю или две поработаем так, а после опять поменяемся. А потом опять. Вот оно и получится у нас какое-то равновесие. И, главное, отдохнем, если они, черти, не дают отпуска, а заставляют без отдыха жрать и пить.

Я очень радуюсь этим словам, но выражаю сомнение, что наши управляющие захотят этого.

Он говорит:

— Это я берусь уладить.

И вот берет он меня за руку и ведет к своему управляющему по винной части.

— Вот, говорит, этот низенький опытный господин смело может меня заменить на две недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала, и я интересуюсь ее повидать. А он за меня будет пробовать и соблюдать ваши интересы.

Управляющий говорит:

— Ладно. Покажите ему, какие тут вина и как чего надо делать. И через две недели возвращайтесь. А то мы натворили тут делов. Заместо столового вина взяли «Аликоте» в Москву отправили. Чистое безобразие.

Вот тогда я, в свою очередь, беру Мишу за руку и веду его к своему толстобрюхому управляющему.

— Вот, говорю, этот высокий опытный господин смело может заменить меня на две недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала, и я интересуюсь ее повидать и покалякать с ней о разных разностях.

Управляющий говорит:

— Ладно. Покажите ему как и чего и через две недели приезжайте. А то и так у нас беспорядок. Заместо сливочного масла мы отправили в Персию сметану. Персы могут обидеться и не захотят ее кушать.

Вот стали мы на свою новую работу.

Я пробую вино. А Миша пробует масло.

Но тут с нами происходит чушь и неразбериха.

В первый же день Миша наедается масла и сыру до того, что заболевает судорогами. А я с первых же двадцати глотков от непривычки пить до того захмелел, что подрался с Мишиным управляющим. И хотел его в винную бочку поковырнуть за то, что он сказал плохие слова про моего приятеля.

Тут на другой день мне дали по шапке и велели убираться.

И Мише дали расчет и тоже велели убираться.

Вот встречаемся мы с ним и смеемся. Думаем — наплевать. Отдохнули пару дней и теперь снова можем приняться за свое ремесло.

Но тут случается так, что оба наши управляющие снюхались и узнали наш обман: и какие у нас две недели, и какая у нас тетка в Тифлисе, и какой у нас опыт.

Оба они призывают нас, кричат страшными голосами и велят убираться.

Нет, мы особенно не горевали. Я взял круг сыру, а Миша вина. И всю дорогу мы шли и пели песни. А после устроились на другую работу.

А вскоре разразилась война. Потом революция. И я потерял своего друга из виду.

И недавно узнаю, что он проживает на Кавказе и имеет хорошую, чудную командную должность.

И я мечтаю к нему поехать. Мечтаю встретить его, поговорить и сказать ему: «Молодец!»

Ох, он, наверное, обрадуется, когда увидит меня! Тоже, может быть, скажет мне: «Молодец!» И велит подать лучший шашлык.

Тут мы с ним будем кушать и вспоминать, кем мы были и кем стали.

АННА НА ШЕЕ

Из любовных историй я вам могу рассказать одну весьма смешную и трогательную историйку, любопытную по своей психологической тонкости.

Эта историйка рисует, что ли, некоторый наш недосмотр на одном позабытом участке жизни.

Короче говоря: по-моему, следует давать медали или какие-нибудь там знаки отличия за спасение утопающих. Иначе получается как-то не того. Посудите сами.

А стоял один мой знакомый милиционер на посту. Днем. Как раз, знаете, у Республиканского моста. Там Нева, знаете, течет широким течением. Могучие вол-

ны стремятся вдаль. Темные воды расстилаются перед взором.

А напротив, знаете, Зимний дворец во всей своей бывшей красоте. Направо — Петропавловский шпиль. Так — Академия наук. И Зоологический музей — довольно обшарпанное здание. Особенного там внутри, по правде сказать, ничего такого интересного нету. Ну, чучела зверей. Разные бабочки. Ну, разве что мамонт еще любопытен. Страшенный, черт, во всей своей бывшей красе.

Так вот, стоит наш милиционер на посту как раз у этого здания. Фамилия милиционера — Сидоренко Михаил.

Вот он стоит на посту во всей своей красоте. Бравый молодец. Красавец и добряк. На очень хорошем счету. И к тому же человек отчаянной храбрости.

В начале-то революции ему было, конечно, лет десять, так что эту храбрость он до сих пор не проявил. Но вскоре, как мы сейчас увидим, проявит ее в полном объеме.

Вот, значит, стоит он на своем посту. Любуется, может, на монументальные здания, поглядывает на темные невские воды с их державным течением, думает, может быть, сколько там, черт возьми, разной лишней рыбы и черт знает чего в глубине. Вспоминаются ему, может быть, картины крайнего детства, когда он мальчишечкой болтался по колено в воде и ловил разных там ершиков, жучков и колюшек.

И вдруг видит — проходит вдоль моста какая-то молоденькая бабешечка в черной шляпке.

Милиционер думает: «Какая-то, думает, гражданка идет. Пущай себе, думает, идет».

И не придает этому решительно никакого значения.

«Мало ли, думает, сколько ходит гражданок. На каждую глядеть — глаза заболят».

И отворачивается он в сторону и начинает, может, думать про свои душевные дела. И кто ему нравится. И не жениться ли ему в этом году. Поскольку человек он молодой. На войне не был и здоровье имеет очень великолепное.

Вот, значит, он так думает и вдруг неожиданно видит — эта вышеуказанная гражданка в полной нерешительности берется ручками за перила и вроде как напряженно смотрит в темные воды.

Милиционер думает: «Ого, надо будет посмотреть за этой гражданкой».

Тем более он замечает, что гражданка как-то нервно и панически настроена. Ход у нее мелкий и неровный. И вся она, видать, находится в сильном волнении.

Вот он смотрит на эту гражданку. Хочет к ней подойти,

чтоб поговорить об ее душевном и нравственном состоянии. И вдруг с криком замечает, что эта молоденькая еще барышня карабкается на перила и — ах, ужас какой! — сигает вниз, в эти темные воды, откуда возврата нету.

Ах, он моментально замечает все это и вдруг швыряет с себя шапку и расстегивает ремень.

Нет, наш храбрец не нуждается, конечно, в разных там похвалах и наградах и в разных почетных отзывах и в часах с надписью: «За храбрость». Или там в каком-нибудь серебряном портсигаре.

Настоящая храбрость и мужество, безусловно, выше всех этих корыстных соображений.

Но нам сдается, что за проявленную храбрость и мужество все же надо чего-нибудь давать.

В довоенное время давали чуть не за каждый шаг разные там знаменитую «Анну на шею» или там «Владимира с бантом». И давали там всякие медали с разными словами: «Мерси, благодарю, вот вы какой». И так далее.

В том, конечно, было много вздору, но вот нам сдается, что за спасение плавающих и утопающих непременно надо что-нибудь давать. Это, если разобраться в этом психологически, очень нужно. Иначе получаются такие вдруг неожиданные осложнения, которые потом долго надо расхлебывать. Так сказать, глубина человеческой психики мало исследована. И то, чего бывает, вызывает удивление. В общем, по-моему, надо давать.

Так вот, наш милиционер, у которого даже и на минуту не мелькнула мысль о награде, увидя сие ужасное происшествие и гибель молодого цветущего существа, моментально, не теряя присутствия духа и не закричав даже: «Помогите» или «Ах, спасите! Тонет!» или еще чего-нибудь такого, которое обыкновенно кричат малодушные люди, моментально сбрасывает с себя шапку и ремень.

Он моментально сбрасывает с себя куртку, шапку и сапоги и в одних, извиняюсь, брюках с громадной высоты сигает вниз вслед за исчезнувшей гражданкой.

Он сигает вниз, резво разбивает нахлынувшие на него холодные волны и вдруг видит, что гражданка на минуту вынырнула вновь. Она продержится еще две секунды и сейчас пойдет безвозвратно на дно морское.

Она вынырнула на минуту в жалком виде. Шляпка у нее сбилась. Платьице ее облепило. И ротик у нее набит водой.

Она фыркает носиком и жалобно глядит на небо, желая увидеть там чудо и спасение.

Но спасение близко.

Наш храбрец резво бьет руками воду и кричит:

— Один момент! Продержитесь!..

И вдруг — вот он берет ее за каштановые волосы и тянет ее к берегу. И она, как кораблик, скользит за ним в обморочном состоянии.

Тут наверху и внизу столпился народ. Все преужасно кричат. Какие-то дураки и болваны бегут зачем-то за кругами, в то время как решительно никаких кругов не надо, поскольку наш герой плавает, как рыба.

Кто-то бежит в музей и вызывает карету скорой помощи.

Какая-то дама торжественно держит в своих руках куртку, шапку и сапоги милиционера и всем кричит:

— Вот-то она — я,— держит белье этого героя.

Милиционер вылезает на сушу со своей ношей.

Все их обступают. Кто-то кричит бис и браво. Кто-то трогает за ручку молодую утопленницу и говорит:

— Она вполне живая.

Тут молодая утопленница сама открывает свои серые глазки и глядит на небо.

А на небе сияет солнце. Чудный мир развертывается. Птицы щебечут о разных свойствах счастья. Где-то летит аэроплан со своим жужжаньем. И в этом полете видно неслыханное мужество людей и желание их жить отлично.

Становится ясно, какое безобразие и какое малодушие так губить свою молодую жизнь, которая может пригодиться для более замечательных дел. Всем это становится ясно. И тогда наступает удивительная тишина, и все ждут, что сейчас скажет молодая утопленница.

Она открывает свои глазки, выплевывает воду изо рта и говорит: «Ох», потом: «Фу».

Потом глядит на милиционера и говорит ему: «Мерси».

Она ему говорит «мерси» и слабым движением ищет его руку, чтоб пожать.

Милиционер говорит: «Что вы, что вы». И тоже выплевывает воду из глубины груди. Потом говорит: «Оу» — и сильно кашляет.

Молодая утопленница говорит «мерси» и бормочет, что она сама не знает, как это вышло.

Какая-то тетка, позабывшая от любопытства все на свете, говорит:

— Кто-нибудь тебя разлюбил или бросил?

Молодая утопленница тихо говорит: «Да».

Тут все видят, что эта молодая женщина родилась в свое

время от неврастенических родителей. Почти все видят, что она немножко истеричка и немножко оторвавшаяся от жизни.

Ее спрашивают, где она работает, и она отвечает: «В институте поварского искусства».

Тут вдруг с резким свистом приезжает карета скорой помощи.

Молодую даму берут на руки и сажают внутрь. И тогда все обступают карету.

Милиционер, одевшись в сухое, делает прощальный жест и снова хочет идти стоять на своем боевом посту.

Но всем видно, что он желает еще раз поглядеть на дело своих рук. И тогда все говорят: «Расступитесь, дайте ему подойти».

Он подходит, любовно смотрит на спасенную даму и говорит:

— Постойте кто-нибудь на посту, я сам провожу эту спасенную гражданку до больницы.

И, сказав так, он садится внутрь.

Все понимают психологию храбреца. Кто-то кидает в восторге шапку и кричит «ура».

Что было дальше, нам в подробностях неизвестно. Только известно, что он довез ее до больницы и велел главному врачу получше о ней заботиться.

Она пролежала там три дня. И три дня наш храбрец посещал ее, говоря, что он ее спас и он желает ее приблизить к жизни.

Но вот она выписалась на сушу, то есть я хотел сказать — домой. И живет себе дома.

Он теряет ее из виду, сердечно горюет от этого и разыскивает ее через адресный стол, зная, что ее зовут Анна Васильевна Теплякова.

Он находит ее и звонит энергично по телефону каждый день, а то и по два раза.

Она через неделю приглашает его к себе. Он ежедневно ее посещает и спрашивает о здоровье, так что она приходит даже в некоторый ужас и содрогание от излишних его забот.

Нет, она не хочет от этого снова броситься в воду. Она терпеливо сносит его посещения и не забывает сказать ему «мерси». Но после ухода она хватается за голову и говорит себе: «Это слишком».

Но тут он вдруг объясняется однажды ей в своих чувствах и говорит, что он ее так полюбил, как не может мечтать никакая другая женщина.

И он предлагает ей записаться.

Она очень радуется такому обороту дела и моментально выходит за него замуж, говоря, что ее прежняя любовь канула в вечность.

Они поженились и часто вспоминают удивительный день спасения. Причем он любовно смотрит на нее и всем знакомым говорит:

— Еще две секунды — и сию гражданку съели бы рыбы.

На что знакомые отвечают:

— Вы молодец. Поймали Анну Васильевну.

Но в довершение всего она оказалась истеричным существом. Вскоре после брака она стала закатывать ему чудовищные истерики и сцены. Но он покорно все это сносит и говорит, что он сам теряется в догадках, за что он ее так полюбил, больше жизни.

Так они и сейчас живут. Наш храбрец получил, так сказать, Анну на шею.

Нет, по-моему, если еще и не дают, то надо давать какие-нибудь, хотя бы пустенькие, жетоны за спасение плавающих и утопающих. А то что-то получается не того. Не по заслугам.

НА ДНЕ

Воровское занятие представляет в настоящее время незначительный интерес.

Профессия эта стала маловыигрышная наряду с другими занятиями.

Через это воровство уменьшилось в своем размере. И публика на это идет не так охотно, как раньше.

Отчасти, конечно, многие перековались, а некоторых, как говорится, не устраивает выбор ассортимента. Вдобавок ко всему наша милиция и уголовный розыск поднялись на недосягаемую высоту.

Вот взгляните, какое истинное происшествие случилось у нас в Ленинграде.

Один гражданин, некто Ф., немного выпил. Он получил деньги, зашел в какой-то приятный восточный уголок, присел там под пальму и, как говорится, немножко перелил через край.

Конечно, потом-то он говорил, что пил мало. А больше будто бы налег на еду. По его словам, он пропустил только пару стопок русской горькой и после слегка отлакировал пивом. Так что кто его знает, может быть, он действительно

от обильной еды, чем от чего другого, совершенно захмелел. И даже начал соло петь под оркестр.

А это увидели два бандита. Они сидели тут же, в ресторане, и, может быть, горевали о чем-нибудь своем. И вдруг видят — сидит против них «пассажир», кругом у него на столике еда и мандарины. И сам он еле «мама» сказать может.

Конечно, это развязало низкие инстинкты двух приятелей. Сердце у них взыграло. И они задумали совершить свое темное дело над заблудившим зажиточным жителем нашего города.

И вот они подсели до него. Сказали ему пару комплиментов. И тот, увидев ласку чужих людей, вдохновился, выпил еще и надрался, как говорится, до шариков.

И вот тогда представители уголовного мира вывели нашего беспутного гражданина на улицу, завели в переулок, там ударили его по мордасам и обобрали до последней нитки.

Они сняли с него пальтишко и костюм со штанами. Содрали с него полуботинки. И даже не постеснялись взять с него верхнюю рубашечку «зефир».

Так что оставили нашего почтенного папашу и прекрасного работника строительного сектора тов. Ф. совершенно в архиневозможном виде.

При нем оставили только кальсоны и носки, которые не взяты были по причине дряхлости товара.

Ограбленный папаша, мало чего соображая, прикорнул в таком немыслимом виде у забора и сладко заснул.

Только проспал он, может быть, не больше часа и вдруг неожиданно проснулся — ему, что ли, попить захотелось.

Вот он хвать-похвать себя за штаны — а их нету. Он щупает себя повыше — а пиджака нету и рубашки не имеется. Только подштанники при нем и носочки.

Тогда он трогает себя еще повыше и видит: личность у него повреждена — распухши и что-то ноет.

Вот наш папаша ужаснулся, мигом протрезвел, вскочил на полуодетые свои ножки и, как говорится, попорол домой.

Наверно, он, где можно, бежал, придерживая рукой свои подштанники, а кое-где, наоборот, шел, вероятно, тихо, скрываясь в тени домов.

И действительно неудобно, совестно. Может быть, уже начинается утро. Птички — чирик-чирик. Вдобавок культурный, образцовый город. Всюду чистенько и славно. А тут, вообразите себе, идет такая образина, все равно как по предбаннику.

Представляем себе, как дворник у ворот удивился. Наверное, хрюкая от смеха, пропустил в калитку.

Но вот момент входа в квартиру и момент появления перед родными вообще не поддается художественному описанию. И мы смолкаем под давлением более красочной действительности.

Так или иначе, наш славный гражданин доперся до своей квартиры и закрылся в своей комнате, унеся с собой тайну ночного ограбления.

Теперь происходит такая ситуация.

Уголовный розыск в ту же ночь задержал этих двух воров.

Стали их расспрашивать, где украдены вещи. Те не могут объяснить. Так что, говорят, с человека сняли. В переулке.

Пошли в переулок. А там уже нету этого человека.

Работники розыска говорят:

— Ненормально. Вещи есть. Воры есть. Все как будто в полном порядке. А потерпевшего нету. И, значит, самые большие трудности у нас впереди. Придется его искать. И сдается нам, судя по приличным вещам, что потерпевший заметет свои следы. Это у нас который раз. Преступники нам сравнительно легко даются, а пострадавших нам наиболее трудно отыскать. Очень они не любят, чтоб их находили. И они предпочитают терять одно, чтобы не потерять другое.

В общем, три дня шарили по городу. Искали потерпевшего. Выясняли и запрашивали. Никто не признается. Может быть, потерпевший стыдится, что был в таком свинском виде, и, может быть, робеет перед общественностью.

Однако работники розыска не упали духом. И на четвертый день потерпевшего нашли. Они отыскали его по почтовой квитанции, которая была в кармане его украденных брюк.

Потерпевший отнекивался и всех уверял, что это не он был избит и раздет, но истина все же восторжествовала. Была устроена очная ставка с ворами. И те сразу признали в нем свою жертву.

Один из воров говорит:

— Это определенно он. Я его по скуле узнаю. Вот у него тут осталась заметка от моей руки.

Тогда жертва, потупив очи, говорит:

— В таком случае сознаюсь. Это был я. Просьба не доводить до сведения общественности.

Тут работники розыска посмеялись и сказали жертве:

— В другой раз пейте и кушайте, но не теряйте своего сознания. Получите снятые с вас вещи и можете идти.

А воры не без испуга поглядывали на то, что происходит, и промежду себя перешептывались о трудностях своего ремесла в настоящее время.

ВОДЯНАЯ ФЕЕРИЯ

Один московский работник кинематографии прибыл в Ленинград по делам службы.

И он остановился в гостинице «Европа».

Прекрасный, уютный номер. Две постели. Ванна. Ковры. Картинки. Все это, так сказать, располагало нашего приезжего видеть людей и приятно проводить время.

В общем, к нему стали заходить друзья и приятели.

И как это всегда бывает, некоторые из его приятелей, приходя, принимали ванну. Поскольку многие живут в квартирах, где нет ванн. А в баню ходить многие, конечно, не так-то любят и вообще забывают об этой бытовой процедуре. А тут такой удобный случай: зашел к приятелю, поболтал, пофилософствовал и тут же помылся. Тем более тут горячая вода. Казенная простынка и так далее.

И многие, конечно, через это любят, когда у них есть приезжие друзья.

Короче говоря, дней через пять наш приезжий москвич несколько даже утомился от подобной неуклонной линии своих друзей.

Но, конечно, крепился до самого последнего момента, когда наконец разыгралась катастрофа.

А к нему как-то вечером пришли почти что сразу шесть знакомых.

Тары да бары, и тут же среди гостей образовалась до этой ванны небольшая очередь.

Трое быстро помылись и, попив чайку, ушли.

Но четвертая была старая дама. Родственница приезжего. И та мылась исключительно долго. И даже, кажется, что-то стирала из своего гардероба.

И до того она там долго возилась, что москвич и дожидавшиеся просто захандрили. Она час с четвертью не выходила из ванны.

Но поскольку она была родная тетка нашего москвича, то он и не разрешил своим друзьям никаких эксцессов по ее адресу.

Короче говоря, когда она вышла, было уже далеко за полночь.

Один из приятелей не стал больше ждать и ушел. А другой, удивительно настойчивый и нахальный, все-таки во что бы то ни стало пожелал непременно сегодня вымыться, чтоб ему для чего-то завтра быть чистым.

И вот он дождался теткиного выхода. Вымыл ванну. И пустил горячую воду. И сам прилег на кушетку и стал дожидаться, когда ванна наполнится.

Но тут как-то случилось, что от сильного утомления он заснул. И москвич вдобавок задремал на диване.

А вода, наполнив ванну, вышла наружу и в короткое время затопила номер и даже протекла в другой этаж. Но поскольку в нижнем этаже была гостиная и там никого не было, то катастрофу не сразу заметили.

Короче говоря, наши два приятеля проснулись от сильного тепла и пара. Причем москвичу, как он после рассказывал, снился сон, что он в Гаграх.

Но когда он проснулся, то увидел, что весь номер в воде и поверх плавают туфли, газеты и разные деревянные изделия.

Горячая вода не дозволила, конечно, сразу прекратить наводнение, поскольку они не решались добежать до ванны, чтоб закрыть кран. Они, сидя на диванах, не могли рискнуть спустить свои ноги в воду, от которой шел пар.

Но потом, кое-как передвигая стулья и перепрыгивая с одного стула на другой, перетрусивший приятель москвича добрался до ванны и закрыл кран.

И только они закрыли кран и вода стала куда-то утекать, как в номер вбегает администрация с побледневшими лицами.

Осмотрев ванну и нижний этаж, администрация совместно с прибывшим инженером стала о чем-то совещаться.

А среди наших друзей завязался тяжелый спор: кто виноват и кому платить убытки.

Приятель москвича, еле дыша от страха, сказал, что рублей сорок он как-нибудь покроет, но все, что свыше, пусть оплачивает владелец номера, который легкомысленно допускал мыться посторонних.

Тут между ними завязался спор, который мог бы кончиться печально, если б рядом не было администрации.

Москвич дрожащим голосом говорит администрации:

— А скажите, на какую сумму могут быть убытки?

Администрация говорит:

— Видите, внизу в гостиной размыло лепные украшения: одну крупную античную фигуру и трех херувимов. Так что это сильно увеличит расходы.

Услышав о лепных украшениях и херувимах, приятель москвича буквально задрожал.

Москвич, с тоской взирая на администрацию, прошептал:

— А на какую сумму размыло этих херувимов?

Инженер говорит:

— Тысчонок, мы так полагаем, семь-восемь будет стоить эта операция...

Сумма эта совершенно подкосила силы москвича, и он прилег на диван, мало чего соображая.

А приятель его выказал себя с нехорошей стороны. Он поступил как подлец, пытаясь, так сказать, дать тигаля. Но был задержан слабой, но честной рукой приезжего.

Приезжий москвич, еле ворочая языком, говорит администрации:

— Тысчонки бы за две нельзя? В крайнем случае не надо мне ставить этих херувимов. Не такое сейчас время, чтоб платить за этих самых херувимов...

Администрация говорит:

— Да вы напрасно горячитесь и торгуетесь. Мы, кажется, с вас убытков не требуем.

Услышав эти слова, приятель москвича закрыл глаза, думая, что это сон.

Но администрация говорит:

— На вас мы не возлагаем никакой вины. Тут наш технический недосмотр. Мы плохо рассчитали утечку воды, и это наша техническая слабость.

Инженер тут же дает научное пояснение. Он говорит, показывая на ванну:

— Видите, тут наверху ванны имеется дырка, в которую вода должна утекать по мере наполнения ванны. И при научно правильном расчете вода не имеет права выйти за пределы краев. Но тут мы выказали некоторую слабость, и дырка, как вы могли видеть, не успела поглотить текущую жидкость. Так что мы просим у вас извинения за причиненное беспокойство. В дальнейшем этого не будет. Мы исправим. Это технические неполадки, которым не место в нашей славной современности.

Услышав эти слова, приятель москвича хотел упасть на колени, чтоб возблагодарить администрацию и судьбу, но приезжий не разрешил ему это сделать.

Он сказал инженеру:

— Конечно, иначе не могло и быть. Но скажите, кто мне возместит убытки: у меня испортились ночные туфли и чемодан подмок, и, может быть, там что-нибудь тоже испортилось благодаря вашей технической слабости.

Администрация говорит:

— Подайте заявление — мы возместим убытки.

На другой день москвич получил сорок шесть рублей за подмокший чемодан.

Приятель москвича тоже хотел воспользоваться случаем, чтоб содрать небольшую сумму за счет техники, но это ему сделать не удалось, так как он не имел права ночью находиться в чужом номере.

На другой день он все же пришел в гостиницу и там принял ванну, несмотря на то, что москвич был этим крайне недоволен и даже рассердился.

ПОЕЗДКА В ГОРОД ТОПЦЫ

Недавно моей супруге понадобилось съездить на периферию.

Там, на периферии, у нее один родственник серьезно захворал. С ним какая-то, что ли, душевная болезнь приключилась. И, значит, растерявшиеся родственники вызвали мою супругу на периферию, в город Топцы.

Конечно, предстоящая поездка взволновала нашу семью. Все-таки, думаем, сложно, хлопотно, билеты доставать и так далее. Но ничего не поделаешь: надо ехать.

Ну, конечно, запаслись на всякий случай разными справками и удостоверениями. Со своей службы я ей тоже достал бумажку: мол, едет по семейно-служебным обстоятельствам. И вдобавок один знакомый хирург дал удостоверение в том, что психические болезни требуют тщательного ухода со стороны родственников. И что он просит предъявительнице сего оказывать всемерную медицинскую поддержку при поездке на периферию.

И вот с этими документами мы сходили к начальнику станции. Но тот оказался бездушный и негуманный человек, равнодушно относящийся к больным кадрам.

Он сказал:

— Прошу оставить мой кабинет. Никаких билетов я тут не выдаю. Обратитесь в кассу и там покупайте себе билеты.

Его иронию мы восприняли болезненно и решили тогда воспользоваться одним нашим довольно крупным знако-

мым, которого мы вообще если и хотели тревожить, то только в самых исключительных и грозных обстоятельствах.

Но этот работник оказался неуловим. Он все время где-то заседал, ездил, и мы его так и не нашли.

Тогда моя супруга смоталась еще к одному знакомому, орденоносцу, но тот отказался что-либо предпринять, говоря, что в этом отношении он пасует.

Тогда супруга решила было послать телеграмму в Топцы с отказом, поскольку все кнопки были нажаты и все связи были использованы, но тут мне пришла старая, но светлая мысль — обратиться к носильщику. И хоть это и нельзя, но я решил покривить душой ради родственного начала. Я решил дать кое-что носильщику, с тем чтобы он мне достал билет в город Топцы.

Я понимаю, что это — преступление перед обществом, но вместе с тем мы нашего заболевшего родственника тоже не в дровах нашли. А он был в аккурат до своей болезни весьма ценным членом общества. Он служил в одном учреждении по хозяйственной части, и — что бы там ни говорили — он приносил посильную помощь в деле построения дальнейшей жизни. И сейчас, поскольку он свихнулся, он, конечно, вправе требовать до себя внимания и ухода.

Этими мыслями я поделился с носильщиком, когда прибыл на вокзал.

Носильщик гуманно говорит:

— Честно вам скажу: мне бы не хотелось этим поганить свою душу. Но поскольку налицо ненормальность вашего родственника, то я хочу к этому чутко подойти. А за некоторый риск и услуги я попрошу с вас двадцать рублей. Приходите вечером сюда, и вы поедете.

И вот только я отошел от этого носильщика, чтоб пойти домой, как вдруг вижу: касса. Обыкновенная, представьте себе, дырка в стене, и там кто-то сидит. И вижу надпись: «Касса».

Я на всякий случай подошел туда.

Протягиваю кассиру документы.

Тот говорит:

— Не тычьте мне ваши бумаги, у меня и без того в глазах рябит от множества железнодорожных билетов.

Тогда я рассказываю кассиру о своих мытарствах и о свихнувшемся родственнике.

Кассир говорит:

— Не знаю, как ваш родственник, но ваша ненормальность заключается в том, что вы напрасно нажимали все

кнопки и без устали хлопотали: вы можете свободно подойти к моей кассе и можете свободно купить билет в эти ваши Топцы.

Я говорю:

— Мне как-то странно это слышать. Может, говорю, тут какое-нибудь недоразумение? Носильщик, говорю, и тот еле взялся за двадцать целковых.

Кассир говорит:

— Красиво на жизнь смотрите, раз можете по двадцать рублей кидать жуликам. Короче говоря, сколько вам надо билетов, чтоб поехать в Топцы?

И тут он щелкает билет на своей компостерной машинке и гуманно мне подает.

Я недоверчиво беру этот билет, и тут мы с кассиром начинаем смеяться и подшучивать.

Потом я говорю:

— Наверно, через пару лет это поразительно что будет. Не только, говорю, в Топцы, а во все места будет — ну, просто не вопрос ехать.

Кассир говорит:

— Еще не то будет. Откровенно вам скажу: по своей линии я и то кое-что придумываю. Я, говорит, уважаемый товарищ, на каждый купленный билет хочу пассажирам сюрпризики выдавать. Дамам — по живому цветку, а мужчинам — что придется: ну, там лезвие для бритвы, расческу, мыльце, брюки... Дальним — какую-нибудь статуэтку или гигиеническую брошюрку. Ну, не пройдет мой проект — не надо, а пройдет — так меня, может, даже и к какой-нибудь награде представят.

Тут мы попрощались с кассиром и отбыли домой.

Ну, супруга горячо отнеслась к поездке. Моментально, конечно, собралась и вечером укатила в Топцы.

Конечно, с дороги она прислала очень даже резкое и, прямо даже скажу, грубое письмо, зачем я ей купил билет на этот поезд. Все другие составы свободно, дескать, перегоняют этот поезд для молочниц.

Но по приезде в Топцы ее раздражительность прошла, и она прислала любезную открытку, что у свихнувшегося родственника было временное затмение и что он сейчас снова реагирует почти на все, что вокруг него происходит. И даже просил кланяться и благодарить за проявленную чуткость со стороны родственников.

Пламенный привет ему и пожелания дальнейшего выздоровления, возможного только в условиях бережного отношения!

ПЛОХАЯ ЖЕНА

Один муж, сильно занятый на службе и перегруженный разными делами, поручил своей жене присмотреть за займами.

У него выигрышных займов было больше как на две тысячи рублей. И вот он все надеялся выиграть. Он любил выпить и с друзьями побеседовать. И этот выигрыш был бы ему крайне необходим.

И вот каково же было его удивление, когда кассир на его работе однажды говорит:

— Поздравляю, Федя, с выигрышем.

Тот удивляется и спрашивает:

— А что такое? Я ничего не знаю. С чем ты мне поздравление делаешь?

Кассир говорит:

— Да как же — ты выиграл тысячу рублей. Вот, говорит, мы тебе эти займы выдавали, и у нас остались в списках твои номера. Я для потехи посмотрел и вижу — ты выиграл. Неужели ты не знаешь? Это уже было с месяц назад.

Вот наш муж рысью побежал домой и дома говорит:

— Где же выигрыш?

Жена очень смущается и говорит:

— Я не знаю. Ничего подобного. Кассир нахально врет.

Тут у них происходит крупный разговор, в результате чего муж ей под конец делает такое замечание:

— Тогда, говорит, мне придется на тебя в товарищеский суд подать за сокрытие выигрышей. И хотя мне даже как-то странно подобные дела выносить на решение жактовской общественности, но тем не менее я это сделаю, чтобы доказать, какая ты есть в наши дни нахальная и вредная жена, не могущая служить примером для нашей современности.

И вот на днях происходит этот товарищеский суд. И все жильцы с их дома присутствуют на этом суде. Поскольку это очень любопытное дело.

Председатель товарищеского суда товарищ Егоров ее спрашивает:

— Ну, как дела?

И она, не зная, какой найти выход, говорит:

— Да, это я выиграла. Признаюсь.

Муж говорит:

— Вот видите теперь, что это за персона. Она утаила выигрыш. И, наверно, что-нибудь на это себе купила.

Председатель говорит:

— Ах да, в самом деле, где же эти деньги?

Жена, не привыкшая стоять перед общественностью, сразу говорит, смутившись:

— Я их отдала.

Муж говорит:

— Посмотрите, она их кому-то отдала. Это прямо интересно становится.

Председатель говорит:

— Кому ж вы и за что их отдали? Это действительно странно.

Жена, смутившись, говорит:

— Я их отдала Володе.

Муж, закачавшись, говорит:

— Боже мой, товарищ Егоров. Это, вероятно, Володька Нюшин. Я их давно подозревал. Это хорошо, что я на нее в суд подал. По крайней мере я теперь кое-что для себя выясняю.

Егоров говорит:

— Суд не входит в ваши интимные отношения. Но поскольку деньги мужа, то зачем же, глупая, вы их отдали? Вот он на вас теперь в суд подал, и вам за это приходится судиться.

Тогда жена отбрасывает всякий ложный стыд и произносит речь.

Она говорит:

— В чем дело? Да, я Нюшину передала эти выигрышные деньги. Кто есть мой муж? Он есть, товарищи, любитель выпить. Он — любитель закусить. Он любит посидеть с друзьями... Он есть неудачная фигура на фоне нашей общественной жизни. И я не намерена скрываться — Нюшин мой любовник. И я ему передала выигрыш. Мой супруг все равно бы их пропил, а тут по крайней мере что-нибудь да будет.

Муж, снова закачавшись, говорит:

— Лишите ее слова! Мне худо делается.

Судья говорит:

— Не могу же я лишить ее слова — она только что разговорилась. Какой вы странный.

Жена говорит, употребляя демагогический прием:

— Нюшин есть советский изобретатель. Он дважды что-то изобрел. И он изобретает в третий раз музыкальный ящик. И его открытие, он говорит, перевернет и опрокинет всех композиторов и все страны Европы. И как я могла, будучи советской гражданкой, отдать деньги пьянице?

Нет, я их лучше отдала человеку с гениальным дарованием.

Муж говорит:

— Отдать тысячу рублей какому-то сопляку! Ой, какая жалость, что товарищеский суд не может ее приговорить на десять лет.

Судья говорит:

— На десять лет ее, конечно, нельзя приговорить. Но я ей хочу задать вопрос. Скажите, гражданка, вот вы Нюшина любите и даете ему такую сумму. А насчет мужа небрежно выражаетесь. А позвольте вас спросить, зачем тогда вы живете с этим мужем? Вот и жили бы себе с этим одаренным Нюшиным.

Жена говорит:

— Видите, так Нюшин ничего не имеет. У него вся дорога впереди. А муж все-таки прилично зарабатывает. И вот, как видите, иногда выигрывает.

Тогда председатель говорит:

— Нам странно слушать такие речи. Это, говорит, позорный взгляд на современность. Жить с этим ради денег, а выигрыш давать другому. Ну, я от вас этого не ожидал. И вас непременно надо к чему-нибудь присудить, поскольку вы глубоко отрицательное явление в нашей жизни.

После чего, посоветовавшись с заседателями, председатель объявил приговор, встреченный аплодисментами: приговорить к общественному порицанию и вернуть мужу половину выигрыша, поскольку вторая половина принадлежит жене и она вправе этим распорядиться.

Жена, услышав этот приговор, говорит:

— Деньги я ему, собаке, верну, но я ему, подождите, тоже пулю завинчу.

И на другой день она в отсутствие мужа продает зеркальный шкаф, принадлежащий ему, и вдобавок его плюшевую оттоманку. И вырученные деньги возвращает мужу.

Она говорит:

— Поскольку мне принадлежит половина предметов, так вот я кое-что и продала из твоих вещиц.

Муж, увидев, что проданы по дешевке вещи, служившие украшением его комнаты, пришел в исключительное расстройство. Он пошел к председателю жакта и сказал ему:

— Она мои вещи уже стала продавать. Я с ней разведусь, поскольку я не могу жить с такой арапкой.

Председатель говорит:

— Вот и хорошо.

Через два дня без особых скандалов муж с ней развелся. Но поскольку жена никуда не уехала и нарочно осталась жить в его небольшой комнатке, то получился абсурд, благодаря которому муж от полного расстройства чувств сильно прихворнул.

А что касается изобретателя Нюшина, то он не довел свое изобретение до конца, а, получив деньги, загулял и благодаря этому поссорился со своей дамой-патронессой — покровительницей изобретателей.

Но она, собственно, недолго расстраивалась и, видя, что она теперь с двух сторон свободна, вступила в связь с одним инженером. Но поскольку инженер был женат, то получился опять абсурд, так как разведенный муж не мог даже теперь выгонять его, когда тот заскакивал в гости к его бывшей половине.

Но тут, к счастью мужа, у которого уже возник невроз сердца, она разошлась со своим инженером и неожиданно вышла замуж за одного провинциального фотографа, который прибыл в Ленинград за фотографическими принадлежностями. Но тут он ее встретил, влюбился и увез ее с собой в Торжок.

А бывший ее муж до того этому обрадовался, что снова стал здоров и даже перед отъездом подарил ей какой-то красивый расписной коврик, чтобы она совместно со своим дураком фотографом могла уютно обставить свое новое жилище.

НЕ ПУЩУ

Есть такая картина. Она написана, не помню, каким-то известным художником. Она называется «Не пущу».

А дело там вот в чем. Пивная. И около дверей пивной стоит женщина во весь рост. И, широко расставив руки, эта женщина не пускает в пивную своего мужа.

А муж, видимо, не дурак выпить, все же ломится. И хочет ее отстранить.

А при ней вдобавок еще, кажется, перепуганный ребенок. И, так сказать, всем своим видом женщина говорит: «Не пущу». А у самой на лице горе и волнение. И волосы у нее в беспорядке распущены, дескать, не до прически. И кругом пустынно. Никого нет. И никто этим явлением не заинтересован.

Очень сильная дореволюционная картина. Она очень метко схватывает моменты той эпохи. И зритель через эту

картину убеждается, какие были пьяные забулдыги-мужья, и как неважно жилось женам, и как зарабатывал на этом каналья кабатчик, который каждую минуту мог выйти и прогнать женщину, не допускавшую мужа пропить свой последний рубль.

В этом смысле дореволюционный мастер кисти и резца отлично справился со своей задачей и по мере своих слабых сил честно отразил момент действительности.

Эту картину поучительно видеть во все исторические времена. И, например, наблюдая эту картину в наши дни, видишь существенную разницу.

Конечно, у нас пьют порядочно. И заливают, как говорится, за галстук при первой возможности. Но, между прочим, пьют сравнительно как-то не так, как прежде. Все меньше и меньше наблюдаешь в лежку пьяненьких.

Бывало, раньше идешь в воскресенье или в какой-нибудь царский день и прямо чуть не наступаешь на лежащих граждан. А над ними хлопочут дворники и городовые. Натирают им уши и подставляют к носу пузырьки с нашатырным спиртом, чтоб те очухались и смогли бы на своих ножках дойти до участка. А уж там их, миленьких, в полутемной каморке, как дрова, сваливают друг на друга.

Сейчас, конечно, этого не бывает. А уж если какой-нибудь тип свалится у нас, то вскоре торжественно и культурно подъезжает до него карета скорой помощи, и его, как случайно захворавшего, везут в вытрезвитель. А уж там его йодом смажут и с научной целью внутренности промоют. И вдобавок утром какую-нибудь лекцию прочтут. И возьмут с него за все про все вместе с процедурами рублей десять или двадцать.

Так что, я говорю, разница колоссальная. И даже по этому поводу надо бы выпить.

А что касается жен, то и они порядочно выросли. И уже такую женщину, какая выведена на картине, навряд ли можно найти.

И уж если муж у нее сильно пьет, то она скорей всего с ним разойдется, если квартирный вопрос дозволяет. А если она его любит, то она и сама зайдет с ним, куда его тянет, и там культурно посидит с ним за столиком.

А которые потеряли совесть, то на них уж такие робкие слова: «не пущу» — все равно не действуют. Таким нужно что-нибудь более современное.

И на этих днях мы видели нечто подобное, которое и вдохновило нас (как и того художника) зарисовать для потомства момент действительности.

А идем мы по Выборгской стороне. И вдруг видим — человек двадцать граждан идут вдоль панели и все ахают. Некоторые возмущаются. Другие машут руками. Третьи смеются.

И вдруг мы видим — на панели идет мужчина. В обыкновенной синей спецовке и в кепочке.

И вдруг все видят, что этот мужчина — пьяный. Он идет очень неровно. Шатается. И его сильно кренит то в одну, то в другую сторону.

И тут все замечают, что этот пьяный мужчина держит на руках малыша. Он держит маленького ребенка лет, может, трех. Такая чудная крошка. Курчавенький. Носик пуговкой. И смеется. Ему, видать, забавно, и у него дух замирает, что он так на руках качается. Он не понимает, конечно, что его пьяный несет и он через это качается. Он, может быть, думает, что это такая игра.

А рядом с этим странным шествием идет женщина. И одной рукой эта женщина отстраняет прохожих. А другой рукой она по временам делает «козу». Она этим, видать, еще более забавляет малыша, который сидит на руках у пьяного.

И вот, я говорю, кругом в толпе раздаются возмущенные возгласы. Некоторые женщины, недовольные такой безобразной сценой и видя, что крошка подвергается опасности упасть и вдребезги разбиться, начинают кричать на пьяного, чтоб он прекратил свое шествие с ребенком. Но тот, мало что понимая, идет, покачиваясь, дальше.

А та женщина, которая идет с ним рядом, не смущается этим и продолжает забавлять ребенка. И по всему видно, что она мать этой деточки и жена этого пьяного. И тем не менее такая сцена.

Тогда одна молодая особа, не могущая больше видеть подобные дела, бежит до милиционера и с ним возвращается.

И тогда все, наперерыв галдя, рапортуют милиционеру, что вот, дескать, пьяный дурак подвергает опасности ребенка, а эта ненормальная мать потакает. Не допускайте это шествие.

Тогда милиционер делает под козырек этой паре. И те останавливаются.

И вдруг женщина машет на толпу рукой, чтоб все замолчали. И когда прекратились крики, она произнесла такую речь:

— Товарищи,— сказала она,— этот выпивший человек, несущий на руках нашего сына, есть мой муж. И он в насто-

ящее время лечится от алкоголя. И он уже делает некоторые успехи. Но пока он провел двадцать сеансов. А врачи ему сказали, что надо двадцать пять. Так что он еще не окончательно забылся от своей привычки. И он последнее время каждый день сидит в пивной, покуда я его оттуда не вытяну. Но поскольку я его силой вывести не могу и он все равно будет сидеть до закрытия, я тогда прибегаю к нашему сыну. Муж у меня исключительно любит ребенка. И только когда я в пивную зайду с сыном, муж мой весь преображается, берет его на руки и идет домой. Но попробуйте от него отнять ребенка — и он обратно вернется и будет снова пить. Что же касается до того, что он уронит ребенка, то на этот случай я иду рядом, и если муж опрокинется, то я вполне успею подхватить мальчика. Конечно, в каждом деле есть риск и волнение, но тут меньше беды, чем если он у меня сопьется и тем самым сделает еще больший вред себе, сыну и обществу. Вот что я могу вам сказать в ответ на ваши законные крики, угрозы и возмущение.

Тут многие развели руками, когда услышали эту реплику. А некоторые зааплодировали и расступились, чтоб дать им дорогу.

И пьяный отец, который во время речи мотался, как пшеничный колос от ветра, торжественно пошел дальше.

И тут все убедились, что он крайне бережно и крепко держит мальчишку.

И снова рядом с ними пошла женщина, продолжая делать мальчику «козу».

И милиционер, не зная, какую резолюцию подвести под это дело, снова взял под козырек и, вздохнувши, сказал:

— Все в порядке... Пущай идут.

И кто-то из толпы добавил:

— Все в порядке — пьяных нет.

И тут все засмеялись и разошлись по своим делам.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома.

Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома.

А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания.

Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось.

Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х».

Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, она на волоске висит — и вдруг приходится читать такие слова.

Я сказал мужчине, который меня записывал:

— Что вы, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать.

Фельдшер, или как там его — лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит:

— Глядите: больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рту не идет от жара, а тоже, говорит, наводит на все самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать.

Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, 39 и 8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал:

— Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы.

Фельдшер удивился, что тяжелобольной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор.И тут сестричка подскочила.

— Пойдемте, говорит, больной, на обмывочный пункт.

Но от этих слов меня тоже передернуло.

— Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, красивей и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтоб меня обмывать.

Медсестра говорит:

— Даром что больной, а тоже, говорит, замечает всякие тонкости. Наверно, говорит, вы не выздоровеете, что во все нос суете.

Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться.

И вот я стал раздеваться и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу,

что это как будто старуха в ванне сидит, наверно, из больных.

Я говорю сестре:

— Куда же вы меня, собаки, привели — в дамскую ванну? Тут, говорю, уже кто-то купается.

Сестра говорит:

— Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды.

Я говорю:

— Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне.

Вдруг снова приходит лекпом.

— Я, говорит, первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему, нахалу, не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее, может быть, около сорока температуры, и она ничего в расчет не принимает и все видит как сквозь сито. И, уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, говорит, я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания.

Тут купающаяся старуха подает голос:

— Вынимайте, говорит, меня из воды, или, говорит, я сама сейчас выйду и всех тут вас распатроню.

Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться.

И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть.

И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купанья они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект не по мерке, но потом я увидел, что у них это — нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие — в маленьких.

И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида, а на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди, и это морально унижало человеческое достоинство.

Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить.

А положили меня в небольшую палату, где лежало около тридцати разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжелобольные. А некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели. Другие играли в пешки. Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем.

Я говорю сестрице:

— Может быть, я попал в больницу для душевнобольных, так вы так и скажите. Я, говорю, каждый год в больницах лежу, и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар.

Та говорит:

— Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтоб он от вас мух и блох отгонял?

Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание.

Только очнулся я, наверно, так думаю, дня через три.

Сестричка говорит мне:

— Ну, говорит, у вас прямо двужильный организм. Вы, говорит, скрозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, говорит, если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, го́ворит, вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением.

Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием — коклюшем.

Сестричка говорит:

— Наверно, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверно, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули.

В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал: «Перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет».

А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то

не пришел и нельзя было отметить. То, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит:

— У нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только восемь дней перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то они терпят.

Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой.

Супруга говорит:

— Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится: «По получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа».

Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтоб с кем-нибудь там побраниться, но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел.

И теперь хвораю дома.

В ТРАМВАЕ

Давеча еду в трамвае. И стою, конечно, на площадке, поскольку я не любитель внутри ехать.

Стою на площадке и любуюсь окружающей панорамой.

А едем через Троицкий мост. И очень вокруг поразительно красиво. Петропавловская крепость с золотым шпилем. Нева со своим державным течением. Тут же солнце закатывается. Одним словом, очень, как говорится, божественно.

И вот стою на площадке, и душа у меня очень восторженно воспринимает каждую краску, каждый шорох и каждый отдельный момент.

Разные возвышенные мысли приходят. Разные гуманные фразы теснятся в голове. Разные стихотворения на ум приходят. Из Пушкина что-то такое выплывает в память: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца...»

И вдруг кондукторша разбивает мое возвышенное на-

строение, поскольку она начинает спорить с одним пассажиром.

И тут я, как говорится, с высоты заоблачных вершин спускаюсь в надземный мир с его узкими интересами, мелкими страстями и недочетами.

Молодая, интересная собой кондукторша ядовито говорит пассажиру:

— Что ж вы думаете: я даром вас повезу? Платите, короче говоря, деньги или сойдите с моего вагона.

И слова, которые она произносит, относятся к скромно одетому человеку. И стоит этот человек со своим постным лицом и, одним словом, не платит за проезд. Он отвиливает платить. И то роется в карманах и ничего там не находит, то говорит уклончиво:

— Такая славненькая кондукторша, и такие хорошенькие у нее губки, и так она сильно ерепенится и этим портит свою наружность... Ну нет у меня денег... Сейчас сойду, милочка, только одну остановку проеду...

— То есть никакой остановки я тебе даром не дам проехать,— говорит кондукторша.— А если у тебя денег нет, так зачем же ты, нахал, в трамвай вперся? Вот чего я никак не пойму.

Пассажир говорит:

— Тоже пешком идти — может быть, у меня пузыри на ногах? Какие нечувствительные люди в настоящее время. Совершенно не входят в положение человека. Только за все деньги, деньги и деньги. Прямо, может быть, этого не оберешься. Только давай, давай, давай...

Гуманные чувства заполняют мое сердце. Мне становится жалко человека, у которого нет даже нескольких грошей на проезд в трамвае.

Я вынимаю деньги и говорю кондукторше:

— Примите за того, который с постным лицом. Я заплачу за него.

Кондукторша говорит:

— Никакой уплаты со стороны я не разрешаю.

— То есть, говорю, как же вы можете не разрешить? Вот тебе здравствуйте!

— А так, говорит, и не разрешу. И если у него нету денег, то и пущай он пешком шкандыбает. А на своем участке работы я не дозволю поощрять то, с чем мы боремся. И если у человека нету денег — значит, он их не заслужил.

— Позвольте, говорю, это негуманно. К человеку надо гуманно относиться, когда ему плохо, а не наоборот. Чело-

века, говорю, надо жалеть и ему помогать, когда с ним что-нибудь происходит, а не тогда, когда ему чудно живется. А вдобавок это, может быть, мой родственник, и я его желаю поддержать на основе родственных чувств.

— А вот я вашего родственника сейчас отправлю в одно местечко,— говорит кондукторша и, свесившись с трамвая, начинает трещать в свой свисток.

Пассажир с постным лицом говорит, вздохнувши:

— Какая попалась на этот раз ядовитая бабенка. А ну, брось свистеть и поезжай дальше: я сейчас заплачу.

Он вынимает из кармана записную книжку, вытаскивает из нее три червонца и со вздохом говорит:

— Крупная купюра, и через это в трамвае мне ее не хотелось зря менять. Но поскольку эта особа с ума сходит и не дозволяет пассажирам производить поддержку, то вот примите, если, конечно, найдется сдачи, что вряд ли.

Кондукторша говорит:

— Чего вы суете мне в нос такие крупные деньги? У меня нету сдачи. Нет ли у кого разменять?

Я было хотел разменять, но, увидя суровый взгляд пассажира, отложил свои намерения:

— Вот то-то и оно,— сказал пассажир.— Через это я и не давал купюру, поскольку знаю, что это безрезультатно и в трамвае не могут ее разменять.

— Какая канитель с этим человеком,— говорит кондукторша.— Тогда я трамвай сейчас остановлю и его к черту ссажу. Он мне тормозит мою работу.

И она берется за звонок и хочет звонить.

Пассажир, вздохнувши, говорит:

— Эта кондукторша что-нибудь особенное. То есть я в первый раз вижу такое поведение. А ну, погоди звонить, я сейчас заплачу. Вот действительно какой ядовитый человек попался...

Он роется в кармане и достает двугривенный.

Кондукторша говорит:

— Что ж ты, дармоед, раньше-то не давал? Небось хотел на пушку проехать.

Пассажир говорит:

— Всем давать — потрохов не хватит. Прими деньги и заткни фонтан своего красноречия. Через такие мелочи трещит своим языком в течение часа. Прямо надоело.

— И хотя это мелочи,— сказала кондукторша, обращаясь к публике,— но они затрудняют плавный ход движения

государственного аппарата. И я через это пропустила целую массу безбилетных пассажиров. И его пятнадцать копеек обошлись государству рублей шесть.

Через две остановки злополучный пассажир со своей мелкой, склочной душой сошел с трамвая.

И тогда кондукторша сказала:

— Какие бывают отпетые подлецы!

Потом мы снова въехали на какой-то мост, и я снова увлекся картинами природы, позабыв о мелочах, связанных с движением транспорта.

СПИ СКОРЕЙ

Откровенно говоря, я не люблю путешествовать. Меня останавливает вопрос, где переночевать.

Из ста случаев мне только два раза удалось в гостинице комнату зацепить.

И то в последний раз я получил номер отчасти случайно. Они меня не за того приняли. Потом-то на другой день они, конечно, спохватились и предложили очистить помещение, но я и сам уехал.

А сначала любезность их меня удивила.

Портье, нюхая розу, сказал:

— Только осмелюсь вам сказать, ваш номер будет с дефектом. Там у вас окно разбито. И если, допустим, ночью кошка в ваш номер прыгнѐт, так вы не пугайтесь.

Я говорю:

— А зачем же кошка будет ко мне прыгать? Вы меня удивляете.

Портье говорит:

— Видите, там у нас в аккурат на уровне окна имеется помойная яма, так что животные не разбираются, где чего есть, а прыгают, думая, что это то же самое.

Конечно, когда я вошел в номер, я всецело понял психологию кошек. Они смело могли не разобраться в действительности.

Вообще говоря, номер люкс мне не нужен, но эта грязная каморка с колченогим стулом меня немного покоробила.

Главное, меня удивило, что в комнате была лужа.

Я стал звать кого-нибудь, чтоб это убрать, но никто не пришел. Тогда я разговорился с портье.

Он говорит:

— Если у вас имеется лужа, то, наверно, я так думаю,

кто-нибудь там воду опрокинул. Сегодня у меня нет свободного персонала, но завтра я велю эту лужу вытереть, тем более что к утру она, наверно, и сама высохнет. Климат у нас теплый.

Я говорю:

— Потом номер уж очень жуткий. Темно, и из мебели всего стул, кровать и какой-то ящик. Конечно, говорю, разные бывают гостиницы. Недавно, говорю, в Донбассе, а именно в Константиновке, я заместо одеяла покрывался скатертью...

— До скатертей мы не доходим,— сказал портье,— но заместо пододеяльников у нас действительно положены короткие отрезы. А что касается темноты, то, конечно, вам не узоры писать. Спите скорей, гражданин, и не тревожьте администрацию своей излишней болтовней.

Я не стал с ним спорить, чтобы не разгуляться, и, придя в номер, разделся и юркнул в кровать.

Но в первую минуту я даже не понял, что со мной. Я, как на горке, съехал вниз.

Я хотел приподняться, чтоб посмотреть, какая это кровать, что на ней так удобно съезжать. Но тут запутался ногами в простыне, в которой были дырки. Выпутавшись из них, я зажег свет и осмотрел, на чем я лежу.

Оказалось, что начиная от изголовья продавленная сетка кровати устремлялась книзу, так что спящему человеку действительно не было возможности удерживаться в горизонтальном положении.

Тогда я положил подушку в ноги, а под нее сунул свой чемодан и таким образом лег наоборот.

Но тут оказалось, что я не лежу, а сижу.

Тогда я в середину сунул пальто и портфель и лег на это сооружение с намерением, как говорится, задать храповицкого.

И вот я уже стал дремать, как вдруг меня начали кусать клопы.

Нет, два-три клопа меня бы не испугали, но тут, как говорится, был громадный военный отряд, действующий совместно с прыгающей кавалерией.

Я поддался панике, но потом повел планомерную борьбу.

Но когда борьба была в полном разгаре, вдруг неожиданно потух свет.

В полной беззащитности я начал нервно ходить по номеру, ахая и причитая, как вдруг раздался стук в дощатую стену, и грубый женский голос произнес:

— Что вы тут, черт возьми, вертитесь в комнате, как ненормальный!

В первую минуту я остолбенел, но потом у меня с соседкой началась словесная баталия, которую даже совестно передать, поскольку, сгоряча и нервно настроенные, мы наговорили друг другу кучу самых архиобидных слов.

— Если я с вами, черт возьми, когда-нибудь встречусь,— сказала мне под конец соседка,— то я вам непременно дам плюху, имейте это в виду.

Мне прямо до слез хотелось ей на это что-нибудь возразить, но я благоразумно смолчал и только швырнул в ее стену ящик, чтобы она подумала, что я в нее стреляю. После этого она замолчала.

А я, отодвинув от стены постель, взял графин с водой и сделал вокруг кровати водяное кольцо, чтобы ко мне не прилезли посторонние клопы. После чего я снова лег, предоставив свое, как говорится, бренное тело на волю божию.

Под адские укусы я уже стал засыпать, как вдруг за стеной раздался ужасный женский крик.

Я закричал соседке:

— Если вы нарочно завизжали, чтоб меня разбудить, то завтра вы мне ответите за свой хулиганский поступок.

Тут у нас снова поднялся словесный бой, из которого выяснилось, что к ней в кровать прыгнула со двора кошка и через это она испугалась.

Дурак портье, наверно, перепутал. Он мне обещал кошку, но у меня окно было целое, а у нее нет.

В общем, я опять задремал. Но, настроенный нервно, я то и дело вздрагивал. А при вздрагивании всякий раз меня будила сетка от кровати, которая издавала зловещий звон, визжание и скрежет.

Начиналось утро. Я снял тюфяк с кровати и положил его на пол. Полное блаженство охватило меня, когда я лег на это славное ложе.

«Спи скорей, твоя подушка нужна другому»,— сказал я сам себе, вспомнив, что такой плакат висел в прошлом году в Доме крестьянина в городе Феодосии.

В эту минуту во дворе раздался визг электрической пилы.

В общем, ослабевший и зеленый, я покидал мою злосчастную гостиницу.

Я решил, что моей ноги не будет в этом отеле и в этом городе. Но судьба решила иначе.

В поезде, отъехав сто километров, я обнаружил, что мне

дали не мой паспорт. А так как это был дамский паспорт, то ехать дальше не представлялось возможности.

На другой день я вернулся в гостиницу.

Конечно, мне было адски неловко встретиться с моей соседкой, которая тоже, оказывается, уехала и теперь вернулась с моим паспортом.

Это оказалась славная девушка, инструкторша по плаванию. И мы с ней потом мило познакомились и позабыли о ночной драме. Так что пребывание в гостинице все же имело известные плюсы. И в этом смысле путешествия иной раз приносят забавные встречи.

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

К одному жильцу с нашей коммунальной квартиры прибыл из деревни его отец.

Конечно, он прибыл по случаю болезни своего сына. Без этого он, наверное, до конца своих дней не увидел бы Ленинграда. Но поскольку захворал его сын, вот он и прибыл.

А сын его был наш жилец. И он служил в одном ресторане официантом. Он там порции подавал и был на хорошем счету.

И, может быть, стараясь еще больше, он однажды, разгорячившись своим ночным трудом, выскочил на улицу, с тем чтобы пойти домой, и, конечно, через это простудился на своем, так сказать, кулинарном посту. Он захворал сначала насморком и семь дней чихал. Но потом простуда перешла к нему на грудь, и температура вдруг поднялась до плюс сорока градусов выше нуля.

Вдобавок еще до этого, желая в свободный день культурно провести время, он поехал в Павловск осмотреть дворцы, и там он немного надорвался, помогая своей супруге войти в вагон.

Так что все это вместе взятое дало печальную картину заболевания человека в полном расцвете его сил.

И, будучи от природы мнительным, наш бедный официант был уверен, что он уже не поправится и уже, как говорится, не приступит больше к исполнению своих прямых обязанностей.

И вот через это он и пригласил своего папу приехать в Ленинград, чтобы сказать ему последнее прости.

Не то чтобы он горячо любил своего папеньку и вот теперь на закате своей жизни он во что бы то ни стало

захотел его увидеть, напротив, он в течение сорока лет о нем не справлялся и совершенно как бы безучастно относился к факту его существования. Но его супруга, увидя у своего мужа такую невозможно высокую температуру, скорее из самолюбия — мол, все, как у людей,— дала папе телеграмму: дескать, приезжайте в Ленинград, ваш сын захворал.

И когда сын уже начал поправляться, в Ленинград, всем на удивление, прибыл из весьма далеких мест его папáнька в лаптях, с мешком за спиной и с палкой. Правда, потом оказалось, у старика в мешке были сапоги, но он их принципиально не носил, говоря об этом: «Богатый бережет рожу, а бедный — одежу».

Конечно, все, и в том числе сын, рассчитывали, что приедет скромный, отчасти даже религиозный старец лет семидесяти и будет тут произносить постные речи и всего пугаться. Но оказалось совершенно, как говорится, напротив.

Оказалось, что старикан был на редкость задиристый, немного скандалист, грубиян и брехун. И вдобавок он был не то чтобы контрреволюционер, но он отличался исключительной отсталостью в политическом смысле.

Он моментально во дворе дома схлестнулся с дворником и отодрал за уши одного подростка, пришедшего в гости к своему дяде, живущему тут двенадцать лет.

Потом он у нас в жакте резко беседовал с председателем, так что тот удивился, какие бывают взгляды на современность, и даже хотел об этом сообщить по месту его жительства.

В довершение всего приезжий отец напугал своего сына тем, что с места в карьер навел в конторе справку, не может ли он тут получить площадь для постоянного проживания в Ленинграде.

Конечно, сам по себе старик, наверное, был сравнительно хороший, но тут с первого дня его приезда почти все жильцы оказались не на высоте в смысле культуры. Они все начали над ним подтрунивать, шутили над ним, как над дураком, смеялись насчет его провинциальных, деревенских манер. И каждый старался сказать ему какую-нибудь чушь, вроде того как ему при встрече всякий раз говорил дворник петушиным голосом: «С какого именно колхоза прибыли, молодой человек?»

Да и сын его, официант Гаврилов, тоже, конечно, не отставал от общего настроения и в другой раз, давясь от смеха, говорил старику, нарочно глядя в газету:

— Сегодня, папаня, не ходите на улицу — ожидается облава на седых и рыжих.

Конечно, все это делалось довольно любовно и без злобы, но все-таки, как говорится, это, наверное, не было чем-нибудь приятным для приезжего старика, который прожил семьдесят два года и был, наверное, умнее их всех, вместе взятых. А они думали, что это — простофиля, дурак и серый мужик, и вот что с ним делали.

И это, конечно, имело отрицательную реакцию на его поведение.

И сколько дней он тут прожил, столько скандалов имело место. Были крики, сцены грубости и так далее.

В довершение всего на седьмой день своего пребывания он в пивной надрызгался и стал там буянить. И даже его хотели представить в милицию. Но он от всех скрылся и пошел шляться по улицам.

И вот он идет по улице и песни играет. А сам старенький, седенький и одетый по-деревенски, в высшей степени незатейливо.

И вот он идет по улицам и вдруг видит, что заблудился.

Конечно, это абсурд — тут заблудиться. Тем более он адрес знает. Но с пьяных глаз он испугался и даже протрезвел.

И спросил прохожего, куда ему идти. Но прохожий не знал и велел ему обратиться к органам милиции.

Конечно, наш старик оробел сразу подойти к стоящему на посту милиционеру и от волнения прошел еще два-три квартала.

Но потом подошел к постовому с опаской, думая, что тот засвистит и закричит на него.

Но тот, согласно внутренней инструкции, отдал честь подошедшему, приложив к козырьку свою руку в белой перчатке.

Приготовившись к скандалу и привыкши к этому, старик от неожиданности немного растерялся и залепетал разные слова, не идущие к делу.

А постовой, спросив у него, какая ему нужна улица, показал, куда идти, и, снова отдав честь, занялся своим делом.

Но этот маленький жест почтения и вежливости, рассчитанный в свое время на генералов и баронов, произвел исключительное впечатление на нашего приезжего старика.

Старик аж задрожал, когда ему постовой отдал честь вторично и, стало быть, тем самым показал, что тут ошибки не было, а было то, что ему полагалось.

И тогда старик, как потом выяснилось, снова еще раз подошел уже к другому милиционеру и снова получил приветствие, которое с еще большей силой запало в его слабую душу.

Конечно, я не знаю, может ли быть, чтоб это сразу отразилось на характере, но все заметили, что старикан вернулся домой в высшей степени сдержанный и, проходя мимо дворника, не вступил с ним в обычные пререкания, а молча отдал ему честь и проследовал к себе.

Не знаю, может ли быть, что такая мелочь и такой, в сущности, пустяк могли сыграть известную роль в смысле перековки характера, но все заметили, что с папашей Гавриловым что-то произошло другое и в высшей степени оригинальное.

Кое-кто видел, как он на углу около своего дома пару раз подходил к милиционеру и с ним вежливо беседовал.

И многие, грубоватые в своем уме, увидев перемену, приписали ее страху, который старик испытал, когда его хотели волочить в милицию. Но некоторые поняли по-другому.

И один интеллигент с нашей квартиры, страдающий сахарной болезнью, сказал про этот случай:

— Я завсегда отстаивал ту точку зрения, что уважение к личности, похвала и почтение приносят исключительные результаты. И многие характеры от этого раскрываются буквально как розы на рассвете.

Большинство с ним не согласилось, и даже у нас в квартире произошла безрезультатная дискуссия.

А дня через три папаша Гаврилов заявил своему сыну, что срочные дела требуют его отбытия в деревню.

Некоторые из нашей квартиры, желая загладить перед стариком свои неуклюжие шутки, пошли его провожать на вокзал.

И когда поезд тронулся, папа, стоя на площадке, отдал всем провожающим честь.

И все засмеялись, и папа засмеялся и уехал к себе на родину.

И там он, наверное, внесет теперь некоторую любезность в свои отношения к людям. И от этого ему в жизни станет еще более светло и приятно.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Современная молодая женщина не любит, когда ей говорят уменьшительные слова. Она не любит, когда ей говорят: «ротик», «ручки» или «ножки».

Она на это сердится. И даже, я так думаю, через это может разрыв произойти.

Одна особа мне так и сказала:

— Какие, к черту, ножки. Я, говорит, сорок первый размер бареток ношу, а вы, говорит, все свое. Подлец вы, говорит, а не человек. Вы, говорит, мне жизнь губите своей дурацкой чувствительностью.

Откровенно вам сказать, я даже опешил от таких слов.

Она говорит:

— Это, говорит, в прежнее время избалованные дамы или там графини любили в своих будуарах такие сентиментальности. А я, говорит, плюю на таких мужчин, как вы.

— Вот тебе, говорю, здравствуйте. Как, говорю, понимать ваши слова?

А как понимать ее слова, когда она с тех пор мне по телефону ни разу не звонила и при встрече со мной не поздоровалась?

А это верно: современные молодые женщины любят что-нибудь смелое, героическое. Им, я заметил, не нравится что-нибудь обыкновенное. Они любят, чтобы мужчина был непременно летчик или там в крайнем случае бортмеханик. Тогда они расцветают, и их не узнать.

А интересно их спросить: что же, все люди, что ли, должны быть летчиками и бортмеханиками?

Конечно, я ничего не говорю, профессия бортмеханика до некоторой степени удивительная, и она вызывает разные эмоции у зрителей. Но тоже, как говорится, невозможно, чтоб все без исключения летали под небеса.

Некоторым приходится занимать более скромные земные посты в канцеляриях и так далее.

А то им еще почему-то нравятся кинооператоры. Это уж прямо, как говорится, неизвестно почему. Крутит ручку и думает: «Наполеон».

Еще тоже вызывают женскую любовь приехавшие из Арктики. Ну, льды там. Снег. Северное сияние. Подумаешь!

Вообще говоря, я четыре раза женился, и все как-то такое у меня не вытанцовывалось. Ну, первые две жены увлеклись бортмеханиками. Третья сошлась с киноопера-

тором. Ну, как говорится, это бывает. Но четвертый брак меня удивил своей неожиданностью. И я как гражданин, испытавший это, должен предостеречь остальных мужчин от подобных бракосочетаний.

У меня было знакомство с одной особой. И мы решили с ней пожениться. Но я ее честно предупредил:

— Имейте в виду, говорю, я не порхаю под небеса и навряд ли, говорю, для вашего удовольствия когда-нибудь прыгну с крыши с парашютом. Так что если вы увлекаетесь небесной профессией, то вопросов, как говорится, к вам не имею. И тогда давайте замнем вопрос о браке.

Она говорит:

— Профессия не играет роли. И к летчикам я отношусь равнодушно. Но мне единственно важно, чтоб наш союз был до некоторой степени свободный. Я не люблю стеснений личности. Я, говорит, до вас семь лет была замужем, и муж меня даже в театр с кем-нибудь не пускал. И теперь я бы желала иметь с вами брак, основанный на товарищеских условиях. И если, например, вы кем-нибудь увлечетесь, я вам ничего не скажу. А если я кого-нибудь встречу, то и вы тем более мне не будете возражать. И тогда наш брак, наверно, будет более продолжительный, основанный на разумном понимании двух любящих сердец. А то, что муж будет иметь мелкую профессию, то это даже и лучше. По крайней мере он будет знать свое место и не станет с меня требовать невозможного.

Я говорю ей:

— Я четвертый раз женюсь, и у меня, говорю, ум за разум заходит от всевозможных понятий. То, говорю, одна не велит уменьшительные слова ей говорить. То, говорю, другая сходится с кинооператором. То, говорю, вы еще что-то мне преподносите. Но, говорю, поскольку мое сердце занято вами, то пускай будет по-вашему.

И вот, конечно, мы женимся и живем на разных квартирах. И все у нас идет хорошо и дружелюбно. Но вдруг она через неделю увлекается одним своим знакомым, который прибыл из Арктики.

Она мне говорит согласно нашего договора:

— Если хотите, давайте разойдемся. Но если еще питаете ко мне некоторые чувства, то давайте придерживаться наших условий. Тем более мой знакомый снова в скором времени уезжает в экспедицию, и тогда у нас с вами опять что-нибудь хорошее получится.

И вот я, как дурак, ожидаю его отъезда месяц и два. И наконец моя соседка по комнате говорит:

— Напрасно будете ее ждать. Ваше дело битое: она к вам нипочем назад не вернется.

Но проходит еще месяц, и вдруг моя супруга возвращается со словами: я, дескать, его окончательно отшила, тем более что он снова уехал в свое северное путешествие.

Я говорю:

— Но теперь с моей стороны возникли препятствия: я, говорю, увлекся своей соседкой. А если у вас остались ко мне чувства, то, говорю, я согласен с ней разойтись.

И вот я стал расходиться со своей соседкой. И только я с ней разошелся, гляжу: моя супруга через месяц спокойной жизни снова увлеклась приятелем и спутником по путешествию того человека, который уехал в Арктику. А этот полярник почему-то остался. И она им увлеклась. И стала с ним жить.

Вот я, согласно условию, жду несколько месяцев и вдруг узнаю, что у нее будет от него ребенок.

Я говорю ей:

— Интересный брак у нас получается. Эти, говорю, полярники, бортмеханики и кинооператоры меня буквально с ног валят.

Она говорит:

— Хотите — подождите, когда он меня разлюбит или когда ребенок немного подрастет. И тогда будем продолжать наши условия. А не хотите — так как хотите. Вообще, говорит, вы мне прямо надоели своим вечным нытьем и недовольством. Я, говорит, не от себя завишу. Мое сердце мне подсказывает, каких современных мужчин мне любить и каких ненавидеть. Не только, говорит, вы не имеете значка ГТО, но хоть бы для смеха прошли курс санитарной обороны. Уж я не говорю, чтобы вы были ворошиловский стрелок или поехали бы куда-нибудь на север. Не эти, говорит, профессии вас с ног валят, а просто у вас характер неинтересный, далекий от современности. Нынче богачей нету, и капиталом свое убожество прикрывать не приходится, так что надо улучшать свою личность, чтоб заслужить женскую любовь.

Я говорю:

— То одна не велит уменьшительных слов произносить, то другая детей преподносит. И вдобавок мне лекции читает.

Вдруг она открывает дверь в соседнюю комнату и кричит уменьшительные слова:

— Ванечка, этот типус опять к нам скандалить пришел. И хотя он мой муж, но выгони его к черту. Я, говорит, чувствую, что через него истерику наживу.

И вдруг входит в комнату приятель того, который в Арктику уехал. Здоровенный такой мужчина, закаленный северным воздухом. И вдобавок парашютист, со значком.

— Об чем, говорит, молодой человек, вы тут загораетесь?

Я попрощался с ним и ушел с намерением все это описать, чтоб другие нелетающие мужчины остерегались попадать в такое же, как говорится, непромокаемое положение.

Я гляжу против таких свободных браков. Я стою за более крепкий брак, основанный на взаимном чувстве. А где это чувство взять, ежели я и парашюта никогда в глаза не видел? И севернее Лигова нигде не жил.

Прямо хоть становись героем, чтобы сравняться с остальным населением.

ЖАЛОБА

Многие граждане жалуются, что в настоящее время жаловаться не представляется чем-нибудь легким и что это иной раз связано, что ли, с волокитой.

Но я не разделяю этого мнения. Написать претензию в жалобную книгу — это чистое и святое дело.

На эту претензию сразу и без всякой волокиты отзывается директор или, там, заведующий. И сразу под вашей жалобой он пишет свое умозаключение. И на этом дело заканчивается к общему благополучию. Так что я удивляюсь на тех граждан, которые вякают о волоките.

Другое дело, если жалобщик пожелает обойти этот подводный камень в лице заведующего. Вот если он свою жалобу не запишет в жалобную книгу, а подкинет ее, так сказать, через голову заведующего — вот тогда, конечно, движение жалобы иной раз будет несколько более медленным, чем в другой раз хотелось бы. Не скажу, что будет волокита, но некоторый, что ли, туман может возникнуть.

Со мной, например, случилась в одном кооперативе неприятность. Перед выходным днем я заскочил в кооператив что-нибудь купить в рассуждении ожидаемых гостей.

Куплена была разная дешевенькая снедь, и в том числе соленые огурцы.

Но подавать гостям огурцы — это нерационально. И, купив их, я подумал: «Гости обопьются, и это будет лишняя канитель в хозяйстве».

И тогда я говорю работнику прилавка:

— Купленные огурцы замени мне, милый друг, яблочной повидлой.

Но тот, будучи, наверно, в раздраженном состоянии, отказался это сделать.

Тут мы с ним, как говорится, немножко схлестнулись чисто на словах. В результате чего он обозвал меня размагниченным интеллигентом и потом добавил одно нехорошее слово в ответ на мои слова, что у него печенка лопнет, если он будет сердиться.

Тут произошла неприятная стычка. Он брызнул слегка в меня рассолом. Но не попал. А капнул на одну солидную даму. Я вызвал заведующего, но тот сказал:

— Сам черт не разберет, кто из вас виноват. Вы бы его не сердили, и все было бы хорошо. А если вы против него имеете зуб, то напишите жалобу в этой книге. А я ее разберу.

— Ну нет, говорю, сердечный друг. Я повыше махну! И мы увидим, что будет с этим работником прилавка!

И на другой день я послал свою жалобу в ихнее управление. Захожу туда через неделю. Там говорят:

— Зайдите в районное управление: мы туда вашу жалобу перекинули.

Захожу туда. Там говорят:

— Что ж они перекидкой занимаются? Как будто у нас своих дел мало! Где мы будем ваше заявление искать? Но если вы еще не остыли к этому делу, то напишите нам снова, и мы вашу претензию разберем.

Вот я написал снова и подал им.

Захожу через неделю. Там говорят:

— А мы послали вашу жалобу к заведующему в магазин. Он к этому факту ближе стоит, и пусть он разберет.

С душевным трепетом я иду в магазин. Мне там говорят:

— Заведующего нету. Он, знаете, на прошлой неделе загремел: его сняли за одно нечистоплотное дело.

Я говорю:

— А кто его заменяет?

Вдруг тот же самый приказчик, что со мной схлестнулся, говорит:

— А, честь имею кланяться. Я временно его заменяю.

— Вот так номер!

— Если вы заскочили насчет вашей жалобы, то я согла-

сен дело ваше прекратить. Если, конечно, вы извинитесь за допущенное вами оскорбление на моем посту.

Ошалев от неожиданности, я сказал ему «извините» и в растрепанных чувствах вышел из магазина.

И теперь жалобы пишу прямо в книгу, чтобы не было лишней волокиты.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Прежде чем рассказать вам эту забавную историю, придется нам с вами перенестись сначала чуть не в прошлое столетие.

Вот какое событие произошло двадцать три года назад в городе Виннице.

Город Винница — небольшой цветущий городок. Там, говорят, много садов. Прелестные маленькие домики. И славная быстротечная река.

Этот городок еще тем отличается от других, что он расположен недалеко от знаменитой станции Жмеринка, где, как известно, скрещиваются многие пути и происходят пересадки.

И вот в этом небольшом славном городке жил двадцать три года назад сын одного довольно богатого коммерсанта.

Он там в свое время окончил реальное училище. И был потом инженером. Но после смерти своего папы он не пожелал пойти по научной или там технической линии, а стал продолжать дело своего родителя, который являлся поставщиком многих винных фирм.

И вот у сына этого коммерсанта дела тоже пошли весьма недурно. Настроение у него было прекрасное. Вскоре он там построил красивый двухэтажный дом в английском вкусе. И через некоторое время женился.

Он там женился на одной местной девушке, недавно окончившей среднее образование.

Это была некая девушка Муза — смуглая красавица с круглыми щечками и с блестящими, как звездочки, глазами.

Кажется, как будто мама у нее была румынка. И, может быть, поэтому она отличалась такой южной красотой.

Ах, он исключительно ее полюбил.

Он обставил ее комнату стильной мебелью. Затянул стены шелковой материей. Вместо дверей навесил турецкие бусы. Подарил ей двух маленьких попугаев. Привез ей от-

куда-то всяких шелковых тканей, ковров и ковриков. И теперь ее жилище было похоже на шатер в восточном вкусе.

И молодая женщина была довольна, но не совсем.

Она не слишком любила своего мужа. И, может быть, отчасти пошла за него замуж по расчету. Она мечтала встретить какого-нибудь стройного и гибкого мужчину, а муж был немного толстоватый и слегка, как бы сказать, косопузый. И вдобавок ноги у него не были пропорциональны всему остальному. И, уж во всяком случае, со своей наружностью муж не являлся героем ее романа.

Он понимал это, как говорится, соотношение сил. Баловал ее. Носил на руках. И не очень-то любил уезжать в свои деловые командировки, боясь подолгу оставлять молодую женщину без внимания и надзора.

Он хотел, чтобы она все время занималась материнством и чтобы она кормила его детей. Он этим хотел сохранить ее для себя.

Но она, родив ему девочку, не могла почему-то продолжать в том же духе. И муж, благодаря этому, еще более страшился, что она влюбится в кого-нибудь во время его отъезда.

А она, конечно, оставаясь одна, скучала, и в ее южном сердечке зарождалось желание кого-нибудь полюбить и кому-нибудь составить небывалое счастье.

И вот однажды она встретила одного своего знакомого. Она давно его знала. Они были знакомы, когда он еще был реалистом и на спине носил школьный ранец.

Но сейчас он был студент и кончал институт. И он на каникулы прибыл к своей матери в город Винницу.

Теперь это не был маленький и прыщеватый мальчишка. Теперь это был красивый студентик, сильный и стройный,— Саша Ф.

Он не без шика одевался, носил накладные орлы на пуговицах и брюки со штрипками. И ходил со стеком, веселый и остроумный, способный поразить своей внешностью не только простенькую девушку из провинции.

Он встретился с ней на одной вечеринке, и у них почти сразу возникло чувство.

Он стал назначать ей свидания, писал ей пылкие записочки и стоял часами под ее окнами.

Они стали встречаться. И муж вскоре констатировал, что то, чего он боялся,— случилось.

Муж не велел принимать Сашу Ф. Он отказал ему от дома и даже пригрозил его убить, если тот не перестанет смущать покой его юной жены.

Но угрозы не устрашили влюбленного юношу. Он попрежнему украдкой встречался с молодой женщиной. Он вскружил ей голову, и она, имевшая пятилетнюю дочку, впервые поняла, что такое любовь.

Она просто потеряла рассудок, и день, проведенный без него, считала потерянным.

Она бесстрашно стала приходить к нему и оставалась у него часами, мечтая с ним о новой жизни.

Но он был беден и не закончил еще учебы. Он приводил ей резонные доводы о невозможности значительных перемен.

В довершение всего его мать, пожилая согбенная дама, позабывшая, что такое юность, весьма неблагосклонно отнеслась к ее посещениям. И не скрывала своей досады, когда влюбленная женщина приходила к ее сыну.

Она боялась, что эта любовь кончится драмой или трагедией.

Препятствия не прекратили их пылкую любовь.

Муза предложила ему бывать у нее в доме, говоря, что муж постоянно находится в разъездах.

Он не считал это удобным и долгое время отказывался, но однажды все же пришел к ней, волнуясь за свое безрассудство.

Она успокоила его, сказав, что муж в Харькове.

Он пришел к ней, как они условились, утром. И, ах, это утро осталось у него в памяти на всю жизнь.

Это было летнее утро. Окно было раскрыто. Сад благоухал цветами. Солнце сверкало в зеркалах и в хрустальных безделушках, украшавших ее комнату. Муза приняла его в каком-то небесном шелковом платье, юная и прелестная,— смуглая красавица, полюбившая его без памяти.

Он прямо с ума сошел от счастья, когда заключил ее в свои объятия.

И она как сумасшедшая обняла его. И они пять часов подряд целовались. И даже она чуть не потеряла сознание, так это было для нее ново и удивительно.

Уже ее мать, старая румынка, дважды поднималась наверх и, тихонько постучав в стену, упрашивала их разойтись, но они не имели сил расстаться.

Наконец они стали прощаться.

Дружески обнявшись, они ходили по комнате, говоря о своем светлом будущем.

Она вдруг шутя спросила его, что бы он стал делать, если б сейчас приехал ее муж.

Он, смеясь, показал на свой расстегнутый ворот, на галстук и воротничок, брошенные на стул. Он сказал, что он не трус, но он, конечно, не хотел бы ее компрометировать. И, поглядев в окно, выходящее в сад, сказал, что он отличный гимнаст и ему не составило бы труда спуститься в сад по этим деревьям.

Она похвалила его за благоразумие, хотя видно было, что ей хотелось бы услышать иное, более героическое, более смелое и мужественное.

Так, гуляя по комнате, он вдруг увидел распечатанную телеграмму, лежащую на столике. Телеграмма была от мужа — он извещал ее, что приедет в среду, и посылал ей тысячу нежных поцелуев и свою страстную, до гроба любовь.

— Как он вас любит,— ревнуя, сказал Саша, с досадой бросая телеграмму. Но тотчас ее поднял и, вновь прочитав, не без тревоги сказал: — Но ведь сегодня среда. Значит, он приедет сегодня.

Муза подтвердила это. Она сказала, что харьковский поезд приходит вечером, так что не следует беспокоиться.

Он назвал ее безрассудной. Он сказал, что муж каждую минуту может приехать на машине или же каким-нибудь иным поездом.

И он стал с ней прощаться. Но снова им было жаль расстаться. И они снова, к ужасу старой румынки, принялись за свои поцелуи.

Вдруг они услышали внизу звонок и шум. И звонкий голосок ее пятилетней дочки пронзительно закричал: «Папа приехал!»

Муза страшно побледнела. Она, заламывая руки, сказала:

— Боже мой. Это приехал Илья... Он убьет тебя...

Саша Ф., поцеловав ее трепетную руку, в одну секунду вскочил на подоконник и, притянув к окну ветку дерева, ловко, как обезьяна, повис на ней.

Муза ахнула, всплеснув руками.

Студент гибким движением молодого тела подался вперед и, хватаясь руками за ветки, благополучно спустился в сад.

Внизу он помахал рукой молодой женщине, неподвижно стоявшей у окна, и скрылся в зарослях малины.

Пробравшись сквозь малину к забору, он стал приводить себя в порядок и вдруг с ужасом увидел, что воротничок, галстук, фуражка и стек остались наверху в ее комнате.

Лоб его покрылся холодным потом, когда он подумал, что муж сейчас увидит эти вещи, небрежно брошенные на стул.

Страшно мучаясь и досадуя на свою неосторожность, он снова через малину пробрался к дому. Он хотел ей крикнуть, предупредить, чтоб она спрятала все это или, если можно, бросила бы ему вниз, но тут, всматриваясь в ее окно, он увидел, что в комнате уже были люди — ее мать, нянька с дочкой, муж и еще кто-то.

Саша снова бросился назад и, страшась услышать сейчас крики драмы, перескочил через забор и направился к свому дому.

И, дойдя до своей улицы, он захотел было вернуться туда, где сейчас, вероятно, разыгрывается трагедия, но у него не хватило духу сделать это.

Ему показалось, что его возвращение было бы смешным и глупым. И он стал успокаивать себя, говоря себе, что Муза, вероятно, в последний момент успела сунуть в шкаф его оставленные вещи.

Он пришел домой бледный и растерянный, и его старая мамаша стала выпытывать, что с ним. Но он, не желая посвящать ее в свои тайны, сказал, что его срочно вызывают в институт. И вот почему он так огорчен, взволнован и потрясен.

Это случайное вранье определило его шаги. Саша сложил вдруг чемодан и, попрощавшись с матерью, в тот же день уехал в Москву.

Ему оставалось жить в Виннице всего две недели. Ну что ж, он несколько раньше вернется в столицу и несколько раньше приступит к занятиям. Нет, он не трус, но фигурировать в качестве застигнутого любовника ему не хотелось бы.

Конечно, он страшился за судьбу молодой женщины, но тут же утешал себя тем, что любовь мужа столь велика и грандиозна, что ей все простится и все забудется.

Перед отъездом он написал ей нежное и милое письмецо и вложил его в конверт вместе с засушенной настурцией. Но не отправил его, боясь, что письмо попадет в руки разгневанного мужа.

Однако, приехав в Москву, Саша очень там страдал и волновался и вскоре послал одному своему другу письмо в Винницу. Он попросил приятеля разузнать, что с Музой, и передать ей пламенный привет, его адрес и нежную просьбу написать ему хотя бы несколько слов.

Но друг почему-то не ответил. И от Музы не было никаких сообщений.

Потом он случайно узнал от одного приехавшего из Винницы, что в доме Музы как будто все благополучно, развода нет и муж, по-видимому, по-прежнему безмерно любит ее и обожает.

Это сообщение успокоило Сашу. Но вместе с тем он снова ощутил пылкую любовь к молодой оставленной даме. Он поставил ее карточку на видное место и подолгу любовался милыми чертами своей смуглой черноокой красавицы.

Между тем начались занятия. Последний год в институте — это было не шуточное дело. И Саша с головой ушел в свою учебу.

Он хотел было на рождественские каникулы приехать в Винницу, но случайно сошелся с одной курсисткой, и эта связь задержала его в Москве.

Весною он заболел, переутомленный экзаменами, и его отправили на кумыс. А летом мамаша его приехала в Москву на операцию и тут, как говорится, под ножом хирурга скончалась.

Саша осенью хотел побывать в Виннице, но тут началась германская война, и молодого инженера взяли в армию в саперные войска.

Я не сумею вам сказать, как это случилось, но Саша Ф., страдая и любя, не смог в ближайшие три года встретиться со своей красавицей Музой.

Только в начале революции он наконец приехал в Винницу.

Со страшным волнением он вернулся в свой родной город. И в тот же день он с отчаянием в сердце узнал, что Муза с ребенком и мужем только что недавно уехала в Киев, бросив свой дом и свои дела на произвол судьбы.

Это было понятно — революция, вероятно, не пощадила бы разбогатевшего дельца. И вот он поспешил уйти от народного гнева.

Тотчас вслед за ними Саша отправился в Киев, но там узнал, что они выехали как будто в Одессу, но, может быть, и в Ростов.

Саша хотел было поехать в Одессу, но узнал, что пути к Одессе отрезаны фронтом гражданской войны.

Тут молодой человек понял, что он потерял их следы. И, может быть, никогда больше ее не увидит. И он так заплакал, как будто ему было шесть лет. И, бессчетно раз целуя

ее карточку, он дал себе слово до конца своих дней любить свою милую Музу.

Он вернулся в Москву. И стал там жить.

И вот давно уже отгремели выстрелы гражданской войны, новая жизнь победно шествовала по городам и селам.

Саша Ф. был инженером. И он служил в Москве. Он давно женился, и у него теперь было двое славных детишек, и он в скором времени ожидал еще третьего младенца.

Но в сердечных делах он остался верен своему чувству.

Ее карточка, как святыня, стояла на его письменном столе, и он, вспоминая дни своей юности, подолгу любовался милым обликом и, печально вздыхая, восклицал: «Ах, счастье с этой женщиной мне было так возможно».

Всю силу своего чувства он перенес в свою работу. Он стал весьма крупным, выдающимся инженером. И год назад он получил в приказе благодарность за полезную деятельность.

В прошлом году, летом, он немного заболел и решил полечиться. Его сорокалетнее сердце стало пошаливать — начались разные боли, спазмы и так далее.

Его премировали двухмесячной путевкой в Кисловодск, и в августе он уехал туда с намерением заняться лечебными процедурами.

Кисловодск в этом смысле чудный курорт. Там нарзан делает чудеса — обновляет кровь и восстанавливает слабые нервы.

Два месяца подряд Саша принимал нарзанные ванны и ходил в горы, укрепляя этим свое уставшее сердце.

Он великолепно поправился и чувствовал себя молодым, способным на безрассудство. Но он там никого не встретил, кем бы мог увлечься. И теперь не без охоты покидал курорт.

В день отъезда он пошел в парк прощаться с любимыми местами. Он пришел в нарзанную галерею. Ему там подали стакан нарзана. И он стал с чувством его пить, поглядывая на гуляющую публику.

Вдруг рука у него дрогнула. Пальцы невольно разжались, и стакан с треском разбился, упав на каменный пол.

Перед ним в двух шагах стояла Муза Н. со своим мужем.

Она стояла около источника и тоже пила нарзан.

Сердце замерло у Саши, когда он еще раз взглянул на нее. Она была, пожалуй, по-прежнему красива и эффектна, но она очень пополнела.

Ах, где же эта тоненькая смуглая красавица! Слишком полный ее стан, двойной подбородок и более крупные формы придавали теперь Музе солидный, стареющий и немного обрюзгший вид. И только милые ее глаза, блестящие и яркие, как звездочки, сияли по-прежнему, так же, пожалуй, молодо и оригинально.

Она взглянула на человека, уронившего стакан. И у нее в то же мгновенье замерло сердце. И бывает же такое совпадение чувств — рука у нее тоже дрогнула, пальцы разжались, и стакан, упав на каменный пол, вдребезги разбился.

Рядом стоящий муж, стареющий и весьма полный кособокий человек с инженерским значком на лацкане пиджака, с недоумением посмотрел, что случилось.

И вдруг, всплеснув руками, он воскликнул:

— Боже мой, Муза! Да ведь это Александр Семенович — наш дорогой друг из Винницы.

Саша Ф. подошел к ним, и они стали пожимать друг другу руки, расспрашивая, волнуясь и смеясь от нахлынувших воспоминаний двадцатилетней давности.

— Александр Семенович,— сказал муж,— куда же вы, голубчик, тогда бесследно исчезли?.. Ну, правда, я вас немного ревновал, но мы с Музой очень огорчались вашему отъезду.

Муза, улыбаясь, сказала:

— В самом деле, Саша, куда же вы тогда делись?

Александр Семенович стоял растерянный, не зная, что сказать и что подумать.

Муж продолжал, улыбаясь:

— Да, я помню, много вы хлопот доставили нам своим неожиданным отъездом. Помню, Муза три месяца меня пилила, зачем я так резко отказал вам от дома... Поверите ли, дело прошлое, но Муза плакала, и мы с ней заходили к вашей маме — расспрашивали ее о вас... Что с вами тогда стряслось?

Муза, улыбаясь, сказала:

— Это было правда нехорошо, Саша, что вы, не попрощавшись, уехали... Хоть бы написали письмо.

Саша растерянно бормотал:

— Боже мой... Как же так... Я писал... я не знаю... я думал, что...

Муж, громко смеясь, сказал:

— Да, черт возьми, я ревновал вас. Но теперь, Александр Семенович, я бы вам и сам сказал: поухаживайте, милый друг, за моей женкой.

Они втроем стали смеяться, иронизируя над своей

полнотой, седеющими волосами и поблекшими чувствами.

Вдруг муж сказал:

— Друзья, постойте минутку — пришли центральные газеты, и я боюсь прозевать...

Они остались вдвоем.

Она сказала, улыбнувшись:

— Да, Саша, это было нехорошо с вашей стороны...

Саша, волнуясь и не понимая, сказал:

— Но ведь я думал, что муж все узнал... Я не хотел вам доставлять лишних страданий... Поверьте, я вас так любил...

Она вдруг сердечно и от души рассмеялась. Она так засмеялась, что он не знал, что подумать.

— Что вы смеетесь? — грубо спросил он.

Она сквозь смех еле могла сказать:

— Слушайте... Ведь тогда... помните... ну, в тот день, когда вы были у меня... Ведь это был не муж...

— Как не муж? — спросил Саша, ужасаясь.

— Ну да,— сказала она, смеясь,— это была телеграмма. Муж прислал мне телеграмму, что он задержался.

— Но ваша дочка...

— Девочка ошиблась... Она на каждый звонок кричала: папа приехал... Я как сумасшедшая кричала вам из окна, чтоб вы вернулись... Но вы... соскочили со своего дерева... и сразу исчезли...

Она, сдерживаясь и кусая губы, смеялась. Ее подбородок дрожал, и плечи тряслись от хохота.

— Но как же так? — бормотал он.— Я думал... фуражка, воротничок, которые я оставил...

Она, было перестав смеяться, снова захохотала так, что он подумал, что с ней истерика. Она сквозь смех еле могла сказать:

— Как же вы, Саша, уехали в Москву-то... без фуражки? Вы бы хоть зашли за фуражкой...

Он, сам не зная, что говорит, сказал:

— А куда же вы дели мой воротничок и фуражку?

— Ну, не помню, голубчик,— сказала она,— кажется, спрятала и сохранила на память.

Он хотел выдавить на своем лице улыбку, но не мог и стоял смертельно бледный, дрожа от волнения.

Она вдруг, увидев его в таком состоянии, перестала смеяться. Она сказала:

— Простите, Саша, что я так смеюсь... Я вас очень любила...

Он взял ее руку и стал целовать, бормоча:

— Боже мой... Ну как же так?.. Какая комедия жизни... Я вас тоже любил. И так ждал...

Тень прошла по ее лицу, и губы ее дрогнули, но она, отдернув руку, сказала:

— Муж идет, после поговорим...

Муж подошел к ним, на ходу разворачивая газету.

Саша, взглянув на часы, пробормотал:

— Ого, уже три. Ведь через сорок минут отходит мой поезд...

Они стали жалеть, что он уезжает. Они хотели, чтоб он зашел к ним — сыграть в преферанс. Как, право, жаль, что они встретились только сегодня.

Саша поспешно стал прощаться с ними и, бледный и растерянный, пошел в свой санаторий.

Через полчаса он, по-прежнему взволнованный и потрясенный, сидел в вагоне.

И когда поезд тронулся, Саша распаковал чемодан, нашел карточку Музы. Он долго всматривался в дорогие черты и бормотал:

— Ну как же так?.. Ну как же это могло случиться?..

Вдруг он снова ощутил в своем сердце любовь, но не к этой прежней тоненькой красавице, а к той женщине, которую он сейчас оставил в нарзанной галерее.

Ее смех смутил его. А то он сказал бы ей больше о своем чувстве, о том, что все эти годы он помнил и любил ее.

Он вдруг подумал, что он сейчас может сойти на станции и вернуться в Кисловодск.

В это время поезд остановился в Ессентуках. Саша стал судорожно упаковывать свои вещи, чтоб сойти тут. Но поезд вскоре тронулся, и Саша остался. Он подошел к открытому окну, бормоча:

— Как глупо все, ах, как все глупо...

Потом вдруг сердце у него упало, когда он подумал, что ведь он даже и не знает, где и в каком городе они живут. В своем волнении, в своем поспешном прощании он даже не спросил ее об этом.

И тут он снова, как и когда-то в Киеве, понял, что он потерял ее. И теперь уж, наверно, навсегда.

Слезы показались на его глазах. Он снова метнулся к своим чемоданам, чтобы выйти в Пятигорске. И, подойдя к окну, сказал:

— Как глупо все... Какая комедия жизни... Вот она, старость и увядание...

В Минеральных Водах он опять хотел было вернуть-

ся в Кисловодск, но носильщик, схватив его вещи, сказал:

— Поспешайте, гражданин. Московский поезд сейчас отходит.

И он покорно последовал за носильщиком.

Но в поезде он успокоился, сказав себе, что он напечатает объявление в центральной газете с просьбой к Музе отозваться и написать ему.

Эту историю Александр Семенович Ф. рассказал мне в сентябре тридцать шестого года. Сейчас начало нового года, но этого объявления я в газетах так и не видел.

ТИШИНА

1

Лет, может быть, семь или восемь назад я жил в Ялте, в маленьком частном пансионе на Садовой улице.

В то время наряду с государственными домами отдыха и санаториями в Крыму процветали крошечные частные пансиончики на десять-двенадцать персон.

В этих пансиончиках приезжим предлагали особый семейный уют, дворянскую обстановку, домашние обеды и избранное общество людей, попавших сюда по рекомендации.

Наш пансиончик, имевший название «Тишина», содержали две старушки, две бывшие светские барышни.

Кое-как выбравшись из-под обломков рухнувшей империи, эти старушки сохранили все же свой внешний лоск, французскую речь, золотые лорнетки и жеманные, немного комические манеры.

И, пройдя сквозь революцию, они сумели сохранить свой собственный домик в Ялте, солидную обстановку и кой-какое серебро, которое теперь торжественно подавалось к столу пансионерам.

Это были две барыни, две, так сказать, полномочные представительницы старого, погибшего мира, старой, дореволюционной России.

Одна старушка, более престарелая, безучастно относилась к своему пансиону. Она целые дни проводила в саду, сидя в полузакрытой плетеной кабинке, защищавшей ее от ветра и солнца. Она целые дни неподвижно сидела с книгой на коленях, устремив куда-то свой туманный взор.

Это была подлинная картина «Все в прошлом».

Другая старушка, напротив того, отличалась неукротимой энергией и смелостью духа. Она одна «заворачивала» всем пансионом, смотрела за хозяйством, производила расчеты и поддерживала порядок. Она выходила к столу, как хозяйка дома выходит к своим гостям, а не как владелица пансиона, которой платят деньги.

Всякий разговор о деньгах она считала неприличным, и, когда ей платили, она жеманилась и конфузилась, говоря: «Ну зачем это... Можно ведь потом». Впрочем, это ей не помешало однажды дойти до скандала с визгом, когда одна из пансионерок не смогла ей вовремя заплатить. Такая жеманность была попросту ее манерой, дворянской маской и некоторой, может быть, иллюзией, которая теплилась в ее сердце.

Она важно восседала в конце стола и в беседе с пансионерами старалась поддерживать приличный светский тон. И она положительно расцветала, если кто-нибудь из пансионеров, благодаря ее за обед, сдуру прикладывался к ее ручке. Такого пансионера она начинала пламенно любить и в ответ на его поцелуй нежно прикладывалась губами к его лбу, как это требовалось в высшем дворянском обществе.

2

Уже в первый день моего приезда мне рассказали биографию этих двух старых подруг, владелиц нашего пансиона.

За их плечами была шумная и беспечная жизнь, заграничные поездки, балы, вечера, праздничное веселье, богатые мужья и сумасшедшие поклонники.

Более престарелая старуха была в дни своей юности оперной певицей. И тогда она отличалась какой-то неслыханной ангельской красотой. Ее мужья дарили ей дома, драгоценности и деньги, которых у нее до революции было больше чем двести тысяч.

Ей было что вспомнить, и она, видимо, устремляла свой туманный взор к этому далекому прошлому.

Другая наша старуха — энергичная хозяйка пансиона — была женой гвардейского офицера, крупного помещика и богача.

Мужья наших двух дам успели умереть до революции, и обе женщины, почувствовав приближение старости, решили провести конец своей жизни в тишине и в покое в

том месте, о котором у них сохранились лучшие воспоминания.

Этим местом оказалась Ялта, куда в свое время их возили мужья и любовники и где они видели счастье и волнение юности. И вот они на склоне своих дней снова сюда прибыли незадолго до революции. Они тут купили приличный домик с тенистым садом. И назвали это свое новое имение — вилла «Тишина».

Такое умиротворяющее название соответствовало их намерениям. Они решили тут мило, тихо и спокойно провести остаток жизни. Это, по их мысли, была тихая пристань после бурных путешествий по волнам жизни.

Но жизнь решила иначе. Война, революция, бегство белых и наступление большевиков — вот что они получили вместо тишины и покоя.

Старухи в двадцатом году хлебнули страха и сами были не рады, что выбрали такое место, где произошла развязка и где дворянская и купеческая Россия нашла себе на короткое время последнее пристанище.

Их славная Ялта, жемчужина Крыма, веселый и праздный город, в котором любили отдыхать богатые фабриканты и царский двор, помещики и красавицы, теперь увидел новые картины. Это были последние ворота, в которые ушел старый мир.

Старухи тоже хотели было бежать. Они рассчитывали сесть на пароход, чтобы ехать в Турцию. Но они замешкались. У них было очень много вещей. Им было жалко их бросить. Они два дня паковали корзины и сундуки. И день затратили на то, чтобы люди перенесли их багаж на пристань.

И они, дрожащие, сидели уже на молу на своих корзинах. Но им сказали, что желающие уехать могут взять только лишь ручной багаж.

Они дождались, когда ушел последний пароход, увозивший дворян и коммерсантов за границу, и снова вернулись со своими вещами домой, в свою виллу «Тишина».

Они прожили тут несколько лет не особенно замеченные. Их солидный возраст спас их от излишних передряг и волнений.

Они вскоре утвердились во владении дачей и в первые годы нэпа, не желая отставать от требований времени, открыли здесь частный пансион. И пять лет вели это дело, довольные собой и делами.

3

Итак, одна старуха в тихом раздумье проводила время в саду. А другая энергично хозяйничала.

Эта вторая дама была весьма глупая и несколько бестолковая старуха. Беседуя за столом со своими пансионерами, она подчас несла такую околесицу, что просто было удивительно видеть, как эта представительница слабого пола, окончившая в свое время институт, могла до такой степени договариваться. У нее были спутаны все понятия и представления о мире и людях.

Тем не менее она не раз рисковала пускаться в беседы о политике. И пансионеры, не сдерживая улыбок, слушали ее бестолковые речи.

Но за этой бестолковщиной довольно явственно была видна нехитрая политическая платформа, на которой хоть и шатко, но весьма упорно стояла наша дама.

Она была настроена удивительно контрреволюционно. Ничто из нового ее не удовлетворяло и не устраивало. Она была против крепостного права, но все остальные нововведения за последние сто лет она считала лишними, снижающими жизнь в ее праздничной красоте и величии.

Она приводила примеры из жизни муравьев, которые от природы делились на классы, и сравнивала настоящий момент с гибелью Рима. Себя и нескольких пансионеров она причисляла к римлянам, а во всех остальных она видела пришлый элемент из далеких варварских стран.

Кой-какие знания из области истории и зоологии, почерпнутые в институте полвека назад, теснились теперь в ее голове в хаотическом беспорядке. Но она не без некоторой ловкости оперировала этим в своих политических докладах.

Нас было десять пансионеров: два инженера, журналист, несколько скучающих дам и один молодой, веселый студент, приводивший старуху в содрогание своим поведением.

Студент этот, подтрунивая и разыгрывая старуху, нарочно говорил на каком-то особом жаргоне, употребляя всякие блатные словечки и выражения.

Вместо «ел» он говорил «подрубал», прося передать блюдо, говорил: «Нуте, старушка, передайте эту хреновину», а старухино светское общество он называл «гоп-компания».

Пансионеры умирали со смеху, глядя на нашу хозяйку. Она принимала эти речи за чистую монету и всякий раз

всплескивала руками, находя подтверждение своим мыслям о гибели культуры, об утрате тонких чувств и безвозвратно ушедшей поэзии.

И всякий раз после комических речей студента она, как бы в противовес, приводила примеры из прошлой жизни, наполненной восхитительным изяществом и сказочной поэзией. Она рассказывала нам о каких-то волшебных переживаниях, о каких-то неслыханных моментах, в которых она была участницей. Она говорила, что теперь все ее раздражает и все сердит. Что она когда-то считала лучшими моментами жизни глядеть на море, на серебристую луну, на людей, сидящих и любующихся этой панорамой. Сейчас она предпочитает сидеть дома. Ее волнует и раздражает не нужная никому теперь ночная панорама и это шлянье простого народа по набережной.

4

Однажды за ужином после таких речей мы попросили старуху рассказать нам о самом ярком ее воспоминании, о самом сильном ее переживании, связанном с Ялтой.

Все отвлеченные разговоры о красоте прошлой жизни были неубедительны. И мы хотели услышать какой-нибудь эпизод, какой-нибудь подлинный случай из той жизни, а не ее риторические беседы о волшебных любовных переживаниях и о любезном внимании любовника, приехавшего сюда тридцать лет назад с красивенькой дамочкой, какой она когда-то была.

Старуха с готовностью согласилась рассказать нам о самом сильном ее переживании, наполнившем когда-то ее сердце неслыханным волнением и трепетом.

— Я приехала сюда с мужем,— сказала она,— в 1908 году. Мой муж был офицером гвардии. Мы приехали с ним весной. И остановились в гостинице «Джалита».

Он меня так любил, что современные люди даже частично не могут себе представить, что это так бывает. Но в те дни наша любовь отошла на второй план, так как мы готовились к встрече царской семьи.

Мы устраивали в Ялте весенний благотворительный базар в пользу чахоточных. И царская семья, проживавшая в то время в Ливадии, собиралась присутствовать на открытии.

Можете представить наше волнение и наши надежды!

Замеченные на базаре государем, мы могли быть даже приглашены ко двору, и мой муж мог сделать себе карьеру, о которой он мечтал всю жизнь.

И вот представьте себе прелестное майское утро. Мы выходим с мужем. И идем по набережной в курзал. Там уже все готово к встрече царской фамилии.

Мы идем с мужем, и волнение душит нас. У меня подкашиваются ноги. И я не могу идти. «Мой друг,— говорю я мужу,— постоим минутку». И мы останавливаемся на набережной. И я гляжу на синюю гладь моря, на безбрежную даль, на дельфинов, которые показываются на поверхности.

Мой муж держит меня под руку. Я ему говорю: «Мой друг, я запомню этот момент на всю жизнь. Мне кажется, что сегодня произойдет нечто небывалое в нашей жизни».

И мы снова продолжаем наш путь. Мы приходим в курзал. Там уже все на местах. И я становлюсь за свой киоск. У меня киоск с шампанским. Я разливаю по бокалам шампанское. И те, которым угодно выпить, берут бокал и на поднос кладут деньги — сто рублей, двадцать пять или золотые монеты.

Я была очень хорошенькой женщиной. Около моего киоска моментально образовалась пробка из блестящих офицеров и штатских. Но я боюсь, что это заслонит меня от государя, и я держусь со всеми холодно и вызывающе.

Вдруг волнение достигает наивысшего напряжения. Раздаются возгласы: «Государь приехал».

И мы все замираем в неподвижных, почтительных позах.

И вот придворные расступаются, и мы видим незабываемую картину — идет государь Николай Второй. Рядом царица. И матрос на руках несет царевича.

Они дефилируют около моего киоска, и вдруг, к зависти всех, они останавливаются около меня. Царица говорит мне: «Как у вас идут дела, моя крошка?» И я, еле превозмогая волнение, говорю: «Ничего себе, ваше величество». И дрожащей рукой показываю ей на блюдо, наполненное кредитками.

Вдруг царевич, сидящий на руках матроса, говорит: «Мама, поглядите, какая у нее на шляпе миленькая птичка».

А в то время, надо вам сказать, все дамы носили шляпы с художественными украшениями. Блондинки носили на шляпах цветы, листья, ягоды или перья. Брюнетки украшали шляпы искусственными фруктами — там маленькие

райские яблочки, сливы, вишни и так далее. В то время это считалось модным.

А у меня на шляпе была, представьте себе, веточка с вишней, и на ветке сидела маленькая голубая птичка с желтыми глазками. Мы с мужем это привезли из Дрездена, и это было действительно произведение искусства. Многие восхищались тонкой, художественной работой.

И вот царский ребенок, увидев эту птичку, потянулся к ней.

Матрос Деревенько делает шаг ко мне. И царственное дитя своей ручкой начинает хватать мою птичку и начинает теребить ее.

Я стою ни жива ни мертва. Счастье охватывает все мое существо. И страх, что царевич может сейчас уколоть свою ручку о булавку, сковывает меня до того, что я перестаю дышать.

Тишина воцаряется вокруг.

Многие, не понимая еще, что это значит, замирают в предчувствии необычайного.

Я вижу моего мужа, который, белый от страха, стоит в отдалении. Я вижу, что он счастлив, но он тоже боится и не знает, чем все это кончится. Я делаю ему знак — мол, не волнуйся, мой друг, все будет хорошо.

И тут меня осеняет мысль — снять птичку со шляпы и преподнести его высочеству.

Почтительно прижимая одну руку к сердцу, я другой рукой отрываю птичку с веткой и преподношу царственному младенцу.

Я вижу — царевич хочет ее принять от меня и смотрит на свою мамашу. Но та говорит ему что-то по-английски, и я, не понимая этого, стою, дрожа от счастья и волнения.

Один из придворных мне потом делает перевод с английского. Он говорит, что царственная мать высказала соображение — не заразился бы ее ребенок чем-нибудь, если он возьмет мою птичку. И она не позволяет ему ее взять. Тогда матрос Деревенько берет от меня птичку. И вся августейшая семья, довольная, отходит от моего киоска и дефилирует дальше. И перед тем как отойти, государыня, открыв свою сумочку, кладет мне на поднос кредитку в пятьсот рублей.

Муж и придворные окружают меня, поздравляя и благодаря за мою находчивость.

А я, почти ничего не соображая, стою со сбитой набок шляпой и гляжу на всех счастливым, невидящим взором.

И вот кончается базар. Мы с мужем возвращаемся назад. Мы снова идем по набережной. Снова глядим на море. И несказанное чувство радости и волнения снова душит нас. И, прижавшись друг к другу, мы стоим, ослепленные счастьем и радостью.

5

Старуха закончила свое повествование, утирая слезы.

Наш веселый студент, усмехнувшись, спросил:

— Ну и что же?

— То есть как что же? — сказала гневно старуха.

— Да, но я в этом эпизоде ничего особенного не вижу,— сказал студент.— Напротив, царица не велела взять птичку. Она сказала ребенку, что это зараза. Если хотите знать, она вас просто даже этим оскорбила.

Старуха, гневно посмотрев на студента, ничего не ответила.

— Просто дурацкая история,— сказал студент, давясь от смеха.— И, главное, вас с мужем даже ко двору не пригласили с вашим раболепством. Только зря птичку оторвали от своей художественной шляпки.

— Да, но мои переживания,— с волнением сказала старуха,— были мне всего дороже. Я не могу передать вам те чувства, когда мы вечером с мужем снова вышли на море и, как изваяния, стояли, глядя на луну, на серебристую лунную дорожку, искрящуюся на море. Вот это счастливое чувство радости, этот трепет, которые душили нас с мужем, я никогда впоследствии не испытывала. И после этой вашей революции я поняла, что вся эта радость жизни, которую я знала, никогда больше не повторится.

Студент засмеялся.

— Слушайте, маман,— сказал он,— вы порете чушь. Вы просто были тогда молоды. У вас были еще всякие, может быть сильные, чувства. И вот вы и переживали всякую муру вроде этой истории с птичкой.

Мы все засмеялись.

— К тому же,— сказал один инженер,— ваше политическое настроение соответствовало тому, что было. Вот оно и получилось у вас так божественно.

Старуха осоловело поглядела на всех нас.

— Я вчера,— сказал студент,— гулял при луне с одной особой, вы знаете с кем... Так можете представить, какие

чувства я испытывал. Уж наверно, мамаша, посильнее, чем вы двадцать пять лет назад. Просто вы контрреволюционно настроены.

Старуха встала из-за стола и, надменно пожелав спокойной ночи, проследовала в свою комнату.

6

Кажется, год или два спустя я неожиданно встретил старуху в Ленинграде.

Знаменитое землетрясение в Ялте разрушило их виллу «Тишина».

Дом дал сильную трещину, и они продали его. Они не захотели больше оставаться в Ялте, где вместо тишины и покоя они нашли бог знает что.

— Я много лет жила в Ялте,— надменно сказала мне старуха,— но такого землетрясения никогда еще в Ялте не было. Конечно, я понимаю, что революция тут ни при чем, но согласитесь сами, что это по большей мере странно, что нам выпали такие события вместо ожидаемого покоя. Только иронически можно было назвать так, как мы назвали, нашу виллу.

Я спросил ее, зачем она приехала в Ленинград. Она сказала, что она купила в Ленинграде комнату и собирается здесь жить. Она хотела бы устроиться какой-нибудь кастеляншей в больницу или экономкой в дом отдыха, так как бездеятельная жизнь ее не устраивает. Слишком много мыслей о прошлом, и она хотела бы их заглушить. И, кроме того, надо зарабатывать, так как ее маленького имущества хватит ей ненадолго.

Она действительно вскоре устроилась на работу в больницу. И некоторое время там работала. Но недавно я узнал, что она умерла. И что после ее смерти в ее комнате под матрацем нашли двадцать восемь золотых колец, пятнадцать браслетов, много серег с бриллиантами и всякие ценности на сумму до трехсот тысяч по теперешнему счету.

Другая старуха — ее подруга — еще раньше, вскоре после землетрясения, тихо скончалась в Ялте, и вилла «Тишина» прекратила свое существование.

ВЕСЕЛАЯ ИГРА

Давеча я кушал в ресторане и после того заглянул в бильярдную. Хотелось посмотреть, как там, как говорится, шарики катают.

Слов нет — игра интересная. Она занятная и отвлекает человека от всевозможных несчастий. Некоторые даже находят, что бильярдная игра развивает мужество, глазомер и натиск. А врачи утверждают, что эта игра для неуравновешенных мужчин крайне полезна.

Не знаю. Не думаю. Другой неуравновешенный мужчина, играя на бильярде, до того нальется пивом, что после игры еле домой ползет. Так что я сомневаюсь, чтобы это для нервных и расстроенных было полезно.

А что это глазомер усиливает, то как сказать. Тут одному с нашего дома партнер, прицеливаясь, глаз кием подбил. И хотя тот не ослеп, но все-таки слегка окривел. Вот вам и развитие глазомера. И если ему теперь по другому глазу пройдутся, то человек и вовсе глазомера лишится.

Так что в смысле пользы это уж, как говорится, бабушкины сказки.

Но игра, конечно, забавная. Особенно когда «на интерес» играют — очень увлекательно смотреть.

Конечно, на деньги сейчас играют редко. Но зато что-нибудь придумывают оригинальное. Некоторые заставляют проигравшего под бильярд лезть. Другие заставляют поставить пару пива. Или велят заплатить за игру.

А когда я на этот раз зашел в бильярдную, то увидел очень смехотворную картину.

Один выигравший велел своему усатому партнеру со всеми шарами под бильярдом пролезть. Он запихал ему шары во все карманы, в каждую руку дал по шару и вдобавок один шар подсунул под подбородок. И в таком виде проигравшийся под общий смех прополз под бильярдом.

После новой партии выигравший снова нагрузил усатого шарами и вдобавок велел ему взять в зубы кий.

И тот, бедняга, снова полез под гомерический хохот собравшихся.

Для новой партии они уж и не знали, что придумать.

Усатый говорит:

— Давайте что-нибудь полегче, а то вы меня и без того загнали.

А у него, действительно, даже усы книзу повисли, до того он задергался.

Выигравший говорит:

— Зато, дурак, я тебя великолепно научу на бильярде играть благодаря таким штрафам.

А с выигравшим был еще его приятель. Тот говорит:

— Я придумал. Если он проиграет, давайте так: пущай он лезет под бильярд, нагруженный шарами, а мы ему к ноге вдобавок привяжем ящик с пивом. Пущай он в таком виде пролезет.

Выигравший, засмеявшись, говорит:

— Браво! Вот это будет номер!

Усатый обиженно говорит:

— Если ящик будет с пивом, то я играть не буду. С пустым ящиком мне и то трудно будет лезть.

В общем, он проиграл, и тут под общий смех усатого снова нагрузили шарами, в зубы дали ему кий и к ноге привязали ящик. Вдобавок, друг выигравшего начал пихать усатого кием, чтобы тот быстрее проходил свой маршрут под бильярдом.

Выигравший до того хохотал, что упал на стул и хрюкал от изнеможения.

Усатый вылез из-под бильярда сам не свой. Он осоловело поглядел на всех собравшихся и даже некоторое время не двигался. Потом он выгрузил из карманов шары и стал отвязывать от ноги ящик с пивом, говоря, что он больше не играет.

У выигравшего текли слезы от смеха. Он сказал:

— Ну, голубчик Егоров, сыграем еще одну партию. Я еще забавную штуку придумал.

Тот говорит:

— Ну, что вы еще придумали?

Выигравший, давясь от смеха, говорит:

— Давай, Егоров, сыграем на твои усы. Мне твои пушистые усы давно противны. Если выиграю я, то отрежу тебе усы. Идет?

Усатый говорит:

— Нет, на усы я играть не буду, или же дайте мне сорок очков вперед.

В общем, он опять проиграл. И никто не успел опомниться, как выигравший схватил столовый нож и начал отпиливать пушистый ус у своего незадачливого партнера.

В зале помирали от смеха.

Вдруг один из присутствующих подходит к выигравшему и так ему говорит:

— Наверное, ваш партнер дурак, что он соглашается на такие штрафы. А вы этим пользуетесь и насмехаетесь над человеком в общественном месте.

Друг выигравшего говорит:

— А ваше какое собачье дело? Ведь он добровольно соглашается.

Выигравший говорит своему партнеру томным голосом:

— Егоров, подойди сюда. Ответь общественности, что ты добровольно соглашался на все штрафы.

Партнер, придерживая рукой полуотрезанный ус, говорит:

— Известно, добровольно, Иван Борисович.

Выигравший говорит, обращаясь к публике:

— Другой там заставляет шофера ждать на морозе три часа. А я к людям гуманно подхожу. Это шофер с нашего учреждения, и я его завсегда в тепло беру. Я к нему не свысока отношусь, а я с ним по-товарищески на бильярде играю. Учу его и маленько наказываю. И что теперь ко мне придираются — я прямо не пойму.

Шофер говорит:

— Может, тут из публики есть парикмахер. Просьба подровнять мне усы.

Из толпы выходит один человек и говорит, вынимая из кармана ножницы:

— Сердечно рад подровнять ваши усики. Если вы желаете, я вам сделаю их, как у Чарли Чаплина.

Пока парикмахер возился с шофером, я подошел к выигравшему и сказал ему:

— Я не знал, что это ваш шофер. Я думал, что это ваш приятель. Я не позволил бы вам устраивать такие номера.

Выигравший, немного струхнув, говорит:

— А вы что за птица?

Я говорю:

— Я про вас статью напишу.

Выигравший, оробев, говорит:

— А я вам свою фамилию не скажу.

Я говорю:

— Я только факт опишу и добавлю, что это был довольно плотный рыжеватый мужчина, с именем Иван Борисович. Конечно, этот номер вам, может быть, и пройдет, но если и пройдет, то пусть ваша гнилая душа передернется перед напечатанными строчками.

Друг выигравшего, услыхав насчет статьи, моментально смотал удочки и исчез из помещения.

Выигравший долго хорохорился и пил пиво, крича, что он плюет на всех.

Шоферу пообрезали усики, и он стал несколько моложе и красивее. Так что я даже решил писать фельетон не очень свирепого характера.

И, придя домой, как видите, написал. И теперь вы его читаете и, наверно, удивляетесь, что бывают такие горячие игроки и встречаются такие малосимпатичные рыжеватые мужчины.

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА

Почему-то некоторые люди не умеют отдыхать.

Одни весь свой отпуск проводят в расстройстве чувств: как бы, например, нянька в их отсутствие не грохнула ребенка с рук.

Другие, приехав на курорт, ходят две недели как очумелые: не могут привыкнуть к чуждой природе или там к общежитию.

Третьи вообще не умеют без работы находиться. А как без дела остаются, так прямо теряют почву под ногами: худеют, кашляют и впадают в пессимизм.

Четвертые пугаются, как бы их землетрясение не закачало.

Пятые полны предчувствия, что во время отпуска их кто-нибудь «подсидит» на службе.

Ну, этих последних еще можно понять, поскольку это действительно бывает. Другой человек годами сидит на месте, и с ним ничего не случается. А уехал в отпуск — и что-нибудь такое непременно будет.

Через это многие не любят трогаться с места и предпочитают отдыхать безвыездно.

Но не только эти категории людей, а если вообще на всех поглядеть, то можно увидеть, что большинство не умеет отдыхать.

Недавно нам случилось быть на черноморском побережье.

И мы из Севастополя выехали в Ялту на автобусе.

Дорога там, как известно, исключительно красивая. Некоторые новички даже ахают, когда в первый раз едут. И действительно, очень кругом художественно. Внизу Черное море плещется. Слева чертовские горы. Южное солнце с синего неба припекает. Природа отчасти дикая, но вместе с тем такая, которая заставляет желать все время тут находиться.

И вот, значит, едем мы по этой художественной дороге в автобусе. И вдруг — хлоп! — шина лопнула.

Тут начались ахи и охи. Пассажиры вышли из машины, чертыхаются, скулят, ругают шофера, зачем он поехал на такой паршивой шине.

Особенно сильно одна мадам расстраивалась. И даже у нее с шофером чуть целая баталия не произошла.

Она визгливо говорит шоферу:

— Я, говорит, на вас жалобу напишу. Мы едем отдыхать. И нам каждый час дорог. А вы нас заставляете бесцельно ожидать. Вы, говорит, наверно, пропиваете новые шины, а нас на старых возите. Еще, говорит, спасибо, что с такой кручи нас не опрокинули со своей дрянной шиной. Вот был бы у меня хорошенький отпуск.

Шофер ей говорит:

— Знаете что, отвяжитесь! А то я плохо произведу ремонт, и мы снова будем иметь аварию. А если хотите знать, шина у меня была довольно хорошая, когда мы поехали. Но вас в машину столько понасело с мешками и с тючками, что даже совершенно новую шину может к черту разорвать... Отойдите, вы мне свет затемняете.

Мадам совершенно зашлась от этих слов шофера. И даже она стала заикаться. Но тут другие пассажиры морально поддержали ее и стали шоферу делать выговор.

Вдруг один довольно полный пассажир говорит:

— Слушайте, вот я гляжу на всех вас и как стопроцентный советский гражданин душевно за всех страдаю. Но особенно заставляет меня удивляться эта визгливая мадам.

Мадам было хотела с ним схлестнуться, но он ей так сказал:

— Слушайте, мадам, вот вы едете на отдых. И я так понимаю, что хотите подновить свои нервы и прибавить пару килограммов веса. Так вот и начинайте отдыхать... Вот произошла, так сказать, вынужденная посадка. Вот вы и пользуйтесь моментом. Кругом такая дивная красота. Природа. Вон, глядите, никак лиса по горе пробежала. Допустим даже, что это не лиса, а собака,— все равно интересно. Пройдитесь для моциона к этой горе. Уединитесь временно от общества, поскольку у вас, видать, центральная нервная система не в порядке и вы чуть на людей не бросаетесь. Все это вам будет исключительно полезно. А заместо этого что мы видим — вы, извините, орете, портите свою драгоценную кровь и через это, наверно, уже потеряли килограмм со своего мизерного весу.

Шофер говорит:

— Она килограмм, да я через нее килограмма три потерял. Вот и сосчитайте.

Полный пассажир говорит:

— Или я гляжу на других пассажиров. Все ахают, недовольны: зачем остановка? Торопятся, как на пожар. А среди них некоторые, видать, чахоточные, другие нервно хворают, третьи, может быть, перенесли операцию. И им всем полезно полежать под целебными лучами солнца, полезно походить, посбирать цветки или просто посидеть на камешке и полюбоваться дикой природой... Или поглядите на меня. Разве я бранюсь с шофером или недоволен, что шина треснула? Напротив, я еще более повеселел. И очень рад, что могу часок-другой побеседовать с природой. Вот как я понимаю отдых. И вот как надо всем поступать.

Мадам горела, как на огне: до того ей, видать, хотелось схлестнуться с этим полным добродушным пассажиром. Но, видя, что он говорит разумные вещи, отошла в сторонку и стала собирать одуванчики, чтобы по приезде поставить их на ночной столик.

Другие пассажиры тоже отошли от шофера. Некоторые пошли к горе. А некоторые сели у дороги и стали любоваться панорамой. А одна барышня стала строчить письмо.

И тут мир и тишина воцарились вокруг.

Я подошел к этому полному пассажиру и говорю ему:

— Позвольте пожать вашу руку. Из всех нас вы отличаетесь наибольшей мудростью. Вы, говорю, философски подходите к вопросам отдыха. И я, говорю, рад с вами поближе познакомиться.

Тут мы с ним приятно побеседовали, и я, желая с ним еще более подружиться, спросил, куда он едет отдыхать.

Он говорит:

— Да нет, я не из отдыхающих. А я тут работаю на побережье. И в такую жару еду, представьте себе, на какую-то там комиссию, переучет и так далее, черт бы их побрал!

Я говорю:

— То-то, говорю, вы и не торопитесь.

Тут он немножко засмеялся и говорит:

— Нет, я тороплюсь, но поскольку произошла вынужденная посадка, то отчего бы мне не посидеть вблизи с природой? А они там меня подождут. Раз такое дело — авария.

Я говорю:

— То-то вы и агитируете за отдых и разводите философию на мелком месте.

Он говорит:

— Нет, агитирую я чистосердечно, поскольку я и сам этому, откровенно скажу, обрадовался. А то сейчас приеду, как начнут смолить цифры, суммы, расходы — душа вянет. А тут такая божественная красота, такая южная симфония.

В этот момент шофер закончил свой ремонт и дал гудок. Пассажиры бросились к машине, и вскоре мы поехали в Ялту, в эту жемчужину Крыма.

СЕРДЦА ТРЕХ

Позвольте рассказать о нижеследующем забавном факте.

Один ленинградский инженер очень любил свою жену. То есть, вообще говоря, он относился к ней довольно равнодушно, но, когда она его бросила, он почувствовал к ней пылкую любовь. Это иной раз бывает у мужчин.

Она же не очень его любила. И, находясь в этом году на одном из южных курортов черноморского побережья, устроила там весьма легкомысленный роман с одним художником.

Муж, случайно узнав об этом, пришел в негодование. И когда она вернулась домой, он, вместо того чтобы расстаться с ней или примириться, стал терзать ее сценами ревности и изо дня в день оскорблял ее грубыми и колкими замечаниями о курортных знакомствах и так далее.

Она нигде не служила, тем не менее она решила от него уйти.

И в один прекрасный день, когда муж ушел на работу, она, не желая объяснений и драм, взяла чемодан со своим гардеробом и ушла к своей подруге, чтобы у нее временно пожить до приискания службы и комнаты.

И в тот же день она повидалась со своим художником и рассказала ему, что с ней.

Но мастер кисти и резца, узнав, что она ушла от мужа, встретил ее крайне холодно, если не сказать больше. И даже имел нахальство заявить, что на юге бывают одни чувства, а на севере другие и что на курорте в пять раз все бывает интересней, чем при нормальной обстановке.

Они не поссорились, но попрощались в высшей степени холодно.

Между тем муж, узнав, что она ушла из дому с чемода-

ном, пришел в огорчение. Только теперь он понял, как пламенно ее любит.

Он обегал всех ее родных и заходил во все дома, где она, по его мнению, могла находиться, но нигде ее не нашел.

Его бурное отчаяние сменилось меланхолией, и он даже хотел повеситься, о чем и заявил в частной беседе ответственному съемщику по своей квартире.

Председатель жакта, озабоченный судьбой этого квартиранта, поспешил навестить его, чтобы предостеречь от пагубного шага.

Он так сказал ему:

— В соревновании на лучшее, образцовое жилище наш дом выходит на первое место в районе. И нам было бы крайне досадно, если бы вы со своей стороны что-нибудь сейчас допустили. И если у вас есть хоть какая-нибудь общественная жилка, то вы уж как-нибудь обойдитесь без этого.

Видя, что гражданский призыв ни с какой стороны не тронул инженера, председатель так ему сказал:

— Вы живете, замкнувшись в своем душном мире, и через это ваши страдания очень велики. Вас перевоспитывать — так это надо запастись терпением. Если хотите, я в дальнейшем займусь с вами. Но пока я вам дам хороший совет: напечатайте объявление в газете: дескать (как в таких случаях пишется), люблю и помню, вернись, я твой, ты моя и так далее. Она это прочтет и непременно явится, поскольку сердце женщины не может устоять против печати.

Этот совет нашел живейший отклик в измученной душе инженера, и он действительно среди отрезов драпа и велосипедов поместил свое объявление: «Маруся, вернись, я все прощу».

К этой классической фразе он еще добавил несколько вольных строк о своих страданиях, но эти строчки вымарали ему в конторе, поскольку уж очень, знаете ли, получалось как-то сугубо жалостливо и вносило дисгармонию в общий стиль объявлений.

За это объявление инженер заплатил тридцать пять рублей. Но когда он заплатил деньги, он обратил внимание на дату и пришел в ужас, узнав, что его объявление появится только через пятнадцать дней.

Он стал горячиться и объяснять, что он не велосипед продает и что он не может так долго ждать. И они из уважения к его горю сбавили ему четыре дня, назначив объявление на первое августа.

Между тем на другой день после сдачи объявления его жена явилась в жакт, чтобы выписаться. И там он имел счастье с ней увидеться и объясниться.

Он так ей сказал в присутствии домоуправления:

— Семь лет я крепился и ни за что не хотел прописывать вашу преподобную мамашу в нашей проходной комнате, но, если теперь вы вернетесь, я ее, пожалуй, так и быть — пропишу.

Она дала согласие вернуться, но хотела, чтобы он прописал также ее брата. Но он уперся на своем и согласился принять на свою площадь только ее мамашу, которая буквально через несколько часов туда и переехала.

Два или три дня у них шло все очень хорошо. Но потом жена имела неосторожность встретиться со своим портретистом.

Тот, узнав, что она вернулась к мужу, проявил к ней исключительную нежность и отзывчивость. И сказал ей, что его чувства снова вспыхнули, как на юге, и что он теперь опять будет мучиться и страдать, что она все время находится с мужем, а не с ним.

Весь вечер они провели вместе и были очень счастливы и довольны.

Муж, беспокоясь, что ее так долго нет, вышел к воротам поторопить события. И тут, у ворот, он впервые увидел живописца, который под руку вел его жену.

Тут снова у них начались семейные драмы, еще более тяжелые и шумные, чем раньше, поскольку ее мама, даром что ей было шестьдесят пять лет, принимала теперь в них самое деятельное участие.

Тогда молодая женщина снова ушла от мужа и, находясь под впечатлением пылких слов художника, явилась к нему, чтобы у него, если он хочет, остаться.

Но портретист не проявил к этому горячего желания, сказав, что он человек непостоянный, что сегодня ему кажется одно, завтра — другое и что одно дело — любовь, а другое дело — брак и что он хотел бы не менее полгода обдумать этот шаг, прежде чем на что-нибудь определенное решиться.

Тогда она поссорилась с художником и осталась жить у подруги, которая вскоре и устроила ее на службу в психиатрической лечебнице.

Между тем ее муж, погоревав несколько дней, неожиданно утешился, случайно встретив подругу своего детства.

У них и раньше что-то намечалось, но теперь, находясь

в одиночестве, он почувствовал к ней большую склонность и предложил ей поселиться у него.

И она была этому рада, поскольку она только недавно прибыла из Ростова и еще, как говорится, тут не осмотрелась в смысле помещения.

В общем, ровно через одиннадцать дней вышло злосчастное объявление.

Сам муж, позабыв о нем, не принял во внимание этот день. Но его жена, томясь у подруги, как раз наткнулась на этот призыв и была очень поражена и обрадована.

«Все-таки, подумала она, он меня исключительно любит. В каждой его строчке я вижу его невыразимое страдание. И я вернусь к нему, поскольку художник большой нахал, и я сама виновата, что так легкомысленно отнеслась к курортному знакомству».

Не будем нервировать читателей дальнейшим описанием. Скажем только, что появление жены с газетой в руках было равносильно разорвавшейся бомбе.

Муж, лепеча и перебегая от одной женщины к другой, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных объяснений.

Жена с презрением сказала, что, если бы не это объявление, она и не переступила бы порога этого мещанского жилища. Подруга из Ростова, заплакав, сказала, что она вовсе не желает склеивать его разбитое сердце своим присутствием и что если он дал такое исключительно сильное объявление с публичным описанием своих чувств, то он, во всяком случае, должен был бы подождать какого-нибудь результата.

В общем, обе женщины, дружески обнявшись, ушли от инженера, с тем чтобы к нему не возвращаться.

Председатель жакта, узнав от инженера о новой тревоге в доме, так ему сказал:

— Всем хорош наш дом. И вышел на первое место. И ремонт своевременно произведен. И среди жильцов полное единодушие по всем основным вопросам. И только вы вносите чепуху и бестолочь в мирное течение нашей жизни. Идите домой и поступайте теперь как хотите. Вас перевоспитывать — так это надо сначала с ума сойти.

Оставшись в квартире вместе с ее мамашей, инженер впал в бурное отчаяние, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вечером не вернулась к нему его подруга из Ростова. Тем самым она показала, что ее сердце не столь ожесточилось, как у жены.

Правда, на другой день к нему хотела вернуться также

и жена, но, узнав от своей мамаши, что землячка из Ростова опередила ее, осталась у подруги.

Она вскоре втянулась в работу в своей психиатрической лечебнице и недавно вышла замуж за тамошнего психиатра. И сейчас она очень довольна и счастлива.

Художник, узнав о ее счастье, горячо поздравлял ее с новой жизнью и, нежно вздыхая, попросил разрешения почаще у нее бывать.

В общем, сердца трех после столь сильных передряг вполне утихомирились.

Четвертое же сердце — художника,— надо полагать, вовсе не участвовало во всей нашей правдивой истории о печальных последствиях курортных романов.

Что касается объявлений, то медлительность этого дела то есть никак не отвечает требованиям жизни. Тут надо по крайней мере в шесть раз скорее.

ВСТРЕЧА

На днях у меня произошла одна, можно сказать, незабываемая встреча.

У моих знакомых на вечере я случайно встретил человека, которого двадцать лет не видел.

Это был в свое время удивительно богатый субъект. Он имел три дома. Имел шикарные экипажи. Целый штат горничных, швейцаров, рабочих и так далее.

И надо было видеть, как он тогда пренебрежительно и нахально ко всем относился: не только, например, ни с кем не здоровался, когда ему низко кланялись, но при встрече с людьми отворачивал свою лощеную физиономию в сторону и чуть что — кричал, топал ногами, выгонял без жалованья.

У него по ремонту дома работали сезонники — так он по двадцать раз заставлял их к себе ходить, прежде чем он соизволит им заплатить за их работу.

И то он с их грошей наживал, жулил, высчитывал. И я, даю слово, ни капли не преувеличиваю: доводил людей прямо до слез. От него рабочие уходили, дрожа всем телом.

Я не знаю, чем это объяснить, но он имел какую-то особенность оскорблять людей своим поведением.

К нему ходила его одна одинокая родственница, его тетка. Она по субботам приходила к нему за пособием.

Его папаша завещал поддерживать ее жизнь. Так надо было видеть, как он с теткой вел себя.

Он швырял в нее скомканной кредиткой. И кричал на нее:

— Ага, опять явилась, ядовитая кочерыжка. Ну, когда подохнешь, это будет для меня исключительный праздник.

Он, представьте себе, однажды торопился в театр. И вышел на лестницу с одной шикарной дамой, чтоб с ней проследовать к экипажу.

И вдруг видит: по лестнице идет его тетя. Он толкнул ее, чтоб она не путалась под ногами. Тут его тетя упала в обморок. Все подумали, что она, как говорится, отправилась путешествовать на небо. Но он, не поглядев на нее, проследовал дальше.

И хотя я был тогда небольшой мальчишка, но мне удивительно врезалась в память противная жизнь этого человека.

И вот, представьте себе, прошло двадцать лет.

Двадцать лет я, так сказать, не имел счастья видеть этого субъекта.

И вот я сижу у знакомых за праздничным ужином. И вдруг вижу: за столом, напротив меня, сидит эта знакомая фигура.

Без сомнения, он очень постарел. Как-то такое высох. Поседел. Запаршивел. И его не так-то было легко узнать.

Но я узнал его по нахальному блеску глаз. По его манере отворачивать физиономию в сторону, когда к нему обращались с вопросом.

Он меня не узнал. Но я ему сказал:

— Помните, говорю, «господин» Лосев, я жил в вашем доме?

Он немножко задрожал и, фальшиво улыбаясь, сказал:

— Мое прошлое я не скрываю. Оно есть у меня во всех анкетах. Да, я имел дом. Но сейчас я преподаю французский язык. И что вы от меня хотите, я вас не понимаю. Если желаете намекнуть о моем прошлом, то я и сам скажу. Был молод, жил дерзко, и мое богатство давало мне смелость жить, как я хочу. Но с тех пор много воды утекло. Нынче я другой телом и душой, и вы мне не портите настроения воспоминанием о прошлом.

Тут все присутствующие заинтересовались нашей беседой. И он, видя на себе все взгляды, сказал:

— Без сомнения, вы запомнили меня с невыгодной стороны. Но я вам повторяю, все это безвозвратно ушло. Нынче я другой человек. И вы нарочно, будьте любезны, спросите присутствующих о моей характеристике. Я имею удовольствие жить в этой коммунальной квартире, где

вы сейчас в гостях. Спросите нарочно о моей настоящей жизни.

И некоторые жильцы, присутствующие тут в качестве гостей, сказали:

— Да, он сейчас славный и милый человек. Очень симпатичный и простой. И даже не далее как вчера он ночью бегал в аптеку заказывать пирамидон одной захворавшей жиличке. Нет, мы ничего не имеем против него. Он любезный и добрый человек.

Тут Лосев сказал:

— Вот видите, как было бы опрометчиво решать по прошлым воспоминаниям. Теперь я совсем иной. И если есть темное пятно в моей жизни, то это моя тетя, которой даром что восемьдесят лет, но она, знаете, до сего времени шляется ко мне за пособием. И я действительно иной раз ну не могу с ней любезно беседовать. Все-таки сорок лет подряд она меня третирует — это немножко много.

Тут некоторые из квартирантов сказали:

— Что касается тетки, то у них, это верно, всякий раз бывают скандалы с воплями и криками. Но во всем остальном — он выше всяких похвал.

Лосев сказал:

— Во всем остальном моя теперешняя жизнь может служить примером. Надвигающаяся старость изменила мое мировоззрение. Дерзость, нахальство и надменность покинули меня уже давно.

Сын хозяина вечеринки, молодой человек, знакомый с диалектикой жизни, сказал:

— Но, может быть, не старость вас изменила. Может быть, скорей всего, отнятое богатство притупило вам зубы.

Тогда один из гостей добавил:

— А в самом деле. Нуте, вам дай снова ваши дома, экипажи и деньги — ого! Небось снова ходили бы колесом и давили бы всех, кто попадется.

Нахальный блеск засверкал в глазах престарелого Лосева. Но он, потупив свои очи, сказал:

— Не знаю, не думаю.

Молодой человек, знакомый с диалектикой жизни, воскликнул:

— Вы не знаете. А я знаю. Вы бы еще того более расцвели и еще того более зверски относились бы к своим людям.

Тогда Лосев, дрожа от гнева, сказал, обращаясь к хозяину:

— Если ваши гости меня тут будут оскорблять, то я непременно от вас уйду.

Хозяин сказал:

— Если вы действительно до глубины души изменились за эти двадцать лет, то, я прошу вас, не уходите от меня. Мне было бы в высшей степени тяжело, если бы вы ушли. Но если с вами то, что говорят другие, то я вас не могу задерживать.

Престарелый гость Лосев минут двадцать ерзал за столом, ни с кем не разговаривая.

Покушав и выпив бокал шампанского, он по-английски вышел из комнаты, ни с кем не попрощавшись.

И тогда хозяин сказал:

— Вот, друзья, что такое социалистическая революция. И вот каким людям она обломала их ядовитые зубы.

ШУМЕЛ КАМЫШ

Тут недавно померла одна старуха. Она придерживалась религии — говела и так далее. Родственники ее отличались тем же самым. И по этой причине решено было устроить старухе соответствующее захоронение.

Приглашенный поп явился в назначенный час на квартиру, облачился в парчовую ризу и, как говорится, приступил к исполнению своих прямых обязанностей.

Только вдруг родственники замечают, что батюшка несколько не в себе: он, видать, выпивши и немного качается.

Родственники начали шептаться: дескать, ах ты боже мой, какая неувязка, поп-то, глядите, не стройно держится на ногах. Тогда один из родственников, кажется, бывший камердинер и старейший специалист по части выпивки, подходит к батюшке и так ему тихо говорит:

— Некрасиво поступаете, святой отец. Зачем же вы с утра пораньше надрались... Вот теперь вы под мухой и этим снижаете религиозное настроение у родственников. Нуте, дыхните на меня.

Прикрыв рот рукой, батюшка говорит:

— Не знаю, как вы, а я в своем натуральном виде. А только я сегодня с утра не жравши, и, может быть, через это меня немножко кренит. Нет ли, вообще говоря, у вас тут чем-нибудь заправиться?

Батюшку повели на кухню. Поджарили яичницу и дали ему рюмку коньяку, чтоб перебить настроение.

Подзаправившись, батюшка снова приступил к работе. Но качка у него продолжалась не в меньшей степени.

Но поскольку он уравновешивал эту качку помахиванием кадила, то все сходило более или менее удовлетворительно. Хотя религиозное настроение у родственников было окончательно сорвано, тем более своим кадилом батюшка задевал то одного, то другого родственника и тем самым вызывал среди них ропот и полное неудовольствие.

Наконец усопшую понесли по лестнице, чтоб, как говорится, водрузить ее печальные останки на колесницу.

Батя, как ему полагалось, шел впереди.

Вдруг родственники не без ужаса слышат, что вместо «со святыми упокой» батюшка затянул что-то несообразное.

И вдруг все замечают, что он поет песню:

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь сидела до утра...

Родственники остолбенели, когда услышали эти слова.

Один из родственников, бывший камердинер, подходит к священнику и так ему говорит:

— Ну, знаете, это слишком — арии петь. Мы вас пригласили, чтобы вы нам спели что-нибудь подходящее к захоронению усопшей, а вы пустились на такое паскудство. Ну-ка, без всяких отговорок, дыхните на меня.

Дыхнув на камердинера, поп говорит:

— Когда я выпивши, я почему-то завсегда сворачиваю на эту песню. Усопшей это безразлично, а что касается родственников, то мне решительно на них наплевать.

Бывший камердинер говорит:

— Конечно, в другое время мы бы вас выслушали с интересом, поскольку песня действительно хороша, и я даже согласен записать ее слова, но в настоящий момент с вашей стороны просто недопустимое нахальство — это петь.

Тут среди родственников начались крики. Раздались возгласы:

— Позовите милиционера!

Во дворе собралась публика. Дворник, подойдя к воротам, дал тревожный свисток.

Вот приходит милиционер. Родственники говорят ему:

— Вот поглядите, какого попа мы пригласили. Что вы нам на это скажете?

Милиционер говорит:

— Все-таки этот служитель культа еще владеет собой. Вот если б он у вас падал, то я бы отвел его в отделение милиции. Но он у вас еще держится и только не то поет. А что он там у вас поет — милиции это не касается. Пущай он хоть на голове ходит и «чижика» поет — милиции это совершенно безразлично.

Родственники говорят:

— Что же нам в таком случае делать?

Батюшка говорит:

— Что вы, ей-богу, скандал устраиваете. Может быть, осталось пройти сорок шагов, и как-нибудь с божьей помощью я дойду.

Бывший камердинер говорит:

— Идите. Но если вы опять начнете не то петь, то я вам непременно чем-нибудь глотку заткну.

Вот процессия двинулась дальше. И батюшка владел собой хорошо. Но когда гроб устанавливали на колесницу, батюшка снова тихо запел:

Ах, не одна трава помята,
Помята девичья краса...

Тут камердинер, совсем озверев, хотел кинуться на богослужителя, но родственники удержали, а то получилось бы вовсе безобразие и вовсе исказило бы церковную идею захоронения усопших.

В общем, батюшка, рассердившись на всех, ушел. И колесница благополучно тронулась в путь.

Эту историю мы рассказали вам без единого слова выдумки. В чем и подписуемся.

ПОХВАЛА ТРАНСПОРТУ

Давеча я был в гостях у одного знакомого инженера.

А этот инженер тем отличался от многих других инженеров, что он имел свой автомобиль марки «ГАЗ».

Не знаю, как на других людей действует собственный автомобиль, а на этого моего знакомого получение автомобиля подействовало удручающим образом.

До этого он был милый человек, и у него было довольно интересно бывать в гостях. А теперь он все равно как переродился. Все мысли его теперь витали вокруг автомобильной промышленности. И ни о чем другом, кроме как об этом, он теперь не говорил.

И тот гость, который имел нахальство коснуться чего-нибудь другого, наносил этим хозяину личное оскорбление.

В общем, часов до трех промаявшись с разговорами об особенностях той или иной автомобильной марки, гости стали собираться, чтоб идти по домам.

Хозяин, мило улыбаясь, сказал:

— Находясь в другом месте, вы, дорогие гости, затрюхали бы по домам пешочком или, как говорится, поехали бы на своем одиннадцатом номере. А от меня вы все поедете автомобилем. Как вам, собственно говоря, это нравится?

Гости выразили восхищение.

Хозяин сказал:

— Не знаю, как вы, но я буквально чувствую себя отдельной человеческой единицей, вокруг которой вращаются все миры... Вот сейчас я позвоню моему шоферу и велю ему подать к подъезду мой автомобиль.

Хозяин пошел к телефону и стал звонить. Потом, вернувшись к гостям, сказал, вздохнувши:

— Сейчас автомобиль будет подан... Единственное, знаете, неудобство — это то, что наш гараж в одном районе, мы — в другом, а шофер, представьте себе, живет за Невской заставой. Но я велел моему шоферу срочно добраться до гаража. Тем более он живет не так уж далеко: минут пятнадцать-двадцать идти пешком.

Жена инженера говорит:

— Ах, Коля, жаль, что ты не приказал шоферу взять такси. Он бы взял такси и мигом доехал до гаража.

— Ах да, в самом деле,— сказал хозяин, просияв,— я всякий раз забываю об этом удобстве. Сейчас я позвоню шоферу, он, наверно, еще не ушел.

Шофер действительно еще не ушел. И хозяин велел ему взять такси, чтоб поскорей добраться до гаража.

Один из гостей говорит:

— Послушайте, но, может быть, нам попросту доехать на этом такси, которое возьмет шофер?

Эта мысль удивила и даже несколько испугала хозяина. Он сказал:

— Ну что вы, иметь свой автомобиль и ехать в такси! Нет, я вас до этого не допущу.

Мы стали ждать.

Минут через двадцать раздался телефонный звонок. Это позвонил шофер.

Не знаю, что именно он доложил, но хозяин, обернувшись к нам, сконфуженно сказал:

— Шофер говорит, что он не может такси найти. Он дошел, представьте себе, до вокзала, нашел одно такси, но оно не берется ехать: ему не по пути. Сейчас я велю моему шоферу дойти пешком до центра и там взять такси.

Один из гостей полувопросительно говорит:

— А может, нам в самом деле поехать в такси, которое достанет сейчас шофер?

— Это идея,— говорит хозяин.— Сейчас я велю моему шоферу подъехать на такси сюда. А отсюда такси мигом доставит вас к гаражу. А уж там, будьте покойны... Нам только бы добраться до гаража.

Отдав соответствующее распоряжение шоферу, хозяин начал беседовать с гостями вообще о пользе транспорта.

Минут через двадцать такси стояло у подъезда.

Гости и хозяева вышли на улицу.

Один из гостей, вздохнув, говорит:

— В сущности говоря, как-то даже обидно: иметь под рукой такси и вместе с тем ехать к черту на кулички. Ей-богу, давайте сядем и поедем домой в этом такси. Так было бы славно очутиться сейчас дома. А тут — извольте ехать к гаражу.

Хозяин тихо говорит:

— Нет, я прошу вас... Теперь уж это неудобно... Все-таки я разбудил шофера. Он шлялся по улицам больше часу... Нет уж, я прошу вас поехать.

Гости стали размещаться в машине.

Но поскольку одно законное место было занято шофером такси, а другое — шофером хозяина, то оставалось всего лишь три места. А гостей было пять человек.

Хозяин, сосчитав гостей, говорит:

— Жаль, что мой шофер не захватил два такси. А теперь я уж и не знаю, как быть. Давайте так: пусть три гостя сядут на заднее сиденье, а два гостя пусть тут у подъезда подождут мою машину...

Гости сконфуженно молчали. Хозяин говорит:

— Или нет. Давайте так: один гость и шофер подождут у подъезда, а остальные пусть себе едут к гаражу.

Жена инженера говорит:

— Нет, так ничего не выйдет, потому что нашу машину некому будет сюда привезти. И те и другие будут только напрасно ждать.

Хозяин говорит:

— Правильно. Как жаль, что у нас пять гостей, а не трое. С троими мы бы в один миг управились... Давайте тогда так: трое пусть поедут, а шофер и один гость пусть себе понемножку идут пешком вслед за ними.

Один из гостей, испугавшись, что его пошлют пешком, незаметно и, как говорится, по-английски смылся.

Осталось четыре гостя.

Подсчитав гостей, хозяин сказал:

— Теперь легче. Теперь давайте так: три гостя и шофер пусть едут на такси. А четвертый гость — на выбор: хочет он — тут подождет, не хочет — пусть себе идет к гаражу пешком.

Один из гостей говорит:

— Глядите: грузовой трамвай идет. Привет! Я лучше сейчас на прицепку прыгну.

Гость вскочил на прицепку и вскоре исчез в туманной дали.

Хозяин говорит:

— Он не хотел подождать машины, пусть сам на себя пеняет. Рассаживайтесь теперь и поезжайте с богом.

Шофер уныло говорит хозяину:

— Только не забудьте, Николай Петрович, дать мне денег расплатиться с такси. Да еще за утреннее такси я заплатил из своих двенадцать рублей.

Порывшись в бумажнике, хозяин дал шоферу денег и грустно сказал:

— Да, это такси вскакивает мне в копеечку.

Жена инженера говорит:

— По-моему, такси тебе обходится не меньше как тридцать рублей в день. Если бы не такси, мы бы давно поменяли наш «ГАЗ» на «М-1».

Наконец мы тронулись в путь.

По дороге гости стали упрашивать шофера развезти их по домам, не заезжая в гараж.

Хозяйский шофер неожиданно согласился и даже обрадовался. Он сказал:

— Это будет самое правильное. А то у меня был такой случай: я отвез гостей в гараж, да там мы и промаялись часа полтора. Пока охрану разбудили, да пока заправил, да пока пятое-десятое, глядим: уже трамваи пошли. Все гости так и поехали на трамвае.

Вот такси стало развозить нас по домам, а хозяйский шофер говорит:

— Единственно, я теперь боюсь, что мне с такси

расплатиться не хватит. Все-таки большой крюк делаем и стоянка...

Мы дали шоферу по пять рублей, и он нам сказал, что теперь, пожалуй, хватит, а в крайнем случае он до Невской заставы доберется пешком.

ЖИВЫЕ ЛЮДИ

Что-то последнее время я стал часто про попов писать.

Сколько имеется важных и оригинальных проблем, а перо иной раз склоняется к описанию духовенства.

Конечно, это тоже, я так думаю, отчасти сатира, если про попов писать. Тем более они в настоящее время усилили свою деятельность. Многие из них включились в активное движение по завербовке населения в лоно религии. Другие хлопочут, чтоб их куда-нибудь там выбрали. Третьи вообще распространяют религиозные и сумбурные идеи. Так что писать про это не есть отставание от жизни или там выбор безответственных тем.

Одну сельскую церковь обслуживал старенький поп. И вот он чем-то захворал и уехал, и на его место прибыл новый поп, вдобавок молодой, энергичный, из новых кадров.

Вот он прибыл на село и думал, что тут ему моментально отведут квартиру и все прочее. Но как раз этого не случилось. У некоторых не было лишнего помещения, а другие стеснялись пустить к себе попа. Они говорили: «Попа мы пустим, а потом про нас будут говорить: вот, дескать, пустили попа».

Подобное отношение не смутило энергичной души священнослужителя. Он так сказал на селе:

— То, что вы меня не пустили на свою жилплощадь, показывает всю слабость работы моего престарелого предшественника. Но не такое я есть лицо, которое отступает в панике и беспорядке. Жить в лесу и питаться шишками я не буду. Я сюда прибыл не на рандеву, а по требованию. И поэтому я поселюсь в самой церкви и стану там жить, пока не получу то, что меня удовлетворяет. В алтаре я не стану находиться, а за алтарем, где есть маленькое окошечко, я непременно поселюсь и буду там жить, хотя бы вы все с ума сошли.

Среди придерживающихся религии началось некоторое недовольство. Такое, можно сказать, божественное место —

храм, а тут, короче говоря, поп будет сушить свои портянки и вдобавок вдруг еще тут блох разведет или что-нибудь вроде этого.

Но поскольку никто из религиозников не дрогнул в смысле предоставления попу квартиры, то так и случилось, как сказал поп.

Он поселился в храме и стал там без смущения жить. И даже там на примусе что-то он себе пек, варил, кипятил и жарил.

Это поведение вызвало большие толки и пересуды среди населения. Многие даже специально стали сюда приезжать, чтобы посмотреть в церковное оконце, как там устроился поп, как он там, нахал, живет и что себе стряпает.

И вот проходит, представьте себе, два месяца, и вдруг в народе распространяется слух, что священнослужитель не только спит в церкви, но он еще вдобавок влюбился в одну вдову и теперь ее сюда к себе в гости приглашает, не отдавая себе полного отчета, что он такое делает с точки зрения христианской морали.

Это последнее дело переполнило чашу терпения религиозников. И группа верующих решила накрыть попа с поличным.

И когда вдова пришла к попу на свидание и верующие вполне удостоверились, что так оно и есть, как говорилось в народе, возмущение достигло своего предела.

Кем-то был пущен камень в оконце. А кое-кто даже хотел бревном выломать двери. Но до этого не дошло, поскольку сам поп открыл двери и вышел к верующим. Он им так сказал:

— Квартиру вы мне не предоставили. А теперь вы, собаки, около моей двери шум поднимаете и разбили мне окно. Очень это красиво, благодарю вас. Но вы напрасно тревожитесь. Мы, попы, не какие-нибудь там черные монахи; мы люди живые, и нам не чуждо все земное. И я могу повторить то, что я вам сказал: жить в лесу и питаться шишками я не буду. А лучше вы подумайте, где мне иметь квартиру. И идите себе с богом и не скандальничайте... А то, что вы мне стекло разбили, это такое нахальство с вашей стороны, что я даже и не знаю теперь, как я к вам отнесусь и сколько с завтрашнего дня я буду брать за каждую отдельную службу и за упокой вашей души.

Верующие прямо удивились, какой им попался поп. Они больше скандалить с ним не стали. Но на другой день подали в сельсовет заявление: дескать, вот какой случай,

нельзя ли, дескать, попа одернуть, дескать, живет в церкви и вдобавок вот какой имеет характер.

Мы не преувеличиваем — сельсовет энергично взялся за дело и с соответствующей резолюцией двинул это заявление в область с тем, чтобы там образумили попа.

Там, в области, немножко над этим посмеялись и вернули заявление в сельсовет с указанием не тревожиться за частный быт попов.

В общем, молодой, энергичный поп живет все еще в храме, и там он спит и кушает. Но верующие (чего доброго, вместе с кружком безбожников) уже начали отстраивать небольшую хибарку, куда и хотят с осени переселить попа.

Только не знаем, переедет ли он туда. Ему в храме светлей и воздуха больше.

ЛЮДОЕД

В этом году у нас в доме состоялся товарищеский суд.

Судили одного квартиранта Ф. за его хулиганский поступок.

Дело в том, что у нас огромный дом с населением свыше тысячи жильцов. И наш дом имеет свою стенную газету под названием «За жабры».

Так вот этот квартирант Ф., прочитав там однажды стихи про себя, пришел в бешенство и с криком: «Всех перестреляю!» — сорвал эту газету.

Кроме того, он дернул за волосы двенадцатилетнего парнишку — сына редактора газеты. И вдобавок с воплем: «Я тебе голову сорву!» — погнался за поэтом, автором этих стихов.

Факт, конечно, печальный, недостойный нашей современности.

А надо сказать, что наша газета раньше не пользовалась успехом среди жильцов. На нее мало обращали внимания, поскольку, кроме редактора, никто не затруднял себя чтением этого печатного органа.

Но потом решено было повысить уровень этой газеты. И было решено привлечь к работе одного поэта-сатирика, живущего в соседнем доме.

Тот долго отказывался, но потом сказал:

— Я за деньгами не гонюсь. Но я люблю работать «на интерес». Это меня стимулирует. Положите мне за строчку

хотя бы по гривеннику, и тогда я не только подыму вам газету, но прямо из нее устрою кипящий котел, в котором, не жалея себя, буду варить всех ваших жильцов, так что они, как говорится, света божьего невзвидят. И тогда я ручаюсь за успех: толпа будет стоять около вашей стенной газеты.

Сначала этот поэт-сатирик описывал убожество лестниц и недочеты помойной ямы, но когда ему повысили гонорар до тридцати копеек за строчку, он перешел на людей и в короткое время отхлестал своими стихами почти всех жильцов, включая дам и детей.

После этого он, не встречая сопротивления, пошел, как говорится, делать второй круг по тем же людям, с каждым разом заостряя свою сатиру все больше и круче.

Наконец он поместил стихи против квартиранта Ф., который, как мы говорили, пришел в бешенство, натворил черт знает что и теперь предстал перед судом.

Разорванная стенная газета была склеена. И стихи были оглашены на суде. Вот эти стихи:

К ПОДЛЕЦУ Ф.

Квартплату в срок не вносит,
Говорит, что денег нет.
А замшевую кепку носит
Сей обнаглевший наш брюнет.
И барышень в такси катает —
На это у него хватает.
Дрова он колет на полу,
Топор вонзается в паркет.
Ударим мы его по лбу,
Чтоб сей зазнавшийся брюнет
Не мог вредить у нас в дому.

Вот эти стихи и вызвали припадок бешенства жильца Ф.

На суде квартирант Ф. сказал:

— В этом стихотворении имеется только одна строчка правды, в которой говорится, что я ношу замшевую кепку. Все остальное суть наглая ложь. Квартплату я вношу аккуратно и только один месяц просрочил по случаю беременности моей жены. Что касается такси, то это я вез мою жену на консультацию в родильный дом. Насчет же того, что я дрова колю на полу, — это есть чистая выдумка. Пол действительно у меня порублен, но это в голодные годы прежний жилец колол тут дрова. А сейчас у нас есть дворник, который и может подтвердить, что все дрова он мне колет во дворе. Все это вместе взятое вызвало у меня затемнение рас-

судка, и я совершил поступки, недостойные советского гражданина.

Председатель товарищеского суда говорит:

— Как это, право, нехорошо у вас получилось. Вы бы вместо того, чтобы рвать печатный орган, взяли бы и заявили в редакцию — дескать, вот какой на вас поклеп. А вы вместо этого даете волю своим рукам: рвете газету и дерете за вихры ни в чем не повинного мальчика двенадцати лет, сына редактора газеты. Как это некультурно у вас получилось. Мне прямо совестно за вас.

Квартирант Ф. говорит:

— За этот мой последний поступок я согласен покраснеть. Но видите, в чем дело. Когда я пришел к редактору и стал просить его поместить опровержение, он мне так сказал: «Я теперь сам вижу, что про тебя стишки неверные. Но ты как-нибудь эту обиду переживи в своей душе. Я опровержение печатать не буду, поскольку это уронит авторитет моей газеты. Вот, скажут, враньем занимаются, а потом дают обратный ход. Ты есть частное лицо, а мы — общественный орган. Мы важней, чем ты. Проглоти обиду и не подымай шуму». И тогда я ни с чем ухожу от этого редактора, а тут его мальчишка еще мне вслед кричит: «Барышень в такси катает, на это у него хватает». Тут маленько я и потрепал его за вихры. Очень извиняюсь.

Председатель говорит редактору:

— Как это, право, нехорошо с вашей стороны не поместить опровержения. Глядите, до чего вы довели этого квартиранта своей сатирой. Глядите, он до сих пор весь дрожит.

Редактор говорит:

— Теперь я сам вижу, что я недоглядел за своим сатириком-людоедом. С тех пор, как мы увеличили ему гонорар, он как с ума сошел. Он согласен своего брата в луже утопить. Я обещаю снова сбавить ему гонорар до десяти копеек за строчку, а то он тут весь дом по ветру пустит.

Председатель говорит:

— Сбавлять не надо, а вы должны с позором выгнать его из газеты, поскольку в газете должны работать только исключительно кристально честные люди. Мы теперь наглядно видим, что один мелкий арап может не только расстроить всех жильцов: он может всех перессорить и всех обозлить... Его мало выгнать, его надо под суд отдать, что я непременно и сделаю. А что касается квартиранта Ф., то его поступок в высшей степени неправильный. Он должен

был обжаловать клевету, но он пустился на свою расправу, за что мы присуждаем его к общественному порицанию.

На этом заседание суда кончилось.

Через две недели вышла новая газета с опровержением и с указанием, что поэт-сатирик освобожден от работы.

РОЗА-МАРИЯ

Задумал один житель села Ф., некто товарищ Лебедев, окрестить своего младенца.

Так-то он шел до сих пор против религии. Он церкви не посещал. Ничего такого церковного не делал. И даже, наоборот, имея передовые взгляды, состоял одно время в кружке безбожников.

Но у него в этом сезоне родилась девочка. И вот ее-то он и задумал окрестить.

Вернее, его жена, эта малодушная мать, подбила его это сделать. И не так даже жена, как ее недальновидные родители дали тон всему делу. Поскольку они начали вякать: ах, дескать, некрасиво, если не крестить, дескать, вдруг она вырастет или, наоборот, умрет и будет некрещеная, что тогда.

Ну, несерьезные разговоры политически отсталых людей.

А Лебедев удивительно не хотел крестить свою девочку. Тем не менее душа у него дрогнула, когда на него насели. И он, имея внутренние противоречия, дал свое согласие. Он им так сказал:

— Ладно. Крестите ее. Только мне бы не хотелось, чтобы вокруг этого вопроса шум стоял. Безусловно, я волен распоряжаться своим мировоззрением. Хочу — крещу, хочу, наоборот,— не крещу. Но все-таки разговоры начнутся, пятое-десятое; дескать, крестил все-таки, собачий нос, обратился, дескать, к услугам церкви, дескать, недаром, скажут, дядя его в мирное время у домовладельца дворником служил.

На это жена ему сказала, что если он сам не надерется по случаю крещения дочери, то никакого шуму не будет стоять около этого вопроса.

И вот родители договорились со священником, чтобы тот им окрестил девочку. И тот за пятерку взялся это сделать и назначил им день и час.

А тем временем родители зарегистрировали своего младенца в загсе под именем Роза, получили там ману-

фактуру и в определенный день явились в церковь для совершения крещения.

А в тот день там крестили еще одного младенца. И наши, ожидая своей очереди, стояли и глядели, как это происходит.

И сам Лебедев, будучи все-таки настроен против религии и имея, так сказать, критический взгляд на все церковное, не мог, безусловно, стоять молча. Он не мог инертно стоять. И он все время задирал батюшку своими колкими замечаниями.

И чего батюшка ни сделает, Лебедев на это ехидно улыбается, а то и просто ему что-нибудь под руку говорит. «Ну, загнусил»,— говорит. Или там: «Ну, еще чего придумал...» Или, глядя на рыжеватую растительность батюшки, вдруг говорит: «Ни одного рыжего среди святых не было... А этот рыжий».

Это последнее замечание вызвало смех среди родственников. Так что батюшка даже на минуту прервал крещение и на всех сердито поглядел.

А когда он взялся за лебедевского младенца, то Лебедев отчасти потерял чувство меры и уже начал открыто долбить батюшку своими ехидными замечаниями.

И даже шутливо, правда, сказал:

— Ну, гляди, борода, чтобы ребенок мой не простыл благодаря твоему крещению. А то я тебе прямо храм спалю.

У батюшки даже руки затряслись, когда он это услышал.

Он так сказал Лебедеву:

— Слушайте, я вас не понимаю, если вы пришли сюда меня поддевать, то я на вас удивляюсь. Вы отдаете себе отчет, что получается? В тот момент, когда я держу вашу девочку в руках, заместо очистительной молитвы у меня в душе разгорается против вас злоба и сквернословие, и вот какую путевку в жизнь я даю мысленно вашей девочке. Да, может, теперь ее всю жизнь будет лихорадить, или, наоборот, она станет глухонемая.

Лебедев говорит:

— Ну, если ты мне младенца испортишь, то я тебе все кудри вырву, имей это в виду.

Батюшка говорит:

— Знаешь что. Лучше заверни своего щенка в одеяло и выкатывайся из храма. И я тебе верну пятерку, и мы разойдемся по-хорошему, чем я буду все время такое нахальство слышать.

Тут родственники начали одергивать Лебедева: дескать, заткни, действительно, глотку-то; дескать, обожди, вот выйдешь из храма, и тогда отводи душу; дескать, не задергивай попа, а то он нам, чего доброго, девочку на пол опрокинет. Гляди, у него руки трясутся и колени подгибаются.

И хотя Лебедева раздирали внутренние противоречия, но он сдержался и ничего такого не ответил священнику. Только он ему сказал:

— Ну ладно, ладно, не буду больше. Веди благородней крещение, длинногривый.

Вот батюшка начал произносить церковные слова. Потом, обратившись к Лебедеву, говорит:

— Какое имя мне произносить? Как вы назвали своего ребенка?

Лебедев говорит:

— Мы ее назвали — Роза.

Батюшка говорит:

— То есть сколько хлопот вы мне доставили своим посещением. Мало того, что вы меня поддевали, так теперь выясняется, что вы не то имя дали младенцу. Роза — суть еврейское имя, и под этим именем я ее крестить отказываюсь. Заверните ее в одеяло и идите себе из храма.

Лебедев, растерявшись, говорит:

— Еще того чище. То он на ребенка лихорадку нагоняет, то он вообще отказывается его крестить. А это имя есть от слова «роза», то есть это есть растение, цветок. А другое дело, например, Розалия Семеновна — кассирша из кооператива. Там я не спорю: есть еврейское имя. А тут вы не можете отказываться ее так крестить.

Батюшка говорит:

— Заверните своего ребенка в одеяло. Я его вообще не буду крестить. У меня в святцах нет такого имени.

Родственники говорят священнику:

— Слушайте, мы же его в загсе под этим именем записали. Что вы, ей-богу, горячку разводите.

Лебедев говорит:

— Я же вам говорил. Вот какой это поп. Он против загса идет. И сейчас всем видать, какое у него нахальное политическое мировоззрение.

Поп, видя, что родные не уходят и ребенка не уносят, стал разоблачаться. Он снял свою парчовую ризу. И тут все увидели, что он теперь ходит в штанах и высоких сапогах.

И он в таком богохульном виде подходит к образам и гасит свечи. И хочет выплеснуть воду из купели.

А в храме, между прочим, находилось одно приезжее лицо. Оно прибыло сюда по делам, для проверки кооператива. И теперь оно нарочно, просто так, от нечего делать, зашло в церковь, чтобы посмотреть, что там и как там сейчас бывает.

И теперь это лицо взяло слово и говорит:

— Я хотя стою против обрядов и даже удивляюсь на темноту местных жителей, но раз ребенка уже развернули и родители горят желанием его окрестить, то это надо исполнить во что бы то ни стало. И чтобы выйти из создавшегося положения, я предлагаю вашего ребенка назвать двойным именем. Например: у вас оно Роза, а тут, например, оно пускай Мария. И вместе это дает Роза-Мария. И даже есть такая оперетка, которая нам сигнализирует, что это в Европе бывает.

Поп говорит:

— Двойных имен у меня в святцах нету. И я даже удивляюсь, что вы меня этим собираетесь сбить. Если хотите, я ее Марией назову. Но Роза — я даже мысленно произносить не буду.

Лебедев говорит:

— Ну, пес с ним. Пущай он тогда ее Марией назовет. А после мы разберемся.

Батюшка снова надел свою ризу и быстро, в течение пяти минут, произвел всю церковную операцию.

Лебедев беседовал с приезжим лицом и благодаря этому никаких своих замечаний по поводу действий попа не вставлял. Так что все прошло вполне благополучно.

Но надежды Лебедева — чтобы не было шуму вокруг этого вопроса — не оправдались. Как видите, сия история попала даже в печать.

ВАЛЯ

Давеча еду в трамвае и любуюсь на кондукторшу.

Очень она, вижу, славно и мило ведет свое дело.

Все у нее удивительно хорошо получается. Легко, красиво и так и надо.

Она любезно объявляет станции. Внимательно за всем следит. Со всеми приветливо беседует. Старых поддерживает под локоток. С молодыми острит. Ну прямо любо-дорого на нее глядеть.

И сама она имеет миленькую внешность. Одета чистенько, аккуратно. Глазки у нее сверкают, как звездочки. Сама веселая, смешливая, заботливая. Входит в каждую мелочь, всем интересуется.

Другая кондукторша рычит в ответ, если ее спрашивают, и прямо чуть ногами не отбивается от пассажиров. А эта — нечто поразительное. Ну прямо видим картину из недалекого будущего.

И вот любуюсь я на эту работу, и на душе у меня приветливо становится.

И вижу: все пассажиры тоже исключительно довольные едут. Так на них хорошо и благоприятно действует настоящая, красивая работа.

И уже мне надо сходить, а я все, как дурак, еду и удивляюсь на кондукторшу. И улыбка не сходит с моего лица.

И вижу: со мной рядом сидит пожилая женщина. И она тоже то и дело посматривает на кондукторшу и тоже любуется ею.

Потом вдруг эта женщина обращается ко мне. Она говорит:

— Если я не ошибаюсь, вы тоже в восхищении от работы этой славной кондукторши. Представьте себе, что и я одинаково с вами чувствую. Я не знаю, кто вы, но у меня есть предложение. Давайте как-нибудь отметим поведение этой кондукторши. Давайте занесем похвалу в ее послужной список. Задержимся минут на пять и как-нибудь сообразим, как это сделать, чтоб отметить ее полезную деятельность на транспорте. Для нее это будет поощрение и хорошая память, что вот как ей нужно в дальнейшем поступать.

Я говорю:

— Полностью согласен с вами, мадам. И вполне разделяю ваше решение.

Женщина говорит:

— Что касается меня, то я член райсовета, и к моему заявлению все-таки отнесутся внимательно и не по-казенному.

Я говорю:

— Вот и хорошо. Давайте спросим у кондукторши, как лучше это сделать.

Женщина говорит:

— Нет. Давайте спросим у нее фамилию или ее номер. И давайте прямо в печати выступим с заметкой: дескать, вот какие бывают факты, спасибо, так и надо и прочее.

Женщина встает со своего места и хочет спросить

кондукторшу то, что нас интересует. Но в этот момент кондукторша выходит на площадку и там убедительно беседует с одним пассажиром, который едет вместе со своим выпившим приятелем. И вот кондукторша советует пассажиру покрепче держать своего друга, чтоб тот на повороте не нырнул бы на мостовую.

Сделав распоряжение, кондукторша возвращается в вагон, и моя соседка немного дрожащим от волнения голосом просит кондукторшу сообщить свою фамилию, маршрут и служебный номер.

Тут я опомниться не успел, как разразилась гроза.

Милая кондукторша изменилась в лице. Сначала покраснела, потом побелела и вдруг крикнула:

— А тебе на что моя фамилия? Ты что, старая кикимора, не в свое дело нос суешь? Или ты хочешь сказать, что я неправильно сделала, что пьяного в вагон пустила? Так я тебе, старая хрычовка, на это скажу: лучше бы я тебя в вагон не пустила, чем я бы оставила немного выпившего на улице, где он...

Член райсовета, растерявшись, начинает бормотать:

— Видите, мы, собственно говоря...

Я говорю:

— Слушайте, товарищ кондукторша... Вы не поняли нас...

Кондукторша говорит:

— А тебе еще чего надо? Ты-то еще что, арап, суешься? Много вас тут, кровопийц, едет и чуть что — придираются и жалобы строчат. Только все недовольны и недовольны. Только каждый норовит за пятку укусить... Прямо нельзя работать.

Мы с женщиной до того растерялись, что не нашлись даже что-нибудь сказать. Один из пассажиров говорит кондукторше:

— Чего вы понапрасну горячитесь и этим портите свою драгоценную кровь? Вы их не поняли: эти двое, наоборот, хотели вас похвалить, чтобы сделать вам поощрение по службе.

Кондукторша, смутившись, говорит:

— Ах, пожалуйста, извините! Знаете, до того дошло, что каждый пассажир вроде тигра представляется. Каждый норовит устроить неприятность.

Женщина, пожав плечами, говорит:

— Вот теперь я не знаю, как мне поступить. С одной стороны, мне хотелось отметить полезную деятельность на транспорте, а с другой стороны, она на меня накрича-

ла и тем самым показала, что у нее еще бывают прорывы.

Женщина вышла из вагона не совсем довольная. Мне было тоже немного досадно, что мы не успели в восторженных тонах отметить в печати полезную деятельность кондукторши.

Фамилию кондукторши я не знаю. На мой вопрос она, мило улыбнувшись, ответила:

— Меня зовут Валя. А фамилию свою я вам не скажу: у меня муж ревнивый.

Так что в этом моем фельетоне я отмечаю полезную деятельность кондукторши без указания фамилии.

Привет, милая Валя! Не все пассажиры — тигры.

ПОСЛЕДНЯЯ НЕПРИЯТНОСТЬ

На этот раз позвольте рассказать драматический эпизод из жизни умерших людей.

А так как это факт, то мы и не позволим себе в своем изложении допускать слишком много смеха и шуток, для того чтобы не обидеть оставшихся в живых.

Но поскольку эта история до некоторой степени комична и смех, как говорится, сам по себе может прорваться, то мы заранее попросим у читателя извинения за невольную, быть может, нетактичность по отношению к живым и мертвым.

Конечно, сам факт в своем первоначальном смысле ничего комического не имел. Наоборот, умер один человек, один небольшой работник, индивидуально незаметный в блеске наших дней.

И, как это часто бывает, после смерти начались пышные разговоры: дескать, сгорел на своем посту, ах, кого мы потеряли, вот это был человек, какая жалость, друзья, что мы его лишились.

Ну, ясно, конечно, безусловно, при жизни ему ничего такого оригинального никто не говорил, и он, так сказать, отправился в дальний путь, сам того не подозревая, что он собой представляет в фантазии окружающих людей.

Конечно, если бы он не умер, то еще неизвестно, как бы обернулась эта фантазия. Скорей всего, те же окружающие, как говорится, загнули бы ему салазки или показали бы ему кузькину мать и где раки зимуют.

Но поскольку он безропотно умер, то вот оно так и получилось божественно.

С одной стороны, друзья, прелестно умирать, а с другой стороны — мерси, лучше не надо, как-нибудь обойдемся без вашей чувствительной благодарности.

Короче говоря, в том учреждении, где он работал, состоялась после занятий беседа, и на этой беседе вспоминали разные трогательные эпизоды из жизни умершего.

Потом сам директор взял слово. И в силу ораторского искусства он загнул свою речь до того чувствительно, что сам слегка прослезился. И, прослезившись, похвалил умершего сверх всякой меры.

Тут окончательно разыгрались страсти. И каждый наперерыв старался доказать, что он потерял верного друга, сына, брата, отца и учителя.

Из рядов вдруг один пронзительно крикнул, что надо бы захоронение попышней устроить, чтобы другие служащие тоже стремились бы к этому. И, видя это, они, может быть, еще более поднажмут и докажут всем, что они этого заслуживают.

Все сказали: это правильно. И директор сказал: пусть союз на стенку лезет — захоронение будет отнесено на казенный счет.

Тогда встал еще один и сказал, что таких замечательных людей надо, вообще говоря, хоронить с музыкой, а не везти молча по пустынным улицам.

Тут, утирая слезы, встает со своего места родственник этого умершего, его родной племянник, некто Колесников. Он так говорит:

— Боже мой, сколько лет я жил с моим дядей в одной квартире! Не скажу, чтобы мы часто с ним ругались, но все-таки мы жили неровно, поскольку я и не думал, какой у меня дядя. А теперь, когда вы мне об этом говорите, каждое ваше слово, как расплавленный металл, капает на мое сердце. Ах, зачем я не устроил уютную жизнь моему дяде! Теперь это меня будет мучить всю мою жизнь. Нет, я не поленюсь смотаться в одно местечко, где, как мне известно, имеется лучший духовой оркестр из шести труб и одного барабана. И мы пригласим этот оркестр, чтобы он сыграл моему дяде что-нибудь особенное.

И все сказали:

— Правильно, пригласи этот оркестр, и этим ты частично загладишь свое хамское поведение по отношению к своему дяде. Уж, наверно, у вас с ним был ежедневный мордобой, и только тебе неловко нам в этом признаться.

Короче говоря, через два дня состоялось захоронение. Было много венков, масса народу. Музыканты действи-

тельно играли недурно и привлекали внимание прохожих, которые то и дело спрашивали: «Кого хоронят?»

Сам племянник этого дяди подошел на ходу к директору и так ему тихо сказал:

— Я пригласил этот оркестр, но они поставили условие — заплатить им сразу после захоронения, поскольку они вскоре уезжают на гастроли в Старую Руссу. Как нам поступить, чтобы заплатить им без особой мотни?

Директор говорит:

— А разве за оркестр не ты будешь платить?

Племянник удивился и даже испугался. Он говорит:

— Вы же сами сказали, что похороны на казенный счет. А я только бегал приглашать оркестр.

Директор говорит:

— Так-то так, но как раз оркестр у нас по смете не предусмотрен. Собственно говоря, умерло маленькое, незначительное лицо, и вдруг мы с бухты-барахты пригласили ему оркестр! Нет, я не могу на это пойти, мне союз за это холку намнет.

Которые шли с директором, те тоже сказали:

— В конце концов, учреждение не может платить за каждого скончавшегося. Еще скажи спасибо, что заплатили за грузовик и за всякую похоронную муру. А за оркестр сам плати, раз это твой дядя.

Племянник говорит:

— Что вы — опухли, откуда я двести рублей возьму?

Директор говорит:

— Тогда сложись вместе со своими родственниками и как-нибудь выкрутись из беды.

Племянник, сам не свой, подбежал на ходу к вдове и доложил ей, что происходит.

Вдова еще больше зарыдала и отказалась что-либо платить.

Колесников пробился сквозь толпу к оркестру и сказал им, чтобы они перестали дудить в свои трубы, поскольку дело запуталось и теперь неизвестно, кто будет платить.

В рядах оркестрантов, которые шли строем, произошло некоторое замешательство. Главный из них, который махал рукой и бил в медные тарелки, сказал, что он это предчувствовал. Он сказал:

— Музыку мы не прекратим, а доиграем до конца и через суд потребуем деньги с того, кто сделал заказ.

Тогда Колесников снова на ходу пробился к директору, но тот, предвидя неприятности, сел в машину и молча отбыл.

Беготня и суетня вызвали удивление в рядах процессии. Отъезд директора и громкое стенание вдовы еще того более поразили всех присутствующих. Начались разговоры, расспросы и шептанья, тем более что кто-то пустил слух, будто директора срочно вызвали по вопросу о сокращении штатов в их учреждении.

В общем, к кладбищу подошли в полном беспорядке. Само захоронение состоялось в крайне быстром темпе и без речей. И все разошлись не особенно довольные. И некоторые бранили умершего, вспоминая из его мелкой жизни то одно, то другое.

На другой день племянник умершего дяди до того нажал на директора, что тот обещал согласовать вопрос с союзом. Но при этом сказал, что дело вряд ли пройдет, так как задача союза — заботиться о живых, а не валандаться с мертвыми.

Так или иначе, Колесников пока что продал свое драповое пальто, чтобы отвязаться от оркестрантов, которые действительно ни перед чем не остановились бы, чтобы получить свои пречистые.

Свое пальто племянник загнал за 260 руб. Так что после расплаты с оркестром у него остался навар — 60 монет. На эти деньги племянник своего дяди пьет третий день. И это обстоятельство сигнализирует нам, что учреждение во главе с директором оказалось не на высоте.

Будучи выпившим, племянник этого дяди пришел ко мне и, утирая рукавом слезы, рассказал мне об этой своей мелкой неприятности, которая для него была, наверно, далеко не последней.

Для дяди же эта мелкая неприятность была последней.

ПОМИНКИ

Не так давно скончался один милый человек.

Конечно, он был незаметный работник. Но когда он, как говорится, закончил свой земной путь, о нем многие заговорили, поскольку это был очень славный человек и чудный работник своего дела.

Его все очень расхваливали и заметили его после кончины.

Все обратили внимание, как он чистенько и культурно одевался. И в каком порядке он держал свой станок: он пыль с него сдувал и каждый винтик гигроскопической ваткой обтирал.

И вдобавок он всегда держался на принципиальной высоте.

Этим летом он, например, захворал. Ему худо стало на огороде. Он в выходной день пришел на свой огород и там что-то делал. Ухаживал за растениями и плодами. И вдруг ему приключилось худо. У него закружилась голова, и он упал.

Другой бы на его месте закричал: «Накапайте мне валерианки!» или: «Позовите мне профессора!» А он о своем здоровье не тревожился. И, упавши, сказал: «Ах, кажется, я на грядку упал и каротельку помял».

Тут хотели за врачом побежать, но он не разрешил отнимать от дела рабочие руки.

Но все-таки его отнесли домой, и там он под присмотром лучших врачей хворал в течение двух месяцев.

Конечно, ему чудные похороны закатили. Музыка играла траурные вальсы. Много сослуживцев пошло его провожать на кладбище.

Очень торжественные речи произносились. Хвалили его и удивлялись, какие бывают на земле люди.

И под конец один из его близких друзей, находясь около его вдовы, сказал:

— Которые хотят почтить память своего друга и товарища, тех вдова просит зайти к ней на квартиру, где будет подан чай.

А среди провожающих был один из его сослуживцев, некто М. Конечно, этот М. особенно хорошо не знал усопшего. Но пару раз на работе его видел.

И теперь, когда вдова пригласила зайти, он взял и тоже пошел. И пошел, как говорится, от чистого сердца. У него не было там каких-нибудь побочных мыслей. И на поминки он пошел не для того, чтобы заправиться. Тем более сейчас никого едой не удивишь. А он пошел просто идейно. «Вот, подумал, такой славный человек, дай, думает, зайду, послушаю воспоминания его родственников и в тепле посижу».

И вот, значит, вместе с одной группой он и пошел.

Вот приходят все на квартиру. Стол, конечно, накрыт. Еда. Пятое-десятое.

Все разделись. И наш М. тоже снял с себя шапочку и пальто. И ходит промежду горюющих родственников, прислушивается к воспоминаниям.

Вдруг к нему в столовой подходят трое.

— Тут, говорят, собравшись близкие родственники. И среди них вы будете чужой. И вдова расценивает ваше появление в ее квартире как нахальство. Наденьте на себя

ваше пальто и освободите помещение от вашего присутствия.

Тому, конечно, неприятно становится от этих слов, и он начинает им объяснять, дескать, он пришел сюда не для чего-нибудь другого, а по зову своего сердца.

Один из них говорит:

— Знаем ваше сердце — вы зашли сюда пожрать, и тем самым вы оскорбили усопшего. Выскакивайте пулей из помещения, а то вы в такой момент снижаете настроение у друзей и родственников.

И с этими словами он берет его пальто и накидывает на его плечи.

А другой знакомый хватает его фуражку и двумя руками напяливает ее на голову так, что уши у того мнутся.

Нет, они, конечно, его не трогали, и никто из них на него даже не замахнулся. Так что в этом смысле все обошлось до некоторой степени культурно. Но они взяли его за руки и вывели в переднюю. А в передней родственники со стороны вдовы немного на него поднажали, и даже один из них слегка поддал его коленкой. И это было тому скорее морально тяжело, чем физически.

В общем, он, мало что соображая, выскочил на лестницу с обидой и досадой в душе.

И он три дня не находил себе покоя.

И вот вчера вечером он пришел ко мне.

Он был расстроен, и у него от обиды подбородок дрожал и из глаз слезы капали.

Он рассказал мне эту историю и спросил, что я насчет этого думаю.

И я, подумавши, сказал:

— Что касается тебя, милый друг, то ты совершил маленькую ошибку. Ты зашел туда по зову своего сердца. И в этом я тебе верю. Но вдова имела в виду только близких и знавших ее супруга хорошо. Вот если бы тебя завод пригласил на вечер его памяти и оттуда тебя бы выкурили и назвали чужим — вот это было бы удивительно. И в этих тонкостях следует всегда разбираться. Но что касается их, то они с тобой поступили грубо, нетактично и, я бы сказал, некультурно. А что один из них напялил на тебя фуражку, то он попросту свинья, и ну его к черту, дурака!

Тут сидевший у меня М. немного даже просиял. Он сказал:

— Теперь я понимаю, в каком смысле они меня назвали чужим. И все остальное меня теперь не волнует.

Тут я пожал ему руку. Подарил ему книгу. И мы расстались лучшими друзьями.

И когда он ушел, я подумал о том, что те же самые люди, которые так грубо выгнали его, наверно, весьма нежно обращаются со своими машинами. Наверно, берегут их и лелеют. И, уж во всяком случае, не вышвырнут их на лестницу, а на ящике при переноске напишут: «Не бросать!» или «Осторожно!»

Об этом, друзья, я как-то раз написал, но вот еще раз вспомнил.

Засим я подумал, что не худо бы и на человечке что-нибудь мелом выводить. Какое-нибудь там петушиное слово: «Фарфор!», «Легче!» Поскольку человек — это человек, а машина его обслуживает.

И, подумавши об этих делах, я решил для поучения записать этот фактический рассказ. И вот он перед вами.

КОЧЕРГА

Забавное происшествие случилось минувшей зимой в одном учреждении.

Надо сказать, что это учреждение занимало небольшой отдельный дом. Причем дом был старинной постройки. Обыкновенные вульгарные печи отапливали это здание.

Специальный человек — истопник — наблюдал за печами. Он меланхолично ходил со своей кочергой из этажа в этаж, шевелил дрова, разбивал головешки, закрывал трубы и так далее, все в этом духе.

При современной технике, при водяном и паровом отоплении картинка эта была, можно сказать, почти что неприличная, древняя картинка, рисующая варварский быт наших предков.

В этом году, в феврале, истопник, спускаясь по лестнице, слегка обжег кочергой одну служащую, Надю Р. Причем служащая эта была отчасти сама виновата. Она вихрем неслась по лестнице и сама наскочила на истопника. На ходу она отстранила его рукой и, по несчастной случайности, наткнулась на кочергу, которая была довольно-таки горяча, если не сказать — раскалена.

Девушка ахнула и закричала. И истопник тоже ахнул. В общем, ладонь и пальцы этой суетливой девушки были слегка обожжены.

Конечно, случай этот мелкий, пустой, недостойный попасть на страницы художественной литературы. Однако

неожиданные последствия этого дела были весьма забавны. И они-то и настроили нас на этот маленький рассказ.

Директор учреждения вызвал к себе истопника и сделал ему строгое внушение. Он сказал:

— Тоже, ходишь со своей кочергой — выводишь мне из строя служащих. Надо не зевать по сторонам, а глядеть то, что видишь.

Истопник, сокрушенно вздыхая, ответил, что у него на шесть печей всего одна кочерга, с которой он и ходит то туда, то сюда. Вот если бы на каждую печку была отдельная кочерга, вот тогда бы и можно придираться. А при таких обстоятельствах он не может гарантировать неприкосновенность служащих.

Эта простая мысль — иметь кочергу на каждую печку — понравилась директору. И он, не будучи чиновником и бюрократом, тотчас стал диктовать машинистке требование на склад. Шагая по комнате, директор диктовал:

«Имея шесть печей при наличии одной кочерги, немыслимо предохранить служащих от несчастных случаев. А посему в срочном порядке прошу выдать подателю сего требования пять коче...»

Но тут директор осекся. Он перестал диктовать и, почесавши затылок, сказал машинистке:

— Что за черт. Не помню, как пишется — пять коче... Три кочерги — ясно. Четыре кочерги — тоже понятно. А пять? Пять — чего? Пять кочерги...

Молоденькая машинистка, пожав плечами, сказала, что она вообще впервые слышит это слово и, уж во всяком случае, в школе ей не приходилось склонять что-либо подобное.

Директор позвал своего секретаря и, смущенно улыбаясь, рассказал ему о своем затруднении.

Секретарь тотчас стал склонять это слово. Кто, что? — кочерга... Кого, чего? — кочерги... Кому, чему? — кочерге... Но, дойдя до множественного числа, секретарь запнулся и сказал, что множественное число вертится у него в голове, но он сейчас не может его вспомнить.

Тогда опросили еще двух служащих, но и те не внесли ясности в это дело.

Секретарь сказал:

— Есть отличный выход. Напишем на склад два требования — на три кочерги и на две кочерги. Итого получим пять.

Директор нашел это неудобным. Он сказал, что посы-

лать две одинаковые бумажки — это разводить канцелярщину. Найдутся пройдохи, которые при случае уколют его этим. Лучше уж, если на то пошло, позвонить в Академию наук и у них запросить, как пишется пять коче...

Уже секретарь хотел звонить в Академию, но директор в последний момент не позволил ему это сделать. Еще, чего доброго, попадется какой-нибудь смешливый ученый, который напишет фельетон в газету — дескать, директор малограмотный, дескать, тревожат научное учреждение такой чепухой. Нет, уж лучше обойтись своими средствами. Хорошо бы еще раз позвать истопника, чтоб услышать это слово из его уст. Все-таки человек всю жизнь вращается у печей. Уж кому-кому, а ему-то известно, как произнести пять коче...

Тотчас снова позвали истопника и стали его наводящими вопросами наталкивать на нужный ответ.

Истопник, предполагая, что его опять будут жучить, отвечал на все вопросы хмуро и односложно. Он бормотал: дескать, нужно пять штук, тогда, дескать, еще можно оберечься. А иначе пущай отдают его под суд.

Потеряв терпение, директор прямолинейно спросил истопника, что ему нужно.

— Сами знаете что,— угрюмо ответил истопник.

Но тут, под давлением секретаря и директора, истопник наконец произнес искомое слово. Однако это слово в устах истопника звучало не так, как ожидалось, что-то вроде — «пять кочерыжек».

Тогда секретарь смотался в юридический отдел и оттуда привел служащего, который отличался тем, что умел составлять любые бумаги так ловко, что обходил все подводные камни.

Служащему разъяснили его задачу — составить нужное требование таким образом, чтобы слово «кочерга» не упоминалась во множественном числе и вместе с тем, чтобы склад выдал пять штук.

Немного покусав карандаш, служащий набросал черновик:

«До сего времени наше учреждение, имея шесть печей, обходилось всего лишь одной кочергой. В силу этого просьба выдать еще пять штук, для того чтобы на каждую печку имелась бы одна самостоятельная кочерга. Итого выдать — пять штук».

Уже эту бумажку хотели послать на склад, но тут к директору явилась машинистка и сказала, что она сейчас звонила своей мамаше, старой машинистке с тридцати-

летним стажем. И та ее заверила, что нужно писать: пять кочерег. Или пять кочерг.

Секретарь сказал:

— Я так и думал. Только на меня нашло затмение.

Тотчас бумажка была составлена и послана на склад.

Самое смешное из всей этой истории это то, что вскоре бумажка была возвращена назад с резолюцией заведующего складом: «Отказать за неимением на складе кочережек».

Уже наступила весна. Потом будет лето. До зимы далеко. Об отоплении думать пока что не приходится. Весной хорошо думать о грамотности, хотя бы в связи с весенними испытаниями в средней школе. Что же касается данного слова, то слово действительно каверзное, доступное Академии наук и машинистке с тридцатилетним стажем.

В общем, надо поскорей переходить на паровое отопление.

ПЧЕЛЫ И ЛЮДИ

В один колхоз приехал в гости красноармеец.

И в подарок своим родственникам он привез баночку цветочного меду.

И до того этот мед всем понравился, что колхозники решили устроить у себя пчеловодство.

А кругом никто пчеловодством не занимался. И колхозникам надо было устраивать все заново — ульи делать и пчел из леса переводить на новые квартиры.

Увидев, что это дело такое длинное, колхозники приуныли.

— Это, говорят, долгая канитель! Пока то да се — и лето пройдет. И мы не увидим меду до следующего года. А нам надо сейчас.

А среди колхозников находился один прекрасный человек, некто Иван Панфилович, немолодой мужчина лет семидесяти двух. Он в молодые годы занимался пчеловодством.

Вот он и говорит:

— Для того чтобы в этом году чай пить с медом, надо поехать куда-нибудь туда, где есть пчеловодство, и там у них надо купить то, о чем мы мечтаем.

Колхозники говорят:

— Наш колхоз — миллионер. Перед затратами он не постоит. Давайте купим пасеку на полном ходу! Чтобы пчелы уже в ульях сидели. А то если из леса пчел переведем, они, может быть, окажутся неважные. Может быть,

они начнут какой-нибудь жуткий мед изготовлять, какой-нибудь липовый. А нам надо цветочный.

И вот дали Ивану Панфилычу деньги и послали его в город Тамбов.

Приезжает он в Тамбов. Там ему говорят:

— Вы правильно сделали, что приехали к нам. У нас три деревни переселились на Дальний Восток. Осталось лишнее пчеловодство. Это пчеловодство мы вам можем отдать чуть не даром. Только как вы этих пчел повезете — вот это для нас вопрос. Товар, можно сказать, рассыпной, крылатый. Чуть что — разлетится в разные стороны. И мы страшимся, что к месту назначения вы привезете одни только пчелиные домики да личинки.

Панфилыч говорит:

— Как-нибудь я их перевезу. Я знаю пчел. Я всю жизнь имел с ними общение.

И вот Панфилыч на двух подводах привез на станцию шестнадцать ульев.

На станции он схлопотал открытую платформу. Поставил на эту платформу свои ульи и покрыл их брезентом.

И вот вскоре товарный поезд тронулся. И наша платформа покатилась.

Панфилыч торжественно стоял на платформе и беседовал с пчелами...

— Ничего, ребятки,— говорил он им,— докатимся! Маленько потерпите в темноте, а там я вас снова к цветам пущу. И вы уж там, я так думаю, свое возьмете. Главное, не тревожьтесь, что я вас в темноте везу. Это я вас нарочно брезентом закрыл, чтоб вы сдуру не вылетели на ходу поезда. В противном случае обратно на поезд уже не вскочите.

И вот поезд едет день. И другой день он едет.

На третий день Панфилыч стал немного волноваться. Поезд идет медленно. На каждой станции останавливается. Подолгу стоит. И непонятно, когда он доедет к месту назначения.

На станции Поля Панфилыч сошел со своей платформы и обратился к начальнику станции. Он спросил:

— Скажите, уважаемый, долго ли будем стоять на вашей станции?

Начальник станции отвечает:

— Право, не знаю, может быть, и до вечера постоим.

Панфилыч говорит:

— Если до вечера, то я открою брезент и выпущу своих пчелок на ваши поля. А то они в пути истомились. Третий

день под брезентом сидят. Проголодались. Не пьют, не кушают и личинок не кормят.

Начальник говорит:

— Поступайте как хотите! Какое мне дело до ваших крылатых пассажиров! У меня и без того дел хватает. А тут я буду о ваших личинках тревожиться. Еще что за глупости!

Панфилыч вернулся к своей платформе и снял брезент.

А погода была великолепная. Небо голубое. Июньское солнышко блестит. Кругом поля. Цветы растут. Каштановая роща зацветает.

Вот Панфилыч снял брезент с платформы. И тотчас целая армия пчел поднялась к небесам.

Пчелы покружились, осмотрелись и направились в поля и леса.

Пассажиры обступили платформу. И Панфилыч, стоя на платформе, произнес им лекцию о пользе пчел.

Но во время лекции на станцию вышел начальник и стал давать сигналы машинисту, чтоб тот тронулся в путь.

Панфилыч прямо ахнул, когда увидел эти сигналы. С тревогой он говорит начальнику станции:

— Уважаемый, не отправляйте поезд! У меня все пчелы в разгоне.

Начальник станции говорит:

— А вы им свистните, чтоб они скорей обратно садились! Более трех минут я не могу поезд задерживать.

Панфилыч говорит:

— Умоляю, задержите поезд до заката солнца! На закате солнца пчелы вернутся на свои места. В крайнем случае отцепите мою платформу! Я без пчел не могу ехать. Тут у меня одна тысяча осталась, а пятнадцать тысяч в полях. Войдите в положение! Не отнеситесь равнодушно к такой беде!

Начальник станции говорит:

— У нас не пчелиный курорт, а железная дорога. Подумаешь, пчелы улетели! А на следующем поезде скажут: мухи улетели. Или блохи, скажут, выскочили из мягкого вагона. Так что ж, я должен ради этого поезда задерживать? Не смешите меня!

И тут начальник станции снова дает сигнал машинисту.

И вот поезд трогается.

Панфилыч, бледный как полотно, стоит на своей платформе. Руками разводит. Смотрит по сторонам. И дрожит от огорчения.

А поезд идет.

Ну, некоторое количество пчел успело все-таки вскочить на ходу. А большая часть осталась в полях и роще.

И вот поезд скрылся из виду.

Начальник вернулся на станцию. И приступил к работе.

Пишет он что-то в ведомости. И пьет чай с лимоном.

И вдруг он слышит, что на станции происходит какой-то шум.

Начальник открывает окно, чтоб посмотреть, что случилось. И видит, что среди ожидающих пассажиров происходит суматоха, беготня и суетня.

Начальник спрашивает:

— Что произошло?

Ему отвечают:

— Тут пчелы укусили трех пассажиров. И теперь бросаются на остальных. Их такое множество, что небо почернело.

И тут начальник видит, что целая туча пчел носится вокруг его станции.

Естественно, они ищут свою платформу. А платформы нет. Она уехала. Вот они и бросаются на людей и куда попало.

Только начальник хотел отойти от окна, чтоб выйти на станцию, как вдруг в окно влетело множество разъяренных пчел.

Начальник схватил полотенце и стал им махать, чтобы выгнать пчел из комнаты.

Но, видимо, это его и погубило.

Две пчелы укусили его в шею. Третья — в ухо. Четвертая ужалила его в лоб.

Замотавшись в полотенце, начальник лег на диван и стал испускать жалобные стоны.

Вскоре прибегает его помощник и говорит:

— Кроме вас, пчелы укусили в щеку дежурного телеграфиста. И он теперь отказывается работать.

Начальник станции, лежа на диване, говорит:

— Ай, что же делать?

Тут прибегает еще один служащий и говорит начальнику:

— Билетная кассирша, то есть ваша жена, Клавдия Ивановна, сию минуту укушена в нос. Наружность ее теперь окончательно испортилась.

Начальник станции застонал сильнее и сказал:

— Надо скорей вернуть платформу с этим сумасшедшим пчеловодом.

Начальник соскочил с дивана и стал звонить по телефону. И со следующей станции ему ответили:

— Ладно. Платформу сейчас отцепим. Но только у нас нет паровоза доставить ее вам.

Начальник станции кричит:

— Паровоз мы пришлем. Отцепляйте платформу поскорей. Уже мою супругу пчелы укусили. Моя станция Поля опустела. Все пассажиры спрятались в сарай. Только одни пчелы носятся по воздуху. И я отказываюсь выходить на улицу, пускай происходят крушения!

И вот вскоре платформа была доставлена.

Все с облегчением вздохнули, когда увидели платформу, на которой стоял Панфилыч.

Панфилыч приказал поставить платформу на то самое место, где она стояла. И пчелы, увидев эту платформу, моментально подлетели к ней.

А пчел было так много и они так поспешно стали занимать свои места, что среди них произошла давка. И такой у них гул поднялся и такое жужжание, что собака завыла и голуби к небу поднялись.

Панфилыч, стоя на платформе, приговаривал:

— Спокойно, ребятки, не торопитесь! Время есть. Занимайте свои места согласно своим плацкартам!

Через десять минут все стало тихо.

Убедившись, что все в порядке, Панфилыч сошел со своей платформы.

И люди, находившиеся на станции, зааплодировали ему. И Панфилыч, как артист, стал раскланиваться с ними. И при этом сказал:

— Опустите ваши воротники! Откройте лица! И перестаньте дрожать за свою судьбу — укусов более не произойдет.

И, сказав это, Панфилыч направился к начальнику станции.

Начальник, замотанный полотенцем, продолжал лежать на диване. Он охал и стонал. Но он еще больше застонал, когда Панфилыч вошел в комнату.

Панфилыч сказал:

— Я очень сожалею, уважаемый, что мои пчелы вас укусили. Но в этом вы сами виноваты. Нельзя столь равнодушно относиться к делам, независимо от того, большие они или маленькие. Пчелы этого не выносят. Они без всяких разговоров кусают за это людей.

Начальник застонал еще больше, а Панфилыч продолжал:

— Пчелы абсолютно не переносят бюрократизма и равнодушия к их судьбе. Вы же с ними поступили так, как, вероятно, поступаете с людьми,— и вот вам расплата.

Панфилыч посмотрел в окно и добавил:

— Закат солнца произошел. Мои спутницы заняли свои места. Честь имею кланяться! Мы поехали.

Начальник станции слабо кивнул головой — дескать, уезжайте поскорей! И тихо прошептал:

— Всех ли пчел-то захватили? Глядите не оставьте чего-нибудь у нас.

Панфилыч говорит:

— Если две-три пчелы у вас и останутся, то это вам пойдет на пользу. Своим жужжанием они вам будут напоминать о последнем событии.

С этими словами Панфилыч вышел из помещения.

На другой день к вечеру наш славный Панфилыч прибыл со своим живым товаром к месту назначения.

Колхозники встретили его с музыкой.

РОГУЛЬКА

Утром над нашим пароходом стали кружиться самолеты противника.

Первые шесть бомб упали в воду. Седьмая бомба попала в корму. И наш пароход загорелся.

И тогда все пассажиры стали кидаться в воду.

Не помню, на что я рассчитывал, когда бросился за борт, не умея плавать. Но я тоже бросился в воду. И сразу погрузился на дно.

Не знаю, какие там бывают у вас химические или физические законы, но только при полном неумении плавать я выплыл наружу.

Выплыл наружу и сразу же ухватился рукой за какую-то рогульку, которая торчала из-под воды.

Держусь за эту рогульку и уже не выпускаю ее из рук. Благословляю небо, что остался в живых и что в море понатыканы такие рогульки для указания мели и так далее.

Вот держусь за эту рогульку и вдруг вижу — кто-то еще подплывает ко мне. Вижу — какой-то штатский вроде меня. Прилично одетый — в пиджаке песочного цвета и в длинных брюках.

Я показал ему на рогульку. И он тоже ухватился за нее.

И вот мы держимся за эту рогульку. И молчим. Потому что говорить не о чем.

Впрочем, я его спросил — где он служит, но он ничего не ответил. Он только выплюнул воду изо рта и пожал плечами. И тогда я понял всю нетактичность моего вопроса, заданного в воде.

И хотя меня интересовало знать — с учреждением ли он плыл на пароходе, как я, или один,— тем не менее я не спросил его об этом.

Но вот держимся мы за эту рогульку и молчим. Час молчим. Три часа ничего не говорим. Наконец мой собеседник произносит:

— Катер идет...

Действительно, видим: идет спасательный катер и подбирает людей, которые еще держатся на воде.

Стали мы с моим собеседником кричать, махать руками, чтоб с катера нас заметили. Но нас почему-то не замечают. И не подплывают к нам.

Тогда я скинул с себя пиджак и рубашку и стал махать этой рубашкой: дескать, вот мы тут, сюда, будьте любезны, подъезжайте.

Но катер не подъезжает.

Из последних сил я машу рубашкой: дескать, войдите в положение, погибаем, спасите наши души.

Наконец с катера кто-то высовывается и кричит нам в рупор:

— Эй вы, трамтарарам, за что, обалдели, держитесь — за мину!

Мой собеседник как услышал эти слова, так сразу шарахнулся в сторону. И, гляжу, поплыл к катеру...

Инстинктивно я тоже выпустил из рук рогульку. Но как только выпустил, так сразу же с головкой погрузился в воду.

Снова ухватился за рогульку и уже не выпускаю ее из рук.

С катера в рупор кричат:

— Эй ты, трамтарарам, не трогай мину!

— Братцы, кричу, без мины я как без рук! Потону же сразу! Войдите в положение! Плывите сюда, будьте так великодушны!

В рупор кричат:

— Не можем подплыть, дура-голова,— подорвемся на мине. Плыви сюда. Или мы уйдем сию минуту.

Думаю: «Хорошенькое дело — плыть при полном неумении плавать». И сам держусь за рогульку так, что даже при желании меня не оторвать.

Кричу:

— Братцы, моряки! Уважаемые флотские товарищи! Придумайте что-нибудь для спасения ценной человеческой жизни!

Тут кто-то из команды кидает мне канат. При этом в рупор и без рупора кричат:

— Не вертись, чтоб ты сдох, взорвется мина!

Думаю: «Сами нервируют криками. Лучше бы, думаю, я не знал, что это мина, я бы вел себя ровней. А тут, конечно, дергаюсь — боюсь. И мины боюсь, и без мины еще того больше боюсь».

Наконец ухватился за канат. Осторожно обвязал себя за пояс.

Кричу:

— Тяните, ну вас к черту... Орут, орут, прямо надоело...

Стали они меня тянуть. Вижу, канат не помогает. Вижу — вместе с канатом, вопреки своему желанию, опускаюсь на дно.

Уже ручками достаю морское дно. Вдруг чувствую — тянут кверху, поднимают.

Вытянули на поверхность. Ругают — сил нет. Уже без рупора кричат:

— С одного тебя такая длинная канитель, чтоб ты сдох... Хватаешься за мину во время войны... Вдобавок не можешь плыть... Лучше бы ты взорвался на этой мине — обезвредил бы ее и себя...

Конечно, молчу. Ничего им не отвечаю. Поскольку — что можно ответить людям, которые меня спасли. Тем более сам чувствую свою недоразвитость в вопросах войны, недопонимание техники, неумение отличить простую рогульку от бог знает чего.

Вытащили они меня на борт. Лежу. Обступили.

Вижу — и собеседник мой тут. И тоже меня отчитывает, бранится — зачем, дескать, я указал ему схватиться за мину. Дескать, это морское хулиганство с моей стороны. Дескать, за это надо посылать на подводные работы от трех до пяти лет. Собеседнику я тоже ничего не ответил, поскольку у меня испортилось настроение, когда я вдруг обнаружил, что нет со мной рубашки. Пиджак тут, при мне, а рубашки нету.

Хотел попросить капитана — сделать круг на ихнем

катере, чтоб осмотреться, где моя рубашка, нет ли ее на воде. Но, увидев суровое лицо капитана, не решился его об этом просить.

Скорей всего рубашку я на мине оставил. Если это так, то, конечно, пропала моя рубашка.

После спасения я дал себе торжественное обещание изучить военное дело. Иначе нельзя. Отставать от других в этих вопросах не полагается.

ФОКИН-МОКИН

Давеча я зашел в одну артель. К коммерческому директору. Надо было схлопотать одно дельце для нашего учреждения. Один заказ.

Все наши сотрудники бесцельно ходили к этому неуловимому директору. И вот наконец послали меня.

Заведующий мне сказал:

— Человек вы нервный, солидный. Сходите. Может, вам посчастливится поймать его.

Вообще-то я не любитель ходить по учреждениям. Какого-то такого морального удовлетворения не испытываешь, как, например, от посещения кино. Но раз такое дело — пришлось пойти.

Прихожу в эту артель. Спрашиваю, где этот Фокин — коммерческий директор.

Уборщица отвечает:

— Фокина нет.

Я говорю:

— Подожду вашего Фокина. Проведите меня в его кабинет.

Сначала уборщица не хотела даже указывать, где его кабинет.

А надо сказать, я человек крайне нервный. Немножко понервничаю — у меня уже голос дрожит, и руки дрожат, и сам весь дрожу.

Недавно на врачебной комиссии доктор велел мне положить ногу на ногу, и по коленке он ударил молоточком, чтоб посмотреть, какой я нервный. Так нога у меня так подскочила, что разбежался весь медицинский персонал. И врач сказал: «Нет, я больше не буду вас испытывать, а то вы мне тут весь персонал изувечите».

Так вот, увидев, что я такой нервный, уборщица провела меня в кабинет к этому Фокину. И я там сел за его стол.

И решил не сходить с места, пока не появится сам директор.

И вот скрутил папиросочку и сижу за этим столом. Мечтаю, чтоб кто-нибудь дал мне огонька закурить.

Открывается дверь. И в кабинет заглядывает какой-то посетитель. Вежливо кланяется мне и улыбается.

Увидев его такую любезность, я говорю:

— Нет ли спичечки закурить?

Посетитель говорит:

— Для вас не только спичку — все не пожалею отдать.

И с этими словами он вынимает из кармана зажигалочку. Чиркает. И дает мне прикурить.

Невольно я любуюсь этой зажигалочкой.

А посетитель говорит:

— Прямо буду счастлив, если примете от меня эту зажигалочку!

Я говорю:

— Ну что вы! Постороннему, чужому человеку вы вдруг будете дарить такую хорошенькую зажигалочку! Я прямо не осмелюсь взять.

Тот говорит:

— Составьте мое счастье. Возьмите! Слов нет — я вас увидел впервые, но сразу почувствовал к вам глубокую симпатию.

Обижать мне его не хотелось. Я взял зажигалочку. И крепко пожал руку добродушному посетителю.

Уходя из кабинета, он сказал:

— Кстати, товарищ Фокин, я завтра к вам зайду по одному дельцу.

Я говорю:

— Слушайте, никакой я не Фокин. Я сам Фокина жду.

Не скрою от вас, посетитель зашатался и с бранью стал вынимать зажигалку из моего кармана.

Нет, я бы отдал ему сразу то, что получил. Но меня задела его нетактичность.

Как это можно совать руки в чужие карманы? И вдобавок хватать за плечи!

В момент нашей борьбы открывается дверь, и в кабинет входит еще один незнакомец.

Увидев, что меня трясут за плечи, незнакомец, вместо того чтоб подать мне помощь, сам кидается ко мне и тоже начинает трясти.

— Я, кричит, давно до тебя добирался, Фокин-Мокин!

Не скрою от вас, я поднял крик.

Прибежала уборщица. Она сказала:

— Прекратите возню. Сейчас товарищ Фокин приедет.

Тут мы сели на диван. И стали ждать Фокина.

Мы три часа его ждали. Но он не приехал.

Вежливо попрощавшись, мы разошлись.

Хорошенькую зажигалку мне все же пришлось отдать симпатичному владельцу.

ФОТОКАРТОЧКА

В этом году мне понадобилась фотокарточка для пропуска. Не знаю, как в других городах, а у нас на периферии засняться на карточку не является простым, обыкновенным делом.

У нас имеется одна художественная фотография. Но она помимо отдельных граждан снимает еще группы и мероприятия. И, может быть, поэтому слишком долго приходится ждать получения своих заказов.

Так что, являясь скорее отдельным лицом, чем группой или мероприятием, я побеспокоился заранее и заснялся за два месяца до срока.

Когда мне подали мои фотокарточки, я удивился, как непохоже я вышел. Передо мной был престарелый субъект совершенно неинтересной наружности.

Я сказал той, которая подала мне карточки:

— Зачем же вы так людей снимаете? Глядите, какие полосы и морщины проходят сквозь все лицо.

Та говорит:

— Обыкновенно снято. Только надо учесть, что у нас ретушер на бюллетене. Некому замазывать дефекты вашей нефотогеничной наружности.

Фотограф, находясь за портьерой, говорит:

— А чем он там еще, нахал, недоволен?

Я говорю:

— Неважно сняли, уважаемый. Изуродовали. Разве ж я такой?

Фотограф говорит:

— Я опереточных артистов снимаю, и то они настолько не обижаются. А тут нашелся один такой — морщин ему много... Объектив берет слишком резко, рельефно... Не знаете техники, а тоже суетесь быть критиком.

Я говорю:

— На что ж мне рельеф на моем лице — войдите в положение. Мне бы, говорю, просто сняться, как я есть. Чтоб было на что глядеть.

Фотограф говорит:

— Ах, ему еще глядеть нужно. Его же сняли, и он еще на это глядеть хочет. Капризничает в такое время. Дефекты видит... Нет, я жалею, что я вас так прилично снял. В другой раз я вас так сниму, что вы со стоном на карточки взглянете.

Нет, я не стал с ним спорить. Неважно, думаю, какая карточка на пропуске. И так все видят, какой я есть.

И с этими мыслями являюсь в отделение. Сержант милиции стал лепить карточку на мой пропуск. После говорит:

— По-моему, на карточке это не вы.

— Где же, говорю, не я. Уверяю вас, это я. Спросите фотографа. Он подтвердит.

Сержант говорит:

— Всякий раз фотографа спрашивать, это что и будет. Нет, я хочу на карточке видеть данное лицо, без вызова фотографа. А тут я наблюдаю совсем не то. Какой-то больной сыпным тифом. Даже щек нет. Пойдите переснимитесь.

— Товарищ, говорю, начальник, войдите в положение...

— Нет, нет, говорит, и слышать ничего не хочу. Переснимитесь.

Бегу в фотографию. Говорю фотографу:

— Видите, как слабо снимаете. Не наклеивают вашу продукцию.

Фотограф говорит:

— Продукция самая нормальная. Но, конечно, надо учесть, что для вас мы не засветили полную иллюминацию. Снимали при одной лампочке. И через это тени упали на ваше лицо, затемнили его. Однако не настолько они его затемнили, чтоб ничего не видеть. Эвон как уши у вас прилично вышли.

— Ну хорошо, говорю, уши. А щеки, говорю, где? Уж щеки-то, говорю, должны быть как принадлежность человеческого лица.

Фотограф говорит:

— Не знаю. Ваших щек мы не трогали. У нас свои есть.

— Тогда, говорю, где же они, мои щеки? Я, говорю, две недели провел в доме отдыха. Четыре кило веса прибавил. А вы тут одной своей съемкой черт знает что со мной сделали.

Фотограф говорит:

— Да что, я себе взял ваши щеки, что ли? Кажется, вам ясно говорят — затемнение упало на них. И через это они не получились.

Я говорю:

— А как же тогда без щек?

— А, говорит, как хотите. Переснимать не буду. Всех переснимать — это я премии лишусь и плана не выполню. А мне план дороже вашей нефотогеничной наружности.

Посетители говорят мне:

— Не нервируйте фотографа. А то он еще хуже будет людей снимать.

Один из посетителей говорит мне:

— Уважаемый, бегите на рынок. Там фотограф «Пушкой» снимает.

Бегу на рынок. Нахожу фотографа. Тот говорит:

— Нет, я снимаю только со своей бумагой. Без бумаги лучше не являйтесь ко мне, все равно снимать не буду. А с бумагой сниму. И если у вас есть перина — тоже сниму. Ко мне тетя из Барнаула приехала — ей спать не на чем.

Я было хотел уйти, но тут слышу, какой-то продавец меня к себе кличет. Говорит:

— Давай подходи к моему магазину. Имею готовую продукцию.

Смотрю, у него на газете разложены всякие разные готовые фотографии. Их штук триста.

Продавец говорит:

— Выбирай себе любую и делай с ней что хочешь. Хоть на лоб себе наклеивай. Погоди, я тебе сам подберу. Тебе как — по размеру или по сходству?

— По сходству, говорю. Только, говорю, выбирай такую, чтоб щеки были.

Тот говорит:

— Можно и со щеками. Но только они будут дороже на пять рублей. На, прими вот эту фотокарточку. Лучше ее не найти. И щеки есть, и нельзя сказать, чтоб сходство начисто отсутствовало.

Я заплатил тридцать рублей за две фотокарточки и пошел в отделение.

Сержант милиции стал лепить мою карточку. После говорит:

— Так ведь это ж баба.

— Где же, говорю, баба. Мужчина в пиджаке.

Сержант говорит:

— Где же, к черту, мужчина, если у него на груди брошка. Через эту брошку я и замечаю, что это баба.

Поглядел я на фотокарточку — вижу, действительно женщина. Маркизетовая кофточка под пиджаком. На груди брошка с пейзажем. А прическа мужская. И щеки мои.

Сержант говорит:

— Явитесь сюда с настоящими карточками. Но если вы еще раз предъявите мне женскую или детскую фотокарточку, то вряд ли отсюда выйдете, поскольку у меня мелькают подозрения, что вы хотите скрыться под чужой наружностью.

Целую неделю я провел как в тумане. Хлопотал, где бы сняться. На восьмой день, беседуя с фотографом, я почувствовал себя худо. И тогда они вынесли меня в сад и положили на траву, чтоб там меня овеял свежий воздух. Придя в себя, я пошел в отделение. Положил на стол свои первые фотокарточки без щек и сказал сержанту:

— Вот все, что я имею, товарищ начальник. И больше ничего не предвидится.

Сержант поглядел на карточки, потом на меня и говорит:

— Вот теперь ничего себе получилось. Похожи.

Я хотел сказать, что я и не переснимался вовсе. После взглянул на себя в зеркало — действительно, вижу, есть теперь некоторое сходство. Получилось.

Сержант говорит:

— И хотя на карточке вы немного более облезлый, чем на самом деле, но, говорит, я так думаю, что через год вы сравняетесь.

Я говорю:

— Я раньше сравняюсь, поскольку мне нужно еще сниматься для проездного документа, для членского билета и для посылки фотокарточек моим родственникам.

Тут сержант наклеил мою фотокарточку и горячо поздравил меня с получением пропуска.

ХОРОШАЯ ИГРА

Вот что случилось со мной в день Первого мая.

Я шел по дорожке Летнего сада. Внезапно услышал детские голоса. Какие-то ребята пронзительно мне кричали, показывая пальцами на мои ноги:

— Дяденька, дяденька, гляди, у тебя тесемки висят, сапог расшнуровался.

Я посмотрел на свои сапоги. Действительно, один мой ботинок слегка расшнуровался.

Поблагодарив ребят, я присел на их скамейку и стал поправлять шнурки. Один из ребят, видимо самый главный и старший из их компании, подросток лет тринадцати, заломив на затылок свою зимнюю шапку-ушанку, сказал мне с солидностью взрослого человека:

— Хорошо, что мы вовремя заметили вашу неисправность. Вы, гражданин, непременно оборвали бы ваши шнурки, если бы наступили на них ногой. И понесли бы при этом лишний расход.

Я еще раз поблагодарил ребят и с удивлением на них посмотрел. Их было около дюжины. Они сидели, буквально облепив скамейку. Неожиданно они заволновались, зашептались и вдруг крикнули какой-то женщине, которая встала со скамейки напротив:

— Тетенька, тетенька, книжку забыли!

Посмотрев на ребят, женщина вернулась к своей скамейке и, взяв книгу, ушла.

Еще с большим удивлением я стал смотреть на ребят. Увидев мой взгляд, подросток в ушанке сказал мне:

— Нет, это у нас такая игра. На первое апреля люди обыкновенно обманывают друг друга. Нарочно говорят: «Гляди, у тебя нос в чернилах» или: «Гляди, деньги из кармана упали». И потом хохочут. А на Первое мая мы решили наоборот. На Первое мая мы никого не обманываем. И делаем самые хорошие и героические дела. Потому что это Первое мая.

На дорожке сада показался прохожий. Он был слегка навеселе. Шагал нетвердо. И помахивал рукой в такт мелодии, какую он тихонько напевал себе под нос.

Мои ребята гаркнули ему, и так громко, что я чуть не оглох:

— Эй, дяденька, гляди, у тебя вся спина в известке!

Действительно, спина прохожего, да и не только спи-

на, но и штаны, и бок, и кепка были замазаны чем-то белым.

Взглянув на ребят, прохожий, хитро улыбаясь, стал грозить им пальцем, дескать, ладно, не обманете, не проведете.

— Нет, правда, честное слово, спина у вас в известке! — закричали дети.

Прохожий сделал неудачную попытку взглянуть на свою спину. Для этого он раза три повернулся вокруг своей шаткой оси. И, не добившись желаемого, снова погрозил ребятам пальцем и побрел дальше.

Подросток в ушанке сказал ребятам:

— А ну-ка, друзья, побегите до него. Почистите ему спину. Быстро!

Два малыша, сорвавшись со скамейки, бросились вслед за прохожим. Но тот, ожидая от ребят, должно быть, какого-нибудь подвоха, усилил шаг. И, отмахиваясь от ребят рукой и чертыхаясь, удалился.

Ребята вернулись к своей скамейке. Подросток в ушанке сказал:

— Нет, взрослые еще не привыкли к этому. Всегда с ними какая-нибудь канитель. Заместо спасибо они в другой раз только лишь ругаются.

Кивнув в мою сторону, подросток продолжил свою мысль:

— Не все, конечно, ругаются. Некоторые из них замечают свою пользу. И нам же говорят спасибо.

Какая-то немолодая женщина проходила в это время мимо нас по дорожке сада. Посмотрев на ребят, она вздохнула. Видимо, ей хотелось посидеть на солнышке. Но ребята не заметили ее намерений. И тогда она, обернувшись, сказала:

— Потеснитесь немножко, деточки, а?

Подросток скомандовал:

— Очистить скамью для бабушки. Живо!

Три малыша, покорно соскочив со скамейки, сели на песок.

Я сказал, обращаясь более к подростку, чем к остальным:

— Ребята, а ведь вы это здорово придумали. Ведь это отличная игра — делать только хорошие и, как вы говорите, героические дела в день Первого мая. Это прямо, доложу я вам, замечательно. Но только, между нами говоря,— ведь это надо всякий день так поступать, а не только в день Первого мая.

Подросток сказал:

— Нет, всякий день нельзя. Это голова заболит — за всем следить и все замечать.

Обратившись к ребятам, подросток сказал:

— Пошли на улицу. Здесь больше делать нечего.

Ребята вспорхнули, как воробьи. И ушли. А я долго сидел на скамейке и думал об этой славной детской игре — делать только «хорошее и героическое» в день Первого мая. И мне почему-то показалось, что в дальнейшем все ребята нашей страны будут так же поступать.

Что касается взрослых, то со взрослыми, пожалуй, будет некоторая «канитель». Пожалуй, взрослые скажут: «Да что вы, в самом деле! И так-то нам хватает всяких дел. А вы тут еще втягиваете нас в какие-то детские забавы».

Это верно, взрослые на войне и без того зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Но, может быть, в порядке любопытства, они когда-нибудь в дальнейшем примкнут и к этому детскому движению.

И тогда не только на войне будут одержаны блестящие победы.



Фельетоны

*

ОДИН ДЕНЬ

Вот некоторые думают, что я — меланхолик. У меня, говорят, лицо какое-то такое меланхоличное. И взор вбок смотрит.

Что я меланхолик, то это глубоко неверные слова. А вот морда у меня действительно грустноватая. Давайте постараюсь объяснить, отчего это произошло.

Началось, конечно, с пустяков.

В прошлом году летом я шел по улице и думал о нашей жизни. И вдруг со всего маху зацепил лицом за навес. Такие, знаете, бывают парусиновые навесы у магазинов. Так вот об такой навес я и ударяюсь.

Ударяюсь я об такой навес и думаю: до чего у нас на людей мало внимания обращают. Ну спусти навес так, чтобы средний человек мог свободно пройти. Так нет — спустят как придется и плюют на публику.

Или, например, вчера. Вчера у меня был выходной день. Дозвольте по порядку рассказать об этом дне. Только об одном дне.

Вот лежу утром в кровати. Думаю, насколько прекрасно проведу сегодня день.

Сейчас, думаю, встану, пойду прогуляюсь по набережной, как барон, подышу невским ароматом, после подзаправлюсь в столовой. После побегаю на коньках. А вечерком в кино схожу. И после засну сладким сном утомленного человека.

Вот такое мысленное расписание представил себе, вскочил на свои ножки, оделся и весело, без никакой меланхолии спускаюсь во двор. Спускаюсь и от полноты жизни песни пою.

Дохожу до ворот, хочу пройти на улицу — нельзя. Под воротами яму роют во всю ширину.

Что такое? Зачем яма? Почему яма?

Так что, говорят, временный разрыв трубы. Постойте, советуют, у ворот либо погуляйте по двору. Не более как через час-полтора все обстряпают.

Гляжу — у ворот народ столпился человек по десять с обеих сторон. Ругаются...

— Это, говорят, никакого внимания к людям! Ну оставьте хотя небольшой перешеек, небольшую тропочку для переходу, так нет — раскопали, черти, во всю ширину.

Я говорю:

— А вдруг, братцы, пожар?

Председатель жакта говорит:

— Вдруг только блох ловят! Вы вечно всякую дрянь увидите... А раз у меня лопнувши труба, то мне, говорит, важнее ее заклепать, чем за жильцами ухаживать.

Минут через двадцать он говорит:

— Вот чего: которым мракобесам не терпится и которые стремятся поскорее на улицу выйти — айда на седьмой этаж, я сейчас ключи принесу и через клуб всю пачку выпущу.

Вскоре после того вышел я на улицу. Уж такой бодрости и беспечности нету.

Иду к набережной. Прохожу мимо нашей образцовой столовой, гляжу — уже очередь образовалась.

Дай, думаю, сначала неприятные вещи сделаю, а после легкие; сначала, думаю, лучше подзаправлюсь, а после на прогулку пущусь.

Через час подзаправился. Вышел на набережную. Гулять чего-то неохота. Дай, думаю, домой схожу. Погляжу, можно ли через ворота ходить. Если можно, возьму коньки и на каток смотаюсь.

Яму под воротами хотя не зарыли, но досточку положили.

Взял свои новенькие коньки. Пошел на каток.

Прихожу на Инженерную улицу — перерыв до пяти часов.

Иду на Таврический каток — закрыто по случаю хоккея.

Бегу на третий — можно, допускают, разрешают кататься.

Надеваю коньки. Встаю на лед. Не могу идти. Не скользят ноги. В чем дело? Или разучился. Или еще что...

Потрогал пальцем коньки (куплены на пр. Володарского, 51, Охотсоюз) — вон в чем дело: полозы до того шершавые, что никакого скольжения нельзя достичь.

Отвинтил коньки. Пошел домой. Морда уже грустная.

А встречные небось думают: «Эвон меланхолик идет с коньками, даже спорт не действует на этого сукинова сына».

Отдал коньки в мастерскую починки.

Вечером пошел в кино. Начал глядеть драму. Вижу — чего-то знакомое показывают. Гляжу дальше — вижу, вертят какую-то муру, которую я уже в театре видел и в романе читал. Плюнул на свои любезные денежки и пошел домой вместе со своей грустной мордой.

Так что я и говорю: я очень даже жизнерадостный гражданин. Я очень люблю жизнь и людей. А вот жизнь и люди меня не любят. И не оказывают мне хотя бы самого маленького внимания. А пора бы.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Очень интересная психологическая история произошла на этой неделе.

Один наш знакомый, слесарь Василий Антонович К. (не будем называть его фамилию), задумал развестись со своей супругой.

Он прожил с ней, что ли, три или четыре года и, значит, решил, что будет. А то он, видите ли, начал скучать в ее обществе. Ну, вообще остыл к ней. Разлюбил ее.

И вот, значит, берет он своего приятеля Федю Т., заходит с ним после работы в портерную, выпивает пару пива и с ним советуется. Он беседует с Федей по текущему вопросу — как ему быть: сразу ли супруге сказать, мол, развожусь, или подготовить, чтоб ей удара не было. Или, может быть, просто в загс зайти и им поручить уведомление, чтоб самому не заиметь разных мещанских сцен, дамских воплей и так далее, и тому подобное.

Приятель говорит:

— Да уж наилучше всего прийти домой и сразу наотрез сказать ей, что б ни случилось. А то чего там канитель тянуть и только себя беспокоить. Иди сейчас и выложи. Только, говорит, конечно, дельце это нелегкое. Некоторые супруги в этот момент пуще всего звереют и черт знает на что решаются. Другие падают в обморок. Третьи, наиболее отсталые, кислотой обливают. Так что, говорит, я тебе не особо завидую. Но только идти надо. А я с тобой пойду. Подожду тебя у дверей. В случае чего, ежели понадобится моя помощь, ты меня кликнешь.

И вот идут они оба-два на квартиру.

Подходят они к своему, то есть к слесареву, дому и поднимаются по лестнице.

Они поднимаются по лестнице и вдруг встречают супругу, эту самую злополучную слесареву супругу — Анну Николаевну, Аню.

Они поднимаются по лестнице, а она вниз сбегает. Она быстро сбегает вниз в своих желтых туфельках. Очень такая нарядная, завитая, вспыльчивая и хорошенькая.

Слесарь, конечно, остановился и удивленно на нее глядит. А она слегка краснеет и, значит, хочет идти дальше.

Слесарь спрашивает:

— Ты, говорит, куда?

— Я, говорит, туда... Вообще по своим делам.

— По каким делам? Какие у тебя дела?

— А я, говорит, тебе не намерена отвечать.

Тут они начинают бурно разговаривать, а она ему говорит:

— Вот, говорит, чего, Василий Антонович. Я тебе давно хотела сказать: ты мне надоел со своим характером, и я с тобой разводиться думаю.

Слесарь так и обомлел.

— То есть как разводиться?

— А так, говорит. Ты скучаешь в моем обществе, и мне, говорит, с вами тоже интерес небольшой. Я долго сдерживалась про это говорить, но теперь определенно рада, что сказала. Я с тобой развожусь!

Слесарь ее за руки хватает. Восклицает:

— Ах так! У тебя небось любовники! Ты меня опутала своей любовью. Аня, говорит, Анечка!

Его приятель Федя Т. моргает ему: мол, дурак, сам же ты хотел развестись, а теперь назад ручку крутишь.

А слесарь восклицает:

— Анечка, подумай малость. Не разводись!

И сам ее обнимает, и шляпку с нее снимает, и каждую минуту за ручки берет.

А Федя Т. стоит обалдевший и глазам своим не верит.

После Федя махнул ручкой и ушел. Так что чем кончилось объяснение на лестнице — неизвестно. Известно только, что слесарь с женой не развелся и, кажется, разводиться не намерен. Наоборот, после работы слесарь бежит прямо домой, не заходя в пивную.

Как понять этот случай? В чем тут запятая? Почему слесарь вдруг переменился? Нет ли тут низменных чувств? Нет ли мещанского уклона? Нет ли собственничества?

Автор, утомленный своей литературной работой, не может сразу разобраться в этой сложной психологической канители. Пущай читатели сами разбираются! Нельзя же все разжевывать и в рот класть. А ну, поработайте сами!..

НА ЗАВОДЕ

(Из записной книжки)

За последние два месяца я побывал на нескольких заводах с ударной бригадой писателей, и с «буксиром» «Красной газеты», и просто так, как любопытный.

Здесь я хочу напечатать кое-какие заметки из моей записной книжки. В этих заметках я ничего не придумал, и многое записано буквально.

Должен сказать, что я видел на заводе большую мужественную работу и настоящий труд, однако в этих заметках я буду касаться только лишь недостатков. У меня, как и у каждого юмориста, так устроено зрение, что я главным образом замечаю отрицательные явления, то есть те недочеты и упущения и те мелкие смешные и забавные черточки, которых, вероятно, другой человек и не увидит.

В силу этого заметки мои несколько односторонни, и я прошу читателя учесть это обстоятельство, прежде чем делать из этого материала какие-либо выводы.

1. ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мастер говорит на собрании:

— Считаю, товарищи, своим долгом информировать вас насчет труддисциплины. Со всей своей откровенностью я должен сказать, что труддисциплина у нас в цехе всецело расшатавши. Я сколько лет мастер. Я каждого рабочего понимаю. Но пущай же и меня рабочий понимает. Я скажу для примера: я хожу по цеху — рабочий курит. Я прохожу около него, он на меня ноль своего внимания. Он курит. Он сидит и курит. И меня он видеть не хочет. Он не встает и за работу не берется. Он не берется, товарищи, за работу при виде меня.

Голос с места: А ты хочешь, чтоб перед тобой дрожали? Старая закваска.

Мастер: Вы совершенно не те слова пущаете, това-

рищ. Мне не нужно дрожания. Я не нуждаюсь в вашей вытяжке. Но меня затрагивает другое. Меня то затрагивает, что он не вскакивает работать. Ну возьми какую-нибудь гаечку в руки. Ну верти чего-нибудь, если ты сознательный член профсоюза. Нет, он только курит. И меня он видеть не хочет. Это не есть труддисциплина, товарищи. От такого рабочего результат, как от моего пальца. Отсюда, я так понимаю, идут прогулы, халатное отношение и появляются разные другие явления.

2. РАЗГОВОР

Формовщик объясняется с заведующим цехом:

— Товарищ заведующий, чего я вас попрошу — дайте пропуск за ворота.

— А что?

— Да я домой хочу идти...

— То есть как домой, когда рабочее время? Ты болен?

— Я не больной. Только я сейчас работать не умею. У меня сегодня нету настроения. Говорю, это в интересах производства.

— Не могу пропуска дать. Вставай на работу.

— Я встать могу... Только в интересах же производства... Мое дело предупредить... У меня сегодня не на то мысли направлены. Я могу чего-нибудь не то сделать.

3. ГРАММАТИКА ХРОМАЕТ

Меня иногда упрекают за то, что я коверкаю язык, придумываю смешные словечки и беру слова в другом значении, чем они есть. Это неверно. Я просто стараюсь более или менее правильно передать язык, который есть на самом деле.

Вот дословно записанная фраза. В столовой, кушая винегрет, рабочий рассказывает своему соседу:

— ...Вдруг он подходит до мене и говорит: «Поделись хоть ты моим состраданьем. От этих делов выходит, что я один и есть сострадавший». Я ему говорю: «Видел, говорю, этих сострадавших. Раз тебе, говорю, сменили чин за хаотическое отношение к работе, то ты, говорю, вроде как и есть сам себе сострадавший».

Другая фраза.

Рабочий у станка упрекает товарища, выронившего из пальцев инструмент:

— Такое мягкое существо, как язык, и то, кажись, удержит от уронения.

Еще фраза:

— В недалеком будущем это было на днях...

4. «БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»

Высококвалифицированный токарь. Прогульщик. Зарабатывает в час 1 р. 60 к. На него поступила письменная жалоба:

«...Поскольку он такой токарь и ему нету другого, и его нечем заменить, то он весь ходит развинтившись и к работе имеет смутное отношение. В том месяце он прогулял шесть дней. В этом он прогулял четыре. В июле он поехал на Кавказ со своей женой. С Кавказа он на работу сразу не вернулся. Он неделю с Кавказу отдыхал. На все претензии он имеет привычку говорить: пожалуйста, пусть меня увольняют, меня с моей работой каждый возьмет.

Что про него придумать, является загадкой для меня».

Загадка была вскоре разрешена: токаря уволили. Однако через неделю его снова приняли.

ВОЛОКИТА

Канцелярию ругать — это святое дело.

Каждый умеет канцелярию ругать.

Такого и человека не найти, который бы в свое время не обложил эту могучую отрасль производства и строительства.

Можно сказать — грубая брань висит над всем канцелярским делом!

Разные обидные слова для этой цели придуманы: канцелярские крысы, волокитчики, конторщики, кувшинные рыла и так далее, и тому подобное.

Дозвольте заступиться.

Дозвольте сказать, что это несправедливо.

Дозвольте привести факт, когда канцелярия с ее бумажной системой на некоторое время засияла небесной чистотой.

Факт, конечно, был небольшой. Мелкий. Некрупный. Тем не менее нам желательно о нем рассказать. Нам жела-

тельно объяснить, что и канцелярское дело со своей бумажной душой вносит посильную лепту в общий котел строительства.

Это было на одном ленинградском заводе. В октябре месяце.

Вот представьте себе — проходная контора. Вот дежурный за столичком сидит. На носе у него пенсне. В руке перышко. Так пузырек с чернилами стоит. Так — кипочка бумаг. Промокашка. И так далее. Одним словом, знакомая и милая сердцу картина.

Напротив дежурного — дверь. За дверью — улица. Трамваи звонят. Воздух чудный. Осеннее солнце сияет с неизвестной высоты.

В соседней комнате комендант сидит. Барышня на машинке чего-то такое кропает. Ну, одним словом, все в порядке. Благодать. Не оскорбительно. Вдруг происходит телефонный звонок.

— Алло! Что такое? В чем дело?

Мастер литейного цеха вызывает дежурного.

— Товарищ, говорит, сейчас сквозь вашу контору пройдет один такой рабочий, по фамилии С., так вы его пропустите. Он у меня со сверхурочной работы направляется.

Дежурный говорит:

— Алло! Ежели тот самый вышеуказанный рабочий имеет пропуск, то, говорит, имейте в виду — я его свободно пропущу безо всякой с моей стороны задержки. Я, говорит, его задерживать не буду. Пущай идет... Одним словом, пишите ему пропуск.

Мастер отвечает:

— Бросьте свои канцелярские штучки. Нам, знаете, некогда пропуска писать. У нас, говорит, нету свободных минут перья в чернильницу макать. Пропустите его так, как идущего со сверхурочной работы. И разговор окончен. Не срывайте темпов.

В это время входит в контору вышеуказанный рабочий, берется за дверку и, назвав себя, хочет пойти в город.

Дежурный ему вежливо отвечает:

— Постольку поскольку у вас пропуска нету, то я, говорит, не могу вас пропустить. Возьмите, говорит, от своего мастера пропуск и тогда свободно себе идите. Я, говорит, вас не задержу.

Рабочий, может быть утомленный сверхурочной работой, начинает отвечать и срамить канцелярскую систему.

Вдруг приходит комендант.

— Да, говорит, без пропуска не пущу.

Рабочий говорит:

— Ах, вас тут компания Зингер собралась. Тогда ладно. Сейчас пойду мастеру скажу. Какое безобразие!

Тут обратно мастер звонит:

— Ах так, говорит, мало вас, канцелярских чертей, травили, так вы опять поднимаете голову и разводите нам свой бюрократизм. Опять, говорит, своими бумагами нам дыхание закрываете. Сообщите свою фамилию!

Дежурный говорит:

— Вы меня фамилией не пугайте. А заместо этого напишите пропуск, и тогда можете ожидать от меня полную любезность и свободный проход.

Мастер говорит:

— Тогда ладно. Я, говорит, вижу, что вы без бумаг жить не можете. Сейчас напишу. Подавитесь...

Вскоре, значит, показывается на горизонте вышеуказанный рабочий со своим пропуском.

Дежурный говорит:

— Вот теперь идите.

После читает через свое пенсне этот пропуск и видит: заместо первой причины: «Идет со сверхурочной работы», сказано уже немного другое: «Отпущен по личной надобности».

Вот тут-то канцелярия и засияла в своем полном блеске.

И верно. Сказать чего угодно можно. Можно сказать: «Идет иностранный делегат — пропустите». А на бумаге уже оно так гладко и картинно не получится. Рука, она не так врет, как голос. Одним словом: бумага — страшное дело.

Вот поучительная история, которая снова заставляет нас посмотреть с гордостью и восхищением на наше нелюбимое детище.

НАХАЛЬСТВО

Тут на днях одна комсомольская ячейка разбирала бытовое дело насчет одного комсомольца.

Этот паренек показал себя с невыгодной стороны. Он гулял с тремя девицами и всем жениться наобещал. А сам он был давно женатый, и даже у него в колыбельке малютка копошился.

Про малютку и про жену он ничего не сказал вверенным ему девицам, а наплел им разных небылиц про свою одинокую, холостую жизнь.

Одной наплел, что он секретарь полпреда. И повезет ее в Ригу. Где и купит несколько пар чулок. К другой втерся в доверие и тоже чего-то такое набрехал несуразное. Одним словом, «молодец» и донжуан.

А донжуан, по буржуазной литературе,— это такой определенный сукин сын, который согласен сразу за всеми дамами ухаживать.

Вот наш комсомолец, проживающий на Песочной улице, расставил свои паутины во всех углах и не горюет. Посещает кино. Ходит на свидания. Врет. Конфеты трескает. И думает, что оно так и будет до старости лет.

Только стали доходить до комсомольской ячейки слухи: мол, поведение этого комсомольца довольно недостойное, поскольку он вводит в обман несколько пар женщин.

Вот вызывают этого комсомольца в ячейку и говорят ему разные слова.

— Объяснитесь, что вы за человек и почему за вами какая-то дрянь наблюдается?

Комсомолец говорит:

— Очень, говорит, странно. Это, говорит, есть всецело личное мое дело, и мне, говорит, просто удивительно слушать, чего вы ко мне прилипаете. За мной, говорит, никаких преступных делов нету. Я форменно удивлен вашим заявлением.

И, значит, в полном негодовании уходит.

Только вскоре узнается, что с этим комсомольцем произошла совершенно уже некрасивая история.

Одна женщина ударяет его по лицу, или, правильней сказать, по морде, делает ему истерику в общественном месте и вообще устраивает скандал.

Тогда ячейка решает энергичней взяться за это дело. И назначает товарищеский суд и разбирательство.

Вызывают на суд этого комсомольца, но он упирается.

— Мне же, говорит, морду набили, меня же и судить будут. Очень, говорит, удивительно — какие хорошие юристы нашлись!

И в назначенный день заместо явки он присылает заявление.

В заявлении говорится:

«Товарищи, считаю, что вы поступаете в высшей степени некорректно, вмешиваясь в мои интимные дела. По этой причине не считаю более возможным оставаться в узких рамках ВЛКСМ. Мои политические убеждения остаются со мной независимо от членского билета».

Ну, конечно, зачитывается эта бумага на собрании.

Происходят улыбки и смех. Некоторые ребята удивляются нахальству и глупости. И, одним словом, решают не задерживать этого человека в «узких рамках» ВЛКСМ.

Вот теперь-то небось и наделает делов этот нахальный беспартийный молодой человек.

А зря его, товарищи, отпустили. Надо было его сначала нажучить хорошенько.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Говорят, в Америке на каждую личность в год идет бумаги двадцать пять кило. Вот это здорово.

Что они, лапшу из нее делают, что ли?

Нет, они из бумаги делают какие-то тарелочки, чашечки, блокнотики. У них там у бачка с кипяченой водой стопочка бумажных стаканов стоит. Один попьет и безжалостно выкинет этот стаканчик. В смысле заразы, говорят, очень гигиенично.

Ну, кроме того, они, конечно, книги печатают, переписываются друг с другом чуть не ежедневно.

А у нас бумаги, к сожалению, еще мало. Конечно, больше, чем в довоенное время, но все же чертовски мало.

К тому же у нас при слове «бумага» мысленно рисуются скорее плохие представления, чем хорошие. Нам мысленно рисуются какие-то удостоверения, какие-то счета от Электротока, какие-то комочки, лежащие на тротуарах, какие-то телеграфные бланки, на которых все слова расплываются, или жуткие конверты, которыми можно простоквашу покрывать, а не адреса на них писать.

Нам мысленно слышится скрипучий голос почтового работника: «А, да нет у нас бумаги, чего вы лезете!»

Ах, черт возьми! А мы мечтаем, чтоб у нас было много бумаги, чтоб и книги, и учебники продавались бы на каждом шагу, чтоб письмецо, в силу качества бумаги, приятно было бы послать, а не наоборот.

Одним словом, большие надежды у нас связаны с бумажным делом.

И в силу этого своим суровым взглядом мы должны окинуть наши ресурсы.

Вот в поле нашего сурового взгляда попался Сясьский комбинат.

Брови у нас сдвинуты, глаза мечут молнии, и побелевшие губы шепчут: «Черт возьми!»

А приехал туда на Сясьский бумажный комбинат один

ответственный работник. Ну, конечно, увидел там горы мусора, грязи и кустарщину. Его главным образом удивило, что там нет даже подъездных путей. А там шлак и колчеданные сгарки вывозят, поругиваясь, от печей на тачках, вручную. Ну и, конечно, сваливают все тут же. Цельные горы образовались. Прямо Альпы.

Ну, конечно, разные комиссии и перекомиссии создали. Решили узкоколейку построить. Выписали вагонетки, пятое, десятое.

Ну, закипела работа. Начали расчищать путь для прокладки рельсов.

И вдруг видят — под горой мусора какие-то, черт возьми, рельсы виднеются, доисторические, что ли.

Очень удивились. Начали копать дальше. Пардон. Видят — чудесные рельсы проложены и на них вагонетки стоят. Пардон. Что такое?

Видят — готовый подъездной путь имеется. И целый состав чудных, хорошеньких вагонеток.

Тут поднялись крики «бис» и «ура».

Оказалось, не надо тратить народные соки — денежки. Все в порядке, путь готов, поезжайте.

Тогда стали думать, как это случилось.

Главное-то — фабрика новая. Всего пущена к десятой годовщине.

А позабыли, чего у них имеется.

Ну, конечно, мы понимаем — текучесть состава и склонность погрязней жить, но все же, братцы, оно как-то не того.

Знаете что? Копайте дальше. Черт его знает, чего еще можете обнаружить. Может, там у вас под горой мусора целая бумажная фабрика заболталась.

Было бы на руку. Прибавилось бы у нас на каждую личность немного бумаги.

Бумага! Как говорится у поэтов: как много в этом чудном слове для сердца нашего слилось.

АРТИСТЫ ПРИЕХАЛИ

Конечно, не каждый человек может на улице заснуть.

У кого нервы не в порядке, тот обыкновенно не берется под открытым небом спать. Он пугается, что лошадь его ногой зацепит или букашки в рот наберутся. А если человек несколько более интеллигентный, думающий о том о сем,

об астрономии, об истории народов и т. д., то он вдобавок еще будет пугаться, как бы у него во время сна брюки не унесли.

Но особенно не любят спать под открытым небом это почему-то артисты — эти, так сказать, люди нервов и творческой фантазии. Вот артисты действительно не любят дрыхнуть на воздухе. Они скорее откажутся от еды, чем они позволят себе заснуть на вольном воздухе. Они как приезжают в какой-нибудь город, так прежде всего о гостинице беспокоятся. Вот какие бывают особенности у этой утонченной профессии.

Вообще с этими артистами форменная беда.

Они разъезжают по городам обыкновенно целой группой или, как они называют для смягчения паники в гостинице,— труппой. А в этой труппе у них обыкновенно куча артистов. Человек пятьдесят, а то и шестьдесят. Ну что это такое?

В других профессиях этого не бывает, чтобы, например, сразу в гостиницу шестьдесят человек вперлось. А у этих бывает. У этих, говорят, некоторые труппы до ста и больше человек доходят.

Один поет, другой играет, третий, может быть, комик. Ужас!

Недавно приехала в Петрозаводск труппа. Группа в шестьдесят два человека. Три тенора, четыре баритона, некоторые танцуют. Какой-то там что-то такое вертит. Один суфлер, другой администратор. Ну что это такое?

А Петрозаводск город все-таки не маленький. Все-таки наверняка там пара гостиниц есть и Дом крестьянина. Ну, такой группе это, может быть, раз плюнуть.

И вот, значит, приезжают. Шестьдесят два человека. В город Петрозаводск. При нашем-то состоянии гостиничного треста! Ну, естественно — паника. Затруднение нормального хода городской жизни. Фу ты, черт!

Шестьдесят два человека. Из них некоторые балерины. Режиссеры, дирижеры. Одна вообще — в наше время комическая старуха. Ну что это такое? Это уж, знаете ли, слишком. Это уж, знаете ли, лучше, чтоб звуковое кино у нас процветало. Все-таки меньше неприятностей.

Вот приезжает эта группа. Здравствуйте, пожалуйста. С петрозаводским приветом, так сказать. Сейте разумное, доброе, вечное.

Куда вас, черт возьми, разместить? Ах да, тут Дом крестьянина еще имеется! Там, кажется, приезжие колхозники ночуют. На постелях. Еще чего...

Ну, хотя этот-то народ, конечно, податливый, привыкший, так сказать, в силу исторических судеб, к природе и ее стихийным проявлениям. Они свободно могут на воздухе поспать. Им это даже еще интересней, забавней, полезней для ихних застывших организмов, когда над ними свежий воздух струится. Им это более по карману.

И, в общем, .последовало срочное распоряжение от администрации — очистить к чертовой матери с 1 июня все комнаты для размещения этой труппы артистов.

После чего, как нам пишут, «колхозники уже ночуют на площади и на балконе Дома крестьянина».

Нет, мы вообще не против артистов. Мы их любим и высоко уважаем ихнее искусство, и вообще всецело приветствуем их новшества. Даже пущай они без занавеса играют. Больше того — мы всецело понимаем, что артист может потерять свою квалификацию, если он будет спать на открытом воздухе в содружестве с природой, мошками и букашками. Но мы слегка удивляемся, почему все-таки Дом крестьянина носит столь гордое название.

Поскольку этот дом, как нам пишут, обыкновенно почти всегда занят артистами, то не лучше ли для сохранения равновесия назвать этот дом — Дом артистов. А новый дом, который построят, назвать Дом крестьянина. Или наоборот.

В общем, по всему видно, что надо в Петрозаводске строить новую гостиницу.

Как в одной стенной газете местный поэт сказал по поводу недостатка огурцов в своем колхозе:

Огурцов же нет как нет...
Но, чтобы выйти из беде,
Посадим их на гряде...

В общем, «чтобы выйти из беде», надо срочно строить гостиницу. А то говорят, будто в Петрозаводск едет опереточная труппа в сто шесть человек. Вот эти со своими потребностями прямо весь город могут по ветру пустить.

Сто шесть человек... Ай! Ну что это такое? Как растет искусство!

НЕПРИЯТНАЯ ИСТОРИЯ

Качество продукции заметно улучшается.

Уже там и сям раздаются радостные возгласы покупателей, купивших то, чего им приблизительно хотелось,— какую-нибудь там кастрюльку повышенного качества или стакан, не режущий рта.

Уже хочется думать, что это так все время и будет и что подобное качество восторжествует во всех отраслях нашего хозяйства.

Однако не будем лакировать действительность и скажем, что по временам все же случаются большие пренеприятности в этой области.

То, простите, выпускается какой-нибудь рояль, который не так, что ли, гордо звучит, как того хотелось бы профессорам консерватории и вообще музыкантам с ихним утонченным слухом, благодаря которому от простого музыкального инструмента требуют какие-то немыслимые качества вплоть до звучания всех клавиш — как будто это есть инструмент будущего.

То, знаете ли, происходит массовая пошивка пальто, в которых можно даже опускаться на дно морское, но гулять в которых нельзя, поскольку рукава, что ли, не сгибаются и тяжесть не дозволяет человеку передвигать свои ноги.

То, наконец, отстраивается дом в виде небольшого небоскреба-халупы, в котором людям как-то неважно живется.

Да, все это, увы, до сих пор случается в наши дни. И даже на этой почве происходят иной раз психологические драмы с криками, обидами, оскорблениями личности и подозрениями в низости.

Короче говоря, вот что недавно случилось в Воронеже.

В этом году происходил в Воронеже слет ударников.

И вот все как полагается. Отмечены были факты и поступки. Сделаны были поздравления и приветствия. После чего заслуженным ударникам были розданы ценные премии.

И наряду с другими ударниками был, между прочим, премирован некто т. Г., работающий в Горфо.

Собственно, мы не знаем, чего он там делал в своем Горфо и в чем именно он там сумел проявить свое ударничество. Во всяком случае, он был премирован столом и четырьмя венскими стульями.

Но хотел ли он этой премии, или он этой премии не хотел, мы не беремся утверждать. Конечно, может быть, он и в самом деле захотел получить эту премию. Может быть, он даже сам попросил. Может, он сказал: «Чем премировать меня чем-нибудь другим — коровой там или кроватью,— премируйте меня, товарищи, если на то пошло, столом и четырьмя венскими стульями».

И, значит, его взяли и премировали. А может быть,

конечно, он не просил, а его по бедности фантазии премировали просто так — чего было под рукой. И это было бы, конечно, досадно с точки зрения гуманного отношения к людям.

Хотя, впрочем, даже и в этом случае наш ударник мог быть отчасти доволен, поскольку, может быть, эта мебель была нелишней в его домашнем хозяйстве.

Короче говоря, тов. Г. был премирован на слете столом и четырьмя венскими стульями. И вот он радостно и счастливо, напевая про себя «Все выше и выше», пошел домой, слегка, наверное, умерив свою радость вопросами перевозки.

Но вот мебель привезена.

Наверное, торжественно с женой и, может, даже с детишками наш ударник установил стол и стулья посреди комнаты и, чтоб понежить свою душу, стал любоваться этими предметами то вблизи, то издали.

И вдруг, что такое? Пардон... Вдруг он замечает, что стол действительно новый, но стулья, наоборот, абсолютно старые, уже бывшие в употреблении и, так сказать, сильно держанные, и вообще чуть держатся.

Вот наш ударник очень удивился и расстроился, что ему подсунули старую рухлядь из какого-нибудь бывшего мещанского барахла. И, затаив обиду, он пошел в свое учреждение узнать как и что, и почему вообще такие дрянные стулья, и нет ли, черт возьми, тут обмана.

И вот каково же его удивление, когда он узнает, что все предметы для ударников были закуплены новенькие и что Горфо попросту взял новые стулья себе, а ударникам отпустил стулья из старья.

Тут трудно описать волнения самолюбивого сердца ударника.

Наверное, своим товарищам он сказал в неопределенном наклонении:

«Работаешь не покладая рук, а тут загребают себе новенькие стулья. Вы понимаете? Позариться на стулья ударников! Взять себе новенькие, блестящей работы стулья, а ударнику подкинуть из старой рухляди, на которой, быть может, уже сидели разные бывшие классы и, пес их знает, какие-нибудь бывшие старушки и генеральши. Да, это странно и в высшей степени оскорбительно».

И с этими словами он пишет письменную жалобу в союз.

Дескать, старые стулья — ударнику. А новые — себе. Дескать, грубое надувательство. Обман. Дескать, совестно

такие штуки выкомаривать с ударниками. Вот так Горфо. Фу, какая мерзость! Привлеките его к ответственности. Эхма...

Тут происходит целая симфония. В дело вступает союз. Даются инструкции и распоряжения. Бюро жалоб при областном совете профсоюзов срочно расследует эту весьма неприятную историю.

Да. Видят — в аккурат так оно и есть. Были куплены стулья. Новые стулья взяты себе, а ударникам выданы из старья.

Но стали расследовать дальше.

Оказалось, действительно, ударникам новых стульев не дали, но только им не дали по более простой причине, чем мы думали,— по причине слишком плохого качества этих стульев. Им попросту не рискнули дать столь недоброкачественные изделия. И взамен этого им дали старые венские стулья, как все же более сносные.

Тут, понимаете ли, дело обернулось иначе, чем мы с ударником думали. Мы с ним подумали, что тут, черт возьми, произошла та мелкая арапская комбинация, которая нередко случалась на нашей российской почве. Но, оказывается, ничего подобного.

Оказывается, Горфо не только не позарился на новенькие блестящие стулья, а наоборот, вовремя и с умом заменил эти стулья, имея рассуждение, что не все то золото, что блестит.

Тут нравственный облик Горфо засиял, можно сказать, в своей полной красоте.

Нравы, если не людей, то, во всяком случае, учреждений, заметно изменились к лучшему. Итак, все в порядке. Никто никого не оскорбил и никто никого не объегорил. Впрочем, всех оскорбил и всех объегорил Древтрест, изготовляющий дрянную и трухлявую мебелишку, из-за которой чуть не поссорились хорошие люди и прекрасные учреждения.

Пламенный привет работникам Горфо.

УСЕРДИЕ НЕ ПО РАЗУМУ

Весьма забавная история произошла у нас в Ленинградской области. Житель деревни Поселок, некто Яков Федоров, поймал ручного голубя. Вот как это было. Он открыл дверь на улицу, и вдруг в избу влетает, представьте себе, голубь. Обыкновенный голубь, но ручной, и на лапке у него находится медное колечко.

Федоров, не особенный любитель голубиного дела, довольно равнодушно отнесся к этой птице. Он, конечно, удивился, что голубь такой ручной. Но, не зная, к чему бы его приспособить, взял и запер его в сарай вместе со своими курами.

Но вдруг об этом деле узнает председатель сельсовета Егоров.

Он моментально бежит к этому жителю и ему говорит, дескать, как это можно. Голубь, быть может, почтовый или он переписку из-за границы носит. Я, говорит, тебя в таком случае не поздравляю, если это такой голубь. А ты его еще маринуешь две недели со своими курами.

Дядя Яша, конечно, испугался и моментально отдал председателю эту птицу.

Председатель говорит:

— Этого голубя я сейчас отправляю в район к уполномоченному. Мало ли какой это голубь.

И с этими словами он назначает местную престарелую жительницу Иванову везти в район этого голубя.

Он ей говорит:

— Вот тебе птица. Вези ее пулей в район. И там передай ее уполномоченному с этой моей запиской. Но если голубь у тебя улетит, то я не знаю, что я с тобой сделаю.

А дело было, между прочим, поздно вечером. И район находился в тридцати километрах. Так что наша престарелая жительница не захотела ночью ехать. Она сказала:

— Я, товарищ, ехать не отказываюсь. Я дисциплину всецело понимаю. И сознаю, что голубь этот особенный. Но только ночью я буду страшиться его потерять. И я поеду лучше завтра утром. А сейчас я ехать отказываюсь.

Председатель говорит:

— Что это за голубь — я тебе объяснять не буду, я, говорит, еще сам не осознаю его назначения, но если ты моментально с ним не поедешь, то я тебя, безумная старуха, оштрафую на сто рублей.

Иванова говорит:

— Вы, говорит, меня такой суммой не пугайте. Я такую сумму никогда не видела и все равно не смогу вам ее заплатить. А ехать я сегодня отказываюсь.

Председатель говорит:

— Тогда я конфискую твое барахло.

И действительно, на другой день он наложил на старуху штраф в сто рублей. А так как денег у старухи не было, то он взял у нее для продажи холст, несколько полотенцев, одеяло, две юбки, кофту и еще кое-какое хозяйственное

имущество. И эти вещи он передал в кооператив на предмет продажи.

А когда вещи были проданы, старуха Иванова рассердилась и написала об этом факте письмо к своим московским родственникам.

И мы не знаем, как это случилось, но только письмо это попало к товарищу М. И. Калинину. И товарищ Калинин телеграфно отдал распоряжение о возврате отобранного имущества.

А так как вещи были уже проданы, то дело перешло в суд. И нарсуд постановил возвратить вещи в трехдневный срок. В противном случае возбудить уголовное дело.

Нам, к сожалению, неизвестно, как это произошло, но только вещи действительно были возвращены. Наверное, мы так думаем, жители, купившие старухины вещи, являлись к председателю, и он им, наверное, выдавал деньги, а они возвращали ему вещи. А может быть, и он сам ходил по избам и увещевал. В общем, наверное, беспокойства у него было много.

Так или иначе, но Дарья Иванова получила вещи назад, кроме, кажется, какого-то половичка, который затерялся в суматохе или был продан в слишком отдаленную местность.

Так что уголовного дела не возникло, и Егоров получил только выговор.

В довершение всего голубь при ближайшем с ним ознакомлении оказался просто домашним голубем, которого выпустили полетать ребята из соседней деревни. Причем эти же ребята для потехи набили медное колечко на лапку этого голубя, чем и ввели в заблуждение председателя, который просто даже заадминистрировался от всех возникших фантазий по поводу голубя.

Конечно, он поступил правильно, что отправил голубя в район для осмотра, поскольку он сам не решился определить, что это за птица, но все остальное было уже слишком. И к выговору, который он получил, ему бы следовало добавить еще, пожалуй, некоторое предупреждение. Тем более что он, говорят, то и дело штрафует по всякому поводу местное население.

В общем, справедливость и законность восторжествовали. Председатель получил выговор, старухе Ивановой вернули вещи, а дядя Яша, поймавший голубя, отделался, так сказать, легким испугом. Так что все в порядке, и казалось бы, и писать нечего.

Но дело осложнилось тем, что этот чертов голубь после

осмотра улетел. Не найдя в этом голубе ничего особенного, его, естественно, оставили без особого присмотра, и он, так сказать, сразу «дал тигаля» — улетел в неизвестном направлении.

Так что мы теперь имеем небольшую душевную тревогу, как бы он не залетел сдуру еще куда-нибудь в населенное место и не наделал бы там снова каких-нибудь происшествий. Мало ли тоже — наскочит на какого-нибудь строгого человека, который опять-таки возьмет и заадминистрируется.

Вот благодаря отлету голубя мы и решили опубликовать эту историю.

Дарье Ивановой передаем наш сердечный привет. Выражаем уверенность, что ее половичок найдется. В крайнем случае надо возместить его стоимость.

Дяде Яше также посылаем привет и поздравляем за героическую поимку голубя. Что же касается до Егорова, то пусть он всякий раз ловит голубей, у которых на лапке есть кольцо. Тем более такой голубь действительно может оказаться пущенным, например, научной экспедицией. И тогда, может быть, Егорову напечатают благодарность, вот, дескать, поймал то, чего надо. Но при поимке таких голубей пусть он не теряет присутствия духа и не поступает столь некрасиво, как, например, в данном случае.

А что голубь улетел — это в высшей степени жалко. Он еще может натворить что-нибудь вроде этого.

ОБ УВАЖЕНИИ К ЛЮДЯМ

Вот какой случай произошел в Ленинграде.

Вернее даже не в Ленинграде, а за городом. На полустанке Воздухоплавательный парк.

Наверно, там, судя по названию, аэропланы летают, летчики ходят, пропеллеры жужжат. Наверно, с чувством большого морального удовлетворения сходят пассажиры на этой платформе.

Но это удовлетворение вскоре, как дым, рассеивается. Поскольку там сразу как сойдешь — идти некуда. Поле и болото. Летом-то еще ничего, но весной, можете себе представить, чего там бывает.

Так что пассажиры приобрели там дурную привычку ходить по полотну. А за это их, конечно, штрафуют. Но они не сдаются и ходят.

Тогда на борьбу с этим злом кинули двух работников. Сторожа и делопроизводителя.

Делопроизводитель сидит в будке и отрывает квитанции. А сторож, как нанятый, ходит вокруг будки и, чуть что, заметает. То есть он берет тех, кто прошел по путям. И ведет в будку. А в будке берут штраф. По рублю с носу. И выдают квитанцию. Все, так сказать, превосходно, по закону, и так и надо. Если не вдаваться в тонкости насчет болота.

Но только вот беда — у делопроизводителя квитанции немного более крупнее, чем это требуется для штрафа.

Он штрафует по рублю, а квитки у него по три целковых. Вот, как хочешь, так и поступай.

Но они там со сторожем не особенно горюют. У них выход найден. Они там в будке накапливают по три пассажира. И сразу это звено целиком штрафуют. И получается у них арифметически верно. Берут с каждого по рублю и дают им общую квитанцию, объединяя, так сказать, сердца трех на почве общего несчастья.

Получается очень мило и славно. Тем более весна. Солнышко, может быть, сияет. Природа распускается. Болотце зеленеет. Любовь к людям, так сказать, загорается в сердцах. Уважение к человеческому достоинству наполняет грудь.

А квитки, конечно, ничего не поделаешь, по три целковых. Наверно, они остались от трамвайных прыжков. И их как-то надо использовать.

Конечно, такие квитки отчасти усложняют ситуацию. Например, двое подлежащих штрафу собрались, а третьего нет. Конечно, он следующим поездом будет. Но все-таки ожидание.

А главное, надо, чтоб общее число взятых пассажиров было кратное трем. Тогда еще ничего. Тогда у них цифры сходятся. А если этого нету — тогда простите за арифметику.

И вот однажды число взятых пассажиров не оказалось кратное трем. Оно не делилось на три.

У них там в будке с утра заколодило. Два пассажира сидят, ожидают — третьего нет. Третий подошел, а с ним четвертый прется. Четвертый сидит, ожидает. А двоих нету. Идет один. Потом опять пара. И так целый день. Даже эти работники приуныли и стали немного нервничать. Но знамя своего производства не опускали до самого вечера.

И вот сошли с поезда двое. Оба работают на «Электро-

силе». Один агроном Т. заводского совхоза. И служащая А.

Вот они идут по пути, ничего не подозревая о несчастьях этого дня. И, значит, напарываются на сторожа. И он их ведет в будку.

В будке им очень радуются. Поскольку там ожидают двое. И эти двое сразу выбирают себе агронома. И у них получается нужный треугольник. И делопроизводитель говорит:

— Вот теперь я вас понимаю, теперь идите.

Тогда служащая говорит:

— А как же я?

— А вы, говорит, немножко обождите. Как двое еще подойдут, так я вас отпущу. Иваныч, говорит, выйди поскорей на пути, похлопочи, чтоб что-нибудь было. Чтоб нам барышню не задерживать.

Но, как ни бился сторож, у него ничего на этот раз не получилось.

Потом он все-таки одного заблудившегося привел. Итого накопилось двое. А третьего нет. А уже, может быть, наступают сумерки.

Тогда сторож, в предчувствии арифметики, впал в небольшую панику. Выбежал на полотно, но опять никого не застал.

Тогда делопроизводитель, недовольный сторожем, сам вышел до ветру и заодно посмотреть, нет ли там каких-нибудь идущих по пути.

Но в этот день, мы повторяем, у них как заколодило. И третьего, как они ни бились, не могли достать.

Тогда делопроизводитель Сумароков, вздохнувши, говорит: «Придется написать два протокола. Платите вы двое по рублю и предъявите свои паспорта».

Вот двое стали подписывать протоколы. А агроном, который еще не ушел, а ожидал сослуживицу, говорит ей: «Подпишите в протоколе поверх фамилии насчет факта с трехрублевой квитанцией».

Сослуживица так и сделала.

Но это почему-то обидело делопроизводителя. Затронуло какие-то его чувствительные струны. И он сказал:

— Никакой лишней пропаганды и никаких фокусов я не допущу на железной дороге.

И с этими словами он закрыл будку и стал по телефону звонить в милицию. И попросил, чтоб прислали ему милиционера.

Но так как тот долго не шел, то делопроизводитель повел этих людей под конвоем сторожа на станцию.

На станции эти люди запротестовали. И тогда он, составив протокол, отпустил их.

Через некоторое время агроном получает повестку из Детского Села от милиции. Ему предлагают туда явиться. Но агроном, будучи сильно занятым, является с опозданием против назначенного часа. И участкового инспектора не застает.

Тогда инспектор пишет уже более энергично.

«Если, пишет, не явитесь такого-то числа, то доставлю приводом».

Агроном же, как назло, явиться не мог — его послали в Гдовские Сланцы на посевную. И теперь ему оттуда прямо грустно возвращаться на неизвестное.

И действительно, как-то оно получается у них невесело. Как-то с двух сторон грубо и оскорбительно.

А главное, надо поскорей упразднить, что ли, эти трехрублевые квитанции, хотя бы из уважения к человеческому достоинству.

Это уж никуда не годится — такое слепое подчинение бумажке. Набирать людей на нужную сумму! Обычно бывает наоборот. А это прямо как-то даже озадачивает.

А что касается двух работников, кинутых на борьбу с хождением по путям, то они вместо трудностей бумажного администрирования могли бы тем временем смело на болоте дорожку проложить. И это отчасти удовлетворило бы душевные потребности как пассажиров, так и их самих.

И не было бы таких криков, слез, обид и огорчений.

ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Люди пьют по самым разнообразным причинам.

Например, мы знали одного слесаря, который запил от удивительной причины. У него, если так можно сказать, был разрыв между его гордым характером и практикой жизни.

То есть он хотел, чтоб его все время хвалили, награждали орденами, грамотой, часами и так далее.

А этого в его жизни как раз не было.

Действительно, на работе его однажды похвалили и сказали: вы — ударник. Но это его мало устраивало. И гордая его натура требовала чего-нибудь особенного.

Тогда он в мае этого года прыгнул с аэроплана на парашюте. Надеясь почему-то, что за это ему дадут орден

Красной Звезды. Но правительство на этот раз почему-то равнодушно отнеслось к его прыжку. И он ничего не получил. Только в газете мелким петитом было отмечено без указания фамилии, что такого-то числа прыгнуло с аэроплана несколько служащих и рабочих.

Вдобавок он не так удачно прыгнул. Вернее, он прыгнул хорошо, но в последний момент, перед тем как приземлиться, его ветром дунуло на забор колхозного огорода. Так что он немножко побился и поцарапался.

Но, конечно, его чудно лечили, и он вскоре поправился. И после поправки он выехал на дачу в Поповку к своим родным. И там, будучи на даче, он стал шляться по шпалам, надеясь найти какой-нибудь лопнувший рельс с тем, чтобы его за это наградили. Но он ничего такого путного не нашел и, вернувшись в Ленинград, запил.

И сейчас июль. И он все пьет. И говорит, что его проза жизни не удовлетворяет.

Но, наверно, он вскоре очухается, потому что ему на заводе сказали: мы вас уволим, если это будет продолжаться.

В общем, это был довольно забавный мотив, по которому человек запил.

А по большей части люди склоняются к вину по более простым причинам. Ну там, молоденькая жена бросила. Комнаты нету. Начальник на службе очень ядовитый — придирается. Жалованье не удовлетворяет. Здоровье плохое — надо подхлестнуть себя. Вот все больше такие простенькие мотивы наблюдаются среди алкоголиков.

Но человек, о котором мы собираемся вам сейчас рассказать, ни под один из этих мотивов не подходит.

Он тоже слесарь. У него две комнаты есть. Жена. Дочка. Порядочное жалованье. Приличное здоровье. И как будто все на свете... Тем не менее человек пьет вот уже несколько лет.

И от этого он стал терять человеческий облик.

А он слесарь прекрасной квалификации. Но его уволили за прогулы. И через это он еще больше погряз в тине жизни. А был в свое время партиец. И вот как он опустился.

Он даже за паспортом не пошел на завод. И прекратил за комнату платить. И вообще прекратил все платежи по всем своим обязательствам.

А его жена, видя, что он неисправим, еще раньше с ним разошлась. И одну комнату на себя перевела. И там жила со своей дочуркой.

И она никаких алиментов со своего пьяного супруга не требовала. Только просила — оставьте ее в покое.

Но он ее в покое не оставлял и часто приходил в ее комнату скандалить и делал разные угрозы и пугал.

И вот наконец его за неплатеж выселяют из комнаты.

Но так как ему выехать некуда, то берут его вещи, переставляют в коридор и комнату опечатывают.

Человек начинает жить в коридоре.

От этого он звереет. Днем и ночью вламывается в комнату к бывшей жене и там скандалит.

Но его бывшая жена не идет на него жаловаться. Наверно, она его жалеет, или уж я не знаю что. И наконец в это дело вступаются посторонние окружающие люди. Обращаются в редакцию и просят пособить.

Они говорят: вот какие происходят ненормальности, вот какие сцены наблюдает девочка, и вот она на чем воспитывается.

Конечно, надо подать срочную помощь и сделать так, чтобы человек оставил свои угрозы и оставил бы в покое свою бывшую жену и дочь. Все это, конечно, надо срочно сделать. Но дело оборачивается другой стороной...

Ну хорошо. Дело это, предположим, можно квалифицировать как квартирное хулиганство или что-нибудь вроде этого, и кончен бал.

Но является другой вопрос. А как же до этого дошел человек? Как же допустили его до такого падения? Ведь он прекрасный слесарь. Рабочий. Партиец. Ведь он когда-нибудь горел на работе. Ведь он когда-нибудь стремился к чему-нибудь. Мечтал о чем-нибудь. И как же так получилось? Кто же его допустил до такой пропасти?

Ведь он же не родился в 35-м году. Ведь у него были друзья, товарищи, заводская общественность. Партийный и заводской комитеты, которые должны же поинтересоваться человеком, прежде чем его уволить.

Ведь это слишком просто и легко — выкинуть из комнаты, отдать под суд за квартирное хулиганство, и точка. Был человек, и прекратили его. Списали, так сказать, к чертовой матери.

А было ли сделано хоть что-нибудь, чтоб его спасти?

И вот нам думается, что нет. При увольнении никто не вызвал его жену, никто не предложил ему лечиться. А ведь можно было бы положить его в больницу, провести курс лечения и вернуть человека к жизни.

Но этого не было.

А на запрос редакции дать характеристику уволенному рабочему председатель завкома ответил, что он его не знает и что позже это выяснит.

По-видимому, мы правы. И, так сказать, «колесо истории» равнодушно прошло мимо пьяного человека.

И в этом можно видеть безразличие к человеческой судьбе, невнимательное и холодное отношение и тот поверхностный взгляд, с которым легче и спокойней живется на свете. И то поверхностное мнение, которое произносит готовые штампованные слова: пьянство, прогулы, квартирное хулиганство, выкинуть, уволить и так далее. Но всякий раз за этим бывают какие-нибудь причины. И в другой раз кому-нибудь следует этим поинтересоваться, прежде чем наложить суровую резолюцию.

И это надо всякий раз сделать, чтобы не стать равнодушной бюрократической машиной. И вот, стало быть, если перевести с языка художественной литературы на язык отдела происшествий, то дело обстоит так. Ленинградский слесарь был уволен за прогулы с завода. За невзнос квартирной платы суд выселил его из комнаты. Он живет теперь в коридоре. Он ходит пьяный. Скандалит. Угрожает. Вламывается в комнату жены. И его поведение надо срочно изменить.

Но можно поведение изменить так, что человек еще больше упадет и еще больше разобьется, а можно сделать так, что этого не будет. И тут нужно подумать, как это сделать. Но это надо непременно сделать.

Иногда бывает достаточно по-хорошему поговорить. А если это не помогает, то хорошо действует перемена места. Можно послать на другую работу. В другой, наконец, город. И там за ним присмотреть. И, может, что-нибудь и получится.

В общем, это дело надо в срочном порядке кому следует обдумать.

А ребенка нам очень жалко. Девочке одиннадцать лет. И вот что ей приходится видеть.

И мы просим не давать ей читать наш фельетон. Пусть у ней будет какое-нибудь другое детское представление об отце, который ну хотя бы уехал в командировку.

И это надо сделать не из сентиментальных чувств, а из педагогических целей.

ПОРИЦАНИЕ КРЫМУ

Как только ударяет лето, так многие хлопочут на юг попасть. Они думают, что приедут на юг, искупаются в Черном море — и они снова молоды и прекрасны. И все болезни и ненормальности у них ушли.

А которые молодые, те, я даже не знаю, о чем они думают. Многие, я так думаю, из озорства на юг едут. Хотят поглядеть, как и чего там бывает. А через это они затрудняют курорты. Стесняют движение. Суетню разводят. И чахоточным через это трудней на юг попадать.

Главное, все больше едут молодые, здоровые, горластые. Чуть что — они в Крым собираются. И в кармане у них три копейки, а они как-то такое едут. Прямо удивительно глядеть, как у людей преломляется энергия.

Многим вообще нравится Крым. И некоторые особенно одобряют художественный путь от Севастополя до Ялты.

И я не отрицаю: путь этот имеет свои прелести. С одной стороны над вами возвышаются горы. И они, так сказать, вызывают чувство удивления и гордости, что у нас бывают такие горы, недоступные многим низменным и в художественном отношении отсталым странам.

А с другой стороны внизу лежит море. И оно тоже отчасти заставляет гордиться, что вообще бывают такие моря и так они оригинально лежат: как-то такое внизу, а над этим прямо в небо упирается почти два километра суши. И автобус едет между тем и этим. И это тоже у них довольно художественно получается.

И многих это тоже восхищает. Многие горят желанием почаще там бывать.

И я не отрицаю, что крымские курорты иногда забавно видеть. Только я не поклонник там на автобусах ездить. Вот автобусы у них действительно что-то особенное в смысле неприятности.

Конечно, говорят, что ученые начали проектировать крымскую электричку. И там будут ездить поезда по южному побережью. И только ученые, кажется, еще не окончательно убедились, где им пускать поезда — внизу или наверху.

Но уверяю вас: где бы они ни пустили, все будет в высшей степени хорошо. Пускайте эти поезда, только не допускайте меня на крымских автобусах ездить.

Главное, стоит у вокзала, представьте себе, маленькая, мизерная машина. И со стороны, пока в нее не сядешь, думаешь, что в эту машину ну человек шесть может сесть.

Каково же берет удивление, когда начинается посадка. Тогда выясняется, что только на одну скамейку шесть человек садится. А там скамеек бесчисленное множество. И даже у них как-то такое бывает, что, например, все сидящие в одном московском вагоне — все умещаются в этом автобусе.

После этого начинается художественная поездка по южному побережью.

Вдобавок у многих дети на руках. Один непременно с козой едет. Он ее на руках держит. И она от страха всех бодает на поворотах. Но ему об этом сказать нельзя, поскольку он, может быть, выполняет сельскохозяйственный план.

А некоторые заместо коз и детей держат на коленях узелки и корзинки. И все это подпрыгивает во время художественного пути. Но это подпрыгивают мелкие вещи. А багаж где-то отдельно подпрыгивает.

А для нервного человека такое отдельное путешествие от вещей тоже как-то морально тяжело переносить. Все время думаешь: а где же, собственно говоря, вещи. И не то что ты боишься, что их сопрут, но думаешь: наверно, твою корзинку в Мисхор завезли и после разных формальностей ее тебе выдадут в конце лета.

Через это путешествие утомляет. И художественная красота пути не так, что ли, в достаточной мере заинтересовывает. Вдобавок мало чего видать. Тем более автобусы у них крытые. А с боков сидишь сжатый пассажирами.

А которые словчились сесть у края, то это еще ничего не говорит. И счастье этих всегда омрачается слабостью остальных. И из тридцати пассажиров всегда находится шесть слабогрудых дам, которых закачивает в пути.

И тогда все сидящие не с боков с восторгом восклицают: «Да пустите же ее, наконец, сбоку сесть, видите, дамочка побледнела и затрудняется дальше ехать».

И тогда захворавшая со всем нахальством, присущим указанным людям, сама садится с краю и едет. И там ее охлаждают зефиры, и там она, не стесняя пассажиров, может склонять свою головку, куда ей вздумается.

А вы тем временем садитесь на ее место — между козой и стрелком, у которого в руках мелкокалиберная винтовка. И страх, что эта винтовка может от сотрясенья выпалить, тоже помрачает красоту пути.

И вот тем временем в рассуждении всех этих вещей и пассажиров незаметно проходит часть пути. Но зато вторая часть пути, наиболее интересная, проходит с ослаб-

ленной психикой. И даже едешь в некотором равнодушии и даже, что ли, с какой-то бесчувственностью во взоре. И даже по временам восклицаешь: «Крым, Крым — подумаешь!»

Короче говоря, подобные мысли и воспоминания пришли нам в голову в тот день, когда мы раздумали поехать в Крым. И не то чтобы раздумали, а как-то такое в этом году нам не пришлось поехать на южное побережье. И заместо этого погибельного Крыма мы сняли дачку в Парголове и сейчас весьма довольны.

Ну что, действительно, все время — Крым. Пыль. Жара. Горы бестолково торчат. Три дня ехать. Билеты опять же покупать. А тут снял дачку и можно жить без всякого затруднения. И, в сущности говоря, то же самое — пыль, жара. Только что гор нету. И моря. И не так художественно.

Тем более сейчас лето. Виноград еще не созрел. Бархатный сезон впереди. Так что особенного интереса нету туда ехать. А осенью, может быть, и поеду. А вообще, хотелось бы на все крымское путешествие тратить часа два-три.

И вот когда будут летать стратопланы, то это так и будет. В двенадцать часов дня сел в Ленинграде — и в три часа купаешься в Черном море. А в шесть вечера обратно дома. Вот это будет интересно.

Но, вообще-то говоря, я ждать этого времени не намерен, и три дня пути меня тоже не особенно останавливают.

В общем, сердечный привет поехавшим в Крым.

И как ни брани этот Крым, а все-таки это, так сказать, чудная жемчужина в курортном деле.

А что касается оправы для нее, то она постоянно будет улучшаться.

НАШЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

В прошлом году, осенью, я был в одной деревне. Я туда ездил по делу. В сельсовет.

Сразу в один день я не управился. И мне пришлось там заночевать.

И вот я остановился у одного крестьянина. Он единоличник.

Он меня очень любезно принял. И хотя было поздно, но он все же раскинул приличный ужин. И даже угостил домашним пивом.

Но когда дело зашло, где мне лечь на ночевку, хозяин проявил некоторое замешательство.

Он говорит своей супруге:

— А где же мы, Маруся, положим нашего дорогого гостя?

Я говорю:

— Да вы не тревожьтесь. Я на лавке прилягу.

— Ну нет, говорит он, как гостю на лавке я вам не позволю лечь. Конечно, мы с супругой не привыкши отдавать свою постель посторонним... Но вы не сомневайтесь, мы вас куда-нибудь положим соответствующим образом.

И он оглянул свою избу.

Керосиновая лампочка тускло освещала небольшое помещение. За ситцевой занавеской стояла пышная хозяйская постель. На русской печке лежал старик. А за печкой, в углу, стояло какое-то подобие кровати. И там, оказывается, спала мамаша хозяйки.

Я снова говорю:

— Я лягу на лавке. Не беспокойтесь.

— На лавке дюже неудобно,— любезно отвечает хозяин,— узко и малоинтересно спать... А мы вас, уважаемый, положим в более приличной позе — на кровати.

И он показал на старухину постель.

Он сказал:

— Тут, представьте себе, пока что спит мамаша моей супруги. Но для вас мы ее оттуда сымем. Мы пришли к решению положить вас туда. Поскольку мы имеем законное уважение к гостям. Мы привыкли уважать гостей больше, чем самих себя.

Жена хозяина говорит:

— Моя мамаша завсегда страдает бессонницей. Так что ей это как бы ничего.

— Это ей не будет лишение,— добавил хозяин.— Она у нас в другой раз цельную ночь ходит по помещению, и сон ее нипочем не берет. С чего бы это, уважаемый, вы не знаете?

Я говорю:

— Наверно, она у вас бессонницей страдает. Хотя по виду нельзя сказать — ишь как она заворачивает. Вы ее не троньте. Пущай ее спит.

Но гостеприимный хозяин уже начал окликать и шевелить старуху.

— Встаньте, мама,— сказал он,— мы тут до вашей кровати пассажира имеем.

Он сильно тряс старуху за плечо, но та мычала в ответ и не просыпалась.

Я снова стал упрашивать не будить ее.

Хозяин сердито сказал:

— В другой раз всю ночь не берется спать, а как надо, так ее багром с кровати не сымешь. Какая удивительная старуха! Сама не понимает, что ей надо.

Престарелый папаша хозяина, свесившись с печки, тоже энергично вмешался в дело.

Он стал свистеть, говоря, что старуха не любит, когда свистят, и что под свист она всегда поднимается.

Однако на этот раз свист ее тоже не брал.

Тогда хозяин, набрав в рот воды, неожиданно опрыскал спящую старуху. И та, как ошалелая вскочив с постели, принялась зевать и креститься.

Хозяин сказал:

— Дюже крепко на этот раз спали, мамаша.

— Маленько, кажется, вздремнула,— заметила старуха.

Несмотря на мои просьбы и даже мольбу, хозяин все же настоял на том, чтобы я лег на освободившуюся постель.

Старуха добродушно сказала:

— Да ты, батюшка, ложись. Не стесняйся! Я не привыкла много спать. Я бессонницей хвораю.

Тогда я лег на ее постель и, страшно утомленный, сразу же заснул.

И вот — утро. Яркое солнце освещает избу. Я просыпаюсь. Потягиваюсь. И вдруг прямо с ужасом смотрю на мою постель. Нет, просто трудно описать, на чем я лежал.

Можно сказать, что я лежал среди праха. Какие-то желтые грязные тряпки были подо мной. Самого ужасного вида серая запятнанная подушка нежно покоилась около моей щеки.

Яркое солнце освещало теперь весь этот жалкий прах. И это было так непривлекательно, что я, как мячик, вскочил с постели на пол.

Все в избе еще спали.

И на лавке, у окна, сладко храпела страдавшая бессонницей владелица моей постели.

Я вышел в сени и вымылся.

Потом посидел на крыльце, надеясь, что на сияющем солнце сгинут все микробы, подцепленные мной на старухином ложе.

«Как странно,— подумал я,— хозяин зажиточный. Кругом у него как будто полное довольство. И вдруг такая адская постель. Конечно, старуха, наверно, так сказать, неполноценный и невыгодный член семьи, но все же это уж

слишком! Черт меня дернул воспользоваться этим гостеприимством!»

И вот я снова вошел в избу. Все уже встали. И только старуха дремала на лавке.

В избе как угорелые носились трое ребятишек. Это были хозяйские дети. Интересно, где они спали?

Оказывается, двое спали на хозяйской постели, в ногах. А третий, постарше, спал под кроватью на перине.

За чаем я спросил хозяина, почему он единоличник, а не в колхозе,— там новый быт, новая жизнь и там сейчас небезвыгодно.

Хозяин ответил:

— Еще поспеется. Запишусь. Над нами не каплет.

— А по-моему, над тобой каплет, мой друг,— сказал я хозяину.

Он не понял моей мысли и перевел разговор на другие темы.

СКАЗКА ЖИЗНИ

В настоящее время рассказывать сказки как-то даже глупо. Мы бы даже так сказали: как-то нетактично перед современностью.

Кругом, можно сказать, в техническом смысле происходят разные там наивысшие исключительные достижения, разные там чудеса в решете. Одно радио чего стоит! Телефон опять-таки. Фотоаппараты. И вообще, смотрим то, чего вблизи не видать. И слышим разные вещи на расстоянии. Так что любая сказка, мы бы так сказали, теряется в сравнении со сказочной действительностью.

Давеча раскрываем газету: еще, видим, один подарок преподнесен нашей современности. Бесшумный трамвай.

Не знаю, как в Москве, но в Ленинграде уже выпустили для пробы бесшумный моторный вагон.

Конечно, мы еще в точности не знаем, что это такое и с чем это, как говорится, кушают, но в газетах отмечено: бесшумный трамвай. А это, как хотите, здорово.

Главное, представьте себе: прет этакая махина по рельсам, и то есть никакого шума она не дает. Плавно себе скользит, как воздушная фея, как ветерок, зефир.

Только изнутри, наверно, этакий гул идет, некоторый треск и грохот. Этакий шум. Поскольку в вагоне разговоры, крики, пятое-десятое. В обыкновенном вагоне это, конечно, прошло бы незаметно, а тут оно тихо себе катится и шумит.

Но это, так сказать, минусы самой природы. Техника уж тут ни при чем. Это публика сама от себя допускает звучание: разговоры, споры, крики и так далее. Тут даже, если заглянуть исключительно далеко, так сказать, в века,— и то навряд ли что-нибудь изобретут против этого шума.

Конечно, если трамвайная администрация окончательно захочет избавиться от шума и если она захочет, чтоб техника плюс природа не давали бы звучания, то тогда, конечно, придется пассажирам вместе с билетами чего-нибудь выдавать. Некоторым, может быть, леденцы, пеперменты, чтоб рты заткнуть. Более передовым элементам можно также давать какие-нибудь там проволочные фокусы и умственные занимательные игры, чтоб отвлечь внимание.

Тогда возможно, что в самой середине нашего вагона воцарится полная тишина.

Нет, не думаем, чтобы такой трамвай особенно много давил людей.

Конечно, отчасти все-таки, как ни говорите, вынырнет этакая штука без всякого шума — так тоже, как говорится, благодарю-спасибо. Но тут нас то утешает, что он уж не настолько будет бесшумный, как, наверно, подумали некоторые идеалисты и эстеты. Некоторые уж, наверно, подумали невесть что, в то время как, наверно, мы так думаем, ничего особенного. Тоже, наверно, как попрет по рельсам, так я те дам. Не то чтоб от него сильный грохот будет идти, но тоже, наверно, не без того. Поскольку все-таки колеса, рельсы, мотор, и в моторе что-то все время вертится. Ясно, что уж совсем без шуму им не обойтись. Ну, да оно, собственно, и к лучшему.

Но все же, тем не менее, честно говоря, борьба с шумом — это очень хорошее начинание. И в Европе давно с этим бороться начали.

Но там, в Европе, конечно, более хлипкое население. Там много среди них истеричек, разных там квелых интеллигентов, воспитанных на буржуазной системе. И там на них шум особенно тяжело действует. А у нас мы давеча наблюдали такую картину. Едет гусеничный трактор. И до того он, представьте себе, ангел мой, гудит, что это, как говорится, ужасти подобно.

То есть такой грохот идет, что, можно сказать, душа вянет у всякого интеллигента прошлого столетия. А тут моторист лихо себе сидит на сиденье и переглядывается еще с проходящими барышнями.

Ему, конечно, как бы даже ни к чему подобное изобретение с бесшумным трамваем.

Но от этого начинание, конечно, не только не меркнет, но его надо душевно приветствовать. Поскольку шум плохо отзывается на производительности труда. И в особенности от этого страдают бухгалтеры, ученые, певцы, поэты и металлисты. Но тем не менее это изобретение, мы повторяем, пройдет у нас для многих людей незаметно, поскольку многие обладают хорошими, крепкими нервами.

Во всяком случае, шлем пламенный привет всем изобретателям.

И уже если научная мысль пошла по этой линии, то хотелось бы еще какого-нибудь улучшения на этом шумовом фронте.

Тоже вот, как говорится, радио. Слов нет, вполне гениальное открытие. Но зато когда оно у соседей стоит и перегородка не так уж особенно капитальная, то тоже, как говорится, спасибо вам за это открытие.

Главное, самой музыки не слышно, а только бу-бу-бу, бу-бу-бу. Прямо, так сказать, сил нет. И прекратить нельзя. Только что перерыв бывает с часу ночи и до семи. Но это не каждому хватает для спанья. Хоть бы какой-нибудь глушитель изобрели против этого шума. В общем, желательно, чтобы ученые физики и пиротехники извернулись и чего-нибудь извлекли из своих последних достижений.

Или, например, в магазине. Зашел, например, на три рубля колбасы купить — патефон играет: «Спи, мое сердце». Тут, может быть, двести грамм отвешивают на чувствительных весах, а тут такое пение: «Спи, мое сердце». Нечутко. И подобный шум тоже как бы лишнее. Тем более если у человека хорошее настроение, так у него и без того музыка на душе раздается.

Так что борьба с шумом, наверно, еще только разгорается и дойдет, наверно, до сказочных достижений.

А там, глядишь, изобретут уж и вовсе что-нибудь сказочное, например, какой-нибудь аппарат «Три желания».

Каждый, скажем, может повернуть рычажок — и его три желания сразу исполнятся.

Хотя, конечно, злоупотребления начнутся, арапство. Многие, конечно, начнут рычажок поворачивать, чтобы наскрести себе деньжонок побольше, наград, почета и уважения и так далее.

В общем, не будем забегать вперед и предсказывать то, до чего еще не дошла пытливая научная мысль человека.

Пламенный привет научным работникам и техническим кадрам!

ГОРЕ ОТ УМА

Дело, о котором мы хотим вам рассказать, собственно говоря, уже закончилось.

Кое-кто получил выговор. Кое-кто был оправдан. А некоторые отделались моральным испугом.

В общем, правда восторжествовала, и порок был наказан. И в этом учреждении, о котором идет речь, все, так сказать, снова сейчас завертелось. Как говорится, дела идут, контора пишет, ключи на комоде.

И мы, не отличаясь сварливостью характера, так бы и предоставили все это течению жизни, если б не усмотрели в этом явления, на котором следует остановиться.

Итак, как говорится в учреждениях, давайте провентилируем вопрос.

История развернулась в одном небольшом учреждении — в отделе благоустройства одного из районов.

В этом прекрасном учреждении с таким классическим и звучным названием, заставляющим думать о превосходных делах, произошло неприятное происшествие.

В прошлом году в отделе благоустройства «служила в качестве служащей» гр. К. И вот ее уволили с глупой и, пожалуй, даже бюрократической характеристикой: «за нечеткость в работе».

К., желая восстановить свое доброе имя, подала в нарсуд. Нарсуд, рассмотрев дело, не нашел достаточного повода к увольнению и восстановил служащую с оплатой за вынужденный прогул.

Свидетельницей в суде выступала сослуживица К. гражданка Л.

Не утверждаем, что тут имелась связь с ее выступлением на суде, но только факт, что после суда эту гражданку тоже уволили. Первоначально она получила строгий выговор с предупреждением «за опоздание и за составление пониженного плана по ассобозу». А затем заведующий отделом благоустройства предложил ей уйти «по собственному желанию». Когда она отказалась это сделать, он ее уволил за опоздание.

ЦК союза работников городских предприятий отменил

это постановление и предложил «восстановить служащую Л. с оплатой за вынужденный прогул».

Заведующий не подчинился этому решению. И тогда нарсуд, рассмотрев дело, восстановил и «свидетельницу» с оплатой за шестимесячный вынужденный прогул.

Вот какова история в общих чертах.

На первый взгляд, дело, мы бы сказали, пустяковое. Несработанность служащих. Неполадки. Сварливый, надменный характер заведующего. И так далее. Что-нибудь в этом роде.

Но целых два одинаковых судебных дела, два неправильных увольнения с оплатой за вынужденный прогул заставили нас снова обратить свои взоры на вышеуказанное учреждение с прекрасным и благозвучным названием.

Мы поинтересовались, нет ли там еще чего-нибудь вроде этого. Нет ли там еще «униженных и оскорбленных»?

И что же оказалось? Оказалось нечто поразительное.

Вот перед нами список служащих, уволенных за 1935 год.

В списке 60 человек.

А всего в штате сотрудников — 75 человек.

Итого за прошлый год уволено почти 80 процентов.

Давайте посмотрим этот черный список.

Оговоримся: список — официальный, с печатью отдела благоустройства и с подписью зам. нач. управления.

Итак, в этом списке 60 человек. Посмотрим, каковы мотивы увольнения.

1) «По собственному желанию» ушло — 14 человек.

2) «По собственному желанию в связи с социальным происхождением» (так и сказано!) уволено — 7 человек.

Мотивировка, прямо скажем, удивительная. Просто даже трудно понять, в чем дело. То ли совесть заговорила в служащем, и он, понимая, что происхождение его нечисто, решил, так сказать, по собственной охоте не марать больше своим присутствием это высокое учреждение. То ли ему намекнули — мол, до каких же пор мы будем терпеть тебя, братец, в нашей канцелярии? Мы тебя, милочка, не гоним, но раз у тебя папаша вроде как почетный гражданин бывшей империи, то пора бы понять, что не дело служить тебе в ассенизационном обозе.

В общем так или иначе уволено «по собственному желанию в связи с социальным происхождением» — 7 персон.

3) «За пьянство» уволено — 3 человека.

4) «За кутежи» (так и сказано) — 2 человека.

Причем разница между пьянством и кутежом, вероятно,

имелась, поскольку предусмотрены две графы. Кутежи, вероятно, имели характер более широкий — с пением и танцами. А пьянство — может быть, просто человек наклюкался и лег спать.

Так или иначе за пьянство засыпались: а) помощник коменданта, б) начальник пожарной охраны и в) инспектор очистки. А за кутежи пострадали два агента ассенизационного обоза. (Может быть, черт возьми, профессия толкнула их на скользкий путь порока, и они через это погрязли в тине кутежей и веселья.)

Далее среди уволенных идет мелкота и шушера:

5) «За нечеткость в работе» — 1.

6) «За нарушение правил внутреннего распорядка» — 2 (из них один — комендант!!).

7) «За прогул» — 1 (бухгалтер).

8) «За то, что отказался прописаться» (!) — 1 (метельщик — с чего бы это он?).

9) «Как не выдержавшие испытания» — 6.

Далее идут уволенные по самым различным уважительным причинам. Один там по статье 47. Другой перешел на инвалидность. Третий опоздал. Четвертый умер по всем правилам науки. Пятый — по семейным обстоятельствам. И так далее.

При такой ужасающей текучести, казалось бы, ни о каком сокращении штата не может быть и речи. Но не тут-то было. «По сокращению штата» (указано в списке) уволено 5 человек.

Итого из 75 человек за прошлый год снято 60 служащих по самым многоразличным причинам, среди которых почему-то не указано «увольнение за глупость». А надо бы, если на то пошло, завести и эту графу в отделе благоустройства.

В общем, даже трудно понять, почему заведующий учинил такой бешеный разгром?

С чего бы это он, действительно?

Может быть, невезенье. Может, во всех других учреждениях публика на должной высоте, а тут, может быть, у него просто как заколодило. И сотруднички, может быть, все какие-то посредственные попадались. А может быть, человек болеет за свое учреждение! Может быть, он хочет возвести свой отдел на неслыханную высоту! Может быть, он в своем уме создал, так сказать, образ идеального служащего, и к этому он стремится! А тут наряду с этим путаются какие-то, черт их дери, мелкотравчатые конторщики, какие-то, пес их знает, обыкновенные девицы с флюсом. Портят, так сказать, пейзаж своими надутыми физиономи-

ями. Обидно, может быть. Раздражают все-таки. Снижают значение отдела. Хочется перетряхнуть этот хотя бы, черт возьми, ассенизационный обоз, где кутят и нечетко работают и вдобавок марают отдел своим происхождением.

И вот берет он это свое небольшое учрежденьице и почти целиком, как мусорный ящик, вытряхивает почти всех в другие (несомненно) какие-нибудь учреждения, где менее прихотливы и где не оторвались от жизни и где, говоря канцелярским языком, к «людскому составу» относятся приветливо и уважительно, без столь дурацкого бюрократизма и надутого чванства к «человеческой единице».

И какая, обратите внимание, игра природы! То самое учреждение, которое ведает «благоустройством» жизни, так, можно сказать, лихо наезжает с другого, более важного фланга на своих же клиентов и потребителей.

В другой раз идешь летом по бульвару. Душа радуется. Деревья подстрижены. Дорожки посыпаны. Скамейки услужливо поставлены в тени. Как-то сразу на сердце симпатично становится. Все эти мелочи как-то поднимают собственное достоинство. Вот, думаешь, все, так сказать, для тебя же, дурака, стараются. Спасибо, думаешь, отделу благоустройства.

И вдруг теперь узнаем, в этом же самом учреждении — вон какие грубые дела, нарушающие принцип благоустройства жизни!

Оно, конечно, скамейки красить проще, чем иметь дело с «людским составом». Но которые не могут за это браться, те пускай и не берутся. И тогда благоустройство еще более возвысится.

НЕБРЕЖНОСТЬ И ЛЕГКОМЫСЛИЕ

Дело, о котором мы хотим вам рассказать, в высшей степени неприятное, досадное дело, лишенное всякого юмора и улыбки.

Так что, излагая его, мы даже решили не прибегать к художественному методу. А мы просто предложим вашему вниманию факты и документы и потом сделаем вывод, имеющий до некоторой степени воспитательное значение.

Что касается, так сказать, художественной части, то уж это как-нибудь в другой раз.

Короче говоря, вот что недавно произошло в Ташкенте.

В газете «Правда Востока» (24 октября 1935 г.) в отделе происшествий была помещена заметка относительно грабежа и чубаровщины.

Вот краткое описание дела. Одна особа познакомилась в ресторане с тремя неизвестными. Те ее подпоили, ограбили и совершили над ней насилие. Причем в заметке сказано, что бандиты скрылись, но что угрозыском арестован инициатор ограбления и насилия шофер Марк Коган.

Но вот 8 мая 1936 года в газете помещается скромное опровержение под названием «Поправка». Причем говорится, что прежняя заметка была напечатана «на основании данных угрозыска». И что, как теперь установило следствие, «гр. М. Коган не имел отношения к этому преступлению и дело по обвинению его прекращено».

Вот, собственно, и все дело.

Теперь просим обратить внимание на даты.

Заметка была помещена в октябре, а опровержение в мае.

То есть семь месяцев человек ходил с кличкой чубаровца и бандита. Вернее, он даже не ходил, а сидел в доме заключения. Он четыре месяца там сидел, а три месяца он ходил по Ташкенту и умолял как-нибудь восстановить его доброе имя, поскольку он действительно не имел отношения к преступлению.

Но всюду он натыкался на всевозможные преграды. Наконец он сделал покушение на самоубийство. После чего наконец появилось опровержение. И пострадавшему дали путевку на курорт, «учитывая болезненное состояние».

Вот и вся история.

Она удивительна во всех отношениях. И прежде всего тем, что угрозыск дал газете подобную информацию, в которой арестованный шофер признавался инициатором преступления.

Зачем же тогда ведется следствие, если с наскока и так уверенно можно сообщить в газете об инициаторе преступления?

Это уж по меньшей мере небрежность и легкомыслие.

Нам живо рисуется этот новоиспеченный Шерлок Холмс, арестовавший шофера. Вероятно, возбужденный и взволнованный, с трясущимся пистолетом в руке, он тут же, сразу после ареста, захлебываясь от восторга, дал свое сообщение.

И газета, как говорится, не поглядевши в святцы — бух в колокол.

И, конечно, не со зла этот Шерлок Холмс дал свою информацию, а, вероятно, по дурости и по легкомыслию, не подумавши, что за его канцелярским слогом и бездуш-

ной резолюцией стоит, может быть, даже и невиновный человек.

Так или иначе, дело завертелось. И через четыре месяца шофера выпустили на волю.

И вот тут, на воле, он и столкнулся с тем, что в таких случаях иногда бывает.

Мы не знаем, что именно с ним произошло. Но знаем, что в подобной ситуации иной раз даже и близкие товарищи при встрече малодушно перебегают на другую сторону, чтоб их не заподозрили в чем-нибудь неблаговидном. И с работой, наверно, у него не ладилось. Поскольку мало кому охота была брать в свое учреждение чубаровца. И знакомые, вероятно, отвернулись и повсюду его встречали с кривой усмешкой. И жакт, возможно, уже успел свинью подложить.

Мы не знаем, так ли именно было, но, наверно, что-нибудь вроде этого случилось...

Ну, дали ему теперь путевку.

Ну, поедет он в Кисловодск. Ну, прибавит три кило. Ну, там ему еще запломбируют зубы. И цветы будут к обеду подкладывать. Но характер у него уже изменится к худшему, потому что он испытал на себе самое большое свинство, которое может быть,— небрежное, безучастное и бездушное отношение к человеку. Отношение, как к вещи, на которой наклеен ярлык.

Конечно, потом все это забудется и, как говорится, травой зарастет. И снова он станет веселый и беспечный. Но все же лучше бы обходиться без таких передряг.

Давеча мы шли по улице (и в портфеле у нас лежало это дело) и вдруг видим — на огромной подводе везут какой-то груз. Какие-то три места. Какие-то, наверно, машины.

И до того этот груз, мы видим, бережно и аккуратно везут, что нас прямо как-то даже озадачило.

Все чистенько и аккуратно упаковано. И на ящиках сделаны разные трогательные надписи, достойные груза. Наискось крупно написано: «Осторожно». И сбоку: «Не бросать». И, кроме того, указано: «Верх» и «Низ».

Особенно нас почти до слез тронула последняя надпись красными буквами — «Верх» и «Низ».

Это уж, знаете, предел возможной и любовной осторожности. Это, знаете, чтоб груз случайно вверх ногами не поставили. А то, мало ли, может, там какой-нибудь незначительный шпингалетик выпадет и потом его ищи-свищи, или там какой-нибудь отдельный шпинек сомнется. И будет некрасиво. Вот и пишут, чтоб не вертели товар.

И я тогда подумал — вот если бы в ташкентском уголовном розыске примерно так же (соблюдая хотя бы эти надписи) отнеслись к человеку, то ничего подобного не случилось бы. И шофер и без этой злосчастной истории съездил бы на курорт.

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

Вот какой случай произошел в Арзамасе. Там у них, как сейчас выясняется, имеется войлочная фабрика.

Что именно производит эта фабрика, я не берусь сказать. Но надо думать, что не войлочные стельки к сапогам, а что-нибудь в высшей степени исключительное, полезное для всех в гражданском смысле. Может быть, там фетровые валенки и так далее.

Но не в этом суть.

Вот что произошло на этой фабрике.

Во время обеденного перерыва пять девушек, собравшись вместе, начали шутить и болтать всякую чушь и ерунду. Ну естественно — молодые девушки. Они только что поработали. Теперь у них перерыв. И, конечно, им охота немного пошутить, посмеяться и пококетничать.

Тем более это не профессора какие-нибудь там, сухари и педанты, интересующиеся только, может быть, интегралами и так далее. А попросту это самые обыкновенные девушки в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

Так что и разговор у них был скорее забавного содержания, чем имеющий научную подкладку.

Короче говоря, они беседовали о том, кто кому нравится и кто за кого замуж стремится.

И ничего тут плохого нет. Отчего об этом не поговорить? Тем более обеденный перерыв. И тем более был чудный весенний день. Конец февраля. Первое, так сказать, пробуждение природы. Солнце. Воздух этакий сумасшедший. Птички чирик-чирик. На душе весело и забавно.

И вот сидят эти пять девушек и славно между собой беседуют.

А одна из этих девушек была, как теперь говорится, особенно заводная.

И когда речь зашла насчет замужества, она взяла бумагу и карандаш и, весело смеясь, сказала всем собравшимся, что я, дескать, решила запротоколировать все, об чем мы тут с вами беседуем. И кто кому нравится, я сейчас

в протокол запишу, и, может быть, из этого гаданья у нас что-нибудь более реальное получится.

Тут все начали смеяться и хохотать. И начали шутить с полным вдохновением.

И тут они под горячую руку возьми и сочини забавный протокол. Как говорится: слушали — постановили. Этой постановили выйти замуж за этого. А этот обязан сделать предложение этой. И так далее... Все в этом духе.

Ну, шутка. Баловство. Пустяки во всех отношениях. Ну, дурацкое дело, не стоящее внимания.

Собственно, мы даже не знаем, каким образом этот забавный протокол попал к начальству. Скорей всего какой-нибудь там типус, страдающий сахарной болезнью и пучеглазием, подложил эту бумажку на стол директору. А может быть, он и лично, на своих полусогнутых, явился в кабинет директора и, вздохнувши, передал ему протокол — дескать, вот, взгляните, чего наши девицы выкомаривают.

Директор Кистанов, сделав постное лицо, зачитал протокол и пришел в неописуемое расстройство.

Двух девиц он уволил с фабрики, как буквально сказано в приказе, «за разлагательную работу, выразившуюся в организации официальной секции с наличием протокола, ставившую себе целью обработать парней в мелкобуржуазном духе».

Одной девице он сделал строгий выговор с предупреждением. А еще двум — поставил на вид.

Может быть, те и поплакали, не знаем, но только, поплакавши, решили подать протест о неправильном увольнении.

И вот тут началась канитель и волынка, которая до сего времени продолжается.

В общем, обиженные подали заявление в конфликтную комиссию.

Фабричная конфликтная комиссия (РКК) под председательством того же самого директора подтвердила увольнение.

Тогда девушки подали заявление в союз.

Там отнеслись внимательно к женскому горю.

Инспектор ЦК союза шерстяников вынес такое совершенно правильное постановление:

«Факт составления протокола, в котором было прикрепление девушек к парням с целью выйти за них замуж, не может служить поводом для их увольнения. А поэтому решение РКК, как неправильное, отменить».

Постановление это, однако, не повлияло на черствую душу директора.

И тогда инспектор посоветовал девушкам подать в народный суд.

Народный суд постановил отменить увольнение и уплатить уволенным за вынужденный прогул.

Казалось бы, все сложилось хорошо и отлично. И можно, казалось бы, снова начать женские разговоры о любви и браке. Но не тут-то было.

Директор, получив извещение от народного судьи, решил заняться домашним воспитанием молодых особ.

И вот, имея самые благие намерения, он пишет в приказе об этих злосчастных девушках нижеследующее:

> «Дело, которое они организовали, не сумело причинить вреда. Но товарищи В. и Г. как организаторы этой никому не нужной группы по обработке парней получили моральное наказание. Все это должно в дальнейшем научить тт. В. и Г. как организаторов отделять полезное от вредного, ненужного дела...»

Может быть, когда-нибудь в дальнейшем народные суды будут к чему-нибудь приговаривать за подобный стиль и за такие обороты речи, но пока с этим приходится мириться.

Далее в приказе говорится:

> «Принимая во внимание, что В. и Г. уже морально и общественно наказаны, отменить приказ в части снятия их с работы, оставив прежнюю формулировку в определении поступка».

Короче говоря, приказ, как можно видеть, оставлял за девушками унизительную и дурацкую кличку «организаторов секции по обработке парней».

И как девушки ни бились и как они ни протестовали, ничего у них не вышло.

Мы не сомневаемся, что ЦК союза придет на помощь и доброе имя пяти девушек (которым всем вместе девяносто пять лет) будет восстановлено в прежнем своем блеске. Но нас тревожит, что дело это крайне затянулось.

Шесть месяцев тянется подобная канитель. И навряд ли это благоприятно отражается на здоровье и наружности всех участников дела.

Да и сам директор, наверное, слинял и окончательно перестал иметь успех у женщин.

А скорей всего он даже и никогда успеха не имел. И это отчасти чувствуется по его характеру.

В общем, жало нашей конкретной сатиры направлено в аккурат на всякого сорта сухарей и педантов, которые не любят и не понимают смеха и веселья.

Ну пусть бы девушки посмеялись. Подумаешь, какая беда! Ну что могло из этого получиться? Ровно ничего. Главное, забавно видеть, что он заступился за парней.

Как будто те бедные-несчастные, и вот сейчас их обработают «в мелкобуржуазном духе». А те небось, как говорится, и сами с усами. И обошлись бы без самосильной поддержки директора.

Пустое и глупое дело. А сколько из-за него криков, шума и огорчений.

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

За последнее время пламенные дела творятся повсюду.

Летчики ставят мировые рекорды. Строительство расширяется. Торговля процветает. Одна группа граждан неожиданно вдруг поднялась на гору Казбек. И чуть ли даже не достигла одной из ее славных вершин. Другая группа граждан плывет, представьте себе, на яликах в Казань. Третьи, наоборот, сидят дома и, кто чем может, приносят посильную пользу своим личным присутствием.

Многие вдобавок исключительно выросли. Другие стремятся культурно провести время. Много купаются. И так далее.

Так что при таком обороте дела как-то оно даже не хочется видеть что-нибудь недостойное, какое-нибудь там мелкое арапство или жульничество. Как-то на светлом фоне досадно это наблюдать и с этим рядом находиться.

Но в том месяце, производя обмен квартир, мы как раз столкнулись с этим. И теперь желаем в печати осветить для поучения остальных граждан и чтоб другим было неповадно заниматься очковтирательством.

Те, которые менялись с нами комнатой, прикинулись сначала идейными людьми.

— Обманывать вас,— сказали они,— не входит в наше намерение. Мы хотим предупредить вас, что наша комната находится в квартире, под которой расположен тир. И там стреляют в цель, благодаря чему вы можете иной раз услышать звуки выстрелов. Но к этому не надо прислушиваться, и тогда в той квартире жить будет отчасти можно.

Мы с женой были растроганы честностью этих людей. И мы тоже откровенно им сказали:

— Что касается нашей квартиры, то дефекты у нас по сравнению с вашими невелики. И мы даже удивляемся, чего мы ее меняем. Это дивная и теплая квартира, под которой в течение пяти лет находилась пекарня. Так что наши жильцы отвыкли даже покупать дрова. Но лет девять назад пекарня эта закрылась, и туда въехал кустарь. И он там теперь чинит примуса и детские салазки.

Которые с нами менялись нам сказали:

— Значит, выходит, что под вами слесарная мастерская. Уж наверно, там стоит адский шум и грохот.

А честно говоря, грохот у нас стоял действительно умопомрачительный. И главное, сильно гарью пахло. Так что моя супруга, как южанка, находилась почти все время в полуобморочном состоянии. И врач категорически запретил ей тут жить. И через это мы решили поменять нашу комнату.

Но теперь, когда речь зашла начистоту, мы откровенно сознались, что шум у нас, конечно, есть, но зато и у вас стрельба — тоже, как говорится, чего-нибудь да стоит.

Который с нами менялся так сказал:

— Да, но, простите, что я за дурак — переезжать сюда грохот слушать. Уж лучше я в таком случае буду слушать стрельбу. Все-таки она укрепляет нашу мощь и вырабатывает глазомер. А что я буду, простите, слушать у вас? Примуса и кастрюльки. Ну нет, знаете ли, без доплаты я сюда не ездок.

Короче говоря, мы ему немного приплатили, и он с нами поменялся. Его соблазнило, что тут у нас детей не было. Он к детскому крику относился пассивно. Он не любил это.

Но, конечно, он не учел, что тут у нас в квартире были уже три дамы под сомнением. Из которых у одной на этих днях должно что-нибудь получиться. Но говорить ему об этом не хотелось. Зачем же расстраивать человека заранее?

Короче говоря, мы с ним поменялись апартаментами. И вскоре убедились, что имели дело с арапом.

Кроме тира, он нам подсунул вундеркинда. Это был подросток, который за свою игру на скрипке получил похвальный отзыв на музыкальной олимпиаде, благодаря чему этот малолетний артист безостановочно пиликал на своем инструменте, так что у жены и тут началось полуобморочное состояние.

Кроме того, тут в квартире жил ненормальный. Он тут жил с братом и с матерью.

Правда, это был сравнительно тихий ненормальный. И даже первое время было забавно за ним наблюдать. Но все-таки, как говорится, зачем же нам такое избранное общество? Это неприятно и ночью могло пугать.

И вдобавок, когда у нас созрело решение снова поменяться комнатой, это наличие сумасшедшего сыграло отрицательную роль в процессе обмена. И мы даже не могли поменяться, поскольку все боялись сюда переезжать. А когда мы менялись, то этот ненормальный жил на даче, и мы понятия о нем не имели.

А теперь он на каждый звонок выбегает в коридор в нижнем белье, и с ним ничего нельзя было поделать.

Мы с женой первое время закрывали его в уборную. Но это не достигло цели, поскольку те, которые с нами менялись, всякий раз, как нарочно, заглядывали и туда, чтобы увидеть, как и что у нас там есть. А тот, естественно, выбегал оттуда все равно как сумасшедший. И, конечно, пугал пришедших до того, что те хлопались в обморок.

Так что мы так и не могли пока что поменяться. И даже хотели в суд подать на того, который нам все это устроил и сам занял наше помещение. Но нас то успокаивало, что он, может быть, вообще останется без комнаты. Поскольку там, кажется, весь дом будут срывать, чтобы расширить улицу. Это старый дом, и он слишком выпирал среди других домов.

Его хотели, как в Америке, немного пододвинуть назад, метров на пять. И уже начали в подвале что-то копать, чтоб сообразить, куда, в крайнем случае, поставить машины. Но там еще до прибытия машин у них получилась какая-то трещина. И ввиду дряхлости этого дома его решили вообще к черту срыть, чтоб построить что-нибудь более достойное эпохи.

Так что этот жулик, подсунувший нам свое логово, теперь и сам поставлен в затруднительное положение.

Он думал, что своим обманом он нас поймал, как говорится, на пушку. Но не тут-то было. Обманом не проживешь. И теперь это ему и всем поучение.

ПРОЩАЙ, КАРЬЕРА

Вот какой случай произошел со мной этим летом.

По телефону позвонил мне один иностранец. Он назвал свою фамилию. И сказал, что он писатель. Причем перед разговором с ним произошла такая сцена.

Кто-то, не знаю, может быть, служащий, вызвав меня, сказал в трубку:

— С вами, товарищ, говорят из Европейской гостиницы. Просьба не отходить от аппарата и не вешать трубку, поскольку с вами будет беседовать одно иностранное лицо. Оно сейчас одевается и сию минуту подойдет.

И вот я жду минуту. Две. Никто не подходит. Я уже хочу повесить трубку, как вдруг раздается голос. Говорит иностранец на ломаном русском языке:

— Любезный коллега, я есть один интурист. Я есть писатель. Юмор — как и у вас — это моя стихия. Я пишу комические стихи. Не найдете ли вы интересным встретиться со мной?

Я сказал, что это время я занят, но дня через два я могу с ним повидаться.

— О, нет,— сказал он,— через два дня я уже уеду.

— Тогда завтра.

— Завтра? — сказал он тоном человека, которого очень просят.— Нет, завтра я тоже никак не могу. Завтра мы едем в Детское Село осматривать дворцы. А вечером состоится наш отъезд. Давайте лучше увидимся сегодня. Только я приезжий. Мне будет трудно вас отыскивать. Не разрешите ли вас попросить пожаловать ко мне.

Из уважения к его профессии я согласился заехать к нему на полчаса. Причем сказал, что заеду около восьми часов вечера.

Он радостно сказал:

— Полчаса — это меня вполне устраивает. К тому же больше я и сам не смогу. Мы немного поговорим, и я вас сниму на память. Но что касается восьми часов, то в восемь часов, любезный коллега, мы уже идем в концерт. В восемь часов я никак не могу с вами встретиться.

Меня начала наконец сердить эта беседа. Тем более что был уже шестой час вечера. И до восьми оставалось около двух часов. Я с некоторым недоумением спросил его:

— В таком случае я не понимаю вас. Вы хотели со мной увидеться. Завтра и послезавтра вы не можете, но я вижу, что и сегодняшний день у вас тоже совершенно заполнен.

— Абсолютно заполнен,— сказал он счастливым тоном.— Абсолютно, представьте себе, расписан каждый час. Но мы с вами, коллега, можем найти выход. Я вас попрошу пожаловать ко мне сейчас. Я как-нибудь выкрою для вас полчасика свободных до обеда.

Растерявшись от такой непосредственности, я не нашел сказать что-нибудь определенное. И, что-то пробормотав о своей болезни, повесил трубку.

Но вот около двенадцати часов ночи снова раздается звонок, и голос с почтительной любезностью снова просит не отходить от телефона, так как сейчас со мной будет беседовать иностранное лицо.

Я снова жду минуту. Потом две. И уже из чистого любопытства не вешаю трубки — ожидаю, когда наше приезжее лицо завяжет перед зеркалом галстук или застегнет подтяжки.

Наконец раздается знакомый счастливый, самовлюбленный голос:

— Добрый вечер, коллега. Вот мы и вернулись из концерта. Я прошу вас сейчас же, без возражений, пожаловать ко мне. Нет, не беспокойтесь, что поздно. Я ранее двух часов ночи все равно не ложусь. И мы вполне можем около трех четвертей часа провести в приятной беседе.

Я еле сдержался, чтоб не сказать резкостей приезжему писателю. Вероятно (я подумал), у него какая-то иная психика. И мы не можем с ним столковаться. Он не понимает, что мне просто неприятно такое дурацкое приглашение, когда я вызываюсь «на время», как шансонетка в каком-нибудь буржуазном ресторане.

И, снова сославшись на нездоровье и поздний час, я отказываюсь приехать.

И вот, как ни в чем не бывало (я не преувеличиваю), на другой день иностранец снова звонит мне через служащего.

И, судя по его самоуверенному тону, я вижу, что он действительно не понимает некоторой неловкости своего поведения.

— Ну вот, коллега, мы и приехали из Детского Села,— сказал он.— И до обеда мы имеем почти что час времени. Как вы на это смотрите?

Я хотел было послать его к черту, но, подумав о международных осложнениях, снова в деликатной форме отклонил приглашение.

— Но почему вы, наконец, не хотите исполнить мою просьбу,— сказал он с какой-то капризной ноткой в голосе.— Ведь вам же, наверное, тоже интересно увидеть коллегу по перу.

— Очень интересно,— сказал я и повесил трубку.

И вот на другой день случайно я рассказал эту историю одному из работников ВОКСа.

Тот спросил, не помню ли я фамилии этого иностранца.

Я назвал фамилию. Тот, порывшись в своих бумагах, сказал:

— О, это известный банкир. Он вчера со своей группой отбыл из Ленинграда. У него большой банкирский дом в Н.

Я, как говорится, почувствовал в груди стеснение и переспросил:

— Вы не путаете ли? Он назвал себя писателем, а не банкиром.

— Очень возможно — он и нам сказал, что он писатель и недавно выпустил книгу стихов. Но тем не менее он, кроме того, крупный банкир и финансовый воротила.

Тогда мне стало многое ясно. Мне стали понятны и эти телефонные вызовы. И пренебрежительный, развязный и самоуверенный тон человека, знающего себе цену и не желающего слушать возражений.

Он хотел увидеть меня между обедом и музеем. И в этом было что-то удивительно досадное, неуважительное, это была та грубая, оскорбительная самоуверенность купца и хозяина, от которой обычно гаснет и затухает искусство.

И вот я стал уже позабывать эту дурацкую историю. Но на этих днях я случайно встретился с одним его соотечественником. Это был иностранный специалист, инженер, работающий на одном из ленинградских заводов.

Я рассказал ему эту историю. Он засмеялся и сказал:

— А что вас удивляет в этом? Его отношение? Это было исключительно хорошее отношение. Видите, писатели, художники, артисты, за исключением крупных знаменитостей,— это у нас богема, это даже не приглашается в лучшие финансовые дома. А если вас приглашают, то это уже карьера. Но если вас приглашает такой банкир, такое влиятельное лицо, как вы мне сказали, то это уже блестящая карьера. И не в его привычках выслушивать отказ. Вы ему отказали в своем отечестве. У вас на этот счет вообще спутаны понятия. И, например, артисты у вас чуть не первые люди. А у нас это мелкота, богема... А попробовали бы вы у нас отказаться к нему приехать.

— И что тогда?

— Тогда? Прощай, карьера... Я помню, у нас в один дом приглашен был литератор. И он, представьте себе, не встал со стула, когда с ним поздоровалось одно влиятельное лицо, один банкир, богач. Ого! Он впоследствии не нашел-таки ни одного издателя, который захотел бы печатать его труды... Вы не знаете соотношения сил. Это богема, и финансовые тузы при встрече им подают два пальца.

— Значит, если бы я отказался к нему приехать...

Иностранный специалист многозначительно свистнул и, закрыв глаза, сказал:

— Тогда за вашу карьеру, месье, я не дал бы ломаной монеты.

После этого случая я понял, что моя карьера в его стране окончательно испорчена.

Ну, как-нибудь, черт возьми, переживу.

ЕЩЕ О БОРЬБЕ С ШУМОМ

Итак, борьба с шумом энергично продолжается.

Но если говорить насчет борьбы, то в первую очередь хочется все-таки отметить радио. По силе звуков радио стоит на первом месте. И только, может быть, выстрелы дают более сильный звук. И то, как говорится, против выстрелов имеется своя наука — баллистика. А против радио научная мысль ходит как слепая.

Главное, досадно, что борьба с шумом началась не с этого открытия. Научная мысль почему-то в первую очередь пошла, так сказать, по трамвайному пути.

Но бесшумный трамвай — это, в конце концов, техника плюс, может быть, простая резина или там, говоря научным языком, гуттаперча.

Но что может сделать та же резина против радио — вот это еще не выясненный вопрос.

Лично я еще в хороших условиях в смысле радио. Некоторые в своих квартирах слышат радио и с улицы, и с верхних, и с нижних этажей, не говоря уже о соседях.

Один мой родственник с научной целью записывает все звуки, какие к нему доносятся со всего дома. Так он, если не врет, слышит у себя шестнадцать радиоаппаратов.

Лично я такого количества не слышу, но два радиоаппарата меня, прямо скажу, сильно удручают.

Ну, один сосед со своим аппаратом еще ничего. Про него нельзя сказать, что это большой любитель радио. Он с работы придет, прослушает детский час. И больше его не слыхать. Разве что, находясь под мухой, он поставит там еще минут на пять какое-нибудь пение. Вот вам и вся его радиопрограмма. Это мягкий, гуманный человек. И не дурак выпить. Так ему, как говорится, не до того.

Но другой сосед — это уж что-нибудь особенное. Он нарочно подолгу не выключает радио. И даже, идя, например, в баню, оставляет радио звучать.

Но каково было наше удивление, возмущение и ненависть, когда он, уехав в отпуск, оставил радио работать на полный ход! Он не выключил его. А свою комнату закрыл на висячий американский замок и сам, как говорится, преспокойно отбыл на месяц в Крым. Он туда загорать поехал. На южный берег Крыма. А мы, как говорится, должны в его комнате терпеть шум.

Первые два дня мы сразу даже не сообразили наличие подобной забывчивости. Но потом слышим звучание совершенно не в урочное время. И вдруг видим: радио звучит круглые сутки.

Тогда я бегу в домоуправление и прошу в конце концов прекратить вышеуказанный шум.

Председатель говорит:

— Да, борьба с шумом идет, не спорю. И это, конечно, нехорошо со стороны жильца шум производить во время отпуска. Но ломать дверь, чтоб туда войти, я не смею без его разрешения.

Тогда мы с другим его соседом делаем складчину и посылаем ему в Крым телеграмму, дескать, забыл, иуда, закрыть радио. Срочно дай согласие сломать дверь с петель. Но поскольку от нервного раздражения я в последний момент в телеграмме добавил еще несколько язвительных слов, то он не ответил мне на телеграмму.

Тогда я хотел как-нибудь привыкнуть к этим постоянным звучаниям в его комнате. И к музыке я уже стал понемножку привыкать, но когда какая-то девица стала из бюро погоды перечислять, где какая температура находится, то я не мог более этого терпеть и выскочил из комнаты, чтоб что-нибудь произвести.

Один жилец мне говорит:

— Вы поднимитесь на крышу и срежьте его антенну. Без антенны редко какое радио может звучать. И через это вы найдете себе душевный покой.

Тогда я, не будучи никогда на крыше и даже не понимая, как туда ходят, с опасностью для жизни влез туда и в аккурат над его окном отломал громадную, как багор, антенну.

Но каково же было мое удивление, когда, спустившись вниз, я снова услышал звуки!

Тогда жилец говорит:

— Вероятно, у него очень сильное радио, что оно без антенны играет. Если хотите, я, говорит, к вам вечером одного подростка подошлю, он в радиомеханике хорошо понимает.

И вот прислал он мне вечером подростка.

Подросток осмотрел все, что полагается, и говорит:

— Вы, говорит, у кого-то другого антенну сломали. За что ждите себе неприятности. А что касается вашего соседа, то у него никакой антенны не должно быть, поскольку у него всего-навсего радиоточка, то есть просто у него идут провода и к ним приставлен громкоговоритель. Если вы хотите, я отрежу в коридоре эти провода, и оно перестанет давать звучание.

Так он и сделал. И музыка сразу прекратилась. И наступила блаженная тишина. И я минут двадцать наслаждался этим в полное свое удовольствие.

Но потом мой другой сосед ни с того ни с сего поставил свое радио, и снова началась чертовщина и завывание. И тут вдобавок еще пришли ко мне объясняться насчет сломанной антенны, и тогда начался шум и крики другого порядка, которые еще более досаждают душу и ослабляют кровь.

Вообще, в первую голову надо что-нибудь насчет радио придумать, а потом уже с новыми силами приняться за трамвай. Тем более что на поверку оказалось — выпущенный бесшумный трамвай довольно-таки порядочно шумит, как там его ни называй.

Может быть, регулятор какой-нибудь придумать для радиоточек?

Ничего не скажу, радио — великое открытие, но уж очень оно, как бы сказать, в печенку въелось.

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ

Недавно зашел ко мне один человек и поведал мне свою горестную историю. Он попросил, чтоб я написал фельетон на рассказанную тему.

Но его история меня смутила. И я даже сначала отказался что-либо сделать, потому что без проверки нельзя было написать. А проверить этот факт, как вы сейчас увидите, не представлялось возможным.

Но я нашел выход. Эту историю я расскажу без фамилий. И если это правда, то пусть виновник этого дела, так сказать, морально поперхнется моим фельетоном.

В общем, вот как это было.

Директор одного небольшого учреждения накануне выходного дня сказал своему хозяйственнику, что завтра он

с семьей переезжает на дачу, и поэтому ему нужна грузовая машина перевезти вещи.

Заведующий хозяйством в деликатной форме ответил, что вот, дескать, редкий случай, когда он не может удовлетворить просьбу директора. Две грузовые машины в капитальном ремонте, одна мобилизована на дорожное строительство, а что касается четвертой машины, то эта машина еще в начале мая обещана счетоводу М., который завтра тоже переезжает на дачу.

Разговор происходил при людях, и директор ничем не выдал своего раздражения, но когда посторонние люди вышли из кабинета, директор, грубо ругаясь, набросился на заведующего, говоря, что слова директора есть не просьба, а приказание, и что если машины завтра не будет, то пусть он, чертов сын, убирается с работы. И, дескать, вообще, если на то пошло, ему надоел его независимый тон, облокачивание на столы и стулья и полное отсутствие той почтительности, которую пора бы наконец выработать в подчиненных, как это бывает в других учреждениях.

Заведующий оказался не робкого десятка. Он так сказал директору:

— Почтительности своей я не теряю. Насчет облокачивания на столы и стулья всецело согласен с вами, что это, пожалуй, лишнее с моей стороны. Но ваша грубая брань плюс угрозы тоже, как говорится, ни на что не похоже. И если бы вы происходили из людей прежней формации, тогда было бы понятно подобное отношение к служащему, но вы человек пролетарской закваски, и откуда у вас возник такой генеральский тон — вот это я просто не понимаю. Все ваши приказания я всегда беспрекословно выполнял. Ваша преподобная супруга, если на то пошло, буквально не вылезает у меня из легковой машины. Но я вам, кажется, об этом ничего не говорю. Потому что я не позволю себе сделать замечание своему начальнику или его супруге с целью унизить их достоинство. Но что касается грузовой машины, которую я должен отобрать от счетовода, чтобы отдать ее вам,— вот с этим я принципиально не согласен и этого не сделаю, хотя бы вы в меня палили из пушек.

Эти слова привели директора в бешенство. Он так закричал:

— Ты забылся, нахал, где ты и что ты! Ты мне осмеливаешься говорить такие слова, как если бы ты был мой начальник, а я твой подчиненный. Я действительно тебя выгоню из учреждения. И тогда ты поймешь разницу между нами.

— Хотел бы я посмотреть, как вы меня выгоните,— сказал заведующий.— У меня нет преступлений, и я чист душой. И вам не так-то будет легко произвести мое увольнение, поскольку мотив для этого не возвышает вас в глазах окружающих.

— Насчет легкости ты не беспокойся,— сказал директор.— Ты у меня так полетишь, что своих не узнаешь.

И вот проходит десять дней, и, как с ясного неба ударяет гром, директор отдает в приказе заведующему строгий выговор за бесхозяйственность и разбазаривание имущества.

Потом проходят еще две недели, и заведующий, еще не придя в себя от первого удара, снимается с должности с указанием в приказе, что он развалил работу.

Ошеломленный заведующий начинает бегать из месткома в союз, из союза в нарсуд. И всем доказывает, что никакого развала не произошло и никакой бесхозяйственности не было, а скорее было наоборот, что он слишком перегибал палку, чтобы наладить дело. И этим он даже вызвал нарекание в разбазаривании имущества. Он, дескать, продал дрожки и лошадь, с тем чтобы приобрести вещи, более необходимые учреждению. Что, наконец, все это дело — личная месть директора.

Но все эти робкие слова тонули в пучине всяких актов и документов, предъявленных директором.

Кроме того, возмущенный директор заявил в союз, что никакой личной вражды у него не было, а что если он однажды и накричал на заведующего, то за его неудовлетворительную работу.

И тут директор, порывшись в документах, предъявил счета, по которым выходило, что заведующий дважды покупал шины из частных рук. И хотя заведующий кричал, что это было сделано в силу крайней необходимости и согласно разрешению директора, этот факт сыграл решающую роль. И приказ директора остался в силе, с некоторым, правда, смягчением, чтобы пострадавший мог бы найти себе какую-нибудь мелкую работишку.

Когда заведующий пришел за расчетом, директор, улыбаясь, сказал ему, случайно встретившись в коридоре:

— Ну что, получил дулю?

Заведующий хотел было броситься на директора, но сдержался и, с презрением посмотрев на него, вышел.

И вот он теперь пришел ко мне с просьбой написать фельетон.

И вот фельетон перед вами.

Вот вам, так сказать, своего рода «потолок бюрократизма». Все сделано директором весьма тонко и с таким знанием человеческой души, что тут и доказать ничего нельзя. Этот чиновник, у которого сердце обросло мохом, пожмет плечами и от всего откажется.

И только общественное мнение и товарищеская поддержка могли бы с этим вступить в борьбу.

Итак, если про директора была рассказана правда, то пусть он поперхнется моим фельетоном.

В ПУШКИНСКИЕ ДНИ

ПЕРВАЯ РЕЧЬ О ПУШКИНЕ

С чувством гордости хочется отметить, что в эти дни наш дом не плетется в хвосте событий.

Нами, во-первых, приобретен за 6 р. 50 к. однотомник Пушкина для всеобщего пользования. Во-вторых, гипсовый бюст великого поэта установлен в конторе жакта, что, в свою очередь, пусть напоминает неаккуратным плательщикам о невзносе квартплаты.

Кроме того, под воротами дома нами вывешен художественный портрет Пушкина, увитый елочками.

И, наконец, данное собрание само за себя говорит.

Конечно, может быть, это мало, но, откровенно говоря, наш жакт не ожидал, что будет такая шумиха. Мы думали: ну, как обыкновенно, отметят в печати: дескать, гениальный поэт, жил в суровую, николаевскую эпоху. Ну, там на эстраде начнется всякое художественное чтение отрывков или там споют что-нибудь из «Евгения Онегина».

Но то, что происходит в наши дни,— это, откровенно говоря, заставляет наш жакт насторожиться и пересмотреть свои позиции в области художественной литературы, чтоб нам потом не бросили обвинение в недооценке стихотворений и так далее.

Еще, знаете, хорошо, что в смысле поэтов наш дом, как говорится, бог миловал. Правда, у нас есть один квартирант, Цаплин, пишущий стихи, но он бухгалтер и вдобавок такой нахал, что я прямо даже и не знаю, как я о нем буду говорить в пушкинские дни. Приходит позавчера в жакт, угрожает и так далее. «Я, кричит, тебя, длинновязый черт, в гроб загоню, если ты мне до пушкинских дней печку не переложишь. Я, говорит, через нее угораю и не могу стихов писать». Я говорю: «При всем чутком отношении к поэтам

я тебе в данное время не могу печку переложить, поскольку наш печник загулял». Так ведь кричит. За мной погнался.

Еще спасибо, что среди наличного состава жильцов у нас нет разных, знаете, писательских кадров и так далее. А то бы тоже, наверно, в печенку въелись, как этот Цаплин.

Ну, мало ли, что он может стихи писать. Тогда, я извиняюсь, и мой семилетний Колюнька может в жакт претензии предъявлять: он тоже у меня пишет. И у него есть недурненькие стихотворения:

Мы, дети, любим тое время, когда птичка в клетке.
Мы не любим тех людей, кто враг пятилетке.

Шпингалету семь лет, а вот он как бойко пишет! Но это еще не значит, что я его хочу равнять с Пушкиным. Одно дело — Пушкин, а другое дело — угоревший жилец Цаплин. Прохвост такой! Главное, навстречу жена идет, а он за мной как погонится. «Я, кричит, тебя в мою печку головой сейчас суну». Ну что это такое?! Сейчас пушкинские дни происходят, а он меня так нервирует.

Пушкин пишет так, что его каждая строчка — верх совершенства. Такому гениальному жильцу мы бы еще осенью переложили печку. А что ему будем перекладывать, Цаплину,— это я прямо поражаюсь.

Сто лет проходит, и стихи Пушкина вызывают удивление. А, я извиняюсь, что такое Цаплин через сто лет? Нахал какой!.. Или живи тот же Цаплин сто лет назад. Воображаю, что бы там с него было и в каком бы виде он до наших дней дошел!

Откровенно говоря, я бы на месте Дантеса этого Цаплина ну прямо изрешетил. Секундант бы сказал: «Один раз в него стрельните», а я бы в него все пять пуль выпустил, потому что я не люблю нахалов.

Великие и гениальные поэты безвременно умирают, а этот нахал Цаплин остается, и он нам еще жилы повытянет.

(*Голоса.* Расскажите про Пушкина.)

А я про Пушкина и говорю, а не про Лермонтова. Стихи Пушкина, я говорю, вызывают удивление. Каждая строчка популярна. Которые и не читали, и те его знают. Лично мне нравятся его лирические стихи из «Евгения Онегина»: «Что ты, Ленский, не танцуешь» и из «Пиковой дамы»: «Я хотел бы быть сучочком».

(*Голоса.* Это оперное либретто. Это не Пушкина стихи.)

То есть как это не Пушкина? Что вы мне баки заколачиваете?.. Хотя я перелистываю наш однотомник и вижу —

в «Пиковой даме» действительно нет стихов... Ну, если эти стихи «Если б милые девицы все б могли летать как птицы» не Пушкина, то я уж и не знаю, что про этот праздник подумать. Короче говоря, я не буду Цаплину перекладывать печку. Одно дело — Пушкин, а другое дело — Цаплин. Нахал какой!

ВТОРАЯ РЕЧЬ О ПУШКИНЕ

Конечно, я, дорогие товарищи, не историк литературы. Я позволю себе подойти к великой дате просто, как говорится, по-человечески.

Такой чистосердечный подход, я полагаю, еще более приблизит к нам образ великого поэта.

Итак, сто лет отделяют нас от него! Время действительно бежит неслыханно быстро!

Германская война, как известно, началась двадцать три года назад. То есть когда она началась, то до Пушкина было не сто лет, а всего семьдесят семь.

А я родился, представьте себе, в 1879 году. Стало быть, был еще ближе к великому поэту. Не то чтобы я мог его видеть, но, как говорится, нас отделяло всего около сорока лет.

Моя же бабушка, еще того чище, родилась в 1836 году. То есть Пушкин мог ее видеть и даже брать на руки. Он мог ее нянчить, и она могла, чего доброго, плакать на руках, не предполагая, кто ее взял на ручки.

Конечно, вряд ли Пушкин мог ее нянчить, тем более что она жила в Калуге, а Пушкин, кажется, там не бывал, но все-таки можно допустить эту волнующую возможность, тем более что он мог бы, кажется, заехать в Калугу повидать своих знакомых.

Мой отец, опять-таки, родился в 1850 году. Но Пушкина тогда уже, к сожалению, не было, а то он, может быть, даже и моего отца мог бы нянчить.

Но мою прабабушку он наверняка мог уже брать на ручки. Она, представьте себе, родилась в 1763 году, так что великий поэт мог запросто приходить к ее родителям и требовать, чтобы они дали ему ее подержать и ее понянчить... Хотя, впрочем, в 1837 году ей было, пожалуй, лет этак шестьдесят с хвостиком, так что, откровенно говоря, я даже и не знаю, как это у них там было и как они там с этим устраивались... Может быть, даже и она его нянчила... Но то, что для нас покрыто мраком неизвестности, то для них, вероятно, не составляло никакого труда, и они прекрасно

разбирались, кого нянчить и кому кого качать. И если старухе действительно было к тому времени лет под шестьдесят, то, конечно, смешно даже и подумать, чтобы ее кто-нибудь там нянчил. Значит, это уж она сама кого-нибудь там нянчила.

И, может быть, качая и напевая ему лирические песенки, она, сама того не зная, пробудила в нем поэтические чувства и, может быть, вместе с его пресловутой нянькой Ариной Родионовной вдохновила его на сочинение некоторых отдельных стихотворений.

Что же касается Гоголя и Тургенева, то их могли нянчить почти все мои родственники, поскольку еще меньше времени отделяло тех от других. Вообще я так скажу: дети — украшение нашей жизни, и счастливое детство — это, как говорится, очень и очень немаловажная проблема, разрешенная в наши дни. Детские ясли, очаги, комнаты матери и ребенка на вокзалах — все это суть достойные признаки одного и того же дела... Да, так про что же это я?

(Голос с места. Про Пушкина...)

Ах да... Вот я и говорю — Пушкин... Столетняя дата. А там, глядишь, вскоре ударят и другие славные юбилеи — Тургенев, Лермонтов, Толстой, Майков и так далее, и так далее. И пойдет чесать.

Вообще, между нами говоря, в другой раз даже как-то удивляешься, почему к поэтам бывает такое отношение. К певцам, например, я не скажу, чтоб у нас плохо относились, но уж настолько с ними не носятся, как с этими. А тоже, как говорится, таланты. И за душу хватают. И эмоциональность. И пятое-десятое.

Конечно, я не спорю, Пушкин — великий гений, и каждая его строчка представляет для нас известный интерес. Некоторые, например, уважают Пушкина даже за его мелкие стихотворения. Но я бы лично этого не сказал. Мелкое стихотворение — оно и есть, как говорится, мелкое и не совсем крупное произведение. Не то чтобы его может каждый сочинять, но, как говорится, посмотришь на него, а там решительно нет ничего такого уж слишком, что ли, оригинального и художественного. Например, представьте себе набор таких, я бы сказал, простых и маловысокохудожественных слов:

Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки Жучку посадив...
Шалун уж заморозил пальчик...

(Голос с места. Это «Евгений Онегин»... Это не мелкое стихотворение.)

Разве? А мы в детстве проходили это как отдельное стихотворение. Ну, тем лучше, очень рад. «Евгений Онегин» — это действительно гениальная эпопея... Но, конечно, и в каждой эпопее могут быть свои отдельные художественные недостатки. Вообще я так скажу: для детей это очень интересный поэт. И в свое время там у них он, может быть, даже был попросту детский поэт. А до нас, может быть, дошел уже несколько в другом виде. Тем более наши дети знаете как выросли. Их уже не удовлетворяет детский стих:

Паровозик чук-чук-чук,
Колесики тук-тук-тук,
Госиздату гип-ура,
Пети-мети автора...

Помню, знаете, у нас в классе задали выучить одно мелкое, ерундовое стихотворение Пушкина. Не то про веник, не то про птичку или, кажется, про ветку. Что будто бы растет себе ветка, а ей поэт художественно говорит: «Скажи мне, ветка Палестины...»

(*Голос с места.* Это из Лермонтова...)

Разве? А я их, знаете, обыкновенно путаю... Пушкин и Лермонтов — это для меня как бы одно целое. Я в этом не делаю различия...

(*Шум в зале. Голоса.* Вы лучше расскажите про творчество Пушкина.)

Я, товарищи, к этому и подхожу. Творчество у Пушкина вызывает удивление. Ему за строчку стихов платили по червонцу. Кроме того, постоянно переиздавали. А он, несмотря на это, писал, и писал, и писал. Прямо удержу нету.

Конечно, придворная жизнь ему сильно мешала сочинять стихи. То балы, то еще что-нибудь. Как сказал сам поэт:

Откуда шум, неистовые клики?
Кого, куда зовут и бубны, и тимпан...

Тимпан! Договорится же человек до этого...

Конечно, не будем останавливаться на биографических данных поэта: это всем известно. Но тоже, как говорится, с одной стороны — личная жизнь, квартира в семь комнат, экипаж, с другой стороны — сам царь, Николай Палкин, придворная жизнь, лицей, Дантес и так далее. И, между нами говоря, Тамара ему, конечно, изменила...

(*Шум в зале. Крики.* Наталья, а не Тамара.)

Разве? Ах да, Наталья. Это у Лермонтова — Тамара...

Вот я и говорю. А Николай Палкин, конечно, сам стихов не писал. И поневоле, конечно, мучился и завидовал поэту...

(*Шум в зале. Отдельные возгласы, переходящие в крики. Некоторые встают.* Довольно! Уберите оратора!)

Так вот, я кончаю, товарищи... Влияние Пушкина на нас огромно. Это был гениальный и великий поэт. И приходится пожалеть, что он не живет сейчас вместе с нами. Мы бы его на руках носили и устроили бы поэту сказочную жизнь, если бы, конечно, знали, что из него получится именно Пушкин. А то бывает, что современники надеются на своих и устраивают им приличную жизнь, дают автомобили и квартиры, а потом оказывается, что это не то и не то. А уж, как говорится, взятки гладки... Вообще, темная профессия, ну ее к богу в рай. Певцы как-то даже больше радуют. Запоют, и сразу видно, какой голос.

Итак, заканчивая свой доклад о гениальном поэте, я хочу отметить, что после торжественной части будет художественный концерт.

(Одобрительные аплодисменты. Все встают и идут в буфет.)

ДОМА И ЛЮДИ

Дом, в котором я сейчас живу,— очень солидный, современный дом недавней постройки.

В архитектурном отношении — это очень интересное здание. Оно очень любовно и не без души сделано.

Каждая квартира имеет балкон. Окна широкие. И солнце могучим потоком, без затруднения, проникает в крошечные уютные квартирки. Всюду ванны, мусорные ящики. Лестница вполне симпатичная, но немножко, к сожалению, узкая. Так что рояли пришлось подавать в окна, что, конечно, в свою очередь, до некоторой степени снижало музыкальную культуру.

И один наш композитор, взявший квартиру в пятом этаже, невыразимо страдал, когда тянули на канате предмет его творчества.

И действительно, это было как-то неестественно. Тем более что очень уж много было крику, когда его музыкальный инструмент стали подавать на блоке. Особенно стон стоял, когда с воздуха его стали протискивать в окно. Это был прямо музыкальный момент.

Но процедура закончилась вполне успешно, что всетаки делает честь архитектору, который подсознательно

учел, что маленькие окна окончательно зарезали бы композиторов.

Так или иначе, это пианино благополучно водворили в помещение. И композитор почти что сразу стал на нем бренчать, так что жильцы из четвертого этажа рысью побежали жаловаться управдому, поскольку слышимость оказалась уж очень что-то удивительная. Тот, представьте себе, играет пианиссимо, а до этих доходит такой тамбурмажор, что, как говорилось, хоть святых вон выноси!..

В художественном отношении наш дом тоже ничего себе оформлен. Имеются разные лепные украшения: гирлянды и кружочки. И это как-то ласкает взор.

Вдобавок, начиная с третьего этажа и выше, почему-то две колонны стоят и, как говорится, кушать не просят.

Собственно говоря, эти две колонны как бы даже ни к чему. Потому что все-таки назначение колонны — что-нибудь там поддерживать. А эти колонны вроде как бы даже ничего не поддерживают. А уж если на то пошло, их до некоторой степени дом поддерживает. Но и то хорошо, что их дом поддерживает. Все-таки античное искусство, так сказать, не падает.

А тоже упадет такая кирпичная махина, так благодарю вас за греческую архитектуру!

Но вот уже третий год все идет благополучно, и это лишний раз доказывает, как стойко держится у нас эллинское искусство.

Очень оригинально у нас дворик устроен. Тоже, если хотите, на античный лад. Но уже нечто римское чувствуется. Отчасти он напоминает летние римские бани или внутренние небольшие помпейские дворики для хозяйственных нужд.

Небольшой размер дворика не остановил все-таки архитектора в его стремлении дать что-нибудь исключительное. Посередине двора устроен большой фонтан. Такой бассейн, и в центре лепная женская фигура с кувшином. И на это довольно забавно смотреть, когда вечерком идешь через двор слегка под мухой.

Нет, в художественном отношении наш архитектор максимально мобилизовал свои силы. Даже можно было немного меньше стараться. Тем более, я так думаю, дома главным образом украшают люди, которые въезжают туда со своим новым бытом.

Но в общем и целом наш дом хорошо устроен. И, за исключением вышеуказанных мелочей, все в полном порядке и все как и требуется.

Все-таки наши архитекторы до некоторой степени как-то справляются со своей задачей.

Бывало, выйдешь вечерком на свой балкон и чувствуешь себя современным жильцом нашего столетия. Красиво, высоко, и легко дышится.

Но вот утром такой красоты уже нет. Утром уже не так славно получается, потому что напротив нашего дома притулились два паршивеньких домика весьма пошлой мещанской архитектуры.

И на эти домики царской постройки очень уж невыносимо смотреть с высоты своего балкона. Они, так сказать, портят всю панораму и снижают архитектурную мысль до уровня посредственности.

Вообще, если говорить об архитектуре, то это большой минус, что, выводя современные постройки, рядом по большей части оставляют такие мизерные дома.

НА ПАРНАСЕ

Когда совершается какое-нибудь грандиозное событие,— ну, там завоевание Северного полюса, мировой рекорд на планере или, наконец, беспосадочный перелет в Америку,— то чувствуешь себя, с одной стороны, счастливым, а с другой стороны — несчастным, незначительным, мизерным, кусочком глины, получающим благоухание от соседства с розой.

С одной стороны, радость заполняет сердце, что у нас совершаются такие грандиозные победы, такие завоевания мирового значения. А с другой стороны, на душе неловко становится, что этого еще не бывает на нашем, как говорится, литературном Парнасе.

Конечно, душевно страдаешь от этих дел, потому что тоже хочется сделать что-нибудь исключительное, полезное и достойное нашего времени, как это не раз бывает у летчиков.

Нет, говоря фигурально, перелеты на литературном Парнасе у нас тоже есть. Может быть, они не такие чересчур грандиозные, как у тех. А может быть, и нет у нас таких точных приборов, какие бывают у летчиков. И через это не видать, кто куда летит и на какой высоте он находится.

Ведь там у них, на самолете, все отмечается согласно научным данным: какой подъем, какая, скажем, температура, сколько истрачено масла, денег и так далее.

Летчик летит и сразу видит, что с ним.

Ах, это очень досадно, что у нас нет таких приборов.

Конечно, критик — это тоже вроде как отчасти научный прибор.

Но одно дело — бездушная машина, а другое дело — человек с его нежной душой, склонной к простуде, к насморку, к чиханию, к смене настроения и так далее.

Предположим, кто-нибудь у нас полетел под самые небеса со своим литературным товаром.

Кругом литературные облака. Туман. Ветер. Что-то в морду моросит. Вдруг какой-нибудь там зритель, поглядевши в бинокль, восклицает:

— Этот-то куда, глядите, залетел. Бальзак и то туда не летал.

Тут сразу среди зрителей начинается разногласие. Один говорит:

— Да, высоко летит, и пропеллер, глядите, у него вертится.

Другой говорит:

— Летит-то он летит, но только он антихудожественно летит.

Третий говорит:

— Вообще, по-моему, он не летит, а просто он висит несамостоятельно, к чему-то себя привязавши.

Четвертый говорит:

— Тургенев и то выше летал.

Пятый говорит:

— Вообще гоните его к черту вниз. Он только коптит небо своим присутствием.

Услышавши эти слова, наш летчик, делая в это время мертвые петли над кровлей своего родного дома, падает к черту вниз, так и не поняв, что было с ним.

Нет, я вам так скажу — в этом смысле у нас маловыигрышная профессия.

Летчик, имея мужественное сердце, садится в свой самолет и летит как птица. И если самолет хорошо сделан и летчик вдобавок имеет прекрасные намерения и героическую душу, то победа почти всегда за ним остается.

А у нас другой там мужественный человек сел за стол. И стол, предположим, хорошей работы, из карельской березы. И материальная часть сравнительно в порядке. И масло есть. И намерения прекрасные. А оно что-то не так получается.

И сидит человек на стуле и страдает. И читатель, законно рассердившись, говорит:

— Глядите, какой еще один нашелся. Этот обормот выше своего стула приподняться не может. Никаких горизонтов нам не открывает. И только он масло и деньги на себя зря тратит.

Нет, профессия у нас не так интересна, как другие профессии. Единственный ее плюс — это то, что все, кто хотел, имели счастье в ней поработать.

У летчиков, говорят, строго. Там, говорят, и близоруких не принимают, и у которых сердце с перепугу замирает — эти тоже не годятся. И которые страдают туберкулезом и сахарной болезнью — тех вообще на аэродром не пускают.

А у нас в свое время как увидят, бывало, что человек перо до некоторой степени умеет в руках держать, так его под духовой оркестр несут и с почетом сажают за стол. И он что-то такое пишет от всего сердца. Как может. А может он плохо. И даже, прямо скажем, совсем не может.

И через это, я так думаю, много у нас хороших людей поломали себе ноги, падая с неба к черту вниз. И, может, через это, я так думаю, падает тень на плетень.

А может быть, скорее всего, и еще имеются какие-нибудь причины.

Может быть, критики, эти, так сказать, наши хрупкие приборы, скажут свое веское слово, почему наступили у нас сумерки на Парнасе.

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ

Дело, о котором мы вам хотим рассказать, на первый взгляд пустое и незначительное дело: присудили платить алименты однофамильцу.

Читателю, вероятно, не раз приходилось слышать о подобных фактах.

Ну, ошибка. Мелкая канцелярская неувязка. Досадная оплошность.

Но обилие такого рода ошибок заставляет внимательно к этому присмотреться.

Вот, например, на днях в «Красной газете» приводились примеры ошибок, допущенных милицией. Одного гражданина пытались ограбить. Прокурор обнаружил, что по ошибке задержан «заодно» и сам потерпевший. Другой гражданин, якобы по решению суда, просидел в 25-м отделении милиции более суток. При проверке оказалось, что с него надо было лишь взять подписку о невыезде.

Конечно, в каждом деле могут быть ошибки. Но если внимательно присмотреться, то за такого рода ошибками всегда почти можно увидеть непродуманность, небрежность и неуважительное отношение к человеку. Фамилия берется как пустой звук, как канцелярский значок, нужный для исполнения. А ведь за каждой фамилией — живой человек, живая жизнь, родные, знакомые, дети.

И такого сорта ошибки непростительны, и отвечать за них нужно по всей строгости, потому что зловредность таких ошибок исключительно высока.

Вот наглядный пример — дело, о котором мы начали говорить.

Один ленинградский рабочий с завода «Севзаплес», Иван Алексеевич Котов, полгода назад получил из Москвы повестку с требованием явиться в суд по делу об алиментах.

Жена Котова, увидев эту повестку, весьма сильно расстроилась и огорчилась, и семейная жизнь Котова подверглась тяжкому испытанию.

Но Котов не чувствовал за собой вины. Он в Москву не поехал, а взял и написал судье письмецо, в котором сообщил, что повестка его очень удивила и он теперь хотел бы знать, кто именно требует с него алименты.

Судья сообщил ему фамилию гражданки и при этом заявил, что заочное решение суда уже состоялось и четверть заработка будет с него удерживаться.

Семейная жизнь Котова еще того более ухудшилась.

Тогда Котов решил добиться справедливости.

Проживая на Большой Охте, он обратился к местному юристу с просьбой распутать его дело. Юрист, сорвав трояк, ничего путного не мог ему посоветовать и даже еще больше расстроил потерпевшего, сказав, что он и сам просто не представляет себе, с какого конца надо взяться, чтоб что-нибудь получилось.

Тогда Котов обратился «к более ценному юристу — на Невском».

Он там заплатил пятнадцать целковых. И там ему юрист настрочил в Москву письмо — дескать, как же так, помилуйте, что же вы — очумели, дескать, мой Котов — вот он, а вы лезете со своим. Безобразие.

Письмо это возымело действие. И через месяц Котов, к своему ужасу, снова получил из Москвы повестку с требованием явиться в суд.

Придя к мысли, что без его личного присутствия дело не раскроется, Котов собрал кое-какие деньжонки и, скрепя сердце, выехал в Москву.

В московском суде произошла классическая сцена. Молодая женщина со словами: «Ах, это не тот» — отказалась от Котова.

Тогда Котов сказал судье:

— Вот видите, что произошло. Я же вам писал, что это не я. Хотел бы я знать, кто же мне теперь заплатит двести четырнадцать рублей, которые я истратил на поездку в Москву?

Судья ответил, что это скорей всего адресный стол напутал и пусть он к ним обратится.

С некоторым моральным удовлетворением Котов, вернувшись в Ленинград, направился в адресный стол. Но в адресном столе ему сказали, что они ни при чем, что тут в самом запросе было перепутано отчество. И что повинен в этом московский суд. И если Котов к этому делу не остыл, то пусть на них и подает в суд.

Не зная, как это сделать, Котов обратился за советом (как он нам пишет) «к одному своему знакомому милиционеру».

Обдумав дело, милиционер так ответил:

— Ничего не получится. Что израсходовал, того уже нету, а что тебя оправдали, то это очень хорошо.

Практический ум знакомого милиционера и его соломоновское решение не остановили Котова в его законном желании распутать дело. И вот он обратился в редакцию с просьбой оказать содействие.

«И если,— он пишет,— вы не ублаготворите мою просьбу, то буду обращаться по дистанциям до высшей...»

Такая решимость вполне похвальна. И мы охотно беремся помочь пострадавшему.

Конечно, юрист с Большой Охты, который сорвал с Котова трояк, был до некоторой степени прав — дело не так легко распутать.

В общем, все же одно из двух: либо адресный стол наврал, либо в суде отчество перепутали.

И в том и в другом случае можно виновников притянуть к ответу.

Конечно, вряд ли, но может быть еще и третий случай. Может быть, сама гражданка не совсем твердо знала отчество своего Котова. Или она позабыла, или мало ли что бывает. Взяла и, может быть, назвала отчество нашего Котова. Вот если это так, то мы побаиваемся, как бы не оправдались грустные слова знакомого милиционера: «Что истрачено, того уж нет».

А вообще нам кажется, что было бы вполне правильно,

если человек, допустивший ошибку, участвовал бы в расходах.

У нас есть один «знакомый прокурор», которого мы и попросим, по мере возможности, выяснить это дело и посодействовать И. А. Котову.

В общем, благодаря дурацкой ошибке, истрачены деньги, потеряно время, испорчены нервы и до сего времени тянется канитель.

Конечно, ошибки, повторяем, бывают. Но уж лучше пусть астрономы ошибаются в своих вычислениях — сколько километров до Луны и сколько весит планета Марс, чем допускать ошибки в таком деле, где имеются живые люди и где могут возникать подобные неприятности, расходы и огорчения.

БЕДНЫЙ ДЯДЯ

Тут к одному жильцу с нашего дома приехал погостить один субъект. Его родственник. Кажется, дядя с маминой стороны. Или что-то в этом духе.

Во всяком случае, его у нас прописали временно. Тем более прошлое у этого дяди оказалось слегка подмоченное. Он еще при нэпе схлопотал себе семь лет за какие-то неправильные действия плюс воровство и плюс еще что-то.

Но он весьма усиленно работал на стройке и довольно быстро там перековался. Причем его чем-то даже премировали. И, кажется, какой-то значок ему дали. Во всяком случае, он какую-то санитарную блямбочку носил на груди.

Так или иначе, племянник первое время весьма гордился, что у него такой дядя. И даже хлопотал, чтоб с него брали квартплату меньше, чем обыкновенно. Дескать, дядя у него живет, герой строительства. Дескать, пришлось потесниться, впустить дядю. Нельзя ли, дескать, временно снизить квартирную ставку. Но этот номер ему не прошел. Так что пришлось даже кое-что за дядю приплатить. И это был первый удар по самолюбию племянника, который думал, что с приездом дяди у него начнется райское житье.

А дядя был по виду весьма арапистый человек. Он даром что перековался, но глаза у него сверкали, как у мошенника, когда он глядел на проходящих наших расфранченных жилиц с ихними сумочками, меховыми горжетками на шейках и так далее.

Но никаких эксцессов этот дядя пока себе не позво-

лял. Тем более что первое время он все больше ударял по пивной.

Он там просаживал свои деньги, скопленные я уж не знаю каким образом.

А потом, когда дядя благодаря такой сумбурной жизни профершпилился, он стал занимать у своего племянника. И это был второй удар по гордым замыслам нашего квартиранта, у которого дядя в короткое время «забодал» не меньше ста рублей.

В общем, наш племянник пришел в ужас от поведения своего дяди. И он так ему сказал:

— Ах, дядя, лучше вы катитесь отсюда к черту на рога, если вы намерены продолжать в том же духе. Я имею скромную должность кладовщика, и я не могу поспевать за вашими интересами.

Узнав, что племянник — кладовщик и благодаря этой своей должности караулит кое-что ценное, как-то: нитки, пуговицы, катушки и так далее,— дядя развеселился и пришел в хорошее настроение.

Уж я не знаю, каким образом, но он воздействовал на неустойчивую психику своего племянника. И подбил его украсть из склада некоторое количество товара, с тем чтоб они продали это и доход поделили пополам.

И племянник, этот кристально честный до сего времени служащий, взял, по наущению своего дяди, десять гроссов разных катушек и отдал их своему дяде, с тем чтоб тот все это где-нибудь продал.

При этом племянник так сказал своему дяде:

— Только продавайте, дядя, с осторожностью. А то если вы засыпетесь, то мне благодаря вас влепят не меньше пяти лет.

Дядя окончательно развеселился и сквозь смех так ответил своему племяннику:

— В этом деле я по крайней мере окончил университет. Я не могу себе представить, что я с этой работой попадусь. Конечно, я не был в городе десять лет и теперь на все гляжу не без удивления. Я тут вижу, например, что игорных клубов у вас уже нету. У вас негде одним махом выиграть деньги и устроить себе сказочную жизнь. У вас, по-моему, нельзя даже придумать какую-нибудь выгодную комбинацию. Все вокруг как с ума сошли, работают: колют, рубят, носят, пишут и так далее. И в этом смысле я, действительно, вижу у вас, у городских, перелом в настроении. Но что касается ниток, то нитки я при любом надзоре продам и не попадусь.

Короче говоря, дядя взял нитки и зашел их продать в магазин.

Он отозвал заведующего в сторонку и так ему сказал:

— Могу продать нитки по дешевой цене. Если хотите — купите. Если нет — не кричите и хай не подымайте, поскольку вы от этого ничего не выиграете.

Заведующий говорит:

— Добре. Пройдите сюда и тут маленько посидите, пока я отсчитаю вам деньги.

Бедный дядя сделал два шага, и тут заведующий грубо пихнул его в уборную и закрыл за ним дверь.

Бедный дядя кричал и вопил в своем заключении и даже там хотел повеситься на цепочке, но прибывшая милиция освободила его и велела ему рассказать, что с ним.

И дядя, находясь в полном обалдении, все сразу рассказал и даже сам удивился, с чего бы это он так разоткровенничался.

Милиционер прямо чуть не упал от смеха, когда дядя сказал, что он при своем опыте попался в первом же магазине.

Милиционер сказал:

— По-моему, вы не учли перемену в нашей жизни за эти десять лет.

Дядя говорит:

— Нет, я учел, но только я не понял умственное настроение заведующего. Ну на что он, собака, рассчитывал, когда он меня пихнул в уборную? Что он хотел — выслужиться? Или он скорей всего побоялся купить нитки, чтоб самому не зашиться? Вот тут я что-то действительно не понимаю. Но моя мысль склоняется к тому, что тут был страх. И это я не учел.

Заведующий говорит:

— Напротив того, с моей стороны это был нормальный гражданский акт.

Дядя говорит:

— Ах, лучше бы я пошел на рынок продать эти нитки! Наверно, там, на рынке, еще есть у вас частная мысль, и, наверно, там я бы не попался, как дурак.

Заведующий говорит:

— С твоей устаревшей техникой ты бы и на рынке попался в первые пять минут.

Милиционер говорит:

— Ну, довольно дискуссировать, пойдем, я тебя представлю куда следует.

Дядя попрощался с заведующим и отбыл вместе с милиционером.

Воображаем, в какой панике сейчас его племянник.

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Вот какую сравнительно небезынтересную историйку рассказал мне один работник городского транспорта.

Причем до некоторой степени эта историйка поучительна не только для транспорта. Она поучительна и для других участков нашей жизни.

По этой причине мы и решили затруднить внимание почтенных читателей сей, как говорится, побасенкой в виде небольшого фельетона.

Так вот, в одном управлении служил один довольно крупный работник по фамилии Ч.

Он в течение двадцати лет занимал солидные должности в управлении. Одно время он, представьте себе, возглавлял местком. Потом подвизался в должности председателя правления. Потом еще чем-то заправлял.

Короче говоря, все двадцать лет его видели на вершине жизни. И все к этому привыкли. И никто этому не удивлялся. И многие думали: «Это так и надо».

Конечно, Ч. не был инженером или там техником. Он специального образования не имел. И даже вообще с образованием у него было, кажется, исключительно слабовато.

Ничего особенного он делать не умел, ничего такого не знал и даже не отличался хорошим почерком.

Тем не менее все с ним считались, уважали его, надеялись на него и так далее.

Он был особенно необходим, когда происходили собрания. Тут он, как говорится, парил как бог в небесах. Он загибал разные речи, произносил слова, афоризмы, лозунги. Каждое собрание он открывал вступительной речью о том о сем. И все думали, что без него мир к черту перевернется.

Все его речи, конечно, стенографировались для потомства. И к своему двадцатилетнему юбилею он даже задумал издать свои речи отдельной брошюркой. Но поскольку в последнее время из бумаги стали усиленно производить блюдечки и стаканчики для мороженого, то на его брошюру бумаги как раз не хватило. А то бы мы с инте-

ресом читали его оригинальные речи и удивлялись бы, какие бывают люди.

Так или иначе, его двадцатилетний юбилей решили пышно отпраздновать. И даже был куплен портфель с дощечкой, на которой выгравировали слова: «Вы... этот... который... двадцать лет... и так далее... Мы вас... Вы нас... Мерси... И прочее... и все такое...»

В общем, что-то в этом духе.

Но еще не состоялся этот юбилей, как вдруг произошло событие, заметно снизившее значение предстоящего праздника.

Вот что случилось на последнем собрании.

Наш Ч. только что произнес речь. Он произнес горячую и пламенную речь — дескать, рабочие... труд... работают... бдительность... солидарность...

И, утомленный своей речью, под гром аплодисментов сел на свое место рядом с председателем и стал рассеянно водить карандашом по бумаге.

И вдруг, представьте себе, встает один работник из вагоновожатых. Исключительно чистенько одетый — в сером костюмчике, в петлице незабудка, носки, туфли...

Вот он встает и так говорит:

— Тут мы сейчас слышали убедительную речь тов. Ч. Хотелось бы его спросить: ну и что он этим хотел сказать? Двадцать лет мы слышим его тенор: ах, рабочие, ах, труд, ах, пятое-десятое... А позвольте вас спросить: что представляет из себя этот Ч. на нашем участке работы? Что он — техник, инженер, или он оперный артист, присланный к нам сюда для интереса? Или что-нибудь он умеет делать? В том-то и дело, что он ничего не умеет делать. Он только произносит голые речи. А мы, представьте себе, за эти двадцать лет значительно выросли. Многие из нас имеют образование в размере семилетки. А некоторые у нас окончили десять классов. И они бы сами могли кое-чему поучить уважаемого товарища Ч., поскольку вожатые сейчас не прежней формации. Это в прежнее время вожатый умел только вращать ручку мотора, а в настоящий момент вожатый — это своего рода специалист, который может и схему мотора начертить, и политическую речь произнести, и дать урок по тригонометрии нашему оратору Ч.

Тут исключительный шум поднялся. Крики. Возгласы.

Председатель слегка оробел. Не знает, как ему на это реагировать.

А возгласы продолжаются: «Правильно!», «Исключительно верно!», «Долой его!»

Тогда один встает и говорит:

— Нет, выгонять нашего пресловутого оратора не надо, поскольку он двадцать лет подвизался на своем поприще. Но лучше он пущай в месткоме сидит и там усиленно марки наклеивает, чем он будет на наших производственных собраниях нравственные речи произносить.

И тут снова все закричали: «Правильно!»

А один, склонный к перегибу, встал и сказал:

— Наверно, этот Ч. придумал себе лозунг: чем возить, так лучше погонять. Вот он поэтому и очутился во главе нас.

Тогда председатель прервал оратора. Он сказал:

— Не надо оскорблять личности.

Тут все моментально взглянули на этого Ч. Все рассчитывали увидеть на его лице бурю негодования, расстройство и смятение чувств. Но ничего подобного не увидели.

Ч. встал, улыбнулся и, почесавши затылок, сказал:

— Собственно говоря, что вы на меня-то взъелись? Я-то тут при чем? Это вы меня выдвигали, а я этому не переставал удивляться... Я с самого начала говорил, что я ни уха ни рыла не понимаю в вашем деле. Больше того, я начал вами заправлять, будучи совершенно малограмотным господином. Да и сейчас, откровенно вам скажу, я по шести ошибок в двух строчках делаю.

Тут все засмеялись. И сам Ч. тоже засмеялся.

Он сказал:

— Прямо я сам на себя удивляюсь. Двадцать лет как в сказке жил.

Тогда встает один кондуктор и говорит:

— Это как у Пушкина... А теперь он остался у разбитого корыта.

Председатель говорит:

— Это он потому остался у разбитого корыта, что он двадцать лет поучал, а сам ничему не научился.

Тут вскоре собрание было закрыто.

И через несколько дней началась другая жизнь — на основе знания дела.

БЫЛА БЕЗ РАДОСТИ ЛЮБОВЬ

Один молодой гражданин написал мне письмо с просьбой помочь ему в его нестерпимом горе.

Это письмецо он послал на адрес редакции журнала «Крокодил». Поэтому вся наша редакционная обществен-

ность сильно заинтересовалась судьбой этого человека и поручила мне что-нибудь сделать.

Я хотел было тиснуть в печать все это письмо целиком. Но, к сожалению, оно длинное, не очень-то грамотное, и вдобавок оно написано в момент сильного душевного волнения, так что стиль там неровный и слог черт знает какой.

По этой причине мы решили напечатать только некоторые выдержки из письма. А все остальное мы для ясности восприятия расскажем собственными словами.

В общем, вот как у них было.

В феврале 1937 года один молодой человек, некто Мишин (автор письма), прибыл на работу в совхоз, в политотдел.

И вечером, беседуя с председателем рабочкома, он с более общих тем перешел на частные темы и, вздохнувши, сказал председателю: дескать, вот приходится работать в глуши, дескать, досадно ничего особенного не видеть, дескать, как тут у вас насчет женщин. «Хорошеньких небось совсем нет? Очень мило! Уж не знаю, право, как я тут буду у вас работать».

Председатель рабочкома, покраснев, сказал, что вот было бы чудно, если б он месяц назад приехал. Вот тогда тут в совхозе работала одна агрономша-красавица, Ася Комарова. Вот она действительно имела выдающуюся внешность и, наверно, понравилась бы приезжему. Но она, к сожалению, уже уехала на место своего жительства. А тут сейчас осталась другая агрономша — ее подруга, которая далеко не красавица, если не сказать больше.

В общем, второй агрономшей наш молодой человек не заинтересовался и, вздохнувши еще раз, сказал, что ему просто не везет и он теперь прямо не представляет, чем бы ему здесь заняться в свободное время.

Немного выпив и поговорив еще кое о чем, собеседники разошлись.

Потянулась будничная жизнь. Скучая и грустя, наш молодой человек зашел как-то от нечего делать на почту. И поинтересовался, много ли сельские жители пишут. И, узнав, что много, стал разбирать эти письма и стал глядеть на конверты, чтобы увидеть, кто, куда и кому пишет.

И вдруг на одном письме он увидел заветную фамилию — «Комарова».

Внимательно прочитав конверт, он увидел, что это письмо адресовано Асе Комаровой, этой красавице агрономше, о которой как раз ему и говорил председатель

рабочкома. Обратный адрес на конверте указывал, что это письмо посылает другая агрономша, ее подруга, оставшаяся тут, в совхозе.

Дрожащей рукой наш молодой человек списал адрес и, придя домой, настрочил красавице письмецо: дескать, ах, как жаль, что она уехала, дескать, вот было бы счастье, если б она была тут. Дескать, не хотите ли, Ася, переписываться? Я буду, дескать, вам писать, а вы мне, и, может быть, в дальнейшем у нас с вами что-нибудь завяжется интересненькое.

Вот он посылает это письмо и через несколько дней, дрожащий от счастья, получает ответ: дескать, вот и хорошо, я оценила ваш порыв, ладно, я буду вам отвечать на ваши письма, это до некоторой степени интересно, пишите.

И вот у них завязалась переписка.

Они вскоре обменялись фотографическими карточками. И оба были поражены и обрадованы, что их надежды оправдались и заветные мечты сбылись.

После этого письма наполнились нежными словами и обещаниями. И в сердцах наших героев разгорелась любовь.

Молодой человек чуть не ежедневно строчил ей о том о сем. И она ему отвечала.

Больше года у них шла переписка. И наконец они поняли, что не могут жить друг без друга.

Он обещал приехать к ней. Но у него не было хорошего зимнего пальто, и потому свой приезд он переложил на лето.

В общем, 27 июля сего года он приехал к ней на станцию Т.

Наше загрубелое перо, уважаемый читатель, навряд ли может справиться с описанием дальнейших событий, а потому мы предоставим автору письма самому высказаться. Вот как он пишет по этому поводу:

«27 июля я прибыл туда, где она жила. Прибыл утром. И пошел в гостиницу, так как мне надо было привести себя в порядок. Мне отвели общий зал и койку из двух досток за 50 копеек. Когда я посмотрел свой номер, мне стало «жутко» — зачем я сюда приехал. И я как дурак просидел в этом номере полсуток. А потом взял свой «чемодан» и решил идти на квартиру к своей возлюбленной и там с ней ознакомиться, чем ей сюда прийти и видеть то, что здесь есть».

В общем, молодой человек поступил, конечно, правильно. Воображаем, что это был за номер, если приезжего охватила жуть и он «полсуток» сидел в нерешимости, что

ему делать. Итак, он пошел к ней. Вот как об этом он пишет:

«В четыре часа дня я прибыл на квартиру к Комаровой. Но там была одна бабушка, а две сестры, Ася и Женя, и их мать «Анна Петровна» были на «базаре». Я их жду, когда они придут с «базара». И вот я «сежу» и жду как «дурак». И меня трясет и всего ломает, как «малярия». То есть я «сежу» как на угольях. Тогда я решил переодеться, чтоб вид иметь лучше. Пока я переодевался, в это время пришла с «базара» ее младшая сестра Женя. Бабушка через окно ей сказала: не входите, тут в «коридоре» переодевается один приезжий человек. И она, Женя, влезла в дом через окно. И меня спросила, зачем я тут переодеваюсь. Я ей сказал: я жду мою возлюбленную Асю Комарову. Женя сказала: я ее сестра, она сейчас придет с «базара». Через двадцать минут на «велосипеде» быстро округ дома проехала Ася, которую я жду. Я пошел ей навстречу и ей отрекомендовался, что я самый тот «герой», который вас любил заочно год и четыре месяца. Ася в это время была очень взволнована и крайне удивлена. И смотрела на меня, как будто бы это был не я, а кто-нибудь другой».

Волнение чувств у автора письма не позволяет ему описывать дальнейшее с прежней четкостью. Он перескакивает с предмета на предмет и пишет несуразно, так что мы и не рискнем предлагать читателю конец его письма.

Скажем кратко. Ася Комарова не задерживала его долго в помещении. Она сказала, что тут неудобно им беседовать и что пусть он вечером придет в «садик» (почему некоторые слова автор письма берет в кавычки, мы не понимаем).

В общем, наш молодой герой, взволнованный и потрясенный, пошел вечером в «садик». Но не дойдя до «садика», он встретил Асю, которая ему прямо сказала: «Вы мне совершенно не нравитесь».

Молодой человек «стоял, как громом ошарашен».

Печальную сцену расставанья он описывает так:

«Я сказал ей: Но вы же меня любили. Она мне сказала: Нет, надо видеть живую действительность, а фотография не то передает, что ожидаешь. Я спросил ее: Сколько сейчас время? Она ответила мне: Уже одиннадцать часов. Я сказал: Я на «поезд» опоздал... Я не мог успеть уехать обратно, и я провел всю ночь один и не мог спать ни минуты. И мне еще «сутки» надо было ждать до отхода «поезда». И я, не помня себя, как в угаре, дождался «поезда». И уехал от своей знакомой».

На этом письмо заканчивается.

К письму автор делает приписку:

«1) Прошу вашего совета, что мне делать. 2) Не могу ли я через милицию отобрать у нее мои письма, хотя она и говорит, что рвала их, но я полагаю, что она хранит их у себя. 3) Можно ли этот материал поместить в одном из журналов?»

Отвечаем:

1) Делать ничего не надо. Надо пережить разлуку. И надо, приведя свои чувства в порядок, полюбить какую-нибудь другую девушку не заочно и не по фотографии, а в реальной действительности. Тогда не будет таких огорчений.

2) Через милицию отобрать письма не можете. А если она говорит, что она письма рвала, то это скорей всего так и есть. Похоже на то.

3) Материал помещаем в журнале. Но помещаем не с тем, чтобы обличить девушку. Наоборот.

По нашему мнению, молодой наш герой совершил грубую ошибку и даже провинность, за что и был по заслугам наказан жизнью. Наш герой влез на почту и сунул свой нос в чужие письма.

Мы удивляемся, как начальник почтового отделения допустил до этого.

Пронырливый молодой герой списал с чужого письма адрес. И сам заварил всю кашу. Вдобавок и фотографию он, наверно, послал какую-нибудь особенную. Наверно, умолил фотографа, чтоб тот замазал ему все угри и прыщи. Вот оно и получилось, что возлюбленная его не признала.

А если не признала и не полюбила, то уж тут, как говорится, и сам прокурор не поможет.

Советуем завить горе веревочкой и предать все забвению.

Была без радости любовь, разлука будет без печали.

О ВЫВЕСКАХ

Не знаю, как вы, уважаемые граждане, а лично я научился читать по вывескам.

Бывало, шестилетним шпингалетом иду по улице и по складам читаю: «Детский рай», ресторан «Медведь», чайная «Веселая долина» и так далее.

И представьте себе, научился читать и до сих пор, как говорится, не забываю эти свои научные достижения.

Конечно, в настоящее время научиться по вывескам было бы много трудней.

В другой раз глядишь на вывеску, будучи уже, как говорится, взрослым оболтусом, и вроде как не понимаешь, что к чему. В другой раз даже мысль отказывается работать в данном направлении.

По-моему, некоторые вывески могут даже создать тревожное состояние у ребенка. Не скажу, что ребенок от этого заболеет или станет умственно отсталым, но некоторая тень может лечь на неокрепший мозг.

Особенно озадачивают такие вывески, например: «Райжилстройброй» или «Кройбейшвей».

Отчасти это понятно — всего, как говорится, не выведешь на вывески, чего хочется, и вот поневоле сокращаешься.

Конечно, в свое время это сокращение взяли, чтоб разгрузить телеграф. И насчет телеграфа это абсолютно правильно. Но почему это вошло во все области жизни — вот это не совсем понятно.

Хотя в последнее время на этом фронте восторжествовал здравый смысл. И многие магазины стали по-человечески называться: мясо, хлеб, булки, баранки, груши и так далее.

Вот это хорошо, что наметили такой уклон. Хорошо, да не совсем. Уж если магазин «Булки, баранки», то все магазины во всем городе носят тоже название «Булки, баранки».

А в другой раз, предположим, тебе продали недоброкачественные баранки. И прямо трудно вспомнить, в каком магазине ты купил это самое.

Вот это худо. Худо, да не совсем. Многие покупатели сами от себя окрестили булочные и дали им названия. Некоторые булочные у нас носят названия «Филипповы», некоторые «Лор».

То есть, представьте себе, прошло двадцать лет, а население волей-неволей прибегает к темному прошлому, чтобы разобраться, какой где магазин. И по этой мелкой причине называют магазин по фамилии бывшего купца и булочника.

У нас, например, один роскошный гастроном так и называют «Елисеев». Получилось это потому, что чуть не все магазины, торгующие колбасой, называются гастрономы. А от этого в глазах рябит, и если тебя спросят, куда идешь, то сразу не соберешься с мыслями.

Вот это худо.

Конечно, некоторые магазины стали теперь на вывесках ставить цифру: один, два или восемь. Но это скучно, ничего

праздничного не дает душе и даже, напротив, убивает поэзию.

Может быть, надо внести некоторое разнообразие. И некоторые магазины стоило бы назвать для примера как-нибудь игриво: «Не хотите ли колбасы» или «Торгуем яблоками и прочей чепухой».

Нет, я не знаю. Наверно, так нельзя называть. Но, может быть, надо опросить симпатичное население или привлечь к этому делу тех же многоуважаемых писателей, артистов и певцов. Может быть, эти последние возьмут и что-нибудь придумают в этом смысле.

Насчет булочных и колбасных я не уверен, что это надо. Но, может быть, и надо. А уж для ресторанов, для кафе и для чайных это обязательно надо.

В другой раз звонит кто-нибудь и говорит:

— Зайдем, посидим, выпьем по кружечке пива.

Ну, договариваешься, где встретиться. И обыкновенно начинается путаница, поскольку почти все рестораны так и называются: рестораны. А хотелось, чтобы они имели свое единственное какое-нибудь заманчивое название, создающее настроение и жажду жизни.

Это хорошо, когда рестораны и чайные называются: «Встреча друзей», «Под пальмой» или «Не робей — зайди сюда, Петя».

Какая-то в этом есть задушевность. Я не скажу, что от этого будут больше пить. Но кушать, наверно, будут больше. Поскольку от всего хорошего, красивого и торжественного развивается волчий аппетит и благородные соки организма выделяются в изрядном количестве, что способствует пищеварению, вносит здоровье и силу во все области жизни, ослабляет семейный разлад и устраняет ссоры, склоки и неразбериху.

Конечно, тема нашего рассуждения, может быть, на этот раз незначительная и мелкая. В таком случае просим у читателя сердечное извинение и за натурализм, и за мелкую философию на глубоком месте.

Пламенный привет всем покупателям!

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Вот какой удивительный случай произошел со мной.

Давеча захожу в одну амбулаторию полечиться. У меня, как говорится медицинским языком, нервы стали пошаливать.

И вот вхожу в кабинет врача и вижу перед собой брюнета, сидящего за столиком.

Рассказываю ему, что со мной. И он начинает меня слушать.

Он послушал через трубку мое утомленное сердце и говорит:

— Небось высоковато живете? В пятом или в шестом этаже? Эвон как сердце трепыхается.

— Нет, говорю, живу во втором этаже.

— Ах, во втором этаже! Это меня устраивает,— говорит врач.— Может, в таком случае, ссоритесь с жильцами? Небось коммунальная квартира? Сорок жильцов, крики и так далее?

— Да нет, говорю, наоборот: проживаю в маленькой квартирке, где один только глухой профессор с супругой и я.

Доктор говорит:

— Ах, вот как! Это становится интересным. Нуте, положите нога на ногу. Сейчас я вас ударю медицинским молоточком по коленке и увижу, что с вами.

Увидев, что моя нога от удара высоко подскочила, доктор говорит:

— Так и есть. Функциональное расстройство нервной системы.

Я говорю:

— Какое лечение пропишете?

Доктор отвечает:

— Если хотите, пропишу пилюли. Но их бесцельно глотать. Конечно, сразу вам хуже, пожалуй, от них не будет, но я сомневаюсь, что они вам какую-нибудь пользу принесут.

Я говорю:

— А что же тогда делать при этом моем заболевании?

Доктор говорит:

— Многим помогает перемена обстановки. Переезд в другой город. Перемена службы. Обмен квартиры. Все-таки человеку приедается жить сорок лет в одной и той же комнате. Иногда хочется пожить в другой. А для нервов это крайне полезно.

Я говорю:

— В другой город я не поеду. А что касается обмена квартир, то, говорю, это можно сделать, но жалко: хорошая, говорю, у меня комната. Чего я буду с бухты-барахты менять ее на худшую?

Доктор говорит:

— А что, большой метраж, что ли?

— Метраж, говорю, небольшой — семнадцать метров плюс небольшой отдельный коридорчик.

Доктор говорит:

— Это становится интересным. А встанет в этом вашем мизерном коридорчике книжный шкаф?

Я говорю:

— Свободно могут встать два шкафа и табуретка, и еще останется узкий проход в комнату.

— Мда,— говорит врач,— такие комнаты редко бывают в хорошем районе.

— Нет, говорю, и район ничего себе — Петроградская сторона.

— Ах, вот как! Действительно, жалко менять такую комнату. Конечно, если доплату дадут, то вы не жалейте, меняйте и переезжайте.

— Без доплаты, я говорю, естественно, я и не перееду.

— А много ли хотите доплаты?— говорит врач.

Я говорю:

— Надо осмотреть комнату. Может, мне подкинут такую площадь, что жизни будешь не рад. И вообще я не хочу менять. Что вы, ей-богу, ко мне привязались?

Доктор говорит:

— Конечно, если не хотите, то и не переезжайте. Я же вас за воротник не тащу. Я вам говорю с точки зрения медицины: переезжайте в том случае, если это вам интересно. А если вам неинтересно, то и сидите в своей берлоге, хворайте нервными заболеваниями, умирайте преждевременно.

Я говорю:

— Прямо уж и не знаю, что делать. Главное — комната веселенькая, на солнечной стороне.

— Ах, даже на солнечной стороне!— говорит врач.— Это становится интересным. И что же, целиком она на солнце, или она немножко глядит на запад?

— Целиком, говорю, на юг. Солнце так и жарит целый день.

— Многие сердечники,— говорит врач,— это худо переносят. Короче говоря, сколько хотите доплаты, если вам дать комнату в двенадцать метров в четвертом этаже?

Я говорю:

— Хотелось бы прежде осмотреть эту вашу паршивую комнатенку.

— В таком случае,— говорит доктор,— запишите мой

адрес и вечерком приходите. Насиловать вашу волю я не буду. И за просмотр, за визит, с вас ничего не возьму. А пока одевайтесь и идите с богом, посоветуйтесь с женой.

Вот я оделся и вышел на улицу. И прошел сгоряча два квартала. Потом мне стало досадно, что я плохо полечился. И я решил вернуться к врачу, чтоб спросить, не нужно ли мне ванны принимать с какой-нибудь мурой — морской солью и так далее.

И вот я снова поднимаюсь к этому врачу и вхожу в его кабинет.

А там уже другой пациент. И врач, слушая его в трубку, говорит:

— Мда, сердцебиение порядочное. Небось в пятом этаже живете?

Пациент уныло говорит:

— Живу в седьмом этаже.

— Мда,— говорит врач,— дураков мало меняться с вами. Одевайтесь.

Тогда я подхожу к столу и говорю:

— Довольно странно мне слышать ваши слова, обращенные к другому пациенту. Раз вы со мной договорились насчет комнаты, то зачем же вам снова расспросами заниматься?

Доктор говорит:

— Четвертый месяц ищу комнату — не могу найти. Всех опрашиваю, и это вошло у меня в привычку. Что касается вашей комнаты, то район меня не совсем устраивает, и через это я стал сомневаться. Уходите оба, сейчас ко мне еще один пациент придет, может быть, из центрального района.

Тут в дверь постучали, и вошел еще один пациент, которому врач сказал:

— Раздевайтесь. Побеседуем, что у кого болит.

В общем, теперь я хочу полечиться у другого врача. А то этот меня еще больше расстроил. И даже у меня теперь начались головные боли.

А может быть, у меня начались головные боли оттого, что мой квартирант-профессор целые дни кипятит какую-то химию в своей колбочке. От этого в квартире вредный запах. И я, кажется, действительно возьму и поменяю свою комнату.

Вот завтра пойду к какому-нибудь врачу и побеседую с ним об этом. Было бы славно, если б попался врач вроде этого. Впрочем, сильно сомневаюсь, что еще раз встречу такого же боевого медика.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

В октябре этого года я отдыхал в Крыму, в одном тихом и небольшом курортном местечке К.

И вот какой удивительный случай там произошел. Два молодых пижона немного подвыпили в ресторане и вышли на улицу, чтоб обсудить вопрос о своих дальнейших развлечениях.

Не найдя ничего такого, что бы их развлекло, они, скуки ради, стали задевать проходящих женщин.

А дело было к вечеру. И прохожих было мало.

Вот наши подвыпившие франты, увидев проходящую молодую женщину, стали ей кричать, чтоб она подошла к ним. При этом один их них, грубо и цинично бранясь, стал делать ей всякие оскорбительные предложения.

Смущенная женщина поспешила уйти прочь.

Увидев ее смущение, приятели осмелели и окончательно распоясались.

По улице в это время шла одна молоденькая девушка. Как выяснилось в дальнейшем, это была Лиза В., молодой инженер, отдыхающая в санатории. Она только что проводила свою подругу в соседний дом отдыха и теперь возвращалась домой.

Увидев ее, приятели развеселились. И один из них крикнул ей то, что он крикнул первой женщине.

Это было в высшей степени безобразно и оскорбительно — слушать то, что он кричал.

Девушка вздрогнула и остановилась. Потом медленно подошла к ним и спросила:

— Кто из вас двоих это сказал?

Один из франтов, не вынимая изо рта папиросу, нагло ответил:

— Я это сказал. И могу тебе, милочка, повторить, если ты сюда подошла.

Девушка, размахнувшись, с силой ударила по лицу пижона так, что он закачался и еле мог устоять на ногах.

Приятели обалдели. И побитый стал прочищать свои глаза, засыпанные пеплом и искрами от его смятой папиросы.

Девушка, вытерев свою руку носовым платком, пошла своей дорогой.

Минута обалдения прошла, и приятели с ревом бросились за уходящей девушкой, с тем чтобы ее, вероятно, избить или проучить за слишком смелый поступок.

Они догнали ее на шоссе и стали хватать за руки.

И тут неизвестно, что было бы, если б в это время по шоссе не проходил местный аптекарь А.

Он только что закрыл магазин и теперь направлялся к дому.

Увидев, что два подвыпивших парня напали на женщину, благородный аптекарь бросился к месту происшествия. И там стал разнимать их. При этом стыдил и усовещивал приятелей, говоря, что не дело двум таким здоровым коблам так низко и по-хулигански вести себя.

Оставив свою жертву, приятели стали пикироваться с аптекарем. Пикировка была с бранью и криками. И аптекарь сказал девушке, чтоб она шла домой и что он тут один разберется в происшествии.

Девушка пошла по шоссе к дому. Но в это время один из приятелей, рассердившись на заступничество аптекаря, ударил его так, что тот упал.

Девушка снова поспешила к месту схватки.

Пьяницы, увидев, что она приближается к ним, почему-то задрожали. И, оставив аптекаря на земле, быстро удалились.

Девушка подошла к аптекарю и сказала:

— Как жаль, что я ушла. При мне они бы, вероятно, не посмели вас ударить.

Аптекарь ей сказал:

— Я рад, что вы ушли, а то бы они и вас ударили.

— Сомневаюсь,— ответила девушка.— Вдвоем мы бы их скрутили и доставили бы в милицию.

Девушка помогла подняться аптекарю и проводила его до аптеки. Они открыли ее и нашли там нужные медикаменты от ушибов и телесных повреждений.

На другой день аптекарь рассказал мне о том, что с ним было.

И я попросил его познакомить меня с этой девушкой, с тем чтобы выяснить, кто она такая и не будет ли она иметь претензию, если я напишу об этом происшествии в журнал.

И когда мы с аптекарем шли к этой девушке, я думал, что вот сейчас мы увидим рослую, цветущую богатыршу, не побоявшуюся выступить против двух мужчин.

Каково же было мое удивление, когда я увидел невысокую блондинку, очень милую и скромную. От нее веяло здоровьем и силой. Но вместе с тем она была удивительно женственна и казалась даже хрупкой.

Не скрывая своего удивления, я спросил ее, кто она такая. И девушка ответила, что она инженер-теплотехник.

Она в этом году окончила вуз и теперь здесь отдыхает, прежде чем приступить к работе.

Я спросил:

— Вы физкультурница?

Она, улыбнувшись, ответила:

— Немного. Как все у нас в институте.

Я сказал:

— Это здорово, что вы проучили хулигана.

Она ответила:

— Конечно, я понимаю, это нехорошо — бить человека. Но у меня не было другого выхода. Его поступок был настолько несоветский, что я не могла сдержать себя. Я его била как врага советской власти, а не как мужчину.

Я снова стал говорить девушке об ее мужестве, но она, кушая яблоко, протянула мне другое и сказала:

— Ну, что об этом говорить. Вот, кушайте.

И я стал есть яблоко, глядя на девушку. И где-то у меня в воображении окончательно таял образ интеллигента из старого мира, в очках, калошах и с зонтиком.

И, глядя на девушку, я подумал: «Как это хорошо и как замечательно, что у нас такая интеллигенция. И как хорошо, что здоровье и сила не расходятся с разумом и сознанием».

С НОВЫМ ГОДОМ

Позвольте поздравить вас с Новым годом, уважаемые граждане.

Желаем вам, так сказать, всяких благ. Чувствительно благодарим вас за те пожелания, которые вы мысленно произносите по нашему адресу.

И позвольте по случаю Нового года рассказать вам одну поучительную историю.

Не без задней мысли мы приберегли эту историйку для Нового года.

Желание предостеречь уважаемых граждан от подобных происшествий в наступающем году — вот что движет нас в нашем намерении рассказать под Новый год об этом факте.

Короче говоря, в одном учреждении неожиданно появился новый директор.

Прежний руководитель поехал в отпуск. Потом где-то что-то задержался по своим делам.

Конечно, в учреждении начались пересуды: дескать, где

же это он, дескать, не перебросили ли его на другую, более низкую должность, или вообще что с ним.

И вот появляется в этом учреждении новый руководитель.

И тогда происходит общее собрание, на котором публика высказывает свои мысли, чувства и пожелания.

И один из служащих выходит на эстраду и тоже о чем-то говорит: высказывается и выражает надежды.

И в пылу своей речи он бросает упрек прежнему руководству, что вот, дескать, неважно работали, не сумели, запороли дело.

При этих своих словах оратор впивается глазами в лицо нового директора, желая прочитать, не зашился ли он, что так сказал, не навел ли тень на плетень.

Но он видит, что директор утвердительно кивает ему головой, как бы говоря: правильно, молодец, сообразил, как надо сказать, не то что там другие пороли чушь.

Увидя такое благословение начальника, ретивый оратор стал еще более углублять и развивать свою мысль.

Вот он развивает эту свою мысль и видит, что директор то и дело кивает ему головой, как бы говоря: молодец, собака, правильно загибаешь.

И, увидя такие многозначительные знаки, наш оратор совершенно, как говорится, сомлел от гордости и понесся на крыльях своей фантазии в заоблачные дали, говоря, что таких людей, как прежний директор, надо не только в три шеи гнать, но надо сажать в тюрьму и так далее.

Тут выходят на эстраду еще два оратора и, глядя на директора, который грустно и утвердительно кивает головой, еще более прибавляют пару, говоря, что только новое руководство способно извлечь учреждение из того болота, в какое завел прежний начальник.

И тогда поднимается на эстраду сам директор и выражает свое возмущение по поводу речей трех предыдущих ораторов. Он говорит, что, напротив того, прежний директор был на большой высоте, что именно он вывел учреждение на столбовую дорогу и что в настоящее время он имеет еще более трудную и более высокую должность. И он с делом справляется с неменьшим успехом.

И тогда все с великим изумлением смотрят на директора. И все видят, что он то и дело кивает головой. И тут все начинают понимать, что у нового директора имеется нечто вроде нервного тика.

Причем если он спокоен, то он подергивает головой

редко, а чем больше он нервничает, тем чаще кивает головой.

Находящийся в зале доктор этого учреждения тихо дает свои научные разъяснения соседям.

Соседи передают диагноз врача окружающим, и вскоре весь зал понимает, что́ произошло.

Три предыдущих оратора с тоской взирают на директора.

Один из них пытается произнести речь с места, крича, что его не так поняли.

Но директор закрывает собрание.

НАУЧНАЯ АНОМАЛИЯ

Вчера я решил немножко помыться. Не то чтобы я давно не мылся, но все-таки месяц с небольшим прошло с тех пор, как я в последний раз купался на взморье.

А тут такое великолепие: наконец-то починили ванну в нашей квартире!

Не то чтобы ванна у нас была сломана или она протекала, нет, она была исправна, но черти жильцы имели обыкновение стирать в ней. Лили воду, мочили пол, так что он у нас вообще никогда не просыхал. И благодаря этому балки подгнили и наша ванна со всеми потрохами едва не провалилась в нижний этаж.

Еще спасибо, там жил инженер, который сразу заметил грозную опасность и успел на свой комод подставить какую-то балку, на которой и удержалась вся эта механика.

Но вот благодаря старанию квартуполномоченного, у которого друг детства служит в жилотделе, нашу ванну наконец починили: всего спустя год после того, как она подгнила.

В общем, вчера я решил помыться в этой ванне.

Я отлично ее вытопил остатками ящика из-под дров и приступил к процедуре.

Конечно, некоторые жильцы моются не особенно культурно. Некоторые лезут в ванну сразу с ногами и головой. И в одной и той же воде моют все что ни попало.

Лично я так не поступаю. Я сначала налил в тазик воды и вымыл в нем ноги и голову, а засим уж стал напускать воду в ванну, чтоб то же самое проделать со своим корпусом.

Но едва я открыл кран, как увидел, что вода течет ненормально, тонкой струйкой.

Я развинтил кран до отказу и тут убедился, что вода вообще больше не течет.

Я надел трусики и выскочил на лестницу, чтоб спросить у соседей, как у них с водой: общее ли это явление или только наша ванна не подает воду.

Оказалось, что у соседей тоже перестала вода течь.

Но в момент разговора с соседями наша входная дверь захлопнулась на французский замок, благодаря сквозняку.

И я в своих трусиках остался на лестнице. Голова мокрая. Мыльная пена на затылке и на ушах. Ноги тоже в мыльной пене. Усы висят книзу. Кошмар!

Я стал трезвонить, чтоб мне открыли дверь, но вдруг вспомнил, что в квартире никого нет, все ушли, и только осталась одна маленькая девочка, которая при всем желании не могла открыть мне двери по причине того, что она еще не умела ходить.

Тогда я стал просить соседей, чтоб они меня приютили на время. Но соседи грубо мне в этом отказали, ссылаясь на то, что у них гости и я могу их перемарать мыльной пеной.

Их нечуткость меня рассердила, и я побежал вниз, в домовую контору, чтобы выяснить у нашего управдома, что случилось с водой.

Управдом сказал:

— Теперь я вижу, что мы зря вам починили ванну. Когда у вас не было ванны, все было тихо. А теперь, когда у вас ванна, вы в своих трусиках врываетесь в контору, шумите и кричите, как будто это я закрыл воду. Воду закрыл водопроводчик для того, чтобы выяснить, отчего второй год вода не поднимается в шестой этаж.

Я говорю:

— Почтеннейший! Как было бы хорошо, если б хотя за полчаса вы предупредили жильцов о закрытии. Конечно, это мелочи жизни, но в этом акте предупреждения мы увидели бы уважение к людям, которые садятся в ванну.

Усмехнувшись, управдом говорит:

— Еще чего захотели! Для этой цели надо иметь особый персонал.

Я говорю:

— Могли бы записку под воротами вывесить. Вот это было бы культурное обслуживание жильцов на базе взаимного понимания.

Управдом говорит:

— Конечно, записку можно было бы вывесить, но тогда бы эту записку прочли все жильцы без разбору. А среди них, как вам известно, имеются неаккуратные плательщики, лодыри и прочий недоброкачественный элемент. А я не намерен их культурно обслуживать.

В момент нашего разговора я пронзительно вскрикнул, вспомнив, что ванна моя топится, в то время как в колонке нет воды. Возможно, что колонка уже распаялась...

Вместе с управдомом мы кинулись в подвал, где орудовал водопроводчик. Мы упросили его временно дать воду, чтоб спасти ванну от гибели.

Тот нехотя согласился. И мы втроем поднялись в наш четвертый этаж.

Но дверь была закрыта, и мы не могли попасть в квартиру.

Тут я вторично пронзительно вскрикнул. Вода ведь пущена по всему дому, а у меня в ванне кран развинчен до отказу. Небось вода хлынула за края ванны, и наша квартира вскоре будет затоплена.

Мы уже хотели ломать двери, но в этот момент на лестнице показался наш квартирант — профессор кислых щей Барбарисов.

Он открыл двери, и мы с трепетом вошли в ванную комнату.

Но там оказалось все в порядке: в топке чуть тлел огонек, а из крана едва капала вода.

Управдом развел руками, а водопроводчик задумчиво сказал:

— Лично мне понятно, почему у вас едва капает вода: все нижние жильцы раскрыли краны, и сейчас, после перерыва, слишком велико потребление воды. Это и спасло вашу квартиру от наводнения.

Управдом сказал:

— Может быть, и в шестой этаж вода у нас не поступает по той же самой причине?

Водопроводчик согласился с этим мнением. Он сказал:

— И очень просто, ибо ниже шестого этажа слишком много жильцов, которые то пьют, то льют воду, то вообще забывают крантики закрыть. Ясно, что для верхних не всегда хватает.

Профессор кислых щей Барбарисов заключил нашу беседу научной сентенцией. Он сказал:

— Весь мир возник из воды. Вода присутствует почти что в каждой вещи. В грибах, в ягодах, в человеке и даже в книгах. И только ее почему-то бывает мало в питьевых

ларьках, в буфетах и иной раз в домах. И это есть научная аномалия.

Неожиданно из крана хлынула вода и тем самым опрокинула научные домыслы профессора.

В общем, через час с четвертью я благополучно домыл свой корпус.

НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Давеча иду ночью по улице. Возвращаюсь от знакомых.

Улица пустынная. Душно. Где-то гремит гром.

Иду по улице. Кепочку снял. Ночные зефиры обвевают мою голову.

Не знаю, как вы, уважаемые граждане, а я люблю ночью пошляться по улицам. Очень как-то свободно ходить. Можно размахивать руками. Никто тебя не толкнет. Как-то можно беззаботно идти.

В общем, иду по улице и вдруг слышу какой-то стон. Стон не стон, а какой-то приглушенный крик или голос.

Смотрю по сторонам — нет никого.

Прислушиваюсь — снова какой-то стон раздается.

И вдруг все равно как из-под земли слышу слова: «Родимый, родимый!..»

Что за чепуха в решете.

Смотрю на окна. «Может, думаю, разыгралась какая-нибудь домашняя сценка? Мало ли! Может, выпивший муж напал на жену, или, наоборот, та его приканчивает?..»

Смотрю все этажи — нет, ничего не видно.

Вдруг слышу: кто-то по стеклу пальцами тренькает.

Гляжу: магазин. И между двух дверей этого магазина сидит на венском стуле престарелый мужчина. Он, видать, сторож. Караулит магазин.

Подхожу ближе. Спрашиваю:

— Что тебе, батя?

Сторож глухим голосом говорит:

— Родимый, сколько часов?

— Четыре, говорю.

— Ох, говорит, еще два часа сидеть... Не нацедишь ли, говорит, мне водички? Отверни крантик у подвала и нацеди в кружечку. А то испить охота. Душно!

Тут он через разбитое верхнее стекло подает мне кружку. И я исполняю его просьбу. Потом спрашиваю:

— А ты что, больной, не можешь сам нацедить?

Сторож говорит:

— Да я бы и рад нацедить. Немножко бы прошел, промялся. Да выйти отсель не могу: я же закрыт со стороны улицы.

— Кто же тебя закрыл? — спрашиваю.— Ты же сторож. Зачем же тебя закрывать?

Сторож говорит:

— Не знаю. Меня завсегда закрывают. Пугаются, что отойду от магазина и где-нибудь прикорну, а вор тем временем магазин обчистит. А если я сижу между дверей, то хоть я и засну, вор меня не минует. Он наткнется на меня, а я крик подыму. У нас такое правило: всю ночь сидеть между дверей.

Я говорю:

— Дурацкое правило. Обидно же сидеть за закрытой дверью.

Сторож говорит:

— Я обиды не строю. И мне самому вполне удобно, что меня от воров закрывают. Я их как огня боюсь. А когда я от них закрыт, у меня и боязни нету. Тогда я спокоен.

— В таком случае, говорю, ты, папаша, походил бы по магазину, размял бы свои ноги. А то, как чучело, сидишь на стуле всю ночь. Противно глядеть.

Он говорит:

— Что ты, родимый! Разве я могу в магазин войти? Я бы и рад туда войти, да та дверь в магазин на два замка закрыта, чтоб я туда не вошел.

— Значит, говорю, ты, папаша, сидишь и караулишь между двух закрытых дверей?

Сторож говорит:

— Именно так и есть... А что ты ко мне пристаешь, я не понимаю. Налил мне водички и иди себе с богом. Только мне спать мешаешь. Трещишь как сорока.

Тут сторож допил свою воду, вытер рот рукавом и закрыл глаза, желая этим показать, что аудиенция закончена.

Я побрел дальше. И не без любопытства поглядывал теперь на двери других магазинов. Однако ночных сторожей, подобных этому, я не увидел.

Домой я пришел поздно. Долго ворочался в постели. Не мог заснуть. Все время думал: нельзя ли изобрести какой-нибудь электрический прибор, чтоб он затрещал, если кто-нибудь сунется в магазин? А то пихать между двух закрытых дверей живого человека как-то досадно и огорчительно. Все-таки человек — это венец создания. И совать его в щель на роль капкана как-то странно.

Потом я подумал, что, вероятно, такие электрические

приборы уже изобретены. Скажем, наступишь ногой на порог — и вдруг гром и треск раздаются. Но, вероятно, это еще не освоено, а может, и дорого стоит, или еще что-нибудь — какие-нибудь технические сложности, раз нанимают для этого живую силу.

Потом мои мысли спутались, и я заснул. И увидел сон, будто ко мне приходит этот ночной сторож и ударяет меня кружкой по плечу. И при этом говорит: «Ну что ты к сторожам пристаешь! Живем тихо, мирно. Караулим. А ты лезешь со своей амбицией. Портишь нашу карьеру».

Потом этот сон сменился другим, каким-то легкомысленным, с танцами и пением.

И утром я проснулся в довольно хорошем настроении.

ВСЕ ВАЖНО В ЭТОМ МИРЕ

Этим летом я жил на даче и каждый день ездил в город.

И ничего, не особенно переутомился.

Конечно, я не любитель в дачных поездах ездить. Не скажу — грязно. Но неудобства все-таки имеются. Рядом кто-нибудь луком дышит. Или свой чемодан на колени ставит. Или вообще не влезть в вагон по причине переполнения.

Но вот отрадное явление. Поезда почти что перестали опаздывать. Приходят аккуратно. И даже в другой раз раньше времени.

Так что с этой стороны я теперь всегда надеюсь на поезд: он меня не подводил, и я из-за него не опаздывал. Через это я сохранил в своем сердце пламенные чувства ко всем железнодорожникам.

Но вот на кассы я не надеюсь.

Давеча пришел на вокзал заблаговременно. Занял свою очередь и стою, не волнуюсь. Думаю: «Кассирша вполне успеет продать пассажирам билеты».

Но проходит некоторое время, и мы видим, что касса еще закрыта.

Тут некоторые стали постукивать в окно. Стали покрикивать:

— Откройте кассу! Начинайте продавать билеты!

Открывается окошечко, и кассирша говорит:

— Ах, сегодня сколько много вас!

И начинает работу.

Работает хорошо, четко.

Но тут кто-то ей подает купюру в пятьдесят целковых. Происходит некоторая заминка, но потом опять все идет гладко.

И вот снова кто-то сует в окошечко крупную купюру.

И такое, представьте себе, стечение обстоятельств: четыре пассажира подают ей крупные деньги.

На четвертом пассажире кассирша высовывается из окошечка и кричит:

— Чтоб этого больше не было! Что вы сегодня, опухли, что ли? Все время подаете мне крупные деньги. Через это медленно идет торговля, и я теперь не даю гарантии, что всех вас отпущу до прихода поезда.

Во время этой реплики раздается гудок. И вдали показывается дымок паровоза.

Оставшиеся у кассы начинают проявлять признаки нетерпения. Они нажимают на кассу так, что дом трещит и барьер шатается.

В свою очередь кассирша проявляет чудеса быстроты и ловкости. Ее компостерная машинка стучит, как пулемет.

Но поезд уже на станции. Уже толпа людей кидается к вагонам. Уже начальник поезда машет своей фуражкой. И обер свистит в свисток.

Некоторые из оставшихся плюют на билеты и, как говорится, без оных вскакивают в вагоны.

Но человек восемь, и в том числе я, грешный, остаются на вокзале.

Скандал. Крики. Вопли.

Подбегает начальник станции. Ему говорят:

— Из-за вашей кассы мы опоздали. Что вы на это скажете?

Начальник говорит:

— Касса начала работать своевременно: за десять минут до прихода поезда. Мы не виноваты, что вы затрудняете кассира разменом крупных денег.

Один из оставшихся говорит:

— В таком случае открывайте свою кассу за полчаса, если не справляетесь.

Кассирша с визгом говорит:

— Мама дорогая! А когда же я буду ведомости составлять? И так я сколько время трачу на продажу дурацких билетов!

Один из оставшихся, немолодой мужчина в плюшевой толстовке, всплескивает руками.

Воспользовавшись тем, что еще много времени до прихода другого поезда, он произносит речь. Он говорит:

— Слушайте, вы, начальник станции! Поезда у вас приходят аккуратно. Но в зале ожидания у вас грязно и нет воды. Мужская уборная закрыта на ремонт. А касса у вас под открытым небом, и пассажиров заливает дождь. Что касается самой кассы, то за это лето я шестой раз наблюдаю, как пассажиры остаются за флагом. Конечно, с вашей точки зрения, это, вероятно, мелочи: уборная, вода, касса, крупные купюры и т. д. Но позвольте вам сказать: все надо учитывать, все надо иметь в виду. Нет никаких мелочей! Все важно в этом мире.

Начальник станции говорит:

— Каждый гаврик мне будет мораль читать!

Мужчина в плюшевой толстовке говорит:

— Позвольте досказать свою мысль. Возьмите для примера военное дело. Там у них все согласовано. Во всем полное взаимодействие всех частей. Каждая мелочь совпадает, и каждая часть одновременно работает, как колесья одной машины. Самолеты бомбят. Танки наступают. Пехота движется. Машины подвозят горючее. Кухни варят обед. Кассы продают билеты. Врачи перевязывают. Техники чинят. И так далее... И вот с кого вам надо брать пример.

Начальник станции говорит:

— Подымите с полу свой чемодан и подходите к кассе. А то сейчас придет поезд, и вы снова останетесь у меня, на что я совершенно не согласен.

Касса открылась. Вдали загудел поезд. И оставшиеся пассажиры поехали.

Не знаю, как они, но я на работу не запоздал, потому что я имею хорошую привычку выходить с запасом времени.

В этом смысле у меня нет полной согласованности со всеми остальными колесьями транспорта, и благодаря этому я выигрываю. Чего и вам желаю.

СЫНОК И ПАСЫНОК

Одна немолодая особа приехала из Вятки в Ленинград.

Дело в том, что дочь этой особы проживала в Ленинграде. У этой дочери родился сын. И вот теперь наша новоиспеченная бабушка прибыла в Ленинград, чтоб увидеть своего внука и чтоб пошить ему какой-нибудь гардероб, соответствующий его возрасту. И с этой целью она привезла с собой ручную швейную машину.

Кроме машины, старуха везла еще корзинку со всякой ерундой и пакет с продуктами питания.

Родственники старухи, провожавшие ее в Вятке, поставили в вагон эти ее вещи. Так что старуха не ощущала пока что тяжести своего багажа.

Но когда поезд остановился в Ленинграде и наша престарелая женщина, нагруженная багажом, вышла на платформу, она увидела, какая это тяжелая ноша.

Она сгоряча прошла шагов двадцать и подумала, что ей капут. Дыханье у нее перехватило, сердце в груди заколотилось, в боку закололо.

Она положила свою ношу на платформу. И присела на корзинку. Сидит и еле дышит.

Вдруг идет носильщик.

Старуха подозвала его к себе и говорит:

— Сынок, моя дочь не могла меня встретить, поскольку она прикована к постели по случаю рождения ребенка. Муж моей дочери, слесарь производства, вероятно не смог в дневное время покинуть свой станок. Одним словом, меня никто не встретил, и я теперь нахожусь в крайнем затруднении. Помоги, сынок, дотащить мои вещи до трамвая. Но только я тебе откровенно скажу — я не имею денег. Что касается оплаты за твой полезный труд, то я могу тебе предоставить на выбор — кусок пирога с капустой или вареную куриную ногу.

И с этими словами наша старуха развязывает пакет, чтобы показать носильщику его плату.

Носильщик, который мечтал получить деньги и уже мысленно положил, может быть, трешку в свой карман, с неудовольствием выслушал речь старухи.

Он сказал:

— При чем тут, мама, пирог и куриная нога. Существует такса за пронос багажа. А которые не могут платить, те пущай сами вещи несут, если они такие сильные. Ваша куриная нога меня не устраивает. Я не могу оплачивать квартплату с помощью этой ноги. Надо что-нибудь понимать, прежде чем делать людям такое несерьезное предложение. На прошлой неделе один пассажир дал мне вместо двух рублей платяную щетку. Ну скажите — на что мне платяная щетка! Я не имею привычки чистить костюм. Еще хорошо, что вы, в отличие от этого пассажира, высказались прежде, чем я отнес ваши вещи. Хорош был бы я, если б за свой труд и потраченное время получил бы куриную ногу. Я представляю, какая неожиданность была бы для меня. Думаю, что я отвел бы вас в отделение милиции... Покажи-

те, впрочем, эту вареную ногу. Просто интересно посмотреть, что это за нога, которую я мог бы получить.

Издали посмотрев на куриную ногу, носильщик удалился, укоризненно покачивая головой.

Старуха снова взяла свою поклажу и, тяжело дыша, направилась к выходу. Она плохо шла. Шаркала ногами. Косыночка ее сбилась с головы. И волосы разболтались. И она не предвидела конца своему путешествию.

Вдруг к старухе подходит какой-то неизвестный гражданин. Очень чисто одетый. В перчатках. Он стоял у газетного киоска и что-то покупал. Но, увидев старуху с багажом, подошел к ней и сказал:

— Нуте, гражданка, дайте я вам понесу. Я вижу — вас затрудняет эта тяжесть.

У старухи мелькнула мысль: не вор ли это. Но гражданин в перчатках так деликатно принял ее вещи и так добродушно улыбнулся, что мысль эта сразу же отпала.

Растерянная и даже ошеломленная этим предложением, старуха не нашлась, что сказать. Она как тень последовала за незнакомцем. И на улице молча показала рукой, на какую трамвайную остановку идти.

Незнакомец поставил ее багаж на площадку трамвая. Помог войти в вагон. И, сняв шляпу, пожелал ей счастливо доехать.

Ошеломленная старуха даже и тут не нашлась, что сказать. Она не произнесла «мерси» или «благодарю». Она молча смотрела на незнакомца, не зная еще, какие ей мысли подвести под все это дело.

Но вот трамвай пошел. И незнакомый гражданин исчез в толпе.

И вот старуха приехала домой. Увидела внука и с дочкой своей обнялась и поцеловалась.

С первых же слов она рассказала ей историю, какая произошла с ней на вокзале.

И дочка была поражена не меньше, чем ее мама.

Эта дочка написала мне письмо. Вот что она пишет в этом письме:

«Не можете ли вы, уважаемый писатель, через посредство вашего рассказа поблагодарить этого гражданина. Моя мама растерялась и ничего ему не сказала. А теперь она только об этом и говорит и при этом плачет. Ей досадно, что она не поблагодарила хорошего человека за его душевное, сердечное отношение... А если вы напишете рассказ, то, может быть, он прочтет этот рассказ и ему станет приятно,

что его вспомнили в хороших выражениях. Если вы возьметесь написать этот рассказ, то передайте, пожалуйста, ему привет от меня и от мамы. Как-нибудь вы вставьте эту фразу так, чтобы она не повредила вашему рассказу...»

Нет, такие фразы абсолютно не вредят рассказам. И я с охотой и удовольствием исполняю просьбу двух женщин.

Сердечно рад быть посредником в хороших делах.

Я написал этот фельетон и теперь надеюсь, что его прочтет наш славный незнакомец и увидит, что ему шлют привет и благодарность.

Этот фельетон я написал под Новый год. На Новый год мы обычно делаем пожелания друг другу. Так я пожелаю гражданам в новом году поступать так, как поступил незнакомец.

Я поздравляю его с Новым годом. И мой первый бокал с шампанским я поднимаю за него и за тех людей, которые во всех делах поступают так же, как он.

А затем я уже буду чокаться с остальными людьми, более равнодушными к чужой беде.

БЕРЕГИТЕСЬ!

Нечуткий человек наш управдом. У нас была мечта превратить наш дворик в парк. Но управдом отклонил наш проект.

Он сказал:

— После войны делайте с моим двором что хотите. Хоть пересыпьте его в карманы. А сейчас я вам не позволю лопатой его копать. Тут не окопы. Тут дом. Значение которого ноль в масштабе современной войны.

Нет, конечно, парк бы у нас не получился. Но садик бы вышел. С грядками, с клумбами, с киоском для продажи в дальнейшем воды.

И это было бы благоустройством, о котором сейчас говорят.

Этот управдом, скажу кстати,— не только нечуткий человек. Он грубый. Людей не любит. И вдобавок пессимист. Он не позволил Дарье Федоровой из 7-го номера вынести свою кровать во двор, чтоб ошпарить ее там кипятком.

Он сказал:

— Если вынести эту кровать во двор, то все, что

в кровати, разбежится по другим квартирам. Нет уж, пусть она дрыхнет на неошпаренной кровати.

Этими словами он довел бедную жилицу до дурноты. Она еле поднялась в свой этаж. Где и слегла, невзирая на свою кровать.

Со мной же этот управдом вообще избегает разговаривать. Стоит мне прийти в контору, как он убегает.

Дошло до того, что в прошлую пятницу, когда я вошел в помещение конторы, он выпрыгнул из окна, чтоб не беседовать по вопросам дома.

Все жильцы, и я в том числе, сожалели, что контора у нас находится не в седьмом этаже, а в первом. В силу чего наш управдом до сего времени здравствует и продолжает свой земной путь.

На другой день я все же захватил бюрократа в конторе. Он беседовал по телефону. И по этой причине он не смог сразу уйти, когда я вошел.

Я вошел, имея в руках письменный перечень претензий квартирантов. Тут были претензии и насчет хлама во дворе, и насчет сломанных перил, и насчет грязи на лестницах, и даже насчет водопровода. Понимаете: в другой раз откроешь кран — и вдруг вместо воды из него почему-то дым идет. Едкий такой дым, угар. Как он попадает в трубы — неясно. Жильцы просили меня выяснить, откуда этот дым. Зачем он? Для чего?

Когда я подошел к управдому со своей бумагой, тот нарочно упал на стул и застонал, говоря:

— Отвяжитесь. Мне не до этого. У меня есть дела поважней, чем ваш паршивый дом.

Тогда, черт возьми, я тоже упал на другой стул. Но стонать не стал. Я просто закрыл глаза, как бы потеряв сознание.

Лежу и думаю: посмотрим, кто кого перекроет.

Увидев, что я упал, управдом заволновался. Он вскочил со стула. Подбежал ко мне. Начал суетиться. Стал хватать меня за пульс. И, увидев, что я не прихожу в сознание, приложил свое ухо к моей груди, чтоб узнать, дышу ли я или уже загнулся.

Но скрозь пальто он не услышал мое сердцебиение. И от этого еще больше заволновался. Стал нервно бегать по конторе. Увидев его такую чувствительность, нервность и гуманное поведение, я уже хотел вскочить на ноги, чтоб обнять и расцеловать человека, проявившего некоторую чуткость к временно ослабшему жильцу. Но тут управдом, схватив телефонную трубку, стал куда-тоназванивать.

Я думал, что он вызывает неотложную помощь. И от этого почувствовал еще больший прилив нежности к нему. Но он вдруг сказал в трубку:

— Сеня! Хлопочи скорей бумаги, ордер. По-моему, в нашем доме освободилась комната. Тут один мой квартирант, кажется, загнулся.

Услышав эти слова, я вскочил на ноги.

— Н-ну нет! — сказал я.— Ошибаетесь, уважаемый! Отныне я только начинаю жить. Только начинаю вести борьбу против таких людей, как вы. Берегитесь!

Телефонная трубка выпала из рук управдома.

Закрыв глаза, он упал в кресло.

Но я не стал суетиться. Я спокойно поднялся в свой этаж, чтоб в письменном виде заклеймить поступки этого человека.

И вот эта статья перед вами.

Итак, берегитесь таких людей, уважаемые. Одергивайте их. Привет и лучшие пожелания. Кланяйтесь вашей мамаше.

НАСТУПАЕТ ЗИМА

Прошлую зиму я провел в городе Н.

Чудесный маленький город. Тишина. Стрельбы нет. Затемнения нет. Водопровод отсутствует.

В этом городе я буквально отдохнул душой и телом. Правда, знакомые при встрече со мной ахают.

— Что это, говорят, с вами? Такое впечатление, будто по вас тяжелый танк прошел.

— Не знаю. Чувствую себя довольно прилично. Вероятно, зима меня немного сломила.

Зимой у нас в Н. не было топлива. Нет, нельзя сказать, что вовсе не было топлива. Наоборот, топлива было много. Но оно лежало за городом.

По подсчету научных сил, там имелось топлива минимум на сорок лет.

Это может радовать население, что имеются такие запасы. Все-таки не так холодно на душе, когда знаешь, что столько припасли.

Был бы транспорт — и, как говорится, дело было бы в шляпе. При наличии транспорта, я так думаю, это топливо непременно стали бы вывозить. И тогда что-нибудь и перепало бы населению.

В декабре жильцы нашего дома сходили в горсовет. Обратились к председателю. Сказали ему: дескать, топливо

за городом, лежит себе, мокнет; разрешите, дескать, на саночках вывезти малую толику для своих низменных потребностей.

Председатель на нас рассердился. Он сказал:

— Или вы очумели, или я не знаю, что с вами! Где это видано — расхватывать топливо неорганизованным порядком?! В настоящее время мы печатаем ордера на получение дров. Через неделю мы вам выдадим эти ордера. И по ним вы получайте дрова, когда мы их подвезем.

Один из жильцов, малодушно вздохнув, сказал:

— А если не подвезете?

Председатель сказал:

— Если не подвезем, тогда имейте мужество с достоинством нести невзгоды во время войны.

В конце декабря население города стало сносить заборы. Стало заборами топить печки.

Председатель горсовета прямо ахнул, когда увидел такую картину.

И он отдал распоряжение — разобрать все заборы, сложить их в кучу на пустыре с тем, чтоб весной снова опоясать сады заборами.

Две недели разбирали заборы. Сложили их в кучу на пустыре. И поставили охрану.

Однако население не растерялось. Перестроив свои ряды, население стало топить печки деревьями.

Чудные деревья исчезали с бульваров и с улиц, спиленные по ночам неизвестной преступной рукой.

Председатель горсовета прямо схватился руками за голову, увидев гибель панорамы чудесного города.

Он сказал:

— С этим злом будем бороться со всей энергией.

Усилили охрану. И патрули стали ходить по городу. В первую же ночь задержано было на месте преступления сто шестьдесят граждан.

Среди них оказался городской судья, спиливший дерево перед зданием суда.

На суде судья сказал:

— У меня годовалый ребенок. Он топливо себе требует. Без этого разве я стал бы пилить это дерево?

Тогда еще больше усилили охрану. И пилка деревьев почти прекратилась.

Однако население и тут не растерялось. Стали разбирать лестницы, сараи, общественные уборные и так далее.

Боже мой! Что было бы, если б зима продолжалась бы год подряд?!

Но тут ударила весна. И председатель горсовета вздохнул свободно.

На вечере у одних знакомых я встретил этого председателя. Все поднимали бокалы за его здоровье.

Скромно улыбаясь, он произнес ответную речь. Он сказал:

— Зима была чертовски трудная, но мы с честью вышли из положения. Поработали неплохо.

Чокнувшись с председателем, я сказал:

— Поработали вы действительно немало. Интересно знать: что было бы, если б всю эту работу, всю энергию и волю, все рабочие руки: всех сторожей и судей, наборщиков и председателей — направить на одно дело — на перевозку топлива?

Пожав плечами, председатель отвернулся от меня, ничего не сказав.

Наступает новая зима.

Нет, я не хотел бы вернуться в этот маленький чудесный город Н., где председателем горсовета Н. Н.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Это истинное происшествие случилось, к сожалению, в Москве.

Два сотрудника эвакопункта были посланы за душевнобольным гражданином Корчагиным.

Они приехали в машине скорой помощи. Причем приехали ночью, даже под утро.

На лестнице было темно. И они по ошибке позвонили не в ту квартиру, какая им была нужна.

Дверь открыл некто гражданин П.

Конечно, вид у него был неавантажный. Ну естественно, человека подняли ночью с постели. Он был полуодет. Должно быть, в кальсонах, босиком. Волосы, вероятно, были взлохмачены.

Так или иначе, сотрудники, увидев гражданина П., сосчитали, что это и есть именно тот, за которым они приехали.

А тот, конечно, спросонок недоволен поздним визитом. Переминается с ноги на ногу, потому что дует. Говорит:

— Никакого Корчагина тут нет. Что вы шляетесь по ночам! Будите людей. Сдираете их с постели.

Услышав эти речи, сотрудники окончательно убедились в том, что это душевнобольной.

Настроенные соответствующим образом, они ринулись к нему и стали хватать его за руки и за что попало.

Произошла короткая неравная борьба, в ходе которой несчастному крутили руки, пытаясь умерить его сопротивление.

П. поднял крик, полагая, что на него напали бандиты.

Этот крик не смутил верных работников психиатрии. Они схватили П. за горло и сжали так, что пронзительные крики вскоре прекратились.

П. стал хрипеть, мысленно прощаясь с жизнью.

Торжествуя победу, сотрудники повалили П. на пол и стали выволакивать его на лестницу.

Несчастный упирался, пытаясь с помощью рук и ног задержаться в дверях. Но это еще в большей степени вдохновило сотрудников на операцию по изъятию душевнобольного.

Между тем крики и вопли взбудоражили соседей.

Прибежали жильцы и увидели сцену, которая не оставляла никаких сомнений в том, что это бандитский налет.

Жильцы стали отбивать П. у сотрудников. И те под давлением превосходящих сил противника оставили свою жертву.

Мы не знаем, как долго длилась эта борьба и что при этом думали сотрудники, у которых отбивали их «пациента». Надо полагать, что они защищали его. Но потом сдались на милость победителя.

В общем, дело понемножку стало разъясняться. И теперь все стояли вокруг пострадавшего, у которого прекратился дар речи и от волнения, и главным образом оттого, что сотрудники повредили ему горло.

Жильцы сказали сотрудникам:

— В конце концов это возмутительно! Мы квалифицируем ваш поступок как бандитизм.

Сотрудники сконфуженно разводили руками и не смогли что-либо ответить в свое оправдание.

Теперь жильцы, очевидцы этого дела, прислали нам письмо с просьбой привлечь к ответственности сотрудников эвакопункта — фельдшера и надзирателя.

Мы считаем это требование вполне законным, ибо в этом деле мы видим не только недоразумение.

Как выяснили врачи, у пострадавшего П. повреждены голосовые связки и обнаружено кровоизлияние в слизистой оболочке горла.

Стало быть, сотрудники душили П. по всем правилам

науки и с полным знанием дела. А это показывает, что сотрудники не раз и не два прибегали к подобному методу.

Нечто старинное и даже традиционное мы видим в этом отношении к душевнобольному. Пора окончательно расстаться с этой дикой традицией. И за это следует покарать.

Гражданину П. шлем привет и пожелание скорейшего выздоровления.

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Примите, дорогой читатель, мое поздравление с наступающим Новым годом.

Пусть в этом году исполнятся ваши лучшие желания. Не сомневаюсь, что они направлены на разгром врага, на разгром фашистских захватчиков.

Пусть новый год будет годом расчета за их подлые, варварские преступления.

Что касается личных дел, то и в личных делах, читатель, я пожелаю вам всего, так сказать, наилучшего.

Не знаю, как вы, читатель, но лично я не запрашиваю у судьбы слишком многого. Я привык желать то, что в пределах возможного.

Среди дней наступающего нового года я бы хотел иметь один такой день, который живо мне рисуется в моем воображении.

Будто я иду по улице. В руках у меня чемодан. Допустим, я только что приехал. И вот иду с вокзала. Навстречу спешат прохожие.

На остановке сажусь в трамвай.

С милой улыбкой кондукторша помогает мне войти в вагон. Она поддерживает меня под локоть, чтоб я со своим чемоданом не поскользнулся на ступеньках.

Один из пассажиров, устанавливая мой чемодан в углу площадки, говорит:

— Вот теперь, папаша, поезжайте хоть на край света.

Кто-то из сидящих в вагоне машет мне рукой, кричит:

— Пройдите в вагон, дорогой папаша. Тут найдется для вас местечко. Потеснимся...

Обращаюсь к пассажирам, стоящим на площадке:

— Не откажите в любезности поглядеть за моим багажом.

Пассажиры говорят:

— Сосчитаем своей прямой обязанностью. Идите со

спокойной душой. Не споткнитесь в дверях на своих полусогнутых.

Вхожу в вагон. Подросток лет четырнадцати встает со своего «детского места» и приятным баском говорит мне:

— Чем теснить остальных уважаемых пассажиров, садитесь лучше на мое место.

— Чудесный ребенок! — восклицаю я, растроганный.— А как же ты будешь затруднять свои неокрепшие детские ножки?

Кто-то из пассажиров говорит:

— Ноги этого подростка способны простоять сто км и больше. Садитесь, уважаемый, без лишней философии по вопросам детского возраста.

Подросток говорит:

— К тому же мне надоело сидеть. И помимо того, я сейчас схожу.

И вот я сажусь на его место. И в чудесном настроении еду и еду. И где-то гремит музыка...

Это немного, уважаемый читатель. Не правда ли?

Даже не надо мне места в трамвае. Любезный голос пассажиров мне приятней, чем многая другая музыка на свете.

С наступающим Новым годом, читатель.

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ОЛИМПЕ

Начинающий писатель М. написал рассказ под названием «Качает».

Сюжет рассказа не бог весть какой. Служащие столовой везут на пароходе инвентарь своего предприятия, которое эвакуируется. Пароход подрывается на мине и тонет. Однако удается спасти все, вплоть до последней вилки.

Этот свой рассказ М. отдал на рассмотрение в литературную консультацию при Н-ской районной газете.

Рассказ понравился в консультации. Начинающего автора поздравили с успехом и три часа с ним беседовали, поправляя рассказ, с тем, чтобы он достиг, так сказать, своего художественного потолка.

Беседуя с автором, редактор консультации сказал ему:

— Рассказ ваш проник ут оптимизмом и глубокой верой в людей, и поэтому вдвойне досадно, что пароход ваш тонет. Должно быть, хороший пароход, вероятно, не маленький, а он так непростительно у вас тонет. Получается как-то нелюбовно к предметам и людям.

Потупив очи, писатель сказал:

— Пароход-то у меня совсем небольшой...

— А хоть бы и небольшой,— сказал редактор,— а все-таки это пароход. На него и деньги затрачены, и труд... Нехорошо получается... Может, у вас, чего доброго, и жертвы есть?

— Нет, жертв у меня нет,— сказал писатель.— У меня все спаслись... Если хотите, я могу даже это подчеркнуть.

— Нет, подчеркивать не надо,— сказал редактор.— Именно тогда-то читатель и скажет: «А, подчеркнул, значит, есть жертвы»... Нет, не следует, чтоб пароход тонул...

Начинающий писатель смущенно сказал:

— Но ведь это же только рассказ... Это же не по-настоящему гибнет пароход...

— Что значит «не по-настоящему»? — сказал редактор.— На что же такое произведение, которое не отражает подлинной жизни? Нет, вы пишите так, чтобы жизнь отражалась, как в капле воды. И учтите, что читатель переживает, видя, что водный транспорт теряет, так сказать, одну свою единицу... Нет, уж лучше вы парохода вообще не трогайте. Замените его чем-нибудь...

— Так чем же его заменить? — с беспокойством сказал писатель.— Может быть, баркой?

— Нет, баркой тоже нехорошо,— сказал редактор.— Барки сейчас очень и очень нужны Госречпароходству... Замените чем-нибудь таким, я бы сказал, небольшим...

— Может, буксир взять? — спросил писатель.

Редактор отрицательно покачал головой.

— Буксир — это тот же пароход,— сказал он.— Буксир я вам не советую брать.

Писатель возвел свои очи к потолку, стараясь припомнить самые малые плавающие единицы.

— Катер, может быть, взять,— пробормотал он.— Уж катер-то — это совсем небольшое, едва, так сказать, плавает...

Редактор потер свою переносицу и, обратившись к сотруднице консультации, сказал ей:

— Как ты думаешь, Катя, если он катер себе возьмет?

Пожав плечами, Катя сказала:

— Нет, катер не следует брать. Катер обычно людей спасает, и гибель катера может вызвать плохую реакцию у читателя... Пусть он лодку себе возьмет.

— А в самом деле,— сказал редактор,— возьмите себе обыкновенную лодку и дуйте на ней.

Слегка побледнев от обиды, писатель сказал:

— На что же мне обыкновенная лодка? У меня же народу много. Около тридцати человек. Как я их всех повезу?..

Не глядя на писателя, Катя сказала:

— То есть прямо беда с этими начинающими писателями. Они не соображают, что количество людей зависит от них.

Редактор сказал:

— А верно. Вы же художник и, так сказать, творец. Вы же этим распоряжаетесь. Возьмите себе поменьше народу. Столько, чтобы им в лодку сесть.

— Ну хорошо, допустим, я возьму меньше народу,— неуверенно сказал писатель,— а как же я имущество повезу? Ведь они же у меня весь инвентарь с собой везут... Одних столов у них штук двадцать.

— Да столов-то вам за каким чертом столько! — раздражаясь, сказал редактор.

— Так ведь они же у меня все оборудование везут,— чуть не плача, пробормотал писатель.— Ведь если взять не все, то не будет такой острой проблемы. Будет самый обыкновенный рассказ.

Катя сказала:

— Да вы возьмите себе большую рыбацкую лодку. И как-нибудь там сложите все ваше имущество.

Редактор сказал:

— Конечно. Вы же художник. И, значит, как-нибудь там и уложитесь.

— А столы?

— Что столы?.. Ах да... Столы еще у вас...— сказал редактор.— Ну а столы... столы пускай... по воде плывут...

— В крайнем случае,— сказала Катя,— вы свяжите их веревкой, и пусть они рядом с лодкой плывут. Пусть кто-нибудь на корме сидит и держит эту веревку.

— Конечно,— сказал редактор.— Пусть они, так сказать, рядом с лодкой... Ведь, надеюсь, у вас деревянные столы... Не каменные, черт бы их драл...

— Ну деревянные,— сказал писатель с дрожью в голосе.— А рояль куда же я дену... Ведь они же еще у меня рояль везут...

— А рояль-то за каким чертом вы с собой берете! — воскликнул редактор, потеряв наконец терпение.

Снова побледнев от обиды, писатель сказал:

— Рояль у меня самое ударное место, поймите... Ведь ради него я и за рассказ взялся...

Катя не без едкости сказала, обращаясь в пространство:

— Да пусть он поступает, как хочет. Наше дело подтолкнуть его творческую мысль... Пусть он хоть на рояле верхом плывет. Все равно ему до Чехова далеко.

Редактор встал и, заканчивая аудиенцию, сказал:

— В общем, поправьте рассказ так, как мы вам посоветовали. И зайдите через недельку. Посмотрим, что у вас получилось.

Через неделю начинающий писатель М. принес свой исправленный рассказ.

Редактор сказал:

— Получилось плохо. Нехудожественно. И главное, неправдиво. За каким-то чертом рояль в лодке везут...

Катя сказала:

— Как-то не веришь в ваши столы и в этот ваш рояль...

Взяв рассказ, писатель уходит.

И вот прошло несколько месяцев после этого происшествия.

На днях я получил по почте два варианта рассказа «Качает» и длинное письмо начинающего писателя М.

В своем письме М. пишет:

«Я убедительно прошу вас сличить эти два варианта моего рассказа. И вы увидите, как может плохой и неопытный редактор испортить хорошее произведение. Вот где, по-моему, беда нашей литературы. И вот где, быть может, причина отставания нашей литературы от других высоких производств...»

Не без интереса я стал сличать два варианта.

Действительно, второй вариант из рук вон плох. Какая-то жалкая пародия, а не рассказ.

Читаю первый вариант, не тронутый грубой рукой редактора. С удивлением вижу, что и этот вариант никуда не годится. Слабенький, убогий рассказец, который надо было тотчас вернуть автору.

Печальное, я бы сказал, происшествие на нашем литературном Олимпе.

ПРИМЕЧАНИЯ

Второй том настоящего Собрания сочинений М. Зощенко включает в себя «Сентиментальные повести», созданные в 20-е гг., повесть «Мишель Синягин (Воспоминания о М. П. Синягине)», увидевшую свет в 1930 г.; рассказы и фельетоны 1930—1940-х гг.

Уже в 20-е гг. Зощенко завоевал популярность не только как автор рассказов и фельетонов, но и как мастер короткой повести. В сборник «Рассказы» («Картонный домик». Пг., 1923) Зощенко поместил две повести: «Коза» и «Аполлон и Тамара». В сборнике «Веселая жизнь» (Л.: Госиздат, 1924) к ним прибавились «Мудрость» и «Люди». В 1925 г. были опубликованы «Страшная ночь» и «О чем пел соловей», в 1926 г.— «Веселое приключение». А еще через год все эти произведения были собраны в отдельную книжку и, получив подзаголовок «Сентиментальные повести», вышли в свет под общим названием «О чем пел соловей» (Л.: Госиздат, 1927) В следующем издании (Собр. соч., т. 4, Л.: Прибой, 1930) подзаголовок переместился наверх и стал общим названием цикла, к которому присоединилась повесть «Сирень цветет». С тех пор «Сентиментальные повести» неоднократно переиздавались в разном количестве и сочетании, но впервые все восемь были опубликованы в 1936 г. («Козу» и «Мудрость» автор выделил в особую рубрику — «Первые повести»). Снабженные собранными из прошлых изданий четырьмя предисловиями, они появились в книге «Избранные повести» (Л.: Гослитиздат). По тексту этого издания и печатаются «Сентиментальные повести» в настоящем томе (за исключением повести «Веселое приключение», изданной в 1936 г. в новой редакции, изменившей первоначальный смысл).

Мир, в котором живут герои «Сентиментальных повестей», выглядит пародией на реальную жизнь. Более того — повести включают в себя целый комплекс пародий. Пародия — сам «писатель», «выдвиженец» И. В. Коленкоров, от лица которого ведется повествование. Это «средне-интеллигентский тип» нового писателя, это наивный философ, прилежно подражающий литературному письму беллетристов начала века, которое разительно несозвучно энергичной поступи времени послереволюционного. Зощенко пародирует стиль мышления этого «писателя», стиль его беллетристики — «неуклюжий, громоздкий», с «карамзиновскими периодами», пародирует самое сентиментальную тему, вдруг получившую широкое распространение в годы нэпа. В эти годы, как бы потакая

нэповским вкусам, книжный рынок во множестве выбросил на прилавки продукцию третьестепенных зарубежных авторов — душещипательные мелодрамы на фоне шикарного интерьера, всевозможные приключения, в конце которых «кругом у них счастье и удача», «кругом полное благополучие». Эти модные, нарасхват покупаемые легковесные переводные книжонки, где «масса бодрости, веселья и вранья», Зощенко тоже подвергает пародийному развенчанию (наглядней всего в «Веселом приключении», которое вообще стоит некоторым особняком в цикле), основанному на полном несоответствии выдуманного, розового мирка книжных героев и реальной суровой, а порой и грубой действительности. И, наконец, Зощенко пародирует стиль, тон и лексику современной ему вульгарно-социологической критики. Вступления к повестям «Люди», «Страшная ночь», «О чем пел соловей», «Веселое приключение», «Сирень цветет», а также к «Мишелю Синягину» пропитаны полемическим ядом сопротивления этой критике, быстрой на литературную проработку.

Пока каждая повесть жила, так сказать, отдельной от других жизнью, эта критика как бы не замечала нового в творчестве Зощенко, лишь мимоходом, в общих статьях, примеряя ему всякого рода попутческие ярлыки. С выходом повестей, собранных в книгу, появился целый ряд резких критических выступлений, авторы которых не разобрались или не пожелали разобраться в сути того, с какой целью и с каких позиций ввел Зощенко в читательский обиход своего «среднего человека». Не дав себе труда отделить автора повестей от воображаемого И. В. Коленкорова, они обвиняли Зощенко в клевете на действительность, а один из них назвал его «перепуганным обывателем», «который с некоторым даже злорадством копается, переворачивает человеческие отбросы и, зло посмеявшись, набрасывает мрачнейшие узоры своего своеобразного зощенковского фольклора» [1] Некоторые критики еще долго будут отождествлять писателя с героем-рассказчиком, приписывая ему обывательский взгляд на вещи и вообще все «грехи» его наивно-незадачливых «выдвиженцев».

В 1928 г. в книге «Михаил Зощенко. Статьи и материалы» (работы А. Г. Бармина, В. В. Виноградова) и позже в критических статьях Е. Журбиной, Ц. Вольпе и некоторых других был дан в целом справедливый анализ «Сентиментальных повестей» и высказана трезвая оценка идейно-нравственной позиции автора.

Значительное место в настоящем томе занимают рассказы и фельетоны 30-х и первой половины 40-х гг. Критики — как современники Зощенко, так и сегодняшние исследователи его творчества — не случайно проводят решительную границу между тем, что писал Зощенко в жанре рассказа и фельетона в 20-е гг., и тем, что в этом же жанре им было создано

[1] Ольшевец М. Обывательский набат.— Известия. – 1927.— 14 авг.

после: на рубеже второго десятилетия своей работы в литературе Зощенко меняет, по его выражению, «курс литературного корабля». С каждым годом становится все заметнее отличие его новых произведений от прежних, принесших писателю всесоюзную славу: трансформируется не только язык и стиль зощенковского повествования — перестраиваются сюжетно-композиционные принципы, меняется отношение к предмету сатирического исследования, то есть к герою. Претерпевает качественные изменения сама сатира.

Этот перелом произошел не сам по себе. Он был обусловлен целым рядом разного свойства причин, главной из которых явилась новая обстановка в стране, диктовавшая новый подход к литературе, в особенности к литературе сатирической, к ее целям, задачам и содержанию.

В 30-е гг. сатира меняет свой облик. Конец нэпа, коллективизация и индустриализация, рождение в связи с этим новых человеческих отношений — все вместе послужило появлению новых тем и новых героев в произведениях малой сатирической формы, какими являются газетно-журнальные рассказы и фельетоны. Сатире как бы представилась возможность расширить сферу своего влияния, что, безусловно, следовало бы записать ей в актив. Однако в развернувшейся в это же время непримиримой идейно-эстетической борьбе верх стали одерживать лакировочные тенденции, все решительней стала завоевывать позиции в литературе бесконфликтность. Появились критические выступления, требующие чуть ли не ликвидации сатиры как жанра, а если и допускавшие ее, то только в качестве некоей «положительной сатиры». Уже в 1930 г. из многочисленных сатирико-юмористических журналов остался лишь один — «Крокодил». Ряды сатириков заметно поредели, и многие из них переключились в основном на безобидные юмористические рассказы, как правило лишенные сколько-нибудь серьезного социального содержания.

Однако изменения в творческой манере Зощенко в начале 30-х гг. не были следствием лишь внешних причин. В нем давно уже копилась неудовлетворенность своей работой. Зощенко считал, что топчется на месте, повторяется, что одного сатирического осмеяния и развенчания человеческих недостатков мало, что надо искать хорошее в людях и противопоставлять в них это хорошее плохому. Надо учить людей быть хорошими. Но прежде всего надо понять самому, как быть дальше. К. И. Чуковский вспоминал: «Он 〈Зощенко〉 говорил, что ему отвратителен его иронический тон, который так нравится литературным гурманам, что вообще он считает иронию пороком, тяжелой болезнью, от которой ему, писателю, необходимо лечиться. Потому что для демократического читателя, к которому он и обращается со своими писаниями, превыше всего — здоровая ясность и цельность души, простота, добросердечие и радостное приятие мира. „Прежде чем взять в руки перо, я должен перевоспитать, переделать себя — и раньше всего вылечить себя от иронии...“» [1]

[1] См. в кн.: Михаил Зощенко в воспоминаниях современников.— М., 1981.— С. 54.

Результатом этого «лечения» был отказ от социальной маски, из-под которой «выглядывала» ирония Зощенко в рассказах и фельетонах 20-х гг. Вместе с маской героя-рассказчика, как естественное следствие, снимается сказовая утрировка. Писатель теперь говорит «от себя» — несколько синтаксически упрощенным, но вполне правильным языком. Язык героев тоже в значительной мере приближается к литературным стандартам. В текст вводится психологический анализ, что увеличивает (порой в несколько раз), по сравнению с недавней, площадь рассказа. В рассказах и фельетонах теперь все чаще стираются жанровые отличия. Фельетон 20-х гг., основанный на газетном факте, уступает место фельетону, темы для которого Зощенко черпает в основном из читательских писем и из личных наблюдений над текущей жизнью. Это ведет к еще большей, чем в 20-е гг., миграции: фельетонов — под рубрику «Рассказы», рассказов — под рубрику «Фельетоны» (в разных сборниках Зощенко помещал под разными рубриками такие, например, произведения, как «Поминки», «Веселая игра», «Порицание Крыму» и др.). В этих рассказах-фельетонах сатира все заметнее сменяется юмором. На смену разоблачительной иронии приходит комическое, а временами и просто развлекательное. Зощенко все чаще пишет «добрые рассказы и повести о добрых людях и добрых делах». Писатель впрямую проповедует, поучает, разъясняет, как надо жить по чести и совести.

К. Федин, видевший в Зощенко продолжателя традиций Гоголя в русской литературе и находивший сходство в их судьбах, писал, имея в виду этот период в жизни и творчестве советского сатирика: «Гоголь чем дальше, тем меньше смеется, посвящая свое перо проповеди и нравственному служению, а Зощенко вместо сатиры отдается потребности поучительства» [1].

Эту же мысль развивал К. И. Чуковский: «И что это за странная участь у замечательных русских художников: почему, достигнув своим чудесным искусством всенародного признания и любви, они перестают полагаться на свой художественный дар и жаждут во что бы то ни стало учительствовать? Почему юморист, мастер смеха, вдруг отказывается смешить и смеяться, отказывается от своей привычной литературной манеры и отдает всю душу серьезным проблемам, которые считает наиболее существенными для благополучия и счастья людей?» [2]

Именно этим желанием — жить и работать «для благополучия и счастья людей» — прежде всего объясняется та резкая перемена в творческом курсе, что произошла с Зощенко в 30-е гг. Потому-то он и обратился к прямому учительству. Он искал кратчайший путь к сердцу читателя. Он искренне верил, что, переменив таким образом направление своей работы, достигнет гораздо большего в перевоспитании людей, нежели привычным оружием сатиры.

---

[1] См. в кн.: Михаил Зощенко в воспоминаниях современников.— М., 1981. С. 9.

[2] Там же.— С. 60.

Однако следует отметить, что последовательно и твердо идти выбранным курсом Зощенко не смог: решительно противился этому природный дар сатирика. Такие рассказы, как «История болезни», «Спи скорей», «Не пущу», «Бедная Лиза», «Последняя неприятность» и некоторые другие ничуть не уступают по силе иронии и обличения общественно-социальных недугов лучшим рассказам 20-х гг.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

СС — Зощенко М. Собрание сочинений: В 6-ти т.— Л.; М.: Прибой — Гослитиздат, 1929—1932.

Личная жизнь — Зощенко М. Личная жизнь.— Л.: Гослитиздат, 1934.

Избранные рассказы — Зощенко М. Избранные рассказы.— Л : Гослитиздат, 1935.

Избранные повести — Зощенко М. Избранные повести.— Л.: Гослитиздат, 1936.

1937—1938 — Зощенко М. Рассказы, 1937—1938.— Л.: Сов. писатель, 1938.

1935—1937 — Зощенко М. 1935—1937.— Л.: Гослитиздат, 1940.

1937—1939 — Зощенко М. 1937—1939.— Л.: Гослитиздат, 1940.

Уважаемые граждане — Зощенко М. Уважаемые граждане.— Л.: Сов. писатель, 1940.

Фельетоны, рассказы, повести — Зощенко М. Фельетоны, рассказы, повести.— Л.: Лениздат, 1946.

Избранные произведения — Зощенко М. Избранные произведения.— Л.: Гослитиздат, 1946.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ

Коза.— В кн.: Круг: Альм. артели писателей. Кн. 1. М.; Пг., 1923. Печ. по кн.: Избранные повести.

С. 23. *Люком* Елена Михайловна (1891—1968) — артистка Мариинского театра, одна из ведущих русских танцовщиц 10—20 гг.

Аполлон и Тамара.— В кн.: *Зощенко М.* Рассказы. Пг., 1923. Печ. по кн.: Избранные повести.

С. 30. *IV конгресс.*— Имеется в виду IV конгресс Коминтерна, состоявшийся в ноябре-декабре 1922 года.

Мудрость.— Прожектор, 1924, № 15. В кн. «Избранные рассказы» (Изд-во писателей в Ленинграде, 1931) герой повести Иван Алексеевич Зотов переименован в Ивана Алексеевича Зощенко и в последующих прижизненных изданиях оставался под этой фамилией как «родственник» автора. Печ. по кн.: Избранные повести.

С. 54. *...шанженевое платье.*— Шанжан — материя с основой одного цвета и утком другого

Люди.— В кн.: *Зощенко М.* Веселая жизнь. Л., 1924. Печ. по Избранные повести.

С. 63. *...ильковая шуба.*— Илька — небольшой зверек из рода хорьковых, водится в Северной Америке.

Страшная ночь — В кн.: Ковш: Лит. худож. альм. Кн. 1. М.; Л., 1925. Печ. по кн.: Избранные повести.

О чем пел соловей.— В кн.: Ковш: Лит.-худож. альм. Кн 2. М ; Л., 1925. Печ. по кн.: Избранные повести.

Веселое приключение.— Прожектор, 1926, № 23/24. Печ. по СС, т 4

Сирень цветет.— В кн.: Звезда: Лит.-худож. альм. Л., 1930. Печ. по кн.: Избранные повести.

С. 147. *Чубаровщина* — хулиганство, бандитизм, насилие. Понятие возникло в конце 20-х гг. в связи с тем, что в Ленинграде, в Чубаровом переулке, был совершен акт злостного коллективного хулиганства, вызвавший острую реакцию общественности и широко обсуждавшийся на страницах газет и журналов.

МИШЕЛЬ СИНЯГИН

Мишель Синягин (Воспоминания о М. П. Синягине).— Нов. мир, 1930, № 12. Печ. по кн.: Избранные повести.

С. 187. *Переверзев* Валерьян Федорович (1882—1968) — известный советский литературовед.

С. 177—188. *«В моем окне качалась лилия...», «Лепестки и незабудки...», «Ах, скажите же, зачем...», «Оттого незнакомкой я любуюсь .».*— В этих «стихах» автором спародировано стилевое убожество творений, выходящих из-под пера дилетантов от символизма. *«Гроза прошла...»* — неточное цитирование стихотворения А. Блока.

РАССКАЗЫ 1930—1940 гг.

Сторож.— Ревизор, 1930, № 27. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Доктор медицины.— В кн.: Избранные рассказы. Л., 1931. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Испытание героев.— 30 дней, 1933, № 1. Печ. по кн.: Личная жизнь.

Врачевание и психика.— Огонек, 1933, № 2. Публиковался также под названием «Врачевание психики». Печ. по кн.: Личная жизнь.

Западня.— Крокодил, 1933, № 8. Печ. по кн.: Личная жизнь.

Грустные глаза.— Крокодил, 1933, № 13. Печ. по кн.: Личная жизнь.

С. 237—238. *«От ямщика до первого поэта...»* — неточное цитирование строк из поэмы А. С. Пушкина «Домик в Коломне». «Лесенка» шаржирует писания эпигонствующих стихотворцев, к месту и не к месту дробящих строчки «под Маяковского».

Какие у меня были профессии.— Лит. Ленинград, 1933, 3 июля. Публиковался также под названием «Удивительная профессия». Печ. по кн.: Личная жизнь.

Анна на шее.— Крокодил, 1934, № 7. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. газ., 1972, 20 сент.

На дне.— Крокодил, 1935, № 26/27. Печ. по кн.: 1935—1937.

Водяная феерия.— Крокодил, 1935, № 28/29. Печ. по кн.: 1935—1937.

Поездка в город Топцы.— Крокодил, 1935, № 32. Печ. по 1935—1937.

Плохая жена.— Веч. Москва, 1935, 30 дек. Печ. по кн.: 1935—1937.

Не пущу.— Крокодил, 1936, № 25. Публиковался также под названием «Другая картина». Печ. по кн.: 1935—1937.

С. 264. *Она называется «Не пущу».*— Имеется в виду картина русского художника-передвижника В. Е. Маковского (1846—1920).

История болезни.— Крокодил, 1936, № 28. Публиковался также под названием «История моей болезни». Печ. по кн.: 1935—1937.

В трамвае.— Крокодил, 1936, № 29. Публиковался также под названием «Облака». Печ. по кн.: Уважаемые граждане.

Спи скорей.— Крокодил, 1936, № 32. Печ. по кн.: 1935—1937.

Огни большого города.— Известия, 1936, 7 нояб. Печ. по 1935—1937.

Опасные связи.— Крокодил, 1936, № 36. Подпись: Засл. деят. М. М. Коноплянников-Зуев. Печ. по кн.: 1935—1937.

Жалоба.— Крокодил, 1937, № 6. Подпись: Засл. деят. М. М. Коноплянников-Зуев. Рассказ не переиздавался.

Двадцать лет спустя.— Звезда, 1937, № 3. Печ. по кн.: Уважаемые граждане.

Тишина.— Звезда, 1937, № 4. Печ. по кн.: 1937—1939.

Веселая игра.— Крас. газ., 1937, 1 мая. Печ. по кн.: Уважаемые граждане.

Вынужденная посадка.— Крокодил, 1937, № 17. Печ. по кн.. Уважаемые граждане.

Сердца трех.— Крокодил, 1937, № 24. Печ. по кн.: 1937—1939.

Встреча.— Крокодил, 1937, № 31. Под таким же названием публиковался рассказ другого содержания. Печ. по кн.: 1937—1938.

Шумел камыш.— Крокодил, 1937, № 35/36. Печ. по кн.: Уважаемые граждане.

Похвала транспорту.— Крокодил, 1938, № 2. Печ. по кн.: 1937—1939.

Живые люди.— Крокодил, 1938, № 11. Печ. по кн.: 1937—1939.

Людоед.— Крокодил, 1938, № 12. Печ. по кн.: 1937—1939.

Роза-Мария.— Крокодил, 1938, № 14. Печ. по кн.: Избранные произведения.

Валя.— Крокодил, 1938, № 16. Печ. по кн.: 1937—1939.

Последняя неприятность.— Крокодил, 1938, № 19. Печ. по кн.: 1937—1938.

Поминки.— Крокодил, 1938, № 35. Печ. по кн.: Уважаемые граждане.

Кочерга.— Крокодил, 1939, № 16. Под названием «Происшествие». Печ. по кн.: Избранные произведения.

Пчелы и люди.— Звезда, 1941, № 1. Печ. по кн.: Избранные произведения.

Рогулька.— Крокодил, 1943, № 16. Печ. по кн.: Избранные произведения.

Фокин-Мокин.— Крокодил, 1943, № 22/23. Печ. по кн.: Фельетоны, рассказы, повести.

Фотокарточка.— Ленинград, 1945, № 3. Печ. по кн.: Избранные произведения.

Хорошая игра.— Ленинград, 1945, № 7/8. Печ. Избранные произведения.

ФЕЛЬЕТОНЫ 1930—1940 гг.

Один день.— Ревизор, 1930, № 8. Подпись: Мих. Гаврилов. Фельетон не переиздавался.

Психологическая история.— Ревизор, 1930, № 9. Подпись: Мих. Гаврилов. Фельетон не переиздавался.

На заводе.— Ревизор, 1930, № 31. Фельетон не переиздавался.

Волокита.— Ревизор, 1930, № 32. Под таким же названием публиковался рассказ другого содержания. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С. 370. *«Компания Зингер»* — американская электротехническая монополия; поставляла в Россию швейные машины, текстильное оборудование, мебель и пр. Здесь употреблено в значении: сговор, круговая порука.

Нахальство.— Ревизор, 1930, № 34. Подпись: М. Кудрейкин. Печ. по кн.: Личная жизнь.

Счастливый случай.— Крокодил, 1934, № 10. Под названи-

ем «Копайте дальше». Подпись Михал Михалыч. Печ. по кн.. Избранные рассказы.

Артисты приехали.— Известия, 1934, 5 июля. Печ. по кн.· Избранные рассказы

Неприятная история.— Известия, 1934, 12 июля. Под названием «Неприятная история, или не все золото, что блестит». Печ. по кн. Избранные рассказы.

С. 376. *ГОРФО* — городской финансовый отдел.

Усердие не по разуму.— Известия, 1935, 9 апр. Печ. по кн.. 1935—1937.

Об уважении к людям.— Известия, 1935, 30 мая. Публиковался также под названием «Уважение к людям». Печ. по кн.. 1935—1937.

Пьяный человек.— Известия, 1935, 16 июля. Печ. по кн.: 1935—1937.

Порицание Крыму.— Крокодил, 1935, № 17/18. Печ. по кн.. 1935—1937.

Наше гостеприимство.— Крокодил, 1935, № 30/31. Печ. по кн.: 1935—1937.

Сказка жизни.— Крокодил, 1935, № 35/36. Подпись: Засл. деят. М. М. Коноплянников-Зуев. Печ. по кн.: 1935—1937.

С. 394. *Пеперменты* — мятные лепешки; здесь — лакомство.

Горе от ума.— Известия, 1936, 14 февр. Печ. по кн.: 1935—1937.

Небрежность и легкомыслие.— Правда, 1936, 9 июля. Фельетон не переиздавался. *Чубаровец.*— См. примеч. к с. 147.

Много шума из ничего.— Известия, 1936, 9 июля. Печ. по 1935—1937.

Истинное происшествие.— Крокодил, 1936, № 24. Публиковался также под названием «Небольшое поучение». Печ. по кн.: 1935—1937

Прощай, карьера.— Веч. Москва, 1936, 29 сент. Печ. по кн.: 1935—1937.

Еще о борьбе с шумом.— Крокодил, 1936, № 27. Печ. по кн.. 1935—1937.

Каменное сердце.— Первая публикация не установлена. Печ. по кн.: 1935—1937.

В пушкинские дни.— Крокодил, 1937, № 3 (Первая речь о Пушкине), № 5 (Вторая речь о Пушкине). Подпись: Заслуженный деятель М. М. Коноплянников-Зуев. Печ. по кн.: 1937—1938.

Дома и люди.— Крокодил, 1937, № 15. Печ. по кн.: 1937—1938.

На Парнасе.— Крокодил, 1937, № 18. Подпись: Засл. деят. М. М. Коноплянников-Зуев. Печ. по кн.: 1937—1938.

Федот, да не тот.— Ленингр. правда, 1937, 2 авг. Печ. по кн.: 1937—1938.

Бедный дядя.— Крокодил, 1938, № 13. Печ. по кн.: 1937—1939.

П о у ч и т е л ь н а я   и с т о р и я.— Крокодил, 1938, № 18. Под названием «Новые времена». Печ. по кн.: 1937—1939.

Б ы л а   б е з   р а д о с т и   л ю б о в ь.— Крокодил, 1938, № 22. Печ. по кн.: 1937—1939.

О   в ы в е с к а х.— Крокодил, 1938, № 23. Подпись: Засл. деят. М. М. Коноплянников-Зуев. Печ. по кн.: 1937—1939.

К л и н и ч е с к и й   с л у ч а й.— Крокодил, 1938, № 26. Фельетон не переиздавался.

Н о в ы е   в р е м е н а.— Крокодил, 1938, № 28/29. Под таким же названием публиковался рассказ другого содержания. Фельетон не переиздавался.

С   Н о в ы м   г о д о м.— Крокодил, 1938, № 36. Под названием «Новогоднее пожелание». Печ. по кн.: 1937—1939.

Н а у ч н а я   а н о м а л и я.— Крокодил, 1940, № 16. Подпись: Заслуж. деят. М. М. Коноплянников-Зуев. Фельетон не переиздавался.

Н о ч н о е   п р о и с ш е с т в и е.— Крокодил, 1940, № 17. Подпись: Заслуж. деят. М. М. Коноплянников-Зуев. Печ. по кн.: Фельетоны, рассказы, повести.

В с е   в а ж н о   в   э т о м   м и р е.— Крокодил, 1940, № 18. Подпись: Заслуж. деят. М. М. Коноплянников-Зуев. Печ. по кн.: Фельетоны, рассказы, повести.

С ы н о к   и   п а с ы н о к.— Крокодил, 1941, № 41. Печ. по кн.: Фельетоны, рассказы, повести.

Б е р е г и т е с ь! — Крокодил, 1943, № 21. Подпись: Заслуженный деят. М. М. Коноплянников-Зуев. Фельетон не переиздавался.

Н а с т у п а е т   з и м а.— Крокодил, 1943, № 32. Печ. Фельетоны, рассказы, повести.

О д н а ж д ы   н о ч ь ю.— Крокодил, 1943, № 36. Печ. по кн.: Фельетоны, рассказы, повести.

Х о р о ш и й   д е н ь.— Смена, 1944, 31 дек. Фельетон не переиздавался.

П р о и с ш е с т в и е   н а   О л и м п е.— Ленинград, 1946, № 3/4. Печ. по кн.: Фельетоны, рассказы, повести.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ

ФЕЛЬЕТОНЫ 1930-х—1940-х гг.

Михаил Михайлович Зощенко

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

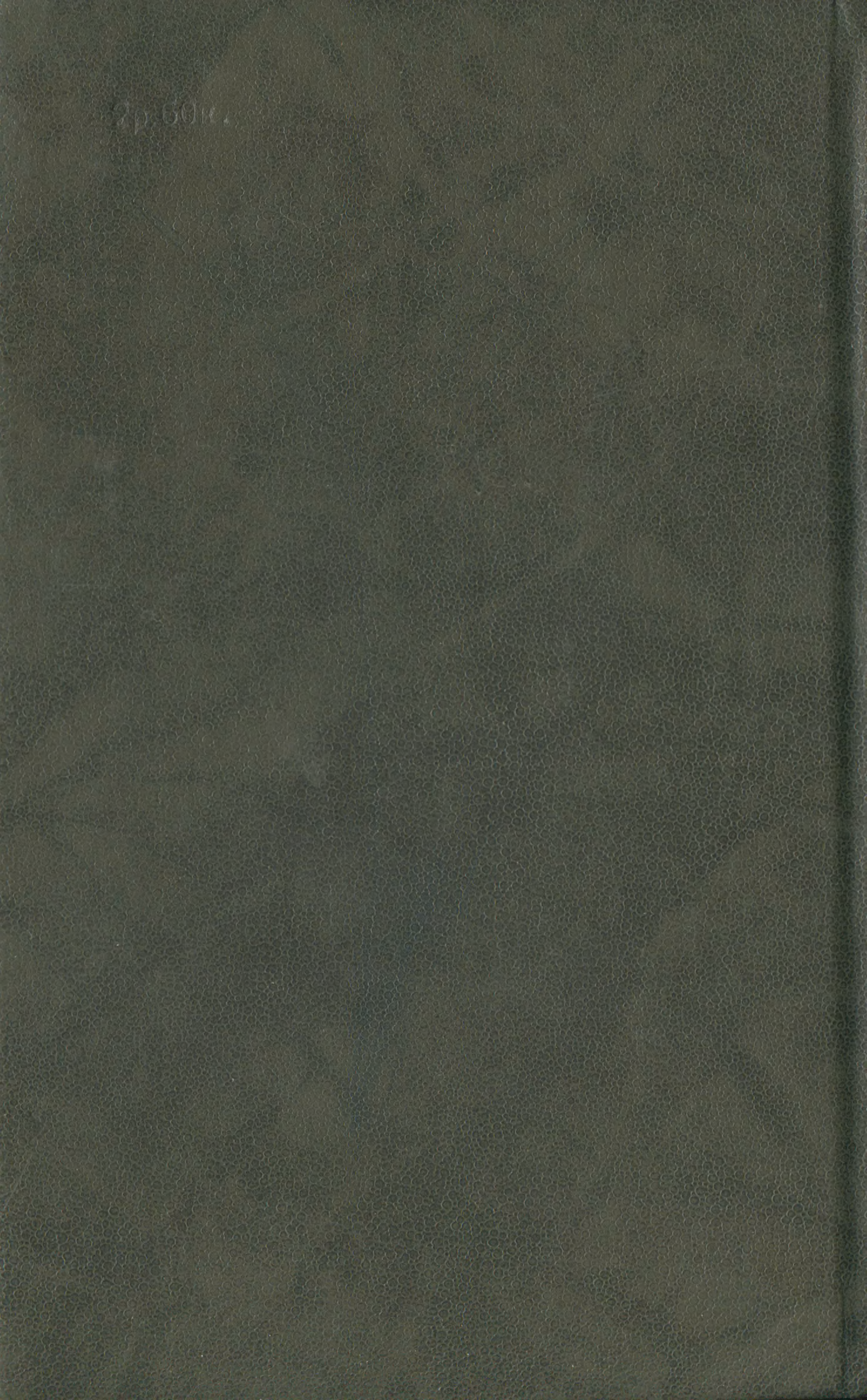
Том 2

Составитель
Юрий Владимирович Томашевский

Редактор А. Рулева
Художественный редактор Р. Чумаков
Технический редактор Н. Литвина
Корректор Л. Никульшина

ИБ № 3524

Сдано в набор 27.12.85 Подписано в печать 21 07.86. Формат 84×108¹/
Бумага тип. № 1 Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая Усл. пе
л. 25,2. Усл. кр -отт. 25,2. Уч -изд. л. 27,98. Тираж 100 000 экз. Изд № ЛIII-5
Заказ № 205. Цена 2 р. 60 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательст
«Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленингра
Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудово
Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединен
«Печатный Двор» имени А М. Горького Союзполиграфпрома при Государстве
ном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговл
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр , 15


2р. 60к.